

И О В Ъ И У  
М У Р

И О В Ъ И У  
М И Р

1964

11



1964

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 11

Ноябрь, 1964 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Восьмистишия и четверостишия. Перевел с аварского Н. Гребнев	3
А. МАРЬЯМОВ — Полярный август	6
ВАЛЕНТИН СИДОРОВ — Стихи об отце	56
ВАС. ШУКШИН — Рассказы	58
ЖАН-ПОЛЬ САРТР — Слова. Перевели с французского Ю. Яхнина и Л. Зонина. Окончание	73
ГЕОРГИЙ ШТОРМ — Потаённый Радищев (Вторая жизнь «Путешествия из Петербурга в Москву»)	115

### В МИРЕ ИСКУССТВА

Б. БАБОЧКИН — Через тридцать лет	162
----------------------------------	-----

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. УТЧЕНКО — Египет: пятьдесят веков и современность	177
--	-----

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ОН БРАЛ ЗИМНИЙ (Документы о В. А. Антонове-Овсесипко)	200
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДЕМЕНТЬЕВ — А. М. Горький и советская журналистика (По неопубликованным материалам)	213
А. ЛЕБЕДЕВ — Искусство «для широкого потребления» (По страницам «Тюремных тетрадей» А. Грамши)	232

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	249
<b>Владимир Огнев.</b> Право выбора.— <b>И. Кудрова.</b> Рассказы Владимира Солоухина.— <b>К. Рудницкий.</b> Комиссаржевская в юбилейных изданиях.— <b>И. Левидова.</b> Молодой Хемингуэй.	
<i>Политика и наука</i>	266
<b>Б. Рудяк, З. Саралиева.</b> Летопись Первого Интернационала.— <b>А. Степанов.</b> Генеральный ленинский курс.— <b>Г. Лекомцев.</b> Правду не скрывать.— <b>С. Эпштейн.</b> Против догматизма.— <b>В. Дюшен.</b> О большой жизни.	
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

## ВОСЬМИСТИШИЯ

\* \* \*

Летят по небу голубые птицы.  
Пытаюсь я их сосчитать с земли:  
Две, три, четыре, десять, двадцать, тридцать,  
Не досчитал, все расплылось вдали.

Как стая птиц, летят года за горы,  
Я их считаю, провожая вдаль.  
Два, три, четыре, десять, двадцать, сорок...  
И не понять мне, стая велика ль?

\* \* \*

Буддийцы верят — смерти нет для них.  
И все равно душа их воплотится  
В существ земли каких-нибудь других —  
Не в человека, так в цветок иль птицу.

Каков бы ни был — малый иль большой —  
Я стихотворец — мог ли не стремиться  
К тому, чтобы при жизни стать душой  
И человека, и цветка, и птицы?

\* \* \*

Я возвратился из далеких странствий,  
И матери погибших сыновей  
Спросили: не встречал ли дагестанцев  
На дальних берегах чужих морей?

И согрешил я ложью неподсудной.  
Сказал: мол, встретился земляк один.  
И матери замолкли, веря смутно,  
Что это их давно пропавший сын.

\* \* \*

Компрессы, шприц и кислород из трубки.  
Воюют жизнь и смерть. И до утра

Хлопочет, словно белая голубка,  
У изголовья моего сестра.

О песнь моя, написанная кровью,  
Мучительно я думаю порой,  
Ты хоть однажды в чьем-то изголовьи  
Была ли милосердную сестрой?

\* \* \*

В горах у нас — так люди говорят —  
Была межа границею наделов.  
Но если где-то вдруг случался град,  
Сметая все, на межи не глядел он.

Разделена границами земля,  
Но если град иль буря разразится,  
Они не спросят, чьи это поля,  
И не посмотрят, где идет граница.

\* \* \*

Поэт обходить не научен беду,  
А радости сами проносятся мимо.  
И я — Ленинград в сорок первом году,  
И я — в сорок пятом году Хиросима.

Еврея в Треблинке сжигают — меня,  
Я в Лидице — чех, я — француз в Орадуре.  
Где б ни был пожар, не уйти от огня,  
Где гром ни гремел бы, я гибну от бури.

### *Четверостишия*

\* \* \*

Я счастлив: не безумен и не слеп,  
Просить судьбу мне не о чем.  
И все же  
Пусть будет на земле дешевле хлеб,  
А человек немножечко дороже.

\* \* \*

Распределение земных щедрот  
Порой несправедливо в жизни нашей.  
Я стал беззуб — суют мне мясо в рот,  
Был при зубах я — пробавлялся кашей.

\* \* \*

Те, для кого поэзия — лишь дельце,  
Порой певцов блистательных теснят,  
Не так ли испокон веков пришельцы  
Исконных обитателей теснят.

\* \* \*

О смерти нету мысли у героя,  
Поет о ней, поет, пока он жив,  
А смерть с бессмертьем смотрят на обоих,  
Для них свои ворота отворив.

\* \* \*

Я знаю: ты ругаешь не меня —  
Во мне другого видишь и ругаешь,  
Я знаю: ты и хвалишь не меня —  
Во мне себя увидел ты и хвалишь.

\* \* \*

Жизнь — мельница, и годы мелет жернов,  
Не зная отдыха, не зная сна,  
И крутится тем легче и проворней,  
Чем больше он уже смолот зерна.

*Перевел с аварского Н. Гребнев.*



---

---

А. МАРЬЯМОВ

★

## ПОЛЯРНЫЙ АВГУСТ

**П**олярный день и полярное лето приходят не в одно время. Когда солнце перестает закатываться за горизонт, на земле еще лежит снег и метет пурга. И только к самому концу полярного дня, в июле, после короткой весны приходит такое же торопливое лето.

В Мурманском порту это, наверно, самое спокойное время. Согретое теплым течением море никогда здесь не замерзает. Траулеры рыбаков ушли на лов к берегам Ньюфаундленда и Гренландии; транспорты отправились на восток, в освободившиеся ото льда порты Арктики.

А в проливе Вилькицкого даже и в августе ледоколы еще пробивают путь караванам.

Корабли, прошедшие по Северному морскому пути, разгружаются августовскими днями в Хатанге и в Тикси, в низовьях Колымы и в Певеке.

От Кольского до Чукотки цветет в августе тундра лиловыми цветами, зреют во мхах морошка и голубика; вошло в силу полярное лето и уже вот-вот окончится; уже солнце уходит ночью за край неба, и тучи темны, будто переполнены снегом: подует с севера ветер — и заметет пурга.

Август в Заполярье проходит стремительно, но в короткие его недели успевают расцвести в тундре все ее цветы, созревают ягоды, и над карликовой полярной березкой, куда выше прижатого к мерзлой земле ствола, поднимается тугая шляпка огромного подберезовика.

Быстро проходит август, и за это время надо успеть здесь сделать все, чему помешает снег, когда уже в сентябре ляжет он на долгие месяцы, до нового лета.

### У ПЕРВЫХ ВОРОТ

#### Самая теплая тундра

1

Наутро снова было объявлено, что Надежда закрыта.

Уже третьи сутки была закрыта Надежда.

В тесных коридорах гостиницы Сыктывкарского аэропорта стоя дремали плотно прижатые друг к другу пассажиры.

Вчера казалось, что сюда не протиснуться больше ни одному человеку. Но по новым спискам, прикнопленным у окошка дежурной, вышло, что население коридоров увеличилось за ночь по меньшей мере человек на пятьдесят.

Из Москвы прибыл в положенное время рейсовый АН-10. Из Ленинграда — ИЛ-18. Почти все пассажиры пролетали Сыктывкар транзитом, торопились пересесть и отправиться дальше. Однако улететь смогли только те, кто направлялся в Воркуту и Ухту. Хатанга была закрыта.

И Надежда оставалась закрытой тоже. А туда-то и стремилась большая часть ожидающих: Надеждой называется аэропорт Норильска.

Зимой — на плотный, укатанный снег таймырской тундры большие самолеты могут садиться. А летом тундру развозит. Чтобы приземлиться в Надежде, приходится в Сыктывкаре менять реактивный лайнер на ИЛ-четырнадцатый, который так еще недавно поражал воображение пассажиров скоростью, вместимостью, комфортом, а теперь отступил чуть ли не в область архаических и медлительных почтовых дилижансов. Говорят, будущим летом пересадка уже не понадобится, Надежда станет иной. А пока большие самолеты привозят в Сыктывкар пассажиров сотнями, а дальше нет ходу.

В гостинице, с кем ни заговори,— всем в Норильск. Кто из отпуска, кто по первости — подрядился на работу. Кто по служебному делу на короткое время. И всем недосуг. Сыктывкар этот пассажирам — поперек глотки.

Еще лететь до Норильска две с половиной тысячи километров, но и отсюда чувствуешь ясно, что за город увидишь ты там, за Надеждой, как далеко слышится его полнокровный и гулкий пульс.

Как Москва для приезжего оказывается не только Москвою, а начинает делиться на несхожие Сокольники, Черемушки, заводские слободы, Серебряный Бор, — так и Норильск еще издали открывался пестро и розно. Кроме Надежды, слышалось тут про Валёк и про Медвежий Ручей, про Кайеркан и Волочанку.

И часто поминался Талнах.

Так выходило из разговора, что на Таймыре снова что-то открыто. Мол, геологи долго искали; знали, что найти должны непременно, а нашли столько, сколько и сами не ждали. Но говорилось об этом смутно. Таймырцы постарше только намекали; привыкли к секретам — может, и тут лучше до времени держать язык за зубами. А горячая молодежь не скупилась на такие подробности, каким и поверить было трудно.

В одном только все и сходилось — Талнах.

Там обнаружили геологи свою находку. Там строится новый город. Там для Норильска — второе рождение и завтрашний день.

Среди пассажиров были здесь и такие, что про Норильск даже не вспоминали:

— В Талнах едем.

Но такого города еще не было. Им только предстояло его построить.

Прошлой ночью стоял я в коридорной толпе. Сесть на пол — не хватало места. Только счастливицы под стенкой могли опуститься на корточки. А гостиничные номера и диваны отданы были женщинам и ребятам. Голову соседа клонило к моему плечу. Он задремывал и тут же просыпался, стесняясь. Тусклая лампочка горела в другом конце коридора. Свет белой ночи тоже не пробивался к нам, хоть двери на улицу и были открыты. Лицо соседа оставалось неразличимым. Худощавый и длинный, он был, вероятно, не очень уж молод; затевая разговор, чтобы не дремалось, говорил с веской степенностью старого мастерового, поминал про жену и двоих ребят, которых удалось ему втиснуть в номер. А про Воронежскую область, куда на три месяца летал он всей семьей к тестю, вспоминал с нежностью давно оторвавшегося от земли человека, которому лучшим подарком явилось, что и покосить он смог вволю, и в саду повозился, и ночью летние звезды видел («В Норильске-то летом солнце круглые сутки ходит»), и спал на сеновале.

— Ребята,— говорил он,— ребята мои... Они ведь в первый раз и узнали, как сено-то пахнет...

Ну, конечно, в Воронежской области и выпито было кое-чего — на встречу и на прощанье. Про это он тоже вспомнил не без удовольствия.



— Да что ты на часы все время глядишь? — упрекнул он меня. — От этого только ночь длится!

И верно. Было четыре часа утра, и ноги заплыли невыносимо, а снаружи по-прежнему плескал и плескал унылый дождь, и оттого, что я то и дело взглядывал на часы, мне начинало казаться, будто движется только секундная стрелка, а две другие остановились и время стоит вместе с ними. Ждать нужно было еще три с половиной часа. А там придет время отправляться в город: в восемь откроется буфет при гостинице «Север» и можно будет сесть на стул у чисто накрытого стола в просторной комнате и посидеть подольше, особенно если в буфет привезут пиво. Хорошо бы, конечно, все эти три дня прожить в гостинице «Север», но сейчас этот рай, весь без остатка, отдан участникам молодежной самодеятельности республики Коми. Сосед прав, лучше не смотреть на часы без толку и не думать про то, как тянется время.

По коридору пошел шепоток. Кто-то от нечего делать забрел к синоптикам и услышал только что полученный прогноз:

— Надежда снова закрыта.

И другой прошел слух:

— Откроется Нарьян-Мар, и норильским пассажирам дадут до Амдермы два многоместных борта.

Коридор оживился, заколыхался, зашебурился.

— А что мне до того Нарьян-Мара? — сказал кто-то простуженным, как бы двойным голосом. — Может, там Большой театр или ресторан «Будапешт»? Тут хоть крыша над головой, а там и того нет. И в Норильск оттуда трудней долететь, чем из Сыктывкара...

Другой откликнулся резво:

— Они здесь как мухи хитрые. Им лишь бы нас сбагрить.

И под прикрытием плотных сумерек он сказал открытым и полным текстом все, что думает о предлагаемой перемене маршрута.

На этом коридор снова притих, молчаливо поддерживая оратора и впадая в свою морочливую дремоту.

Где-то за дверью номера закапризничал детский голос. Кто-то начал проталкиваться по коридору к уборной с сонным мальчишкой на руках.

Опять сосед уронил голову на мое плечо, тут же проснулся и заговорил.

На этот раз я успел узнать, что живет он в Норильске уже десятый год. Приехал землекопом, а сейчас — бетонщик. Квалификацию имеет хорошую. Перед отпуском строил телевизионную вышку.

— Сперва земли метра на два, потом — линза, — стал вспоминать он об этой своей последней стройке.

Он объяснил, что же такое «линза»:

— Ну, лед. Чистый, как стекло.

Пробили лед — опять немного земли встретилось. А потом пошла мерзлота на многие десятки метров — труднопроходимая и вместе с тем такая неверная мерзлота, которая способна «повести» и искорректировать конструкцию любой прочности и с которой северные строители научились ладить лишь в самые последние годы. И об этой мерзлоте опять говорил сосед с такою же нежностью, как о воронежском сене: расставался со своим делом всего на три месяца и уже не терпелось снова за него приняться.

Часов в шесть кто-то шумнул от дверей:

— Давай на улку, продышимся! Дождик кончился.

Мы вышли, теснясь.

Солнце еще крылось за сплошными облаками, но дождь в самом деле перестал. Дул резкий утренний ветер. На летном поле трещал, вра-

шая винтом, маленький самолетик местной линии. Разбрызгивая вокруг себя воду, спешили к нему две женщины в юбках поверх лыжных штанов, несколько ребят разного возраста и три парня в заскорузлых брезентовых дождевиках, с некрашеными фанерными чемоданчиками.

Значит, еще где-то «открылась погода».

Теперь можно было разглядеть и ночного соседа.

С виду ему было не больше тридцати лет. В покрасневших от бессонницы глазах его не оказалось ни усталости, ни раздражения. Напротив, на все, что его окружало, он смотрел с добрым расположением и словно бы радостно дивился всему увиденному: чужому взлетающему самолету, рябой от ветра воде, бегущему серому облаку. Так умеют смотреть на мир только люди с врожденным душевным целомудрием — самым прекрасным из всех человеческих качеств. И без того длинный, он потянулся, широко разбрасывая руки, и весело объявил:

— Дыхнул, как нутро сполоснул!

И тут же — мечтательно:

— Теперь бы придавить минуточек триста... Жинка проснется, может пустят на вторую смену в дамское отделение.

В ожидании этой счастливой перспективы он и отказался идти со мной в город, когда на свежем воздухе время быстро докатилось до желанного часа.

Зато объявился в попутчики небольшой паренек в обвисящем черном свитере, толстенной — по моде — вязки, с большущим воротником. Пожалуй, был мой попутчик чересчур присадист и прочен для этой моды, да и черный цвет очень уж не вязался с багровым загаром на непривычной северной коже.

Паренек оказался коренным норильским уроженцем. (Наверно, проще и благозвучнее было бы ему зваться «норильцем», но сам он звал себя «норильчанином», и бетонщик тоже говорил: «Мы, норильчане»; видно, форма эта успела прочно войти там в быт, и филологические замечания и сетования по этому поводу, выходит, уже запоздали.) Оказалось, молодой город успел вырастить целое поколение взрослых аборигенов. И не только вырастил, но и накрепко связал их с собою: хоть паренек и учится в Ленинграде, в Горном, но, доучившись, намерен возвращаться домой. Все корни его пущены в норильскую мерзлую землю, там и папа с мамой, там и привычно все, там и неотвязная красота, которую не смогла ему возместить даже первая в его жизни, только что состоявшаяся во время каникул встреча с южным морем и с Крымом.

В Крым отправлялись студенческой компанией — «по автостопу». То есть «голосовали» у шоссе на обочинах попутным грузовикам. Так и проехали Белоруссию, Украину и Крым. Запомнился Мише Гомель (там парк хороший) и Херсон («Очень грубый народ, в трамвае девчонки наших прижимали и на улице говорили грубо»). Возле Судака понравилось больше всего, там встретили знакомых ленинградских ребят, поставили палатки и не успели опомниться, как уже пора было собираться в обратный путь.

В том, как Миша рассказывал про Херсон, меня больше всего заинтересовало, что ведь мерил-то он по своему Норильску. Ведь это после Норильска показался ему «грубым» впервые увиденный южный город. И опять — за две с половиной тысячи километров — незнакомый Норильск приоткрылся новой, совсем неожиданной стороной.

В столовой Миша писал нескончаемое письмо и так над этим письмом и остался.

На улице светило солнце, облака пронесло; город стоял свежесмытый и необыкновенно уютный.

До сих пор мне приходилось бывать в Сыктывкаре только зимой — в последний раз лет пять тому назад. Оказалось, что летом его улицы спрятаны под сплошным зеленым навесом. Березы и клены у тротуаров стали на пять лет старше — будто лес шагнул в город. Но переменяла его не только зеленая обнова; Сыктывкар казался теперь одетым «на вырост» — на асфальте расчерчены были пешеходные дорожки, у переходов стояли стрёлки; нарядные, «столичные» таблички прибиты были на углах улиц. Но под зеленой сенью было еще малолюдно, а по асфальту редко прощныривал грузовик или «волга» с шашечками.

Центр был мне знаком. Помнились по прежним приездам и эти бревенчатые, прадедовской, чуть ли не фортификационной кладки дома, рубленные лесопромышленниками и купцами прежнего Усть-Сысольска. Заселены в них жильцами старообрядческие домашние молельни, разгорожены под коммунальные комнатки прежние столовые залы, где вставали перед обедом с молитвой дети, внуки, приживалы, забредшие в дом «странные» старокнижники, приказчики, сплавщики и плотогоны. Грибок и червь источили бревна. Достаивают последние сроки вековые усть-сысольские крепости, строенные для недоброй и хмурой жизни. И уже сейчас стало куда поменьше такого же возраста мешанских домов — двухэтажных, покосившихся, обшитых почерневшей шелевкой. Они уступили место каменным четырехэтажным и трехэтажным корпусам, которые недавно торчали многочисленными островками, а теперь слились в сплошные кварталы. И большой, стилизованный под помещичий «русский ампир» дом, где находится филиал Академии наук СССР, я хорошо помнил тоже.

В первый приезд я удивился:

— Здесь, в Сыктывкаре, филиал Академии?..

Раньше, когда Сыктывкар звался еще Усть-Сысольском, народ коми тоже назывался старым, еще новгородцами данным именем: «зыряне».

Вспоминать давнее несбывшееся пророчество о том, что «к зырянам Пушкин не придет», стало уже запретной банальностью. В Сыктывкаре не только есть улица Пушкина, но есть в библиотеках и книги поэта, переведенные (и, говорят, хорошо) на язык коми. Однако филиал Академии... В городе, откуда до самой ближней станции Княж-Погост нужно было добираться за сто тридцать километров... В городе, которому в качестве герба дарован был недвусмысленный геральдический символ: на щите — медведь в берлоге... Пожалуй, Академия тут тоже «на вырост»?

Но такое предположение было совершенно неверным.

Во-первых, растет Сыктывкар с быстротою действительно необыкновенной. Он становится не только административным, но и крупным промышленным центром республики Коми. А поглядев с одного из перекрестков главной улицы, я увидел в стороне, на холме, длинное приземистое здание в строительных лесах; оказалось, что это будущий вокзал и что к городу уже подошла железнодорожная ветка от станции Микунь Печорской дороги.

А что до филиала Академии, то не городу он на вырост, а напротив — не будь этого филиала, то и республике бы так не расти. История эта началась давно и складывалась весьма интересно.

## 2

Чтобы добраться до начала этой истории, надо уйти далеко назад, к июльским дням 1918 года — в кремлевский кабинет Владимира Ильича Ленина.

Советской власти не исполнилось еще и года.

Только что высадились войска Антанты в Архангельске. В Москве левые эсеры подняли мятеж и убили германского посла Мирбаха. На Восточном фронте взбунтовался и призвал к бунту войска бывший командующий (тоже левый эсер) Муравьев. Страна была охвачена голодом и разрухой. Свой доклад на Московской губернской конференции заводских комитетов Владимир Ильич начал словами:

— Последние дни ознаменовались крайним обострением дел Советской республики, вызванным как международным положением страны, так и контрреволюционными заговорами и тесно связанным с ними продовольственным кризисом.

Двенадцатого июля Ленин говорил по прямому проводу с фронтами, принял представителя Архангельского губисполкома и беседовал с ним о возможности сопротивления интервентам, потом пригласил архитектора Виноградова и просил его регулярно докладывать о том, как выполняется декрет «О памятниках Республики». Затем Владимир Ильич отправился на заседание Совнаркома, где слушались вопросы о буржуазной печати, о состоянии типографского дела в Москве и о передаче Наркомпросу московской и петроградской консерваторий...

В тот же день Ленин писал письмо «К питерским рабочим». Письмо это должен был повезти с собою В. Н. Кауров, старый большевик, член райкома и исполкома Выборгской стороны, возвращавшийся в Питер из поездки в родную деревню Симбирской губернии. Накануне вечером он встретился с Лениным. Они толковали долго. Ленин выпрашивал о настроении крестьян и о положении в приволжской деревне. Теперь он писал питерцам:

«...Сидеть в Питере, голодать, торчать около пустых фабрик, забавляться нелепой мечтой восстановить питерскую промышленность или отстоять Питер, это — глупо и преступно. Это — гибель всей нашей революции. Питерские рабочие должны порвать с этой глупостью, прогнать в шею дураков, защищающих ее, и десятками тысяч двинуться на Урал, на Волгу, на Юг, где можно прокормить себя и семьи, где должно помочь организации бедноты, где необходимо питерский рабочий, как организатор, руководитель, вождь...»

В кабинете Владимира Ильича — карта. По карте — флажки на линиях фронта. Питер, Урал, Волга, Юг — все это было отмечено 12 июля 1918 года передвигающимися, устремившимися к Москве флажками. И удивительно умение Ленина, устремиться через эти флажки прямо в будущее, видеть как бы над войною — за войною — неминуемость исторических свершений, мыслить не только в пределе текущих дней, но в масштабе исторического процесса, обнимающего вместе с настоящим и прошлое и будущее. Он знал, что если сейчас мечтать о восстановлении питерской промышленности «нелепо», то впоследствии такое восстановление произойдет столь же естественно, как происходит регенерация тканей в здоровом теле. И как вновь рождаются кровяные шарики, являясь на смену выполнившим свой долг, — так восстановятся и кадры питерского пролетариата, если даже десятки тысяч лучших отправятся создавать первые земледельческие коммуны...

А если подойти к карте и проследить цели, открывающиеся перед интервентами, которые высадились в Архангельске, — взгляд непременно придет к Котласу и к просторам необъятного Печорского края.

Как давно уже привлекает к себе этот край внимания передовых умов России. Сколько ученых, начиная от Ломоносова, твердили о том, что пришло время исследовать северные земные недра и выявить богатства, которые, несомненно, таятся там в изобилии. Незадолго до революции настойчиво и страстно повторял те же призывы Д. И. Менде-

леев — в своих «Заветных мыслях» и в книге «К познанию России»... Но не преждевременно ли думать об этом, если даже мечта о восстановлении питерской промышленности обозвана только что «нелепой»? Но это совсем разные вещи! Изыскателям понадобятся годы работы. Быть может, десятки лет. К тому времени, когда социализм станет нуждаться в Печоре, содержимое ее кладовых должно быть тщательно учтено, описано, готово к использованию...

На следующий день после письма «К питерским рабочим» — 13 июля 1918 года — Владимир Ильич обдумывал не только план обороны Котласа от войск Антанты, но и другие, куда более далеко идущие планы. На заседании Совнаркома обсуждались в тот день деятельность Центральной жилищной комиссии и жилищный вопрос в Москве. Недавний эсеровский мятеж заставил потребовать более энергичных мер по выселению из столицы и ее окрестностей вредных и паразитических элементов. Вопросов было много. И на том же заседании Ленин предложил, чтобы ВСНХ было поручено обдумать и внести свои предложения по изысканиям угля и нефти в Печорском крае. А Пермскому университету были отпущены средства для организации первой экспедиции на Печору.

Уже полгода спустя, 13 января 1919 года, при Наркомате торговли и промышленности была организована специальная комиссия по изучению и практическому использованию русского Севера.

Люди, которые населяли Печору — оленеводы и зверопромышленники из народа коми, — обо всем этом ничего, конечно, тогда знать не могли. Но они уже знали, что есть в Москве новая власть. Эта власть прогнала из Ижмы прежнего урядника. Ее стали бояться мохчинские, керчомские, вильгортские купцы и — от опаски — поменьше обижали охотников и оленных пастухов. И когда охотник Виктор Попов, выйдя из своей деревни Тит на Усу-реку, нашел там черный горючий камень, он решил, что новой власти интересно будет узнать про такой камень, и отправил образчик в Москву. Кому? В Москве он знал одно имя: Ленин. Он и послал черный камень Ленину. Это было летом 1919 года. Неизвестно, как шла эта находка в столицу, сколько времени была в дороге и попала ли наконец к самому Ильичу? Но приехали геологи и на Усу — туда, где берет из нее свое начало река Воркута. Там встретился с геологами Виктор Попов, показал, где нашел он свой камень, на котором кипятил снег и пек куропатку. И он спросил у этих людей: не Ленин ли их сюда послал? Они подтвердили: да, Ленин. И Попов удостоверился, что его посылка дошла по назначению — по реке и по зимнику, на оленьих нартах и по железной дороге, которую сам он до тех пор еще никогда не видел.

Изысканиями угольных месторождений на Печоре руководил с 1921 года Александр Александрович Чернов. С ним стал потом работать и его сын, Георгий Александрович. Геологи приезжали в тундру каждое лето, плавали на челноках по северным рекам, видели выходы угольных пластов на Нече и Кожеве, на Малой Сыне и на Большой Инте. И все же не такой это был уголь, чтобы ратовать за его разработку, вести строителей и шахтеров в такую даль, тянуть сюда железную дорогу (а ведь без нее не обойтись, если обосновываться тут всерьез), тратить огромные деньги, которые могут еще и не окупиться. В 1930 году геологи разделились. Отец отправился на реку Лемву, а сын — к верховьям Усы и оттуда на Воркуту. За порогом Ворота изыскательная партия вышла к обнажениям угольных пород.

Обнажсния чернели на обоих берегах реки.

С геологами был тогда горный инженер Эрдели. Он много лет работал в Донбассе и имел дело с угольными месторождениями всю свою

жизнь. Геологи были ребята молодые, и пятидесятилетний Эрдели казался им стариком, которого надо щадить. Но, увидев воркутинские обнажения, Эрдели дал всем жару. Он, вспоминая потом младший Чернов, с таким жадным нетерпением выгребал на лодке от берега к берегу и карабкался от пласта к пласту, что поспеть за ним было невозможно.

— На Донбасс похоже, — повторял Эрдели все убежденнее и снова торопился к лодчонке.

В тот раз они увидели семь пластов общей мощностью не менее шести метров. Уголь был очень хороший, и геологи понимали, что обнажения открывают лишь очень малую часть того, что скрыто здесь под скальным грунтом и вечной мерзлотой. Вот тут уж можно было говорить о реальной промышленной ценности печорских запасов. Они вернулись на Воркуту через год и — опять — еще через год.

Первые шахты и дома города Воркуты стали строиться десяток лет спустя на том самом месте, куда вышел Чернов, переправившись через порог Ворота. В Воркуте стоит теперь памятный обелиск. Надпись на нем рассказывает, как Виктор Попов первым нашел здесь горючий камень. А в Сыктывкаре работает филиал Академии наук, основанный научными первооткрывателями печорских сокровищ — отцом и сыном Черновыми. Ученые продолжают работу, потому что еще много в этой земле неоткрытых богатств.

Вот такая история у дома с колоннами, что стоит недалеко от главной улицы Сыктывкара. Не городу на вырост построен был этот первый тамошний большой дом, а, напротив, с него-то и начался настоящий рост всего края, населенного народом коми.

В прошлый приезд, в 1957 году, я побывал в филиале, познакомился с обоими Черновыми. Дело было зимой. Напротив стояла елка; вокруг нее оленьи упряжки катали по кругу громко визжащих сыктывкарских малышей. Все экспедиции давно возвратились «с поля» и вели камеральные работы. В филиале было очень тесно, вдоль всех коридоров тянулись некрашенные столы и стойки с пробирками и образцами горных пород. Георгий Александрович ловко лавировал в узких проходах, показывал находки минувшего лета, вертел в руках то, что непосвященному казалось обыкновенным рябеньким камешком, и повторял:

— Вот видите, что у нас еще есть...

Находок в самом деле оказывалось много.

Геологическая карта печорской земли от года к году обогащалась новыми красками и символами.

Этим и занимались в доме с колоннами. И многие находки предвещали рождение нового поселка, новую железнодорожную ветку, новую цифру в общесоюзной сводке годовых достижений.

В тот же приезд познакомился я и с Виктором Поповым, тем самым охотником, в чью честь поставлен обелиск в Воркуте. Про него собирались снимать киноочерк, а мне нужно было отыскать Попова и писать сценарий.

Пока остается закрытой Надежда — есть время, чтобы вспомнить и об этом.

### 3

Виктор Яковлевич Попов, сказали мне, живет уже не в деревне Тит, а на разъезде Сейда.

Добираться туда было несложно.

Нужно из Сыктывкара лететь в Воркуту, а оттуда до Сейды два часа пути поездом.

В Сейде поезд остановился ночью.

От мороза запырало дыхание.

Мутно желтело маленькое окошко станционного домика. В конце перрона женщина в красной фуражке принимала мешки и ящики, которые выбрасывали ей из почтового вагона.

— Порох! — выкрикнул почтарь в гулкой морозной тишине и плюхнул еще мешок.

— Пыжи!

С треском упал небольшой ящик.

— Потихе ты, — рассердилась женщина. — Расколотишь все и поедешь, с тебя какой спрос.

— Дробь! — крикнул почтарь и с грохотом ахнул об перрон совсем маленький ящик такого веса, что промерзшие доски перрона дрогнули от одного конца до другого. Следом за ящиком вылетел еще мешок, и снова почтарь объявил:

— Имеете, красавица, баранки сушеные и транспортный приветик!

Поезд тут же пошел. Вокруг сразу стало светлее. Горели очень яркие звезды и волчья, обведенная желтым кругом луна. В этих местах зимние ночи почти всегда бывают светлее тех бессолнечных, вьюжных часов, которые положено считать дневными, хоть дня не бывает здесь весь декабрь и почти весь январь. Легкая радужная дымка заколебалась над Сейдой. Начинались сполохи.

Кроме меня, с поезда никто не сошел. Станционный домик казался пустым. Я пошел к женщине в красной фуражке. Она — круглый ком в кожаной куртке, в шерстяном платке под фуражкой, в ненецких оленьих унтах — возилась у сброшенного на доски груза.

Мы вместе взялись за ящик с дробью, едва оторвали его от досок и короткими перебежками стали подтаскивать к дежурке.

— Погоди, — сказала женщина.

Слышно было, как тяжело она дышит. И голос был немолодой.

Она вернулась к другим ящикам и мешкам и принялась переносить их туда, где стояла теперь дробь, — чтобы не оставался груз без призора.

Я снова помог ей. Большой мешок и один из ящиков оказались очень легкими. Наверно, это были пыжи и баранки.

Женщина в красной фуражке оглядела меня критически.

— Танцуешь, — сказала она. — Не по морозу одетый. А еще охотник...

Я удивился:

— Почему охотник?

— Ты ж с грузом. А груз — от Охотсоюза. Только ты, выходит, за столом охотишься. Или на складе.

Но я отказался от груза, и она спросила недоуменно:

— А если не твой это груз, чего ж ты со мной тут возишься?

Дробь уже стояла в дежурке, и мы принесли туда все остальное. Женщина сняла фуражку, размотала платок. С мороза, наверно, она показала моложе своего возраста, разругались щеки, заблестели глаза, только частые белые морщинки у глаз выдавали, что ей за сорок. Тесная комнатка была прибрана чисто. С заклеенного газетами потолка светила ничем не затененная яркая лампа; в раскалившейся докрасна железной печурке бесшумно тлел воркутинский уголь. На дощатом столе заговорил селектор:

— Соколова, ты жива, Соколова?

Голос был мальчишеский, с той торопливой нахалявкой, какую выработывает привычка принимать «по-быстрому» рапорты от невидимых собеседников.

— Живая пока, — откликнулась Соколова. И она доложила положенными словами, когда ушел пассажирский из Сейды в Чум.

— Будь здорова, Соколова,— сказал селектор.— Живи дальше.

С лица дежурной сошел уже морозный румянец. Теперь это было утомленное, морщинистое лицо пожилой женщины, которой досталась, видно, нелегкая, не задаром отпущенная жизнь.

Соколова — выходит, так ее звали — записала несколько цифр на разграфленном листе большой конторской книги, поместила в положенное место железнодорожный жезл с большим проволочным кольцом и обернулась ко мне.

— Чаю выпьешь, что ли?

Она сказала по-северному: «Цаю... Цто ли...»

У железной печурки ноги мои согрелись, заныли. Я разминал их, вытягивая носки, морщась от боли. Соколова подошла снимать чайник и опять сказала с неодобрением:

— Не по морозу одетый... Из Воркуты по радио говорили: мороз сорок два градуса.

Она накрыла угол стола клеенкой, достала две большие — наверно, свои, из дому принесенные,— чашки. Сахар был в синей пластмассовой мисочке. Нарезанный хлеб — на тарелке. Тесная конура дежурки сразу стала домашней, даже уютной. А у самой Соколовой женственная домовитость удивительно соединялась с мужской угловатой сноровистостью. И говорила она резко, жестко и всякий раз требовательно дожидалась ответа на свой вопрос. За чаем она выясняла, откуда я такой взялся, и что занесло меня в Сейду, ежели я не охотник, не геолог, не лектор, и какая мне надобность до Виктора Попова — ведь к нему как раз одни охотники и приезжают, и груз сегодняшний — и пыжи, и банки, и порох — к нему и пришел.

Потом она встретила и проводила товарный.

Снова кричал — другим, женским голосом — селектор.

Соколова еще раз подтвердила, что «пока жива», и сообщила, что тысяча двести первый ушел в Чум в два семнадцать.

Теперь я узнал, что зовут Соколову Лизаветой Семеновной. Сама она из Каргополя. Муж потонул в сорок втором году на подводной лодке в Баренцевом море. «Даже году вместе не пожил». Отца убили через год под Белгородом. Два брата тоже не вернулись с войны. Мать умерла — «еще до Победы». Родился сын — «уже после похоронной». Она растила его одна — сперва в Каргополе, в доме, где и сама за двадцать лет перед тем сделала первый шаг; потом продала дом, уехала в Обозерскую, работала поначалу на лесосеке, перешла на леспромхозовскую узкую колею, оттуда — на широкую: ремонтницей, стрелочницей; сын пошел в школу, окончил, ушел служить на Северный флот по отцовскому следу, остался после службы в Мурманске — электриком на рыбачьем траулере; Соколову тем временем перевели в Сейду. Вот уже пятый год пошел, как она здесь — бобылкой.

— Что ж замуж не вышла?

— Мало было вашего брата,— сказала она, наливая мне новую чашку крепкого чая.— А нас много. Безмужние и детные в счет не шли.

Еще и сейчас можно было разглядеть прежнюю ее статью и красоту, и я сказал ей об этом.

Она бесшабашно махнула рукой.

— Теперь что вспоминать.

Опять звонко цокнуло «цто», и от этого еще горше прозвучали слова ее.

Давно уже кругом все залечено после войны, сравнялись в полях перепаханные воронки и окопы, в городах не осталось ни руин, ни пожарища. Одного, оказалось, никак нельзя залечить: бабьей покалеченной судьбы.



Еще раз задрезбезжал селектор.

Вышел порожняк из Чума на Воркуту.

Пока не разморило в тепле, нужно было собираться в дорогу.

Соколова объяснила, что идти до Поповых километра полтора, тропка в снегу протоптана. По тропке дойдешь до речки, за мостиком — совхозная ферма, от фермы налево — геологи буровую поставили. А за буровой, еще левее, по-над самым берегом — Поповы. Дом новый, не спутаешь, три года назад срубили. А крыша железная.

Уже слышался нарастающий грохот порожняка. Соколова взяла жезл, и на перрон мы вышли вместе.

Ветер поутих, оттого и мороз показался слабее. Сполохи отыграли, небо было высокое, чистое, в обильных и ярких звездах.

— Посматривай,— сказала Соколова.— Бывает, урки шастают.

Обернувшись после двух десятков шагов, я увидел фонарь у станционного домика лишь тусклым желтым пятном. Окрестная ночь была освещена снизу, с земли, переливчатым светом свежего снега. Удивительно чиста и просторна зимняя северная ночь. Плотно убитая тропа, хоть и припорошенная сверху, видна была хорошо; от нее отходили тропки поуже к нескольким избам, черневшим близ станции. Впереди виднелись невысокие корявые деревья, занесенный снегом овраг, в котором угадывалось русло узкой извилистой речки, а за оврагом — силуэты нескольких буровых вышек.

Снег не только светил. Под ногами он пел резким голосом — нет, многими разными голосами — ненецкую песню.

Вот и мостик. Под ним — замерзшая Уса с чернотой льда, просвечивающей сквозь заструги снега.

И опять сходится: бежит тропа к черным длинным строеньям — на-верно, совхозные коровники,— а другая, поуже, уходит налево. И там действительно еще одна вышка.

Людей не видно нигде, и ничего живого не видно, и только остановишься — кончается визгливая дикая песня и такая вдруг оказывается кругом тишина, будто ты внезапно оглох и уже никогда ничего не услышишь.

За вышкой я снова остановился: нужно было отдышаться от мороза: на ходу воздуха не хватало. Но тишина на этот раз не наступила. Снег продолжал петь, только голоса его слышались теперь издали, потише. Там, откуда шла снежная песня, двигались три фигуры: две побольше, одна совсем маленькая.

Мы сошлись у избы.

Все было, как сказала Соколова: новый сруб, железная крыша. А рядом еще сруб; поменьше.

У маленького сруба, готовясь стучать в окошко, остановились двое мужчин и мальчик.

— Здесь Попов живет? — спросил я.

— Да нет, Воронины тут,— отозвался низким хрипловатым голосом самый высокий. На нем был ватный костюм, меховая шапка с ушами и высокие торбаза.— В большой избе Степан, а здесь Лександра. А к Поповым в другую сторону. Отклонились вы сильно. Лучше с нами ночуйте, а утром покажем.

— Ну, к Степану сейчас не достучишься,— уверенно сказал второй.— Старик спит — из пушки над ухом бей, не разбудишь. А ты еще под понедельник угадал. Тут и пробовать нечего. Вот Лександре постучим. Может, впустит...

И в словах про сон, и в намеке «под понедельник» послышалось одобрение. Может, даже и зависть. Выходило, по их словам, что «старику» не меньше восьмидесяти.

Геперь я разглядел у обоих мужчин двустволки в чехлах, а у мальчика — мелкокалиберку. Еще у старших были объемистые, туго набитые заплечные мешки. Лица под заиндевелыми шапками неразлично темнели.

— А Александра кто?

— Сын Степана. Младший.

И человек застучал в окошко с решимостью старого знакомого.

Александра появился в дверях босиком, в старом коротком ватнике, накинутом поверх голубой майки.

— А-а, пушнина явилась, — отметил он при виде моих неожиданных попутчиков, не проявляя, однако, никаких эмоций. — Давайте быстрей, не студите избу.

И только, когда мы вошли, он обрадовался самому младшему:

— Смотри, и Захар тут...

В жаркой избе горела сильная электрическая лампа. С постели из-под одеял и оленьих шкур глянули четыре блестящих глаза, снова скрылись под натянутым одеялом; послышался заглушенный шепот, шкуры зашевелились, и глаза блеснули опять.

— Дядя Пушнина! — пискнул голос, и на кровати сел мальчишка лет пяти в такой же голубой майке, как и отец.

Тот, кого назвали «дядей Пушниной», успел снять малахай, ватник и остался в городском пиджаке и полосатых, упрятанных в торбазу штанах. Он подтолкнул своего мальчишку к кровати.

— Дай-ка им, Захар, пряника.

Шкуры опять зашевелились, и на кровати села девчонка, постарше брата на годик. Захар, наверно, был ее однолеткой. Может, чуть старше. Он достал пряники из кармана и шагнул к постели. Ребята ухватили по прянику, Захар стал жевать третий. Девчонка смотрела на него завороженно.

Захар спросил:

— Тебя как звать?

Она шепнула чуть слышно:

— Марфой звать.

— Спать будете? — все так же дремотно осведомился Александр.

— Не худо бы и поспать, — мгновенно согласился «дядя Пушнина».

Александра притащил из сеней еще шкуры и ватники, бросил и свой в придачу.

— Подушек лишних вот нету. Одна только.

Из другой комнаты он принес подушку.

— Делитесь сами. А олешков вам хватит — и постлать и накрыться. В избе не сквозит. Под голову ватники свернете. Свет сами задуете.

Про электричество он по привычке говорил, как про светец.

Александра ушел в другую горницу, прикрыв за собою дверь, сплошь оклеенную журнальными картинками, а Пушнина принялся раздевать Захара. Третий их спутник впервые раскрыл рот, чтобы прожурчать сладенько:

— А подушечку вы себе возьмите, Филипп Романыч. Подушечку вот сюда... — Он пристроил несколько шкур поближе к печке и взбил в изголовье подушку. — Мы тут на ватничках... На ватничках тоже хорошо.

Дав мне понять таким образом, что Филиппа Романыча следует трактовать как начальство, он опустился рядом со мною и стал стаскивать с ног торбазу.

Разувшись, он остался в шерстяных носках и ждал, поглядывая в сторону печки, потом тем же сладеньким голоском осведомился, готов ли Филипп Романыч, и, услышав подтверждение, прошлепал по комнате, чтобы выключить свет.

Утром стукнула дверь, по полу потянуло холодом, я проснулся. В горнице уже было светло, ходики у печки показывали десятый час, детская кровать прибрана, ребята одеты, а в комнату с улицы вошла женщина с сумкой, и я догадался, что это жена Александра возвратилась из лавки. Вышел из другой комнаты и сам Александр — невысокий, крепкий, брюки заправлены в носки, пиджак поверх майки. Он издали пригляделся к сумке и укорил жену:

— А ты, Наталья, гостей не заметила, что ли?

Наталья, раскутываясь, сказала:

— Я-то заметила, да в магазине нету. Что было — на праздники выпили. А новой не завезли. — И тут же беззлобно прикрикнула на сына: — Кыш, Витька! Не мешай людям.

Витька неотрывно смотрел на проснувшегося Захара.

Тот одевался.

Наталья вышла, чтобы не мешать одеваться и остальным.

За чаем все перезнакомились окончательно.

Филипп Романыч, как можно было и раньше догадаться, оказался уполномоченным воркутинской конторы «Заготпушнины». Спутник его работал там же кладовщиком. Они обходили промышленников по Усе, скупая у них песцовые шкурки, в Сейду пришли напоследок, чтоб возвратиться отсюда поездом в Воркуту. Захар прошлой осенью пошел в первый класс, теперь у него еще не кончились зимние каникулы, и отец взял его с собою.

— Давно просится, большой мужик уже стал, чего не взять.

Кстати, выяснилось, что нынешняя зима вообще для Захара богата новыми впечатлениями: в первый раз дерево увидел («с юга» — это значит откуда-то из-под Ухты — в Воркуту привезли под новый год елки и самую большую поставили на площади, а Захар все допытывался, как ее сделали и зачем), в первый раз на поезде поехал, в первый раз из ружья выстрелил по белой лисе...

— Попал?

Захар умоляюще глядит на отца. Так хочется, чтобы тот подтвердил: попал, мол. Но отец режет беспощадную правду:

— В другой раз попадет. А эту Кореньков положил. — И Филипп Романыч кивает в сторону кладовщика.

Следуя, видно, положенному обряду, «дядя Пушнина» не заговаривает с Александрой о деле, ждет, чтобы тот сам заговорил про свою добычу. А Александра не торопится. Он расспрашивает про охотников, у которых Филипп Романыч с Кореньковым только что побывали: кто как живет да кто сколько добыл. И «дядя Пушнина» охотно рассказывает. Он говорит подробно — где лучше шел промысел, где плохо. Кузьма слушает внимательно и все мотает на ус.

— Куропатки не стало, — говорит уполномоченный. — Только Латкин хвалился: две видел. Одну взял...

Кузьма согласно кивает.

— Верно. С пятьдесят второго еще. Совсем куропатки нету.

— Зато лемминга много...

— А с него какой толк?!

— Вред один... В Усе у вас рыба, говорят, хорошо сей год ловится?

— Есть рыба, — снова подтверждает Александр. — Налим славно шел.

— Ну, а песец как? — не выдерживает наконец Кореньков. — У людей небогато...

— Да есть кой-что, — говорит Кузьма, уходит в сени и вскоре приносит большую охапку — десятка полтора разделанных шкурок. — Это только мои. У отца-то со Степкой поболее будет.

Захар и дети Лександры к этому времени исчезли. Они ушли в другую комнату: там оказалась еще не убранная елка, и ребята стали шумно возиться возле нее.

А разговор взрослых перешел на Поповых, и я спросил у Лександры, давно ли они перебрались в Сейду из деревни Тит, откуда послан был лет тому уже сорок «горючий камень» в Москву.

Лександра засмеялся.

— Так Тит — какая ж деревня?! Это прадеда у Виктора так звали: Тит. Тит Попов. Он себе избу в тундре срубил. Одна она и стояла. А раз люди живут — надо название местности дать. Хоть и одна изба, а семья большая. Значит, деревня. Изба Титова — значит, и деревня Тит. Ушли Поповы отсюда лет шесть назад. Поближе к людям Виктору захотелось. В одиночку жить — дело молодое, а годы уже не те. Вот как-то повезли его в Воркуту — в президиуме сидеть, — он там и сказал. Ему говорят: «Выбери место, дом тебе за казенный счет поставим, живи. Ты заслужил». Он выбрал Сейду. И до Воркуты близко, и на охоту недалеко. Дом ему поставили. А старый по Усе сплавил. В нем они сейчас и сидят. Это вот и есть вся деревня Тит..

Заготовители не слушали младшего Воронина, они все это давно знали и с медлительной дотошностью перебирали тем временем шкурки, определяя сорт.

Кореньков принялся выписывать квитанции.

— Дефекты пишешь?

Деланное равнодушие ясно слышалось в вопросе Лександры.

Филипп Романыч откликнулся мгновенно и весело:

— А как же!

— У этого пол-лапы отбито. А тут, смотри, дыра в голове, — услужливо показал Кореньков.

— Им нужно, чтоб песец к ним сам приходил, не ловленный и не стреляный, — сказала жена Лександры.

«Дядя Пушкина» согласился с той же веселой готовностью:

— А что поделаешь: у промышленника всегда песец хуже, чем с фермы. — И спросил у Воронина, не отрываясь от шкурки: — Ты его как берешь? В капкан или пастью?

— Больше пастью, — сказал Кузьма. — Капканов у меня только три.

— Капкан ноги рвет выше, чем положено, — заметил Кузьма. — Этот из капкана, наверно. Видишь, сколь меха пропало..

— Он сам себе ногу отгрызть начал, — вспомнил Лександра, — не успел.

Он спохватился:

— Если хотите отца застать, идти надо. Он в полдень по пастям собирался. Это дней на пять.

Мы пошли.

К этому времени я уже знал от Лександры всю подноготную дома Ворониных. Лександра у Степана — средний. Старший погиб на войне, жена его умерла еще раньше, с дедом живет их сын, тоже Степан. Есть у Лександры еще младший брат, Гавриил. Тот отделился, не ладит с отцом, жена его точит. Мне показалось, что я понял, почему жена точит Гавриила, когда увидел, как слушает рассказ мужа жена Лександры. Речь тогда шла о семье младшего Степана. И хозяйка наша, сама того, наверно, не замечая, согласно кивала, когда муж ее рассказывал, как не ладят друг с дружкой жены молодого дяди и старшего из племянников. Она всякий раз словно одобряла слова золовки и подтверждала их.

— К деду ревнует, — сказал тогда Лександра.

И хозяйка опять одобрительно кивнула.

Мы вошли в большую избу.

Горница тут была попросторнее. В кадке зеленел издалека привезенный фикус. На стенках вперемежку с фотографиями висели картины, призывающие бороться за большие удои и хранить деньги в сберегательной кассе. Степан Воронин был уже снаряжен в дорогу. Он был высокий, худой, с узкоглазым желтоватым лицом и редкой седой бородой. На вид ему можно было дать лет шестьдесят, от силы.

— Лыжи смазала? — спрашивал он у молодой женщины, которая сидела на клеенчатом диване, среди вышивок и подушек. Увидев нас, он не удивился, не стал изображать радушия и поздоровался с одним Пушкиной: — Здравствуй, Филипп Романов.

— Смазала, деда, — будто пропела Степкина жена, не поднимаясь с дивана. Красная вязаная кофта, накинутая поверх платья с красными же цветами, хорошо оттеняла ее светлые косы, высоко уложенные вокруг головы, и свежее розовое лицо.

Может, рассказ Лександры так настроил меня, только я подумал: нет, не надевают будничным утром дома такие платья. Наверно, хоть и будни, а работать ей не приходится. И голос ее показался ленивым. Но она была красивая.

— Деда, — запела она опять. — Может, останешься?

Но с дивана так и не поднялась.

— Примета плохая, — сказал старший Воронин без улыбки. — Собрался — значит, надо идти.

Он вышел в сени, там загремело. Наверно, он развязывал лыжи. Потом заглянул в комнату, взял ружье и мешки. Обращаясь снова к одному Пушкине, сказал:

— Ты тут свой человек, без меня обойдешься. Ксения все знает.

— Водки давать им, деда? — пропела красивая Ксения с дивана.

— Вот дурашка, — сказал Воронин. — Была б, так и я б остался.

Он попрощался кивком, пошел, и ясно было, что задержать его не удастся. Я выглянул в окно. Воронин стал на короткие и широкие самодельные лыжи и, сильно отталкиваясь одной палкой, спустился по крепкому насту к промерзшей Усе, все ускоряя и ускоряя шаг. Лохматая желтая собачонка бежала с ним — то по следу, то вырываясь вперед.

— А Степки нету? — спросил Лександра.

Похоже было, что он себя связанно чувствует в этом доме. Может быть, потому что характером Лександра похож на отца, а в одной избе двум таким людям не уместиться.

— Степан в лавку пошел. Он меня не пускает, во как любит, — с дразнящим вызовом объяснила Ксения.

Филипп Романыч сел к столу и обернулся к Ксении.

— Будешь мужа ждать или сразу песка посмотрим?

— Ну, прост-таки, сразу, — Ксения так и не поднялась с дивана. — Вы расскажите, что в Воркуте новенького. Мы со Степой давно не были. Хоть в кино поехать...

У них тут был свой разговор, свои дела. Я попрощался и тоже пошел — в другую сторону — искать Поповых.

Днем изба отыскалась быстро.

Но разговоривать с хозяином долго не пришлось. Он тоже торопился к своим капканам. Похож он был на Воронина, как две капли воды, — та же стать, тот же возраст и так же спускался он к Усе на коротких лыжах широким, вовсе не стариковским шагом.

Когда я пришел от Поповых на станцию, Соколова уже сменилась. Дежурил молодой парень с косыми бачками на щеках. Он сказал, что поезд из Чума на Воркуту пойдет через сорок минут, и скоро на платформе появились еще пассажиры — четверо ребят и одна девушка. Были серые сумерки январского поляного дня. Одинаково упакованные в за-

шитную теплую одежду, попутчики говорили про буровую, где вчера керны показали отличный спекающийся уголь, и про Веру, которая собирается съехать домой, в Днепропетровск.

— И пусть! — повторяла девушка, сердито блестя глазами. — И пусть! В общежитии чище будет!

— Ну, это ты тоже палку не перегибай, — попытался остановить ее парень, из-за обилия теплой одежды похожий на гумбу: широкий, но невысокий. — Она — ничего...

Девушка рассердилась пуще:

— Вот именно «ничего». А ты помалкивай. Тебе кто в юбке — все «ничего».

— А она в штанах, а не в юбке, — рассмеялся парень. — Я ее в юбке ни разу и не видел.

Подошел поезд. Мы поднялись в разные вагоны.

Мой вагон оказался не полон, нашлось место у окна. За окном виднелись буровые, белая Уса, и над синим снегом — красные и нежно-желтые перья облаков, освещенных еще невидимым солнцем.

Когда показалась Воркута, было уже темно. Едва различались черные терриконы, дома. Огни горели нечастым пунктиром.

В станционном здании стоял кислый парок от размокших валенок и пропотевших овчин. Репродуктор вызывал пассажиров на Мульду (здесь говорят: «В аппендицит», потому что дорога на Мульду — отрожек к трем шахтам на отшибе, ветка от кольцевой, обегаящей все остальные воркутинские шахты).

Кто-то беспокойно спрашивал:

— А на Сивую Маску скоро? Скоро на Сивую Маску?

Откуда она взялась, эта Сивая Маска?

Выкрики паровозов, белый дым, морозная ночь. А на самом-то деле всего три часа дня...

За вокзалом, пересекая улицы, все еще тянутся железнодорожные пути со шлагбаумами на переездах, по тротуарам — тропки протоптаны в глубоком снегу, меж двухэтажных деревянных строений все чаще попадаются трехэтажные кирпичные дома с колоннами. А среди «газиков» и латанных фанерой автобусов, нет-нет да и пробежит оленья упряжка.

На углу — освещенная табличка: «Улица Попова».

Значит, поблизости и тот монумент — в память о «горючем камне».

Я постоял у монумента, представил Виктора Попова, с которым только что распрощался.

Он идет на широких лыжах, таких же, как у старика Воронина, — одна немного длиннее другой и чуть поуже. Сильно оттапливается палкой от наста. Темной небольшой клетью виднеется над снегом поставленная им пасть. Есть в ней песок или нету?

Будто и не прошло сорок лет. Только собака уже четвертая — после той, что ходила тогда с Поповым. И пасти новые прошлый год с Витькой наделали: старые все бечевками перемотаны, едва держались...

А вокруг ничего не узнаешь. И, если совсем близкое время припомнить, опять же все переменялось.

Один Попов — какой был, такой и сегодня.

#### 4

И вот прошло с той поры шесть лет, уже 1963-й пришел, и я опять в Сыктывкаре.

А Воркута на этот раз должна быть только местом промежуточной, получасовой стоянки. Но Надежда закрыта. И до Воркуты — даже на эти короткие полчаса — очень еще далеко.

Возвращаясь в аэропорт, я завернул к Сысолое.

Роша над рекой обнесена изгородью и называется «Парком культуры и отдыха». Построены над обрывом гигантские шаги. Подальше — беседка-ротонда, как в старом именье. На скамейке — старичок с «Огоньком». На другой — бабушка с двумя внучками.

Нетеплое, хоть и солнечное, августовское утро.

По неширокой реке — буксир с чередой плотов, другой буксир — с земснарядом. Все славно и весело, как всегда на летней речной воде. А на другом берегу — чистенькая заречная слободка.

Неторопливое движение судов на реке, неподвижный дым над трубами заречных домиков. Покойный и тихий уюг во всем, что открыто глазу, — и странное ощущение, будто не настоящая жизнь проходит перед тобой, а идет немой, хоть и цветной фильм, снятый той хитрой съемкой, что умеет замедлить происходящее.

В этой странной замедленности смешалось время: старый Усть-Сысольск как бы виделся вместе с нынешним Сыктывкаром. «Медведь в берлоге» и аэропорт с ИЛ-восемнадцатыми умещались рядом, в одной временной плоскости, и показалось даже, что рядом с пенсионером, читающим «Огонек», мог бы сидеть и бедняга Надеждин в своих грибоведовских продолговатых очках — со старым номером уже закрытого цензуры «Телескопа».

Сюда-то, в Усть-Сысольск, и угодил Николай Иванович Надеждин, он же «Никодим Надоумко с Патриарших прудов», за публикацию «Философических писем» Петра Чаадаева в своем «Телескопе».

Он почудился мне рядом — такой, каким описывали его современники: большеротый, багроволицый, длинноносый, на больших «скудельных ножках».

Верный Иван приводил его на обрыв над Сысолой.

В Москве Николай Иванович хотел расчитать Ивана, да тот умилил, уперся: «Хоть на край света пошлют, не оставляю». За верность, можно сказать, в литературу вошел. Кажется, все, кто будет вспоминать о Надеждине, вспомнят и про Ивана. Но — что за судьба?! — тянулись здесь за Надеждиным, кроме Ивана, одни только почитывающие купеческие сынки да семинаристы на вакациях. Это после московских-то споров. Вместо Грановского и Белинского. Вместо Огарева и Чаадаева.

Впрочем, не знаю, так ли он этими здешними беседами тяготился?

Слева он пугал людей — некрасивостью, резкостью громкого голоса, обилием непонятных ученых слов в разговоре, внезапными хриплыми выкриками, похожими на суматошный гусиный крик, даже самую болезненностью своей. Усть-сысольские староверки и староверы зачисляли его, наверно, в свиту антихриста. Но потом все, кому приходилось сталкиваться с Надеждиным поближе, непременно в него влюблялись, влеклись к нему и слушали его неотрывно.

Ведь недаром принадлежал он к блестящей плеяде пушкинской поры, какую составляли молодые люди острого ума и высокой образованности. В плеяде этой впервые стиралась грань между воспитанным в лицах дворянством и выбившимся по собственному уму и прилежанию разночинством; из последнего происходил и Надеждин, судя по женскому корню фамилии — потомок незаконнорожденного родителя.

Людей влекла к нему сверкающая заразительная веселость, заставлявшая забывать жалостное надеждинское калечество. Живые и умные глаза делали привлекательным его некрасивое лицо. Благодаря неиссякаемой остроте речи он был исключительным собеседником.

Непростыми были отношения Белинского с Надеждиным. Надо полагать, служить под началом Николая Ивановича было весьма нелегко, потому что нередко бывал он и капризен и вздорен. А Белинский одно

время служил в «Телескопе». И Николай Иванович после этого рассказывал о нем немало небылиц, просто так рассказывал, не жалеючи для красного словца: он-де и циник, он-де и неряха; и все это возвращалось к Белинскому из услужливых третьих уст. Но, почти никогда не вспоминая о Надеждине-человеке, он очень часто и с неизменным восхищением вспоминал «блаженной памяти» Никодима Надоумку, так никогда и не возвратившегося в русскую литературу после отбытия своего, в едином лице с Надеждиным, в Усть-Сысольск.

«Да! Никодим Аристархович был замечательное лицо в нашей литературе: сколько наделал он тревоги, сколько произвел кровопролитных войн, как храбро сражался, как жестоко поражал своих противников, и этим слогом, иногда оригинальным до тривиальности, но всегда резким и метким, и этим твердым силлогизмом, и этою насмешкою, простодушною и убийственною вместе...»

И хоть этот Надоумко — в силу неукротимости острого и безжалостного языка своего, заменявшего ему порою любые твердые позиции, — не раз, случалось, ругмя-ругал Пушкина, все же именно рядом с Надоумкою появился на страницах «Телескопа» и Феофилакт Косичкин. Не для того, чтобы спрятаться, но лишь отдавая дань тогдашней журнальной моде, Пушкин под этим псевдонимом публично раздел Фаддея Булгарина, написавши, что тот «ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы».

Двадцати семи лет от роду стал Надеждин профессором Московского университета по кафедре изящных искусств и археологии. Тогда же начал он издавать и «Молву» с «Телескопом». Пришли к нему и Погодин, и Шевырев, и семнадцатилетний Костя Аксаков, который со всею непримиримостью возраста наступал на «чистую поэзию», требуя от поэтов непрременной «утилитарности», однако принимая при этом и главные требования, выставленные перед литературой Надеждиным: «действительность и народность». Молодой Бакунин со страниц «Телескопа» впервые рассказал русским читателям, кто таков Гегель...

А на Чаадаеве все кончилось.

«Философических писем» не стерпели ни царь, ни синодальные первосвященники. Автор их заперт под домашним арестом и объявлен сумасшедшим. «Телескоп» закрыт.

Падая, вместе с собою увлек Надеждин и старика Болдырева. Ректор Московского университета, давший Надеждину профессуру, Болдырев был одновременно и цензором, неосмотрительно подписавшим к выпуску в свет злополучный номер журнала с чаадаевским «голосом из гроба».

В Санкт-Петербург — по начальственному суровому вызову — вместе влеклись из Москвы Болдырев и Надеждин.

Болдырев был отставлен ото всех должностей, а Надеждина повелено сослать в Усть-Сысольск на житье, где надлежало ему существовать на сорок копеек в день. Будучи вызван для оглашения сего повеления самим Бенкендорфом, Надеждин впервые испытал трепет, но и тут не сумел совладать со своим языком и попросил шефа Третьего отделения, дабы высылку ему заменили заключением в крепость, ибо там он по крайней мере не помрет с голоду. На дерзость Бенкендорф отвечал милостиво и вскоре сообщил, что «исхлопотал» для Надеждина соизволение писать и печататься под своим именем — чтобы к сорока копейкам казенного рациона мог он добавлять из литературного гонорариума.

Усть-Сысольск, Усть-Сысольск!

Визиты к городничему для отметки. Дескать, здесь я, Надеждин, ваше благородие. Никуда не сбежал.



— Все пишешь, братец?

— Не пишется, ваше благородие.

Гнилые доски лежневок на тротуарах и мостовых главной улицы. Того и гляди, не хлопнуло бы по лбу такую доской. А на других улицах — собака и та завязнет в болоте по самые уши.

Дома — добытая у семинариста старая книжка воейковского «Славянина».

Уже прочитана реляция о состоянии португальской армии, и стихи графа Хвостова, и повесть, подписанная инициалом З., «Кухарка-мечтательница», и стихотворение крестьянина (это в «Славянине» непременно писалось, что к р е с т ь я н и н а) Ивана Кудрявцева:

Нахмурилось небо,  
Туман заалел,  
Нет светлого Феба,  
Эфир охладел...

Недавно еще в кругу московских друзей Николай Иваныч любил вспоминать один обед у Княжевича.

На том обеде сидел напротив Надеждина некий штатский генерал — из тех, что любят поговорить за столом об изящной словесности. Погорчавшись, что не стало более хороших, торжественных стихов, какие писывались в его время, генерал обратился к Надеждину: не объяснит ли профессор, почему бы это?

По собственным его словам, Николай Иваныч, набравшись серьезности, отвечивал как можно солиднее:

— По моему мнению, оттого, что нынче большею частью пишут не дворяне.

Объяснение привело генерала в совершенный экстаз. С выкриками и хохотом рассказывал Николай Иваныч, как генерал заключил его «в превосходительные объятия, прижал к звездоносной груди и напечатлел поцелуей».

Воейковские «крестьяне» устремлялись к стиху торжественному, в генеральском вкусе. Они воспаряли к светлому Фебу, откуда невидимой становилась земная юдоль крестьянской скорби.

Сказать бы об этом, да где? Нет уже «Телескопа».

А Феофилакт Косичкин убит на Черной речке, и только поздней весной дошла до Усть-Сысольска весть о страшной утрате.

— Вы знали Пушкина? — спрашивали его здесь.

И кажется, не очень верили, когда отвечал он, что знал.

Писал здесь Надеждин, по врожденной великолепной лености своей, крайне мало, и привычные, длинно и узко нарезанные листки неделями лежали на столе с одною лишь первую фразою, написанной продолговатым «надеждинским» почерком, подобным старинной готике. Впрочем, не одна леность была тут причиной. Надеждин не знал, за что ему приниматься?

Встреча с краями, «куда Макар телят не гонял», вела и его к тому же безопасному пристанищу, какое избрали в те годы многие сотоварищи по судьбе, вынужденные отправляться в дальние странствия с подорожными Третьего отделения. Таким прибежищем была этнография. Сколько их появилось в ту пору в России — этнографов поневоле, описателей жизни и обычаев тунгусов и самоеди, — а с ними и географов, открывателей сибирских горных хребтов, исследователей северных рек! В Усть-Сысольске Николай Иваныч Надеждин стал вникать в странный для его слуха зырянский говор, заинтересовался обилием древнерусских слов, сохраненных в великорусской северной речи.

Поначалу он брал широко, сближал этнографию с историей; на

узкий листок ложились слова, будто обращенные к привычной московской аудитории. Это их, прежних слушателей своих, призывал Надеждин к тому, чтобы «история почиталась не простым только упоминанием упокойников, но учительницей настоящего и истолковательницей будущего». Но в лабазном Усть-Сысольске широта давалась с трудом. Здесь скудельною становилась воля, и на весь остаток лет своих воротился отсюда Надеждин смиренным служакой-чиновником, так никогда более и не сумев вернуть к жизни Никодима Надоумку, неприметно почившего на берегах реки Сысолы.

Та же Сысола течет перед парком культуры.

Стоят с удочками пенсионеры и мальчишки.

Погудели друг дружке два буксира, разминувшись на стрежне. Длинный плот тянулся за одним из них против течения, к высокой трубе лесопилки. За другим шла вниз баржа, груженная бетонными плитами для какой-то стройки.

Вся видимая окрестность наполнилась драгоценным тихим покоем. Испытал ли когда-то над Сысолой то же чувство умиротворяющего спокойствия мой смятенный невидимый собеседник? Ведь все, чего здесь нельзя было увидеть век назад, сводится всего лишь к нескольким внешним приметам. Та же была река. И, быть может, даже пошире. Так же тащил поблескивающую под солнцем плотичку мальчишка в длинной белой сорочке, и еще глубже была тишина.

Но только она не умиротворяла, не могла умиротворить смятенную душу — тяжкая застойная тишь затягивающего болотца на оторванной от всего околице мира. Она тяготила, смиряла. Она и убила Никодима Надоумку.

В нынешней здешней тишине был словно роздых перед разбегом. Она не была тишиною убожества, не лишала воли, но только расслабляла уставшие мышцы, чтобы дать им новую силу.

И чувства околицы, оторванности, неодолимой дали — нет и в помине.

Тишину вспарывает грохот могора.

Развернувшись над Сысолой, ИЛ-14 зашел на посадку.

Может, Надежда открылась?

## 5

Так и есть. Самолет прилетел из Норильска.

Погода там, кажется, не улучшилась. Но, оказывается, здесь среди ожидающих вылета находится футбольная команда в полном составе. Если она не прибудет сегодня в Норильск — там сорвется назначенный на завтра спортивный праздник. Летчик вызвался лететь, несмотря на туман. Теперь вместе с футболистами могли отправляться еще человек пятнадцать.

Аэродром всполошился. Казалось, между самолетом, который пренебрег нелетной погодой ради футболистов, и следующими «бортами», которые нормально пойдут на Норильск, может миновать вечность. Пассажиры, намучившись в коридорах, скопом атаковали вдруг аэропортовские окошки и кабинеты. В ход пошли удостоверения — одно другого внушительнее, и дети — один другого мельче и умилительнее.

К чести сыктывкарского начальника перевозок — победили дети.

Вслед за пятнадцатью крепышами-футболистами, легко пересекавшими летное поле с фельдшерскими саквояжиками в руках, двинулись к самолету мамы с младенцами. Пошел с ними и мой ночной много-семейный сосед. Умытые, свеженькие ребята, мальчик и девочка, наверно погодки лет пяти и шести, прыгали перед отцом. Он еще раз прокричал мне свой норильский адрес.

— Смотри заходи!..

Самолет взлетел, развернулся на курс, и тут же на аэродроме стало известно:

«Открылась дорога!»

Теперь ИЛы с засидевшимися пассажирами стали улетать на север каждый час, а то и с получасовыми интервалами. Между Сыктывкаром и Норильском появился настоящий воздушный мост. Дисциплинированная, привычная очередь снимала со стенки аэропортовского павильона составленные ею самую список за списком. К новому рассвету дошел черед и до меня.

Самолет пошел на сравнительно небольшой высоте, но рваные серые облака тащились еще ниже; лес, завитки нешироких рек, желтая тундра мелькали порою в разрывах, и, не видя, а лишь по угадке памяти, я знал, что мы прошли над Ухтой и Ижмой, миновали Инту, подходим к Воркуте. И верно: вот разворот, снижение, привычно обрывается сердце, тучи уже под нами, дождевые капли секут по стеклам. Толчок — летчик выпустил «ноги». Еще толчок — «ноги» коснулись земли, и уже не дождь, а грязь, напитанная угольной пылью, что есть силы полосует по стеклам иллюминаторов.

Нет, не здесь садились самолеты лет восемь назад, когда Воркута только что впервые открылась для любого приезжего человека. Теперь аэродром ушел подальше от города. Тут слышались гудки маневровых паровозов, угадывалось близкое кольцо путей, соединяющих воркутинские шахты, торчал высокий террикон. Но города не видно. На краю летного поля еще не сняты строительные леса с большого аэровокзала. Дорожка к вокзалу еще не заасфальтирована, но катки уже стоят. В пассажирском зале хозяйничают малиры, но буфет работает. Вокзал строится с размахом. Что ж, это справедливо, тут размах нужен. Рядом большой город, большое перепутье северных дорог. И жаль, что не здесь пришлось скоротать вынужденное ожидание на пути к Норильску. Говорят, возьмем бензин и полетим дальше. Времени не больше получаса — никуда не успеть. А так хотелось бы съездить в город, поглядеть, какой стала Воркута за семь лет, что прошли с первой встречи.

В тот приезд, в 1957 году, открылась она с воздуха черным по белому — углем на снегу, пирамидами терриконов, шахтными копрами, пронзительным кукованьем паровозиков-лилипутов. Железнодорожные пути вольно вбегали в город, разрезая шлагбаумами главную улицу. Автобусы, где разбитые на ухабах стекла заменены листами промерзшей насквозь фанеры, «газики» в звонком седом брезенте дожидались перед закрытым шлагбаумом. Оленьи упряжки ненцев стояли у «гастронома». Заиндевелые стены домов. Чересполосица деревянных избушек и шегольских каменных зданий. Дань времени: обилие ничего не держащих колонн. Самые пышные колонны образуют ампирный фасад, украшенный надписью: «В о р к у т у г о л ь».

Похоже на Донбасс. Только мороз не донецкий. И не донецкий этот морозный туман над городом. И эти вертикальные тяжелые дымы. И облака пара, в которых спрятаны все встречные лица. В тот первый мой воркутинский день от жестокого холода спирало дыханье. В десять утра еще стояли сумерки, желтели на столбах уличные фонари; после одиннадцати электричество стало ненужным, небо прозрачно заголубело, а над Полярным Уралом невидимое солнце выбросило и высоко разметало нежные перья восхода. Но солнце так и не показалось; чуть не сразу где-то в другой стороне, над снежной тундрой, восход перешел в закат. розовое стало тревожно-багровым, и на улицах снова зажглись фонари.

Так вот она — Воркута.

Впервые это название я услышал давно. Знакомый паренек-ровесник лет тридцать назад рассказывал, как ездил туда с геологами.

Речь, конечно, шла о реке Воркуте. Никакого города и никакого вообще многолюдья в тех местах тогда еще не было.

Паренек говорил с гордостью: в какую, мол, глушь забралась, и как нелегко добирались, и как убедились, что должен быть в тех местах уголь. Он рассказывал, как разбивались на порогах лодки, купленные геологами у рыбаков-поморов. И даже в Москве долго еще не проходило у него удивление перед теми геологическими обнажениями, что открылись им в этой экспедиции на размытых и выветренных северных скалах.

В том рассказе неведомая страна Воркута была страной для людей веселых и сильных. Она была страной поиска и нахсдок, приволья и подвига.

Но потом я стал слышать о ней по-другому. Про Воркуту стали говорить полупшепотом и с оглядкой. Завелось там такое, чего — следовало так считать — как бы на самом деле вовсе и не было, или во всяком случае такое, о чем знать никому не полагалось.

Прошло еще время, и там обнаружился город. С тем же именем, что и река, и даже на железной дороге, неведомо как возникшей. Увидеть этот город можно было только на газетных фотографиях: дома с колоннами, улицы широки и не по-северному монументальны, а поехать туда по доброй воле нельзя. Город-мареву. А перед тем, как уже и поехать стало можно, такая случилась радость: объявились оттуда — сперва один, а попозже другой — два старинных моих приятеля, из тех, кто и сами для всех нас, остававшихся по эту сторону, тоже долгое время как бы и не существовали вовсе, ушли в безвесть, в запретное мареву. Случайное счастье, что выжили, а проще могли и не выжить. И вот оба они (все еще шепотком, все с оглядкой) пересказывали долготнее свое воркутинское житьишко, дивясь о т с ю д а, как стремительно оно т а м проходило, все дни промчались мгновенно и все — даже еще и сейчас — будто только что прожиты.

Когда снова появились наконец рядом с нами — из вечной мерзлоты — оттаявшие, воскресшие люди, многие испытали чувство невольной и необъяснимой своей вины и жестокою потребностью познаться: что же и ради чего вырвало стальных людей на долгие годы из общей жизни в обметанную колючей проволокой вечную мерзлоту? И многие задавали себе один и тот же вопрос: «Как так случилось, что судьба их миновала меня?»

Но выходило то же, что и на фронте: когда дура-пуля, обойдя одного, облюбует другого, и понять тут нельзя было ничего.

Собираясь впервые в Воркуту в 1957 году, я думал, что там отыщутся пусть и не все, но хоть какие-нибудь ответы.

Хоть и хорошо представлял себе, что той Воркуты, о какой недавно не следовало и думать, больше не существует.

И вот она, Воркута, какой я ее тогда увидел.

На улицах по пути в гостиницу встречалось много людей. Только лиц нельзя было различить в плотных скафандрах пара. И здания тоже возникали внезапно, когда прохожий оказывался у самых колонн, под грузным портиком тяжелого ампира. Казалось, из колонн, портиков и морозного пара состоит весь город; подуй только ветер — и вместе с развеванным паром исчезнет все: и преувеличенные колонны, испещренные внизу отпечатками теплых ладошек по мохнатому жирному инею, и обледенелые автобусы, и прохожие с седыми безликими клубами вместо голов, — останется снег, снег и на снегу, может быть, оленья упряжка.

Но в гостинице всякую призрачность как рукой сняло.

Повсюду, на лестницах и в коридорах, натоптано было темной грязи, разведенной талой водой. И сразу вспомнилось старинное лесковское словцо — так рвануло в оттаявшие ноздри стоялой, дурной с п и р а л ь ю. Толкались кругом — уже нетвердые на ногах спозаранок — командировочные под одолевающей властью бездомного ухарства.

— Пиво ленинградское в буфет привезли, — дружески сообщил на ходу небольшой дядя в тулупе, в малахае с хвостами и в подвернутых бурках. Он поспешал на головокружительный запах столовой, доносившийся с лестницы. А лицо у него было такое, словно мрачный шутник вставил в вынутую из борща свеклу вареные судаковые глазки.

И, конечно, выяснилось, что номера в гостинице нет. И койки нет. Может, после вечернего поезда что-нибудь и освободится...

Словом, тут все оказалось обыкновенно и давно знакомо.

Когда я входил в гостиницу, рассвет только начинался. А вышел — наверно, и получаса еще не прошло, — небо уже стало закатным. Туман рассеялся. На улице стало виднее. Колонны можно было различать издали. Улица теперь была тверда, несомненна, даже торжественна. Ее розовые большие дома стояли, как солдаты перед парадом. Зато на другой стороне этой улицы открылось зрелище, которое показалось мне призрачным: там была невидимая прежде в тумане, обнесенная колючей проволокой просторная площадь. Столбы с короткими лапами наверху. Лапы протянуты внутрь двора, и по ним тоже ряды колючки. По углам невысокие вышки с будками. Колючка во многих местах прорезана, свалась, топорщится ржавыми клубками над снегом. И вышки стоят пустые; повизгивают на ржавых петлях двери деревянных будок, хлопают без толку на морозном ветру. Сохнет во дворе задубелое на морозе белье, возятся в снегу ребята. Колючку и вышки недосуг убрать. А живут здесь люди; стоят обитаемые длинные приземистые бараки. А над бараками — высокие вертикальные дымки из печных труб.

Я пересек мостовую и вошел в один из разрывов в колючке по плотно убитому ногами снегу. Тропинка сама вела к барачному тамбуру.

Дверь не была заперта.

Внутри горели яркие электрические лампы.

Барак как барак. Заправленные по-солдатски койки. Шкафчики в изголовьях. Посредине большой стол.

Сейчас просторная низкая комната была почти пуста. Двое спали, бросив ватники поверх одеял. Лысоватый пожилой человек, пристроившись у окна на табуретке, подшивал ватную телогрейку под нездешнее легкомысленное пальтишко. Молодой парень в синем свитере с белыми олешками по груди писал у стола в тетрадке, то и дело задумываясь, записывая несколько слов или цифр и снова поднимая глаза в раздумье. Похоже, решал задачку. Когда я потоптался пошумнее у двери, он обернулся.

— Кого ищите?

К этому простому вопросу я не был готов. Впрочем, ни к чему я тут и не мог подготовиться. Минуты заусеницы ржавой колючки и пустую вышку со сгнившими, заметенными снегом столбами и сорванными — на растопку, наверно, — ступенями, я вовсе не представлял, куда приду и что там увижу.

Пришел в общежитие, такое же привычно-знакомое, как только что оставленная гостиница.

Парень повторил вопрос с откровенным нетерпением.

Надо было отвечать, и я ответил вопросом же:

— А тут кто живет?

— Сухопутные альбатросы живут.— сказал парень, усмехнувшись.— Строители.

А пожилой у окна поднял голову от своего шитья и дополнил объяснение, назвав номер строительного участка.

Тогда я сказал вдруг, сам своим словам удивляясь:

— В гостинице мест нет. Думал, может, в общежитии переночевать можно...

— Это надо к коменданту,— сказал пожилой. И вышло, что в высказанном мною предположении не оказалось, на его взгляд, ничего глупого или невозможного.

И парень подтвердил:

— Налево третий барак. Там коменданта спросите. Панков его фамилия. Семен Васильевич. А не будет — жену его спросите. Анну Ивановну.

Откровенно оглядев меня, он добавил:

— В случае чего, скажите — есть у нас одна свободная койка. Уехал тут один вчера в Хальмер-Ю на неделю.

Имена-отчества, да и вообще все слова своих фраз он выговаривал очень старательно, как бы несвободно. Но главное-то было в том, что и он, как и пожилой, ничуть моему предположению не удивился.

Оказалось, не я первый так сюда приходил. Правда, комендант сам решать не стал. Направил меня к своему начальству, в один из домов с колоннами по ту сторону улицы. Но командировочное удостоверение помогло. Разрешение было получено; про того строителя, что уехал в Хальмер-Ю на срочный ремонт столовой, начальство вспомнило и без меня — койка нашлась. Семен Васильевич Панков, немногословный человек в черной шинели и черной же старой шапке, сам застелил эту койку чистым бельем, крепко пахнущим рыбой,— мыло тут, наверно, такое, что ли. Итак, место мне было определено в том же бараке, куда я заходил поутру, и я возвратился туда, как домой, вдоволь найдясь по городу и закончив дела своего первого воркутинского дня.

Людей там было теперь куда больше. На столе стоял алюминиевый «артельный» чайник. С краю четверо «забивали козла». Тот пожилой, что посылал меня к коменданту, беззлобно ругался с партнером:

— Есть у тебя глаза или ты на них сидишь?! Я ему третью пятерку показываю, а с в о й ее в третий же раз кроет!..

Увидев меня, он сказал, как гостеприимный хозяин:

— Садись к столу, командировочный. Кипяток еще не простыл.

Парня с оленями не было.

Я налил кипятку в кружку и принялся болеть за козлятников.

В том бараке я прожил четыре дня.

Оказался я в нем девятнадцатым. Домой приходил сквозь разрыв в колючке, а потом узнал еще и другой разрыв и другую тропу, что началась прямо напротив кино. Были там еще тропки в глубоком снегу и еще развороченная колючка, так что ближний путь к здешнему моему дому можно было отыскать с любого конца. Помню, в первый вечер мне все хотелось спросить: почему до сих пор не удосужились снять ту колючку и снести вышки? Ведь неприятно, наверно? Но как-то не пришелся тогда такой вопрос к разговору. А на другой вечер я уже понимал, что и спрашивать нечего; никто тут про это не думает. Не вызывало это ни у кого из моих новых знакомцев решительно никаких рефлексий, в том числе и у тех, кто жила в таких же и даже именно в этих самых бараках. когда в них еще стояли не койки, а нары-вагонки, и колючка была цела, и вышки не пустовали.

Нашлись среди моих соседей и такие старожилы.

И бывал с ними разговор, отчего они до сих пор остаются здесь, а не вернулись в родные свои места. Спрашивал я про это и у парня с оленями — он тоже оказался из старожиллов. Звали его Владас Петрулис; родом он был из Жемайтии, из-под Шауляя.

— А я дома был,— сказал Владас, все так же старательно скатывая слова во фразы.— Три месяца прожил. В Рекиве купался, на Дубисе рыбку ловил, на солнышке грелся. А потом — взял билет, попрощался с отцом и с матерью и — снова сюда. — Он помолчал, чувствуя, что требуется объяснение, и сказал самое простое: — Дома столько не заработаешь. Отсюда и домой посылать можно, и себе очень хватает. И таких, как я, тут принимают охотно: не новички, опыт есть. Северная шахта — строгая, к ней привычка нужна. Я в горном техникуме учусь. Еще год — и кончать буду.

Владас повторил про деньги:

— Домой могу каждый месяц посылать рублей полтора.

— Выходит, вы шахтер, а живете здесь, у строителей?

— Временно. Наш дом сейчас на ремонте.

Я узнал, что в том доме у Владаса есть комната, где он живет вдвоем с земляком. Земляк на время ремонта пристроился в Доме культуры: разрешили поставить койку в актерской уборной; а Владас тут, у старых приятелей. Проживет еще с недельку, а потом обещали путевку в профилакторий. Ну, а там и ремонт общежития закончится, можно домой.

На вопрос, что же это такое профилакторий, Владас ответил:

— Сочи без отрыва от Заполярья.

С привычной своей обстоятельностью рассказал, что профилакторий построен невдалеке от шахты, являться туда надо каждый день после смены, путевку дают на двадцать четыре дня. Владас перечислил все, что он там за это время получит, подщелкивая слова, как костяшки на счетах: лечебное питание (конечно, упомянул, что «трехразовое»), ежедневные облучения «горным солнцем», лыжные вылазки по вечерам, свой каток на ледяном озере... Почему-то с особым удовольствием отметил, что и пижаму там тоже каждому дают.

Обо всем этом Владас говорил так, словно нарочито хотел подчеркнуть, что за его выбором ничего нет иного, кроме голого денежного расчета. Выходило, только из-за денег в Воркуту и вернулся. Бывает, конечно, и так. Но только, если б у него именно так было, не стал бы, пожалуй, Владас Петрулис столько об этом говорить — будто самого себя убеждая, будто стараясь отогнать от себя ненужные размышления и сложности.

Потом уже, после Воркуты, встречал я многих таких, оставшихся на старых, не по своей воле обжитых ими местах. Встречал и на Чукотке, в Певеке. Один старый «вор в законе», тоже угольщик, объяснял там начистоту: «Остался, чтобы отстать от дружков». То есть чтобы не было никакого соблазна. И уверял, что такая причина не у него одного.

Но это, как говорится, «особь статья»; эти-то знали, за что их сюда везли.

А те, кто попадал за колючку, никакой вины за собою не зная, искалеченные вздорными, чудовищными обвинениями, сломленные физически и вынужденные буквально на краю могилы собирать последние духовные силы, чтобы не сдаться морально,— люди, для которых встреча с этой землей становилась проклятьем и мукой, неужели они могли оставаться, когда ничто уже больше их здесь не держало?!

Оказалось, могли. Я знакомился с ними в Воркуте и в Норильске, встречал в Магадане: инженеры, учителя, врачи, архитекторы.

Хирург с именем — когда он бывает в Москве, на его операции приходят не только студенты, но и пожилые, тоже именитые коллеги, — шел как-то со мною по магаданской улице.

Было начало осени, теплый сентябрьский день — лучшая пора в Магадане. Перед светлыми большими домами оставались таежные лиственницы. Под ними — трава газонов и пестрые цветники. Просторные кварталы — вверх-вниз; но под асфальтом уже не угадать недавних таежных распадков. А совсем внизу — портовые краны, белые корабли, стылая празелень Охотского моря, скалы, замыкающие бухту Нагаево. И вокруг — много людей, торопятся машины, играют дети.

Ответив кому-то на поклон, хирург сказал:

— Тут же ничего не было. Я это строил своими руками. Смотрите сами, разве это не хорошо?

Сам того не думая, он почти повторил слова, приписанные Ветхим заветом господу, сотворившему мир. И он остается в мире, им созданном. Не может не оставаться. Даже помня всегда о том, как его привезли сюда четверть века назад — при папке, в которой дубовыми словами излагалась бредовая и чудовищная чепуха о том, что он, мол, собирался резать на операционном столе некое высокопоставленное лицо. И на той папке было написано: «Хранить вечно».

Не помню, он ли, другой ли кто, повторял строки:

Земля пробитых в глушь путей  
И молодых огней и дымов,  
Как мало знала ты людей,  
Кому была б землей родимой.

— А ведь стала, силком стала, а — не отвяжешься.

Сказано это было вслед за стихами, с сердцем. Но «не отвяжешься» — это правда, ничего тут не поделаешь.

В тот первый раз, в Воркуте, Владас Петрулис пытался показать, что все дело в рубле. Однако поверить ему было трудно.

Конечно, разные там встречались люди.

Утром у дверей гостиничного буфета куражился чудище-парень с распадающимися надвое жирными белыми волосами, тот, наверно, и в самом деле приехал сюда за рублем, и только. Никаких тут сложностей и заподозрить было нельзя. Заработал и пропил. Для того и работал, чтобы было, что пропить. Или еще старуха, которую видел я тогда в воркутинском «гастрономе». Она тоже куражилась, ерничала, приплясывала, протискиваясь без очереди к стойке, чтобы налить в свой желтый, давно невымытый графин литр плодоягодного вина — единственное питье, какое было здесь в ту пору в продаже. Седые космы выбились у нее из-под шерстяного платка. Она надсадно орала частушку, ясно выговаривая срамные слова и притопывая ногой в сером хорошем валенке. Нос крючком, сама крючком — ведьма на шабаше, да и только! Страшно и унизительно для старости было ее разухабистое веселье. Но при том какое же невеселое равнодушие стекленело в ее склеротических глазках. Впрочем, на старуху никто не обращал внимания. Из людей, толпившихся в магазине, никто ее не осуждал, не одобрял, никто не улыбнулся и не нахмурился. Смотрели, как на загородку кассы или на магазинный прилавок, — давно уже знали здесь все ее коленца, осиплый голос, словечки частушек.

Зато битый остой крепкий усач в железнодорожной шапке перехватил мой любопытствующий взгляд и с готовностью объяснил:

— Поп наш. Игнатъевна.

Увидел, что объяснения я не понял, и рассказал подробнее.



Игнатъевна появилась в Воркуте года три назад. И сразу стало об ней известно, что она умеет обрядовать покойников и читать над ними «три акафиста».

Воркута — город новый. Церкви в нем никогда не бывало. А люди приезжают разные. И есть среди них твердо убежденные в существовании загробной жизни и посмертного утешения, а значит, и в том, что покойника надобно в его новую жизнь провожать достойно, чин по чину, под «три акафиста». И если они, живые, об этом не позаботятся, то их, живых, долго будут терзать неисполненный долг и нечистая совесть.

Игнатъевна все прикинула — ее не случайно сюда занесло. Вот она-то ехала в эти края по расчету и прицел у нее был снайперский, в яблочко — здесь она сыта, пьяна и нос в табаке. Надсаживалась она и ерничала по закоренелой нищенской привычке. Но одета была тепло и дорого, как, наверно, никогда прежде. Космы грязные, а платок на них хоть и засаленный, а дорогой — оренбургский платок. И тулупчик не одну сотню стоил. А докричав про то, чего девка хочет от парня, если он росточком не вышел, и пробившись тем временем к самому прилавку, она вдруг с трезвой строгостью спросила у молодой продавщицы:

— Ликерчику сладенького не ждете? — И укоризненно отметила: — И коньячку у вас давно что-то не было.

— Правильно, бабка, пиши в жалобную книгу, — подначил усатый железнодорожник.

Но Игнатъевна не откликнулась, взяла графин — и уже не стало ее в магазине.

Вечером я помянул про встречу с Игнатъевной, когда сидели мы у артельного чайника в бараке.

— Бабка с шариками, — откликнулся Петр Кузьмич, пожилой строитель, и пристукнул костяшкой домино по зыбкой доске столешницы.

— Чего только к нашему берегу не прибывает, — поддержал разговор другой и тоже придвинул костяшку.

— А вы дочку ее не видели?

Это спросил Оноприенко, тоже «старожил», застенчивый и деликатный земляк мой. Еще ни разу не слышал я, чтобы сам он заводил разговор, а если его и спрашивали — отвечал смущенно, немногословно и тихо. Из таких его ответов мне уже было известно, что сюда его привезли в 1948 году; был он до того полеводом в колхозе на Черкасшине и, оправдываясь перед районным начальством после неурожайного лета, позволил себе произнести неуважительные слова о кок-сагызе. Теперь эту тяньшаньскую травку не все уже на Украине и помнят, а в те годы на берегах тихой Роси и Тясьмина выращивали ее усердно, и недружелюбное слово, сказанное сгоряча полеводом, обернулось против него приметой злостного и коварно рассчитанного вредительства. С тех пор полевод успел стать искусным и даже знаменитым в здешних местах столаром. Там, на Роси, вспоминалось ему отсюда больше таких людей, с которыми повстречаться он хотел, по его собственным словам, «хіба що в пеклі». Семьи не было. О родне ничего не слыхать. А тут знакома ему была «кажда цяточка» — и в «цяточки» эти свой труд вложен, и своя гордость. Прочная привязанность его к здешней жизни была на взгляд до удивления легкой и тонкой: нажито было лишь то, что на койке, да то, что под койкой, в рукодельном фанерном чемоданишке. Больше ничто его к этому бараку и к этой мерзлой земле давно уже не привязывало — кроме своей охоты, своей памяти и собственного выбора. Но вот удержали и продолжали держать накрепко — и охота, и память, и выбор.

Слова его про дочку Игнатъевны вызвали всеобщее оживление.

Один только Владас не принял в этом оживлении никакого участия. Напротив, он с преувеличенным трудолюбием ушел в свои тетрадки и книжки, будто спрятался в них с головой, изображая глухоту и даже совершенное отсутствие.

А про дочку Игнатьевны заговорили не только козлятники — сразу и с коек отозвалось несколько голосов.

Говорили по-разному. Одни — с лицемерием старости, помнящей, что яблоко вкусно, но осуждающей его за то, что оно не по зубам ей. Другие — с завистью, что ухватили это яблоко чужие руки. Были тут и сплетня и правда, и более всего видно было, что чем-то обожгла Римка каждого, кто ее встретил; ей этого никто не простил, и сама она платится за это, живя под чужими взглядами, что следят за каждым ее шагом: «Только бы оступилась...»

— Для кого, а для Римки ничего не пожалела Игнатьевна, — сказал патриарх барака бетонщик Латышев.

Увидеть Римку так мне и не случилось.

Я только узнал, что она работает нарядчицей на автобазе, живет в общежитии, мать видеть не хочет (Латышев не одобрял: «Все ж таки кровь родная. И как подарки брать от матери, так не отказывается же, берет!»).

— Ничего она от нее не берет! — взвился на слова Латышева Владас Петрулис.

Но тут я из общего гомона, шуток и смеха узнал, что к ней-то, к Римке, и ходит Владас вечерами, хочет жениться, а она «еще кочевряжится».

Что ж, в общежитии — все на виду, все снаружи, ничего от соседей не спрячешь.

За четыре дня я тоже узнал там все маленькие секреты, и даже замкнутый Оноприенко смущенно советовался со мною в последнее утро перед нашим прощаньем. Зашел он издалека — стал рассказывать, как работает в гостинице, делает для номеров фасонную мебель, хочется сделать, как получше, а дерево дали дрянное, совсем сырое дерево... Но так получилось, что с дерева перешел он совсем на другое. Работает там в гостинице, на этаже, женщина одна. «Ну, сказать бы, землячка, только не с Надднепрянщины, а из-под Львова, из Станиславской области... Моих лет, — оправдался Оноприенко. — И тоже никого родни не осталось».

Ему одно не давало покоя:

— Поздний брак — ведь засмеют же люди старого черта! А через меня — хорошей женщине один стыд...

А в одиночку тоже плохо: сердце застыло.

Сколько же лет ему? Угадать было нелегко. Голова крепко поседела. Зубы погублены цингой. На запавших щеках морщины... Лет пятьдесят? Побольше?

Оказалось, тридцать восемь.

Может, отогреется — помолодеет.

Я видел своих соседей и на работе. Борис Волков, арматурщик, окликнул меня, когда я проходил мимо строительной площадки, такой же, какие были чуть не на каждом квартале.

— Своих не замечаешь?!

Тут поднимались леса, и большой кран — привычно, по-московски — забирал со снега бетонные плиты с проемами дверей и окон и подавал их на четвертый этаж. Старик Латышев махнул мне рукой. Дом строился по-северному: вместо обычного фундамента в вечную мерзлоту залочены были бетонные сваи, и на них дом повисал над землей. Так строят в этих широтах, чтобы не греть теплом жилья мерзлоту, чтобы не

проседала под стенами оттаявшая болотная почва. Похоже было, что этот дом в отличие от своих старших соседей будет обходиться без колонн.

Архитекторы показали мне тогда новую Воркуту будущих лет. Ее кварталы существовали пока лишь на синьках и на листах шершавого ватмана — в чертежах и шегольских рисунках. Там были дома в четыре и пять этажей — близнецы тех, к каким привык уже глаз в Химках и в Хорошеве, в Сетуни и Черкизове. Квартиры, общежития, школы, больницы, клубы. Много стекла и не по-здешнему пестрые стены. На одном из листов был эскиз площади. Просторное административное здание стояло в центре сквера, среди деревьев, цветочных клумб и зеленых газонов.

— Не верите? — угадал мои сомнения архитектор. — Может, деревья будут, и верно, пониже. Да тут ведь тени никто и не ищет. А зелень будет. И цветы тоже будут. Это у нас и теперь можно видеть, приезжайте в августе.

Но меня не сад удивил.

Я узнал на рисунке ту самую площадь, с которой пришел сюда. Сомнений не могло быть. Знакомый квартал поднимался напротив сквера. Та самая гостиница, та же вывеска «гастронома». Тут ничего не менялось. Но зелень травы и фасад со смело вынесенным вперед бетонным козырьком над подъездом находились на том самом месте, где я только что оставил комья ржавой колючки на почерневшем от угольной пыли снегу.

Исчезнет все разом: и колючка, и бараки, и вышки с будками, где так уныло хлопают вечерами гнилые двери на скрипучих петлях.

Наверно, на эту новую строительную площадку придут и Волков и Латышев. Придут, быть может, из того самого дома, который строят они сейчас. Но вряд ли их потянет сюда перед началом стройки — поглядеть, как тракторы станут утюжить площадку, подминая гусеницами столбы и шелевку, обнажая неприглядное нутро недавнего их жилья.

Шесть лет прошло. В 1963-м я снова ступил на воркутинскую землю.

Пока бензозаправщики переливали горючее в самолетные баки, мне вспомнились те старые воркутинские встречи. Где Владас? Перестала ли «кочевряжиться» Римма? Женился ли Оноприенко? Есть ли уже в Воркуте новая площадь и похожа ли она на тот нарядный рисунок, каким хвалились тогда архитекторы? Может, и деревья выросли? Я остановился у лесов нового аэропорта. Совсем молодые ребята, «ремесленники», подавали наверх раствор. Их инструктором был тоже молодой парень, лет тридцати. Не знает ли он тех старых воркутинских строителей, с которыми на несколько дней свел меня случай в самом обыкновенном из общежитий? Но парень прожил здесь только два года и считает дни, когда кончится третий (на три года он подписал договор, а уже не терпит к нему вернуться к себе, в Смоленск). Нет, никого не знал он из тех, кого я запомнил.

— Вот Латышев, кажется, имя знакомое. Что-то я слышал. Да ведь строителей тут — что шахтеров. Разве со всеми познакомишься?!

Дежурная по аэропорту позвала норильских пассажиров на посадку. Пилот заложил круг над городом, и снова я напрасно смотрел вниз, стараясь разглядеть улицы, дома, ту площадь. Виден был большой город. Под крылом самолета он быстро вращался; на вираже дома приближались, словно падая навзничь, и тут же удалялись, непохожие на те, что помнились мне по зимним здешним прогулкам. Показалось, будто мелькнули, тоже заваливаясь назад, толстые колонны «Воркутугля». Но, может быть, это был совсем другой дом — шахтный клуб и столовая,

куда водил меня Владас. Такие же точно колонны были и там. Но вот уже и город кончился, только узкая полоска железнодорожного полотна проваливалась вместе с плоской тундрой, отходя все дальше от взмывающего вверх самолета и указывая дорогу на север, к Хальмер-Ю.

До Надежды оставалось три часа пути.

## 6

Просто невероятно, каким жарким, чуть ли не знойным местом оказалась эта достигнутая наконец Надежда!

Августовский день был здесь не прохладнее, чем в Москве. Сегодняшние дожди Сыктывкара и Воркуты показались отсюда наваждением. Люди на перроне аэровокзала щеголяли в светлых сорочках без рукавов, а загорелые отпускники, прилетевшие вместе со мною, никого не могли поразить под этим солнцем.

В Норильск уходил автобус.

По его растрескавшимся стеклам и преждевременной дряхлости можно было представить, что за дорога ведет отсюда в город.

Оказалось, однако, что все это старые травы. Сейчас и дорога вполне пристойна. Где-нибудь в Певеке или в Тикси о таких и не мечтают.

Сквозь растресканное стекло, сквозь пыль, вовсе не по-заполярному поднятую на дороге, видны невысокие горы. Вспоминаю читаное о Таймыре. «Хребет Путоран...» Звучало красиво. «В горах Путорана...» Еще красивее. Выходит, они это, что ли, и есть — горы Путорана? Невысокие, голые, покрытые темными каменными осыпями; правее дороги — поближе, левее — подальше. И у подножья — вся тундра в цветах.

Довольно скоро показываются большие заводские корпуса, вокруг — та же цветущая, празднично-пестрая тундра; невдалеке — вышка на холме, в ее назначении невозможно ошибиться: та самая телевизионная вышка, о которой говорилось еще в Сыктывкаре. Потом вдруг озеро. С белыми парусами нескольких яхт и — вовсе уж чертовщина! — с купальщиками, да, в самом деле с купальщиками на светлой глади. Может быть, я не приметил в пути какого-нибудь разворота; может, вовсе не в Норильск прилетели мы, не за Полярный круг, а приземлились где-нибудь у обжитого уральского города? Но тундра-то без обмана, ее не спутать ни с чем, и мои норильские спутники сидят спокойно, придерживая авоськи с привезенными из отпуска фруктами. Они — дома. Автобус проходит у самого берега. Девушка в купальнике выходит из воды. За озером — еще завод с багровыми отсветами плавки, и еще гора, опоясанная горизонтами выработки.

Город начинается старой улицей. Большие деревянные дома, не бревенчатые, леса тут нет — экономят, строят засыпные, из досок. Впрочем, надо говорить не «строят», а «строили». Теперь строят совсем по-другому. Кроме нескольких деревянных кварталов, Норильск — город не деревянный, а каменный. Хотя и «каменный» — это здесь тоже устарелое слово. Новые дома Норильска изготавливаются на большом домостроительном комбинате. Тягачи доставляют на площадку бетонные плиты перекрытий, балки опор, готовые стены. Но это я увидел потом. Сперва автобус пересек железнодорожный путь и выехал на полукруглую площадь.

Неподалеку виднелась платформа станции.

Платформа похожа на пригородную. Она и есть пригородная, а подальше построен вокзал по всей форме.

Дорога из Норильска ведет к Енисею, в порт Дудинку. Всей дороги — сто двенадцать километров. До других железных дорог отсюда не

меньше двух тысяч километров — что на юг, что на запад. А на восток — тундра и тундра, до самого края земли, до Чукотки.

Человека, у которого представления о Севере книжные, рассказом о Норильске удивить нелегко.

Город, где населения сто тысяч человек с лишком, стоит на семидесятой параллели.

— Ну и что,— скажет знаток географии.— В Мурманске жителей четверть миллиона, и тоже — шестьдесят девятая параллель.

Возразить трудно. Но только ведь Мурманск выросал, когда к Кольскому заливу вела уже железная дорога из Ленинграда, и ехать по этой дороге — даже тогда -- приходилось около двух суток.

И строился Мурманск на самом берегу Кольского залива, куда заходит теплый поток Гольфстрима, создавая здесь незамерзающий порт открытых океанских дорог. А Норильск поднялся в глубине Таймыра, на вечной мерзлоте. До воды — больше ста километров. Да к тому же и Енисей и море освобождаются тут ото льда на каких-нибудь два месяца в году.

Нордвик и мыс Челюскина, остров Диксон и Северная земля, пролив Вилькицкого и горы Бырранги — все это здесь географические понятия куда более «свои», все это лежит на расстоянии куда более близком, чем даже краевой центр — Красноярск.

И совсем недалеко еще времена, когда зимовать на Таймыре вызывались считанные смельчаки и их имена становились известными всей стране, как стали когда-то известны имена полярника Георгия Алексеевича Ушакова и геолога Николая Николаевича Урванцева, начавшего поиски в горах Путорана в 1919 году и нашедшего затем все те сокровища, ради которых и построен был здесь Норильск.

Урванцев начинал свои поиски вместе с последним подвижником-землепроходцем Никифором Бегичевым, принадлежавшим к тому же удивительному племени, из которого вышли в свое время Семен Дежнев и Харитон Лаптев, Савва Лошкин и Ерофей Хабаров. Мне еще случилось познакомиться с одним из людей этой доброй и редкостной заваксы. Летом 1935 года зашли ко мне два моих приятеля — полярные летчики. Одним из них был Сигизмунд Александрович Леваневский. Вскоре он трагически погиб — на тех же ледовитых просторах, — отправившись в первый перелет из СССР в США через Северный полюс. Обстоятельства его гибели остаются неизвестными до сих пор. То была одна из последних наших встреч. Запомнилась она — легкой и беззаботной, не омраченной никакими предчувствиями. Летчики привели с собою незнакомого мне пожилого человека — высокого, прочного, с седеющими усами. Костюм сидел на нем так нескладно, что я принял его за военного, которому редко приходится ходить в штатском. Но он оказался северным охотником, «промышленником», как сам он себя называл. Летчики представили его: Журавлев Сергей Прокофьевич. Семья Журавлева жила в Архангельске; происходил он из тамошних поморов, но большую часть своей жизни провел на Новой и на Северной землях, а последние зимы на Таймыре. Жена тоже ездила с ним, и детей он брал туда, «чтобы привыкали». С Таймыра Леваневский и прихватил в самолет Сергея Прокофьевича — показать Москву, где тот никогда еще не бывал. Летчики шутили: мол, в Москве сник Журавлев, ходит оглушенный, надо его спиртом лечить...

Они в самом деле принесли с собой спирт, привезенный с Таймыра. И едва присоленную, золотую от обильного жира енисейскую нельму.

Но Журавлев пил мало. Он жаловался на головную боль, ворчал, что надо ему торопиться в Архангельск — готовиться к новой таймыр-

ской зимовке. Отправляться на промысел он и на этот раз собирался, как всегда, вместе с женой своей Марьей.

Потом он все же разговорился. Перебирал все девятнадцать своих зимовок, вспомнил Бегичева — с ним «промышлял» не раз. Рассказывал про последнюю таймырскую зиму.

Никто из нас не знал тогда, что в будущем году на Таймыре суждено начинаться Норильску.

Журавлев Норильска уже не увидел. После полета в столицу он никогда больше не вернулся на Таймыр. Оказалось, что в Москву Сергей Прокофьевич прилетел уже в самом деле тяжело больным. Вскоре — в Архангельске — он умер.

Прощаясь, он оставил мне на память тетрадку своего дневника.

— Чего не рассказал, тут прочтешь.

Недавно я снова нашел эту тетрадку.

Помор-охотник начал ее эпитафией, взятым из сочинений Фрэнсиса Бэкона: «С одними руками или с одним разумом недалеко уйдешь. Ни в области умственного, ни в области ручного труда ничего нельзя сделать без необходимых орудий и средств».

Занятно, что именно эти слова старинного философа привлекли внимание человека, который, как никто другой, всей своей жизнью приучен был более всего полагаться на сноровку собственных рук и на свою сметку. За первым эпитафией следовало четверостишие, написанное, как можно догадаться, самим Сергеем Прокофьевичем:

Что нам грядущее готовит:  
Победы ль новые в боях,  
Иль западню судьба устроит  
Во мраке ночи и во льдах?!

Дневник свой Журавлев вел день за днем, со штурманской точностью, унаследованной, наверно, от дедов — поморских кормщиков. Скрупулезно отмечал широты и долготы тех мест, куда приводил его промысел. Но тут же и размышлял, рассказывал о спутниках, об охотничьих удачах и неудачах, о повадках зверя и нравах ездовых собак, о спорах и праздниках. Рассказывал с драгоценным талантом раскованной откровенности и внутренней свободы ума.

Последнюю зиму Сергей Прокофьевич Журавлев провел на северо-восточной оконечности полуострова Таймыр, недалеко от Нордвика и мыса Челюскин.

Тетрадь кончалась записью, помеченной 24 августа 1935 года. Странно было подумать, что это писалось всего лишь за несколько дней до нашей встречи в Москве, в тогдашней моей восьмиметровой комнате на Садовой-Самотечной.

#### «СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВИЧА ЖУРАВЛЕВА

1935 год. 29 января. Из лагеря выехал в 12 часов курсом на Бегичев. Сначала та же адская дорожка. Но за километра четыре стало значительно лучше и показался остров Бегичев. Километров семь-восемь еду почти по гладкому льду, и наворачивается мысль, что легко отделался. Но подожди кричать «гоп», пока не перепрыгнешь.

И что точнее всего — с километр до Бегичева не допустило. Такой хаос торосов, что пешком только и пробраться, да и то с трудом. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. А вдоль залива, вдоль нордовой стороны Бегичева тянется пояси́на чистого ровного льда, пайда, резко ограничен-

ная со стороны Бегичева непроходимым барьером. Видимость слабая, и дальше ничего не видно.

Поехал вдоль этого барьера. Ехал я, ехал, долго ли, коротко ли, в общем, до слепой темноты. Потом позволило курс держать к зюду. В темноте увидел справа контур земли — подъехал и остановился. На льду нашел растерзанного волком оленя. Ноги лишь валяются и брюшина. Ноги забрал.

Что за местность, черт возьми?!

На берегу видно, что были люди осенью, — ведена съемка берега. Стоят старые песцовые ловушки — посники. Бездействуют. На Бегичеве ли я? Если востовый край — указан низкий берег, а я вижу высокие наволоки и выпадающие реки. Утро вечера мудренее. Остановился на ночлег.

30-е. Утро ничего не принесло доброго. Остовый ветерок. С моря гонит туман, куржак, ничего не осмотришь. Что это? Бегичев, или мыс Преображения, или Кара-Тумус? Поехал в остовом направлении — что-то объявится? Тут нашел я и низкий берег, так что два раза незаметно оказывался на земле. Видел стада оленей. В одном двенадцать голов, а в двух по три. Не до оленя мне, да и тихо — чуть с оста тянет.

Повернул к норд-осту, пошло дело. Похоже, что на Кара-Тумусе. Нашел значок, на нем записку: дата «3 сентябрь 1934 года» — два человека приходили, ушли на мыс Западный... Туман чертов! И в этой мрази вижу — контур земли, какое-то возвышение. Это не иначе, как гора Нордвикского мыска. Попер, зная, что скоро совсем закроет. Определил курс. Выходит, норд-ост! Лед от берега ровный, а дальше пошел торосистый, но я уже привык к худшему — еду, да и только. Стало совсем темно. Собаки изнемогли. Земля недалеко. Темнеет. Небо водяное. Бах! — подъезжаю — чистая открытая шель воды, с метр шириной. Вгляделся как следует, вижу — в полкилометре чистая вода. Ну и дела! Даже и секунды на размышление не было: лево на борт и — курс вост. В это время — нужно же року преследовать! — динамой продавило постельник на санях. Что тут делать? Хотел я бросить к дьяволу эту чугуину и удирать до берега. А завтра, если она морю не нужна, съездить подобрать. Но в конце концов перевязал снова, подложил обломки хорея для прочности и шкуру. Торос у берега ужасный, но не больше чем на километр отъехал, и представилась возможность выбраться на берег. Тут стоят давно поставленные в землю плавничины. Никаких признаков пребывания человека зимой, в темноте не нашел. Проехал вдоль берега полтора километра. Но куда ошупью поедешь, если день потерян черт знает на что? Собаки едва живы. У передового палец совсем разболелся. Бедная собака — на трех ногах работать приходится и некогда беречься: угрожает отвалиться палец.

Остановились на ночь. Ветер востовых румбов, сильный. Керосин весь в примесе вышел. Начало житье собираться все уже и уже. Собакам корма хватит дня на два впроголодь. Но теперь хоть на сухом берегу. Часа два-три назад положение было незавидное — после затишья оказаться у открытой воды, при раздуваемом горном ветре. Кто бывал в такой переделке, тот легко поймет, а кто не бывал, тому никак и не вообразить, чем тут пахнет. Медленная, мучительная и неизбежная гибель. Если оторвет на льду — лучше стреляйся, чтобы не мучиться.

Поставил палатку, согрел чай, и амба! Керосин нужно беречь. Примус гаснет. Черт знает, когда доберемся до живых людей. Хотя масса плавника на берегах, но в палатке огонь держать нужно. Забрался в мешок. Зло берет на слепую погоду.

31-е. Утро. Совсем обещает быть слепой день. Поднялся на верх острова. Видна вода с остовой стороны. Больше всего похоже, что это

Встречный. Поехал к норду вдоль берега и через пятнадцать минут вижу дом и мачты рации. Это тоже неплохо. Зашел в дом, отрекомендовался бродягой с Прончишевой, и — чай пьем.

Собакам корма много, а это главное. Теперь — до доброй погоды пусть собаки отдохнут, и сам посушу одежду. Тело горит, что в огне, от пота».

Пропускаю записи трех месяцев.

Сергей Прокофьевич ходил за это время по песцовым капканам и медвежьим западням, расставленным на площади в несколько сотен квадратных километров, воспитывал вместе с Марьей ездовых собак, искал и нашел двоих заблудившихся полярников, повстречался на зимовке с Иваном Папаниным, который вместе с товарищами привыкал к Северу на Таймыре перед тем, как отправиться на Северный полюс.

Взошло солнце. Полярная ночь сменилась полярным днем.

И вот снова — обыкновенные таймырские дни 1935 года:

«Май. 21-е. Собаки сильно устали. Один идиот Сокол — симулянт. Самая сильная собака, а не работает. Есть собаки — совсем шенок, а из последних сил тянет, просто жаль становится, а лодырь лодырем и остается. Ну, а будем кормить — чуть прогляди, сожрет и свою порцию, и у соседа непременно отнимет. Надаешь по морде палкой, а ему все равно.

Сегодня корма нет. Отдал отважным работникам весь свой запас: галеты, сухари и еще кое-что.

Прошел сегодня добрую сотню километров.

Стоял до тринадцати часов. Еду вдоль длинной горы по курсу к горе Волчьей.

Проехал **Волчью**, поднялся на водораздел и стал на привал.

Отдохнули три часа, еду дальше, сделаю километров тридцать — сорок, и если собаки совсем не пойдут, сегодня же убью одну, и пойдет на корм другим. Я этих вещей еще никогда не практиковал, но, может, сегодня придется — ослабели собаки, да и молодцы еще для таких походов.

Погода портится, но ветер попутный. Еду. Отъехал километров с двадцать, вижу: едут на двух упряжках по два человека. Это наши ребята везут Прахова и механика на Самуил.

Съехались. Поздоровавшись, покалякали и хотели было разъезжаться, каждый по своему пути, но погода резко испортилась, повалил снег, и — никакой видимости. Остановились, распрягли собак, дали по куску мяса и моим собачкам (это дело!). Я своего Бандита везу уже на санях: обессилел пес совсем, да пришлось еще за упряжку дать взбучку, ну и совсем не пошел. Ничего, заставлю работать, неправда!

Узнаю от ребят, что промысла нет в Прончишевой никакого.

Сала половина привезена на базу. Заготовлено дров на распутицу.

Рассказали, едет здесь с работой геолог Смирнов. Он только что, за час до нашего съезда, остался один. Должен ехать около гор к Прончишевой. И люди же есть! В такую дорогу зятанут человек и оставлен без палатки. Что тут может быть?! Со своей стороны, так думаю: кроме хорошего, тут всего жди. Уже сейчас он обречен копаться в снегу и остается без воды для питья: при ветре примуса ему не разжечь. Сам весь будет мокрый — через десять—пятнадцать часов. А что дальше? Если погода будет продолжаться дней шесть—десять, ну и считай рыбу!

Нет, Арктику так не победишь. Надеяться на хорошую погоду можно лишь тогда, когда ты и для борьбы с самой плохой готов.



22-е. Поставили палатку и лежали до полудня.

Погода прояснилась. Свет от свежего снега такой, что без очков нельзя глаз показать на открытый воздух.

В тринадцатом часу я поехал искать Смирнова, а товарищи поехали по курсу к Волчьей горе. Я просил, чтоб спускались ко Кресту. Там есть и корм и керосин.

Проехавши километров восемь—десять, вижу еще свежую, после снега, лыжницу. Но куда человек ездил, это понять трудно: управлять собаками не умеет, а они, видя это, вдосталь проявляют свои симулянтские выходки. Ездит, рисуя зигзаги.

Мне нельзя нипочем бросить лыжницу — нужно найти человека. Потом вижу — дело пошло лучше. Направление — вдоль гор, на Прончищеву. Погнался по следу. Километров сорок пришлось гнать, прежде чем догнал. Собаки у меня усталые, а у него сани легкие и собаки свежие. Работа его лишь в двух местах задержала. Наконец мои собаки взяли в вид движущуюся точку и пошли быстрее. Догнали!

Сразу поставили палатку, сготовили обед. Как и можно было ждать, Смирнов вот уже скоро сутки, как не пил воды, а пользуется снежком. Взял у него мясо и накормил своих собак.

Часа три отдохнули, поехали дальше, ехали до утра.

23-е. Стали лагерем в Большой Долине. Скормили весь запас мяса, что был у Смирнова. Погода дует вовсю. Снег валит вгустую. И то на пользу: пусть отдохнут собаки. Около палатки сделало такой забой, что некоторые собаки оказались в берлогах — на них добрых полметра снега. А у нас в палатке уют.

24-е. Сидели так около суток. В три часа начало продирать, хотя ветер все еще крепкий. В пять часов выехали, видимость есть, едем около гор, хотя и трудновато, но собаки отдохнули, кое-как бредут.

Отъехав километров за пятнадцать от лагеря, увидел оленя. И он меня. Конечно, был далеко, вне обстрела; олень убежал; еду дальше. Еще проехали километров пятнадцать — увидел сначала две точки. Гляжу в трубу — олени. Начал охоту. Подъехал на собаках, сколько позволила обстановка, и пошел осмотреться. Насчитал шесть оленей — быки.

Смирнова оставил у собак, сам пошел, но место неподходящее — далеко все на виду; выждал время, когда они стали переходить в долину. Подбежал на край долины и начал отстрел. Трех убил. Но сильный ветер, и стрелять пришлось после сильного бега, и не видно — куда падает пуля. Остальные ушли. Ну, нам пока хватит. Начал разделять добычу. Смирнов подтянул обе упряжки собак к месту добычи. Как есть, в полном смысле этого слова, «подтянул», нипочем не идут у него собаки, вот же черти!

Возвращаясь за подозрной трубой — оставил в двухстах метрах, перед отстрелом, — увидел еще четверых оленей: спустились с горы и скрылись в зюйдовом направлении за бугром.

Разделал оленей. Дали осердья и часть мяса собакам, поставили палатку и греем чай. Стояли три часа. Собрали добычу на сани и поехали вперед. Проехавши километров десять, убил еще оленя. Второй подбежал к товарищу, хватил запаха крови, вмиг понял и скрылся за бугорком. Подъехали к добыче, я облупил, положил на сани к Смирнову, теперь у обоих по две туши. Олени все быки, крупные, вот и корму сколько хочешь — и себе и собакам. Едем около гор. Смирнов ведет условную съемку и берет образцы пород.

Часов в двадцать приехали в избу № 2. Тут есть моржовое мясо. Собак распрягли, я стал топить печку, варили языки.

Здесь после меня жили Смирнов и Долгобородов — так хозяйство заострено, что дров нет и полена. Придешь с поля голодный, усталый, а тут еще веди заготовку дров. Ну и люди!

Глаза у меня болят, приходилось днем работать без очков, и уже подействовало.

После хорошего ужина да после рабочего дня заснули хорошо. Собаки тоже спят как убитые».

Прошел еще месяц. Кончился июнь. Журавлев отметил начало полярной весны («22 июня. Ручьи пошли полным ходом»). Топили баню. У моря начали выкапывать из-под снега туши забитых зимой моржей. «Брилы» сало, перебирали и солили шкуры, чинили рыболовную снасть и приводили в порядок мотобот «Опыт».

В июле на диких оленей охотилась Мария Журавлева. Промышленник Павловский добывал гусей и нашел бивень мамонта. Смирнов приводил в порядок геологические находки и был ими очень доволен. Еще лежал снег. Но «езда на санях,— отметил в дневнике Журавлев,— это гроб. Собак только убивать». Шла охота на моржей и на белых медведей.

Пришел август:

«10-е. Слепой туман. Доделали пристань. Шкулев заправил крючье для разделки моржей и погрузки шкур.

Самолет из-за погоды не может вылететь. Смирнова хотят перебросить к пароходу на самолете — это для нас очень к делу: если раньше не было возможности пройти к Челюскину, то сейчас уже совсем не время. Во-первых, потому что начнется подход моржа и скоро пароход — нужно все манатки связывать. Приедут люди — у них своих делов полно... Да интересно бы подзаняться рыбой. Но, наверно, не удастся...»

Прошло после этой записи недели две-три, и мы уже сидели вместе в Москве.

За окном ломали старый бульвар на Садовой, корчевали деревья, заливали асфальтом проезд — невиданной тогда ширины. Старожилы толковали, будто улицу расширят так для того, чтобы на асфальт могли садиться самолеты. Но чего ради это понадобилось — толком объяснить никто не умел.

Тетрадка Журавлева заканчивалась разными заметками. Отмечены были прочитанные за зиму книги («Сахалин» Чехова и «Большое стадо» Жионо). Выписаны были откуда-то понравившиеся Сергею Прокофьевичу мысли: «Силу черпать можно в сопротивлении, и преобразать себя...»

И еще, может быть, свое: «Толкований много! А если их много, то серьезная мысль не удовлетворится ни одним из них и к массе всех толкований спешит прибавить свое собственное».

Последняя строчка — запись для памяти: «Закупорено клыков моржовых по счету — 382».

Эта вот тетрадка и готовила меня ко встрече с Таймыром, которая состоялась почти тридцать лет спустя после знакомства с Сергеем Прокофьевичем Журавлевым.

В описанную им часть полуострова я попал раньше — за два-три года до полета в Норильск. В Нордвике и на Челюскине было куда многолюднее, чем можно было вообразить по тетрадке; там стояли прочные, хорошо обжитые дома, корабли подходили к капитальным причалам. Но с воздуха увидел я вокруг ту же снежную пустыню, что описана в дневнике, и, наверно, человеку в ней было так же непросто, как в преж-

ние годы. Отвоеванной у Арктики можно было считать здесь лишь узкую прибрежную полоску — на длину каната, за который могли держаться люди, пробираясь от избы к избе полярной ночью, в слепящей пурге.

Я понимал, конечно, что от Нордвика до Норильска лежит еще около тысячи километров — на Таймыре хватит простора и для географических неожиданностей, и для людского труда, — но ведь нельзя было забыть и того, что в пору, когда писал свой дневник Журавлев, а Смирнов брал первые образцы пород на северо-востоке полуострова, — такая же суровая ледяная пустыня была и в горах Путорана. А может быть, и еще более суровая, чем те места близ моря, где давно уже ходили зимовщики и куда летом приходили корабли по Северному морскому пути.

И вот теперь автобус, шедший с Надежды, свернул от старой деревянной улицы и выехал через железнодорожный переезд на Октябрьскую площадь, откуда открывался приезшему новый Норильск.

## 7

Когда-то — когда еще не было в Москве Ленинского проспекта — пассажиру из Внукова так же открывался въезд в Москву, на Калужскую улицу: широкое, торжественное полукружье домов, с башнями, поднимающимися на углах кварталов. Так открывается и Норильск: полукружье, будто вычерченное циркулем, темный камень стен, этажи больших окон, массивные балконы, угловые башни; в центре площади — памятник Ленину, а за ним цветы на нешироком газоне, разделяющем асфальтовое полотно проездов.

Все построено прочно; площадь и улица, берущая здесь начало, спланированы одной рукой; дома на противоположных сторонах почти зеркально повторяют друг друга, различий не больше и не меньше, чем нужно, чтобы проспект не стал монотонным; в архитектурном вкусе чувствуется изысканная стройность, воспитанная, вероятно, на старых ленинградских ансамблях. И автобусы тут другие, не разболтанные по бездорожью, с целыми стеклами — видно, асфальта для них хватает, — нарядно окрашенные, с разными номерами и табличками маршрутов...

Ощущение миража: семидесятая параллель, вечная мерзлота, знаковая поговорочка, которую повторяют от Ямала до Чукотки: «Двенадцать месяцев зима, остальное — лето» — откуда же взяться этой прочности, этим ансамблям, способным украсить любой областной город общедоступной средней широты?! Однако тут начинаешь замечать некоторые подробности, ускользающие от первого взгляда. То, что показалось сперва окошечками подвального этажа, на самом деле и не окошечки вовсе. И никаких подвальных этажей нет в многоэтажных домах проспекта, а чернеют под ними продолговатые продушины, чтобы морозный воздух свободно гулял под домами, не позволяя согреться вечной мерзлоте, над которой дом построен на сваях. И газон, что протянулся вдоль всей улицы, устроен в бетонном желобе с насыпной землей. А под ним проходит протянутая над асфальтом магистраль, подающая в дома горячую воду, — такая же, как в любом другом заполярном городе. Только всюду на Севере эти магистрали заключены в деревянные ящики и уродуют улицу, а в Норильске их поместили в бетонный футляр и на два летних месяца успевают засеять травой и цветами, чтобы стали они не уродством, а украшением.

Есть и еще другие приметы. Если очутиться на таком месте, с которого улица просматривается насквозь, до самой тундры, то в конце квартала то ли за семиэтажным, не без «излишеств», зданием горного техникума, то ли за розовыми, голубыми и песочными пятиэтажными

корпусами совсем новых и по-южному веселых жилых домов, — непременно увидишь высокие дощатые щиты. Зимой они должны защищать улицы от пурги, бушующей в тундре. Говорят: защищают не слишком надежно. И эти щиты на вылетах улиц в болотную тундру, начинающуюся тут же, у самых домов, всего красноречивее говорят о городе, о его многомесячных и нелегких зимах, о труде людей, которые сумели создать здесь, в недавно еще не хоженных местах, такой удивительный остров привычно удобной жизни. Ведь не только мончегорские, но и запорожские никельщики, не только уральские, но и зангезурские медеплавильщики, приехавшие сюда, на молодые заводы, нашли в Норильске почти все то, к чему привыкли в оставленных ими, давно обжитых городах, да еще и прибавили к этому душевный комфорт, обретенный в особой гордости первообживания труднодоступных мест, в испытанном чувстве приключения, да к тому же приключения, обернувшегося для них удачей.

Тот август был в Норильске редкостным.

Жара доходила до тридцати градусов.

Купальщиков можно было увидеть не только на неглубоких, быстро прогретых горных озерах, но даже и в быстрой, широкой, всегда обжигающей холодной реке Норилке.

Отправившись на первую прогулку из отличной здешней гостиницы (с горячей и холодной водой в удобных номерах; еще не встречал я такого в Заполярье нигде, даже в Мурманске), — в трех минутах ходьбы от Гвардейской площади я снова увидел траву и цветы, на этот раз уже не в бетонных желобах, а на обширном пространстве самого настоящего молодого сквера. Вдоль дорожек тянулись к солнцу хлыстики-деревца. Мимо скамеек сновали ребята в pedalных автомобилях. Девушка читала фармацевтический учебник. Молодая мама перепеленывала оскандалившегося младенца. Примостились в сторонке и трое парней, скинувшихся на поллитровку. Будто для того только, чтобы подчеркнуть, как здесь все обыкновенно. А в безоблачном небе — жаркое солнце. Парни — без пиджаков; будущий фармацевт — в легком открытом платье; мама — в светлом костюме. В глубине сквера пестрыми флагами обозначен вход на стадион, и даже странно читать, что называется он «Заполярик», и плакаты объявляют здесь выступление той самой футбольной команды, которая вчера еще, под холодным сыктывкарским дождем, не могла дожидаться вылета на закрытую непогодой северную Надежду... Можно подумать, что ты ежили и не в Крыму, то уж во всяком случае не севернее степных украинских широт.

Но обыденность тут как раз больше всего и говорит о необычности всего видимого: то, что здесь, в Норильске, люди могут жить обыкновенно, это и есть самое удивительное. И не от знойного солнца показалась здешняя тундра самой теплой из всех виденных на протяжении трех десятков лет — солнце греет считанные дни, а так, как в то лето грело, далеко не всякий год и бывает. Нет, дело было, если можно так сказать, в климате человеческого самоощущения в этой вот тундре.

Не знаю, быть может, то же самое смог бы я почувствовать на этот раз и в Воркуте, если бы самолет там задержался подольше. История у обоих городов совершенно одинакова, и шесть лет для нас — срок очень долгий. В Норильске следы той старой истории совсем исчезли с поверхности, и чтобы отыскать их, пришлось бы затевать раскопки в человеческих душах. Этого делать я не стал.

Иногда все же история напоминает о себе и сама.

Как-то мы шли по улице с паренком из норильского телецентра. Паренек показывал новый квартал, говорил о спорах здешних архитекторов. Вспомнили проект, который появился недавно в нескольких

центральных газетах и журналах. Группа молодых градостроителей — не то москвичи, не то ленинградцы — предложила строить в Заполярье города с искусственным климатом: весь город под прозрачным синтетическим куполом; за куполом остаются пурга и шестидесятиградусные морозы, а над городом круглый год светят искусственные солнца, в купальных бассейнах подогрета вода, в земле можно выращивать хоть помидоры, хоть пальмы; ясельные дети играют в песочек. Изложено все было весьма обоснованно и солидно и звучало (особенно для тех, кто успел хватить и пурги, и морозов, и комаров, которых, конечно, под купол не пустят) прямо-таки оглушительно. Однако здешние архитекторы, которые на вечной мерзлоте не только строили, но и сами прожили долгие годы, сразу же стали задавать себе множество вопросов:

— А как же быть с этой мерзлотой, когда она, отогретая искусственным солнцем, станет превращаться под куполом в болотную топь?

— Строить эти города не на мерзлоте, а на каменных монолитах? Да разве отыщешь их так просто в любом нужном месте? Тут недавно в новом поселке нужно было на таком монолите поставить три многоэтажных дома, так ведь обыскались, куда нашли подходящую площадку. Для трех-то домов! А тут — целый город.

Ну, и еще вопросы — посложнее.

Ведь города-то строятся не сами для себя. Их жители будут работать на рудниках, на нефтяных промыслах, на заводах. Что ж, рудники и заводы тоже под купол?

— А если не под купол, то смогут ли люди жить в круглогодичном летнем тепле, а на работу выходить каждый день в жесточайшую стужу? Какой организм способен справиться с такими скачками?

— А как повлияет не только на физическое здоровье, но и на психику человека эта постоянная жизнь всего населения города под одной крышей — неизбежно скученная, неизбежно на виду друг у друга? Тоже ведь есть еще над чем подумать. Достаточно ли человеку искусственного климата для райской жизни?

— Здесь, в Норильске, — рассказывал мой спутник, — родилась другая идея, чуть поскромнее, и тоже еще не до конца обдуманная и проверенная.

Речь шла о предложенном здешними — тоже молодыми — архитекторами проекте десятиэтажного дома, построенного замкнутым прямоугольником, с крытым двором внутри замкнутого пространства.

Но про этот дом спутник мой не договорил и вдруг подтолкнул меня локтем, указывая глазами на противоположную сторону улицы. Там невысокий пожилой человек в просторном мешковатом пальто неторопливо — руки за спину — переходил на тот квартал, за которым сразу начинался пригорок, поросший крупными розовыми цветами. Дома тут были еще не достроены, направо виднелось за ними озеро Долгое, по обе стороны озера — заводы, а дальше — рудники на горе Шмидтихе и на Медвежьем ручье. На все это — на дома, на озеро под облаком заводского дыма, на раскопанные горные склоны — очень пристально глядел прохожий сквозь толстые стекла больших очков.

— Урванцев, — шепнул мой спутник. — Вчера прилетел. Каждый год сюда прилетает.

В старом городе, на Горной улице, я видел бревенчатую избу, сложенную из темного плавника. Памятная доска сообщала, что изба построена экспедицией Николая Николаевича Урванцева летом 1921 года. В первый раз, за два года перед тем, молодой геолог ходил здесь с тремя помощниками. Увиденное показалось ему фантастикой. Вернувшись, раскладывая перед слушателями привезенные образцы пород, Урванцев

убедил расширить фронт поисков. Представим себе двадцать первый год, вспомним доклад Владимира Ильича Ленина Десятому съезду ВКП(б), вспомним голод, разруху, все то, что переживала в то время страна, и ассигнование денег для поисков руды на недоступном Таймыре откроется нам такой же фантазмагорией, как начинающее «Аэлиту» Алексея Толстого объявление на петроградской улице Красных Зорь. Помните? «Инженер М. С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс явиться для личных переговоров»...

Таймыр был не ближе Марса. Туда не летали самолеты, Северного морского пути еще не было. Лишь на два месяца открывался путь водой, вниз по Енисею, — до Дудинки, а оттуда на оленьих упряжках.

Весной 1922 года перед одинокой избой, что нынче оказалась на застроенной Горной улице, впервые прошла первомайская демонстрация. Есть фото: пятьдесят участников геологической партии — все население еще безымянного поселка — проходят в тулупах и малицах, трамбуя снег.

Позже, когда снег стаял, они заложили первые штольни на горе Шмидтихе, и тогда подтвердилось, что можно добывать здесь в промышленных количествах богатейшие полиметаллические руды — медь, никель и многое другое.

Но еще четырнадцать лет должно было пройти, прежде чем открытое Урванцевым и его товарищами богатство могло быть взято с Таймыра, прежде чем близ рек Норилки и Пясины начал строиться будущий горнометаллургический комбинат. А еще два года спустя Николаю Николаевичу Урванцеву было предъявлено обвинение в том, что он ввел правительство в заблуждение: данные его разведок, мол, вредительски преувеличены; на самом же деле таймырских запасов недостаточно для того, чтобы построенное здесь могло окупиться и просуществовать долгое время. Речь шла о зря потраченных миллиардах рублей, о загубленной — и какой же нечеловечески трудной! — работе тысяч людей. Урванцев ничего не смог опровергнуть, обвинение сочли доказанным, и сорокалетний геолог канул безвестно в один из дальних лагерей — на срок, которого ему с избытком должно было хватить до самого конца его дней. Кто знает, как обернулась бы судьба его, если бы начальником Норильского комбината не был вскоре назначен А. П. Завенягин. Умный и широкий организатор промышленности, воспитанный в той замечательной плеяде, какую Г. К. Орджоникидзе выпестовал на стройках первых пятилеток индустриализации, строитель Магнитки, — Завенягин достаточно ясно понимал (как, впрочем, понимали это и все, с кем он повстречался в Норильске): назначение его за Полярный круг означало опалу. Это не было неожиданностью. Все, кто работал рядом с Серго, испытали после его смерти то же самое. Но для многих внезапная опала обернулась трагически; Завенягину же выпал вариант далеко не худший. В Норильске его ожидал непечальный край работы и даже относительная независимость. И он привычно принялся за работу. Начал Завенягин с того, что принялся разыскивать всех людей, которые знали Таймыр и успели оставить на этой земле добрый след, а также производственников, хорошо знакомых с цветной металлургией. Он искал таких людей по самым отдаленным домашним адресам, разыскивал на фронтах уже начавшейся в то время Отечественной войны, добывался демобилизации и откомандирования. Шутка ли, цветные металлы! Среди всех фронтов — этот был тоже одним из решающих. Даже в лагерях удавалось находить Завенягину тех, кто был ему нужен. Имя Н. Н. Урванцева стояло в его списке одним из первых. Завенягин отыскал геолога, добился его перевода в Норильск (ведь и это тоже был лагерь), а по приезде немедленно расконвоировал, как это тогда называлось,

и вернул к привычной работе в привычных, давно обжитых им местах.

Там, до приезда в Норильск — на этот раз по этапу, — Урванцев имел все основания считать, что никакого Норильска вообще не существует. Разве собственное его дело не говорило о том, что найденного на Таймыре геологами так и не сумели увидеть, не поверили, что руда есть, кроме Шмидтихи, еще во множестве других мест — их хватит тут не на годы, а на сотни лет.

Но из Дудинки Урванцева повезли по невиданной им здесь прежде железной дороге, и глазам его вскоре открылся построенный город. Рудники ярусами опоясывали знакомые горы, на местном угле работала огромная теплоэлектроцентраль, руда превращалась в чушки металла.

Урванцев снова встретился с прежними своими сотрудниками и учениками. Они продолжали ходить по проложенным им маршрутам. И он тоже возвращался на проторенные тропы таймырской тундры.

Так что же произошло с ним? Откуда взялось и кому понадобилось все его дело, которое на годы оторвало Урванцева от дела действительного и поставило его перед такой страшной пустотой — полного краха всей прожитой жизни?

Но так устроен человек, что — «расконвоированный» — он может тут же испытать радость, от которой забывается все. Так и случилось с Урванцевым, когда он увидел Норильск.

После первых его поисков на Таймыре в начале двадцатых годов здесь работало много экспедиций, и таймырские находки, конечно, не могут быть названы находками одного Урванцева. В любой науке, в том числе и в геологии, победа — это всегда дело коллективное, и если говорить о тех, кому обязан Норильск своим существованием, пришлось бы назвать не один десяток имен. Но все же первым пришел сюда именно Урванцев, и его поиск, начатый сорок пять лет назад, все еще продолжается.

Повстречавши Урванцева на прогулке, мой спутник рассказал, что так проходит он по городу всякий раз, прилетая сюда из Ленинграда. Проходит от первого деревянного дома, им собственноручно поставленного, до новых кварталов Ленинского проспекта. С каждым годом дорога удлиняется: город уходит все дальше. В начале маршрута, недалеко от первого норильского дома, находится площадь старого города — между управлением комбината и проходной никелевого завода. На площади стоит теперь памятник А. П. Завенягину. Синие камнеломки и августовский поповник цветут на клумбе.

Завенягин умер вскоре после войны.

Память по себе он оставил не только в том, что успел построить при жизни. Он сумел уберечь от отчаяния не одну человеческую душу, а это давалось не легче, чем добыча цветного металла на семидесятом градусе северной широты.

С Николаем Николаевичем Урванцевым я хотел познакомиться на следующий день после случайной встречи на прогулке. Но не удалось. Оказалось, спозаранок он уехал на вездеходе «в поле» вместе со здешними геологами, и вернутся они не раньше, чем через две-три недели.

У меня в Норильске оставалось еще много дела, много назначенных встреч, и присоединиться к геологам, как очень хотелось, было нельзя. Кинооператоры, которых я догонял от Москвы и застал в Норильске, чтобы делать для них сценарий документального фильма, торопились к «уходящим объектам». Так говорили они о тех местах, где следовало снимать поскорее, пока не ушло короткое полярное лето.

Среди этих мест была Хантайка.

Это название только начинало становиться известным.

Норилка, Хантайка — так могли бы называться ничтожные ручейки. Но реки Таймыра широки и сильны. А Хантайка, впадающая в Енисей, порою стремительно врывается в тесные скалистые каньоны, вскипает на каменных порогах и несет в себе огромный запас неиспользованной энергии.

Тут и решено было строить гидроэлектростанцию — почти на семи-десятом градусе северной широты.

Строительство только начиналось.

На Хантайке гидрологи и геологи еще уточняли природные условия, проверяли, верно ли выбран створ будущей плотины. Строители только начинали ставить поселок. Управление еще находилось в Норильске, в одном из деревянных домов старого города. (Кстати, «старым» он стал, когда ему еще не исполнилось и двадцати пяти лет.) В комнатах управления поражало изобилие цветов — спускались по оконным стеклам суставчатые стебли камнеломки, тундровые букетики можно было увидеть на каждом столе; незнакомые кустики, покрытые синими и розовыми цветами, выстроились на подоконниках. Люди, которые работали здесь среди цветов, словно бы старались удержать короткое полярное лето, не расставаться с ним подольше, все время чувствовать его рядом с собою.

И вместе с тем обилие заботливо ухоженных цветов только подчеркивало господствующее в комнатах ощущение временности. В каждой комнате кто-то деловито собирался в дорогу и кто-то другой только что появлялся с аэродрома: между Норильском и Хантайкой по нескольку раз в день ходили «антоны» и вертолеты, с ними отправлялись на стройку новые партии рабочих и откомандированные сюда молодые специалисты — вчерашние студенты.

Одного из начальников я застал как раз во время разговора с Красноярском: можно было понять, что управленцев торопят, чтоб перебырались они поскорее на строительную площадку. А начальник объяснял, что переехать можно будет только через три недели, — дом только строится, раньше не успеют закончить. Потом можно было снова понять по ответам, что Красноярск настаивает, обвиняет в том, что управленцы не хотят расставаться с большим городом, с удобствами. Вот оно как выходило: открывался Норильск новой своей стороной — уже стал он городом, где ищут удобств, увиливая от «периферии»...

Наверно, по телефону начальнику дан был твердый срок переезда, и он его принял. Потом он сам пошел в наступление на областное начальство: почему задерживаются обещанные баржи со строительными материалами? Где саперы? Ведь мост надо строить. Сейчас берега пора связать прочно, а то работа стоит...

Все это вроде бы и не относилось к самому Норильску, но на самом деле показывало и его в новом свете. Норильск перестал быть островком посреди неосвоенной тундры. Он стал настоящим промышленным центром большого района, вовлекая в свою орбиту новые и новые рождающиеся города, которые растут еще стремительнее, чем недавно вырастал сам Норильск.

И чаще других названий слышалось здесь то самое, о котором говорилось еще на сыктывкарском аэродроме:

— Талнах.

Через улицу, ведущую к норильскому стадиону, был перетянут броский транспарант: «Талнах зовет!»

И мы поехали на Талнах.



У геологов дела на Талнахе почти закончены. Призыв «Талнах зовет!» относится уже к строителям, горнякам, эксплуатационникам. Но кое-какие хвосты у геологов еще гоже остались.

Мы отправляемся туда вместе с ними.

Путь недалек. От Норильска — всего километров двадцать пять.

Дорога еще плохая, та самая, на которой местные автобусы теряют стекла и ломают рессоры. Она идет мимо нескончаемой трубы. Обшитая для утепления досками, груба тянется над землей, над мшистыми кочками тундры, до самой реки Норилки. Можно догадаться и без расспросов, что она подает оттуда воду на обогатительные фабрики комбината. На берегу Норилки стоит здесь поселок Валек — один из пригородов Норильска. Тут есть дома отдыха для горняков, пристань, прогулочные лодки.

За Норилкой поодаль — гряда невысоких гор. До половины горы поросли редким лесом, а на верхушках чернеет каменная осыпь.

Там, у подножья этих гор, рассказывают геологи, и были найдены знаменитые талнахские руды.

Автобус остановился у самой реки.

Из будки, стоящей на берегу, вышла девушка. Шофер привычно пошутил с нею, она ответила, заглянула в машину и велела всем пассажирам выходить.

Через Норилку следовало переправляться по наплавному понтонному мосту. Оставаться во время переправы в машинах пассажирам запрещалось. Может, случилась когда-то на мосту неприятность с машиной. А может, просто установили такой порядок, чтобы никаких «слу-чаев» и быть не могло.

Автобус потащился по бревнам неширокого настила. Мы пошли пешком, минувя рыбаков, следивших с края моста за пестрыми поплавами, отнесенными быстрым течением.

От берега до берега пройти надо было метров шестьсот.

Бревна покачивались под ногами. На реке, у середины моста, маневрировал катерок — просил гудками, чтобы та же девушка развела понтоны и пропустила его в верховье.

Когда мы подошли к самому младшему из рыбаков, мальчонке лет двенадцати, красная верхушка гусяного пера на его леске небыстро ушла под воду, снова вынырнула и опять исчезла с поверхности.

— Клюет, раззява! — неожиданно закричала девушка — самая спокойная из геологов, ни слова не проронившая за всю дорогу.

Мальчонка дернул. Уже над рекой небольшой сижок соскользнул с крючка и звучно щлепнулся в воду.

— Подсекать надо было!

Это опять прокричала — рассерженно и громко — та же милая девушка-геолог. Ее товарищи засмеялись.

— Люда! А ты когда-нибудь удочку в руках держала? — спросил бородатый парень в малиновом лыжном костюме.

Засмеялась и Люда.

— Возле вас, охломонов, научилась. Сам же всегда кричишь: «Подсекать надо!» Помнишь, когда Лукин хариуса упустил?

— Это, имей в виду, к нашему делу тоже относится, — сказал малиновый. — Тоже ведь не всегда подсекаем.

Они посыпали специальными словами и странно звучащими географическими названиями: Дудыпта, Попигай, Гольчиха. Наперебой вспоминали, где ходили, что видели и на что (как уверял малиновый) зря не обратили внимания. По малиновому так получалось, что геологическая

добыча уходит от того, кто не удосуживается сопоставить все идущие к нему в руки приметы. Такое бывает: «не подсекли» — вот и сорвалась нефть.

А он был уверен, что и нефть здесь должна найтись тоже.

— Тут все есть,— сказал он убежденно.

Люда возражала: как же это может быть, чтобы увидеть и не сопоставить?! Разве такие геологи бывают? Это уж тогда не геолог, а...

Она даже сравнения не нашла.

— Эй, тетка! — закричал за спиной тонкий голос.— Тетка в штанах!

Мальчонка махал рукой. В другой его руке серебрился верткий длинненький сиг, раза в два, наверно, крупнее упущенного.

Мост кончился. Автобус стоял впереди, на взгорке. Мокрая выбитая колея уходила кверху.

— Смотри, голубики сколько! — сказал нам шофер. Дожидаясь заспоривших на мосту геологов, он вылез из кабины, растянулся ничком на придорожных кочках и собирал вокруг себя голубику горстями.— Это ж надо, каждый день тут ее сколько народу обрывает, а она никуда не девается...

Мальчонка на мосту все еще кричал и прыгал и угомонился только тогда, когда его сосед, круто сгибая удилище, вытянул на настил что-то совсем большое, и не серебряное, а темное, и тогда уже не крик, а словно бы дружный вздох донесся с моста.

— Похоже, таймень,— сказал шофер.

Мы заняли свои места, и автобус пошел дальше, к Талнаху.

Здесь только на дорогу успели ступить люди. По сторонам же земля казалась вовсе нехоженой. А на дороге машин встречалось много: тягачи и «газики», громыхающие траками вездеходы и самосвалы. Во многих местах еще трудились дорожники, и казалось, что труд их столь же бесконечен, как легендарная работа Сизифа: как ни бутили они камнем разъезженную дорожную колею, камень тут же уходил в зыбкую почву, и пока наш автобус трясся по немыслимому объезду, я сам видел, как большой самосвал вывалил свой груз на нескольких метрах дороги, и вся эта куча камня успела тут же, на глазах, кануть в топь.

Однако сосед мой сказал с той же убежденностью, с какой говорил только что о таймырской нефти:

— В будущем году тут покатым, как из Москвы в Шереметьево. За полчаса будем из Норильска в Талнах добираться.

Я вспомнил утопленные только что тонны камня и усомнился. Сосед возразил:

— Приезжайте, сами увидите. Нам теперь без дороги никак не прожить. Значит, будет.

А пока автобус грохотал на ухабах, всем участникам разговора приходилось надсаживаться, чтобы их можно было расслышать, и понятным становилось только то, что, по общему мнению, дорога на Талнах будет в срок непременно, а кроме того, к будущему лету сделают еще вместо понтонного и большой, «настоящий» мост через Норилку.

Не только шоссе, но и железная дорога пройдет на Талнах.

— Думаете, от Дудинки к Норильску легче было построить? И там и тут — тундра одна. Так то ж когда строено?! Теперь-то все проще...

И про камень, уходящий в болото, малиновый прокричал, что сам он участвовал в точных расчетах — тундра вовсе не бездонная; камня понадобится здесь много, но строители уже в точности знают, сколько же именно его нужно, чтобы дорога легла на прочное основание.

Попутчики мои как бы уже переселились в завтрашний день и уже оттуда снисходительно оглядывались на все, что нас окружало. А пока

что уже второй час пути кончался, а нашим двадцати пяти километрам все еще не видно было конца.

По обе стороны дороги — не будущей, а нынешней — открывались места нетронутой и удивительной красоты. Кривой сосняк и осинник был тут повыше и погуще, чем положено в этих широтах. Одно озеро, неширокое, длинное и извилистое, переходило узким проливом в другое, разлившееся просторно, со странными островами, медленнодвигающимися под несильным ветром. Высокие травы и переплетенный кустарник закрывали подходы к воде, под травами угадывалось топкое болото, а на озерах видно было, как у самой поверхности стрелой пролетает жирующий хищник, а стайка мелких кидается от него в стороны, поднимая множество сверкающих брызг.

Озера тянулись одно за другим, лес был просвечен солнцем. Ягодники виднелись прямо с дороги — останавливайся и ешь, сколько влезет!

И горы все приближались. Не такие уж мелкие, как издали показались.

— Медвежья гора, — показала Люда.

— Так ведь Медвежья в Норильске?

— И тут Медвежья. Тут больше похожа. Смотрите.

Верно, похожа. Может, не так на живого медведя, как на гурзуфскую Медведь-гору. Так же поднят широкий зад, и так же уронена голова в передние лапы. Только опущена голова не в море, а все в ту же плоскую, бескрайнюю тундру. И неподалеку от головы видны постройки.

Это и есть Талнах.

За несколько дней, проведенных в Норильске, о Талнахе переговорено было со многими. И всех собеседников (а были среди них и геологи, и медеплавильщик, и два архитектора, и школьная учительница арифметики, и гостиничный сосед мой, прилетевший с Хантайки, — разных возрастов и разной жизненной школы люди) — всех их одно только упоминание о Талнахе приводило прямо-таки в праздничное состояние духа. А ведь большинство из них ни в талнахских находках, ни во всем том, что должно было происходить в Талнахе в дальнейшем, лично никак заинтересованы не были.

В чем же была суть дела? Именно там, на Талнахе, с лихвой оправдались самые смелые из давних предположений таймырских изыскателей (и Николая Николаевича Урванцева в их числе). Там открыты были полиметаллические руды, куда более богатые, чем те, что до сих пор разрабатывались в Норильске. И притом в таких количествах, что добыча их и переработка будут продолжаться многие и многие десятки лет. Все это обнаружилось очень близко от Норильска, и освоение новых месторождений не сулило никаких особых трудностей по сравнению с тем, что было уже сделано на Таймыре.

Талнах, таким образом, означал для Норильска новый расцвет и гарантию долгой и славной жизни.

И то, что стольким людям это принесло личную радость и все еще продолжало приводить их в праздничное состояние духа, было наилучшим свидетельством появления нового чувства к своему городу. Человек, который приезжал сюда, будучи завербованным на три года, мог потом, вернувшись в привычную обстановку, сохранять благодарную память о прожитом здесь времени, о хорошо пройденном им испытании («Есть о чем вспомнить — хлебнул трудного дела и не осрамился»). Но место следующему он освобождал чаще всего без сожаления и возвращался отсюда с радостью — потому что дом его был в другом месте. Для всех же, кто радовался Талнаху, Норильск стал родным городом — дом их был здесь.

И водители ярких педальных автомобилей, которые носятся по дорожкам у входа на стадион «Заполярник», мимо хлыстиков-деревьев, — они не только родились здесь, они тут и вырастут, и в школу пойдут, и станут коренными, урожденными «норильчанами».

Это уж будет второй такой — после Мурманска — город за Полярным кругом. Только он шагнул ближе к полюсу еще на целый градус северной широты и очень далеко ушел от теплых течений. Окрестная тундра согрета собственным его теплом.

Талнах теперь — неотъемлемая часть Норильска и вместе с тем верный залог его многих и славных будущих юбилеев.

Неверный дощатый мост.

Под мостом — разлившаяся по камням неглубокая, но быстрая тундровая речка. Это и есть Талнах. От реки пошло имя находки, нынешнего временного поселка, завтрашнего города.

Мы переправляемся на тот берег не по мосту, а рядом с ним, прямо по камням, плотно утрамбованным покрышками многих прошедших здесь тяжелых машин и гусеницами вездеходов. Водителям так, вероятно, удобнее. А когда автобус выезжает из реки на пригорок — прямо перед нами открывается строительная площадка с буровой вышкой в центре. Тут начата проходка первого ствола будущего рудника «Маяк». А дальше, высоко над лесом, поднялись краны. Там строят город. На первые двадцать тысяч жителей. И говорят, что дома будут десятиэтажные — на монолитной скале.

Автобус не останавливается.

Дорога входит в лесок, но не становится лучше. Деревья закрывают длинную хребтину Медвежьей, которая до сих пор была видна нам все время.

В деревьях показывается длинная улица палаток. Им придется простоять здесь еще и зиму. Но зиму единственную и последнюю. К будущему лету для строителей и первых шахтеров будут готовы дома.

Они в самом деле будут готовы.

То, что говорил геолог в малиновом костюме, действует тут как общий закон: «Нужно — значит будет».

Тем временем от палаток к только что покинутой нами строительной площадке «Маяка» выходит цепочка шахтеров с фонариками и в касках. Стройка, проходка, добыча — все происходит одновременно: «Нужно!»

За палатками течет Талнах.

По берегу — несколько рыболовов без удочек. Они высматривают рыбу в мелком русле и пытаются ловить ее ведром или просто майкой.

Стайка девчат, разувшись, переходит Талнах вброд и скрывается в леске, где палаток никаких уже нет, но зато начинаются ягодники и грибные лужайки, на которых крупные подберезовики и подосиновики растут среди оленьего мха, темнея по жесткому серебру. Пройдет всего две-три недели, не успеешь оглянуться — и на несъеденные ягоды и несобранные грибы сразу ляжет снег.

— Чем же тогда развлечешься в свободное время?

— Ну, прям-таки не знаем! — говорит с издевочкой рослая прочная девица в таком же, как у парней, обтерханном лыжном костюме. — Лыжи же будут! Ведь ждем не дождемся этого снега!

Она живет в третьей палатке, работает в столовой (две ее соседки из той же палатки работают на строительстве малярами, четвертая — коллелектор геологической партии). Все уверяют, что в палатке так тепло, что и на зиму оставаться не страшно, даже, мол, жалко, что женщин собираются переводить из палаток в деревянный барак. Но тут, наверно, не без того невинного бахвальства, которое часто заставляет

«слабый пол» хвалиться выносливостью и закалкой перед полом «сильным».

Готовые бараки тоже стоят улицей, ближе к Медвежьей. На этой улице и столовая, где работает отчаянной души лыжница, готовая зимовать в палатке, и небольшой клуб, и помещение, в котором геологи занимаются «камералкой».

Геологи еще не ушли с Талнаха.

Их палатки можно узнать по длинным ящикам с кернами, награжденным у входов.

Керны — аккуратные круглые столбики серого, порой почти черного камня, добытые при помощи буров на разной глубине, в скважинах, точно отмеченных на карте. На взгляд непосвященного, все эти каменные столбики — диаметром сантиметров в двенадцать и высотой в тридцать — похожи, как близнецы, и не говорят решительно ничего. Для геолога каждый ящик — это красноречивый рассказ, иногда монотонно негромкий и наводящий грусть, иногда радостно-звонкий, как призывный крик. В том, что покажется нам куском серого камня, геолог увидит множество пестрых вкраплений, и они расскажут ему, пробурена ли скважина зря, или надо идти дальше, вглубь. Или, может, еще искать тут же, по соседству. А черные керны — это и не камень вовсе, а самая большая радость геолога, почти чистый металл. Эти черные камни добыты как раз здесь, где стоят палатки.

Это и есть Талнах, его призыв, его суть.

Керны еще дают материал для вычислений, для окончательных подсчетов, для новых геологических карт и последних докладных записок, подготовляемых «для Москвы», то есть для окончательных наметок Госплана. Но главное и без того уже ясно. Недаром же в Сыктывкаре чуть не половина пассажиров, ожидавших отправки, собиралась в Талнах, ничего еще толком о нем даже не зная. Первый плакат, увиденный в Норильске, был как бы переводом с немого языка черных геологических кернов: «Талнах зовет!» А у самой Медвежьей горы другой плакат встречает приезжего: «Талнах — Всесоюзная ударная комсомольская стройка». И рядом со словами — ленинский профиль, точно такой же, как во Дворце съездов в Кремле.

Два грузовика с новичками пришли вслед за нашим автобусом прямо с Надежды. Перемахивая через борт, попрыгали из кузовов голенастые ребята в кедах и кепочках, с яркими, но тощими рижскими рюкзачками через плечо. В грузовиках оставались девчонки, они сходили степенно, опираясь на протянутые к ним руки, нащупывая колесо ногами в стоптанных, сбитых туфлишках или в таких же, как у ребят, синих с белой резиной кедах.

— Откуда? — справился высокий крепыш в штормовке, подоспевший встречать пополнение.

— Из лесу, вестимо, — тоненько откликнулся лохматый очкарик.

— Умолкни, Копыто, — оборвал очкарика спортивный и очень ухоженный мальчик, единственный, у кого вместо сумки были небольшой чемодан и портфель. Он сказал крепышу в штормовке:

— Мы — костромские.

Другой отрапортовал:

— Ленинград.

Маленькая, очень широкая в кости девушка хрипло, но браво доложила:

— Из Горького мы. — Оглядев крепыша с нескрываемым неодобрением, она спросила: — А ты из райкома или что тут у вас?

Тот рассмеялся.

— У нас Талнах.

— А жить мы где будем?

Крепыш неопределенно обвел рукой вокруг, очерчивая участок земли у берега.

— Здесь. Палатки ставить умеете?

Для начала новоприбывших повели в столовую.

Тем временем в палаточном городке геологов, возле ящиков с кернами, я увидел двоих недавних норильских знакомцев. Мы повстречались впервые день или два тому назад в одном из деревянных домов старого города. Геологическое управление доживало там последние недели. Дистраивался для него неподалеку большой новый дом. Старожилы готовились к новоселью не без сожаления. В темных коридорах и на скрипучих лестницах старого дома им предстояло оставить слишком много воспоминаний.

Мне назвали того, кто «знает все о Талнахе», и проводили к нему.

Однако стоило лишь приоткрыть дверь в комнату, которую мне указали, чтобы понять, что никакой разговор невозможен.

В просторном кабинете, как во всех почти комнатах здешних учреждений, было очень много цветов. Но жалко было смотреть на них сквозь сизые облака табачного дыма. Весь кабинет был заставлен столами. Здесь-то и шла работа над последними отчетами о талнахской находке, и люди расходились за полночь, чтобы спозаранок снова собраться у тех же заваленных бумагой столов.

Окурки выносили ведрами и комнату не успевали проветрить. У всех здесь лица стали изжелта-черными, выходить же для перекура было некогда, просить курильщиков о воздержании тоже было не время, и чернота под глазами некурящих, освещенная еще и мученическим мерцанием взгляда, пробуждала у постороннего острое сострадание. Какой уж тут разговор?!

Но вот прошел день — и двоих из этой комнаты я и повстречал на Талнахе, у кернов. Даже на свежем воздухе чернота еще не успела исчезнуть из-под их глаз. И видно было — вот просто было видно, — как торопятся они надышаться на талнахском августовском приволье.

Тут был тот самый геолог, который про Талнах «знает все», и была женщина, которую у стола, заваленного геологическими картами и испанскими листками, я видел в городском темном костюме, а тут встретил в сапогах и в защитной штормовке, в шапочке с откинутой, как забрало, черной сеткой накомарника, и эта нескладная, жесткая и неженственная одежда лишь подчеркнула миниатюрность геолога и женственное изящество ее движений.

Мы поздоровались. Геологи уже отыскивали все, за чем они сюда приезжали, и направлялись к «газике», чтобы вернуться в Норильск, к незаконченному отчету.

— Вот что, — сказал геолог. — В воскресенье решили мы отдыхать. За пять недель в первый раз — можно себе позволить? Если погода продержится, к озерам поедем. На Лесное, что ли, или на Кюлах-Кюэль. Если свободны и охота придет — давайте с нами?

Охота, конечно, пришла. И погода, к счастью, продержалась до воскресенья.

9

У озера тоже была гора, похожая на медведя, только называлась она на этот раз как-то иначе.

Из озера вытекала река. Геологи, захватившие удочки, разбрелись по ней в поисках таких перепадов, где можно было закинуть леску под быстрину. Считалось, что тут и должна брать рыба. Но только она не брала. Река то мелко разливалась по камням, то уходила в глубокое и

извилистое русло. На одном из поворотов она подходила под лесок; наверно, еще быстрой полой водою берег тут был высоко срезан; в реку свалились черные стволы деревьев, а за ними видно было, как близко от поверхности земли начинается слой нетающей мерзлоты. На этой излучине я разглядел знакомую маленькую фигуру в штормовке. Далеко вытянув руку с удилищем, женщина стояла в воде почти по колено, насколько позволяли сапоги. Мне показалось, что для нее сейчас ничего не существует, кроме далеко отнесенного течением поплавка. Но она вдруг закричала кому-то, кого я не видел за стволами деревьев:

— А все-таки прав был Владимир Николаевич. Я только что пересчитала.

Мужской голос ответил, переспросил, и теперь я заметил на воде второй поплавок, подальше от первого.

Незнакомые термины, цифры еще доносились до меня, когда я ухотился к озеру, надеясь отыскать настоящее, самое лучшее место, перехитрить всех и принести к костру не меньше, чем парочку славных хариусов.

Через несколько часов у костра оказался только налим, пойманный сыном одного из геологов — без удочки, руками, — на перекате, прямо в камнях. Да еще тот геолог, что пригласил меня сюда, повстречав на Талнахе, принес небольших рыбок незнакомой мне породы. Оказалось, это и есть хариусы, о которых я так мечтал. Остальные рыбаки вернулись с пустыми руками. Зато грибники шли с добычей.

Костер горел не зря. Готовилось на нем все, что положено, — даже уха, хоть и тощая, а получилась. Но жены огорчались:

— Скучные сегодня наши мужички.

«Мужички», верно, позевывали; их все клонило на травку. Но слово не было точным: они не скучали. Они пытались за один день наверстать, отхватить весь отдых, в котором нуждались после пятидневной работы — по восемнадцати часов каждые сутки. Одного дня попросту не хватало. Да и настоящего отдыха не было. Разморенные на воздухе, они все еще думали об оставленной работе — ни о чем другом думать еще не могли.

Я подсел к главному знатоку Талнаха.

Он объяснял сыну, пареньку лет шестнадцати, почему так плохо ловилась сегодня рыба. Потом они помечтали, как пойдут на охоту. Через несколько дней должен открываться сезон. Потом я попробовал увести разговор к Талнаху.

Геолог сказал:

— Вы думаете, Талнах был для нас сюрпризом? Ничего похожего! Мы давно были уверены, что сумеем докопаться. Дело было во времени и, конечно, в затратах. Когда тратишь много денег, это всегда риск. Ухлопаешь зря — по головке не поглядят. А дать на риск денег или не давать — не только от специалистов зависит. Уговорить на риск, убедить в успехе — это в геологии самый трудный раздел.

Он достал из кармана камешек. Но, взявши его на ладонь, чтобы рассмотреть поближе, я по весу почувствовал, что это не может быть камнем.

— Почти чистая руда, — сказал геолог. — Сегодня в здешней речке нашел. У нас на Таймыре куда ни пойдешь — везде земля дразнит.

— А тут еще не искали?

— Нет еще. За Талнахом пока сидим. Ответвления далеко идут. В том только и сюрприз, что нашли гораздо больше, чем по самым смелым предположениям ожидали.

Женщины помыли в реке посуду, ушли по ягоды и быстро вернулись с кошелками, полными морошки и голубики.

— Ну что ж, не пора ли? — подал кто-то из женщин первый голос. И сразу все начали дружно собираться в обратный путь.

Солнце стояло еще высоко. Только два дня тому назад оно впервые в этом году начало скрываться за горизонтом на короткое время.

Полярное лето кончалось.

Но сейчас еще было жарко, и олений мох успел хорошо разогреться за долгий солнечный день, и если отвернуться от нашего грузовичка, проскочившего сюда по сущему бездорожью, — не было вокруг никаких следов, оставленных человеком. Река шумела на камнях. Какая-то небольшая птичка деловито вышагивала по берегу. На невысоких стеблях цвели цветы, которые здесь называют «жаркэми». Это была самая уютная и теплая тундра из всех, куда меня заносило.

«Караерлах» — называли это место геологи.

Они все уже собрались у грузовичка, и скоро мы покатали назад по сегодняшней своей колее.

Через полчаса открылись в сторонке, поодаль, высокие краны над лесом. Я узнал краны талнахской стройки. И, узнавши, снова подумал о том, что скоро поселятся там двадцать пять тысяч новоселов; они станут первыми коренными талнахцами, и уже все делается, чтобы им было удобно жить и работать.

Нет, все-таки не жаркое лето согревало здесь тундру, и не тем была она на этот раз хороша, что нехожена и безлюдна. Тепло ей давала обжитость, присутствие человека, дело его рук.

Обогнув Талнах, грузовик выехал на дорогу.

Слева потянулись знакомые озера.

На воде и на плавучих островах сидели дикие гуси.

Опять мы вышли из кузова, чтобы перейти на норильскую сторону по понтонному мосту. Видно было, как в берег уткнулся катер. Геологи узнали его пассажиров: техническая комиссия осматривала место, где будет строиться мост.

Мы вернулись туда, где Талнахом, его завтрашним днем живут все.

Выходило, как почти всегда и везде выходит, когда снова приезжаешь на Север, что главное не то, что уже сделано, что можно увидеть готовым, а то, что еще только предстоит делать — то, за что только принимаются люди.

На Севере всегда приходишь к воротам, которые откроются завтра.

А приедешь назавтра — окажешься у новых ворот.





---

ВАЛЕНТИН СИДОРОВ

\*

СТИХИ ОБ ОТЦЕ

А у меня —  
                                отцовский склад и нрав.  
Мы спорим с одинаковым задором.  
Но, не вдаваясь в существо тех споров,  
Я все-таки скажу,  
                                что я — не прав.

А прав отец.  
                                Своею прямою,  
Которой он не изменил ни разу  
Ни помыслом,  
                                ни действием,  
  ни фразой,  
Ни самую малейшей запятой.

Боюсь —  
                                отца не баловал успех.  
Он не из тех,  
                                кто любит соглашаться,  
Идти на компромисс.  
                                Отец из тех,  
Которые сражались на гражданской.

Они, быть может, чересчур круты  
И в чем-то чересчур непримиримы.  
Но убежденья их неколебимы,  
И шли они в партийные ряды

Не потому, что жаждали наград,  
Не ради продвижения по службе.  
Им партбилет вручали  
                                как мандат  
На получение личного оружия.

Тот пыл понять не каждому дано.  
Кому-то он не близок и не дорог.  
Еще живучи люди,  
                                для которых  
Нелепо бескорыстье и смешно.

Отец врагами личными их числит,  
Он с ними примирения не мыслит.  
Я разделяю ненависть его.  
Я по-отцовски быть хочу пристрастным.  
К отцовской вере быть хочу причастным,  
А больше мне не надо ничего.

Конечно, я порой еще мечусь,  
Ищу я в спорах основанья истин.  
Но постигать через отца учусь —  
Как истину всех истин —  
бескорыстье.



---

---

ВАС. ШУКШИН

★

## РАССКАЗЫ

### *Змеиный яд*

**М**аксиму Волокитину пришло в общежитие письмо. От матери. «Сынок, хвораю я. Разломило всю спинушку и ногу к затылку подводит — радикулит, гад такой. Посоветовали мне тут змеиным ядом, а у нас его нету. Походи, сынок, по аптекам, поспрошай, может, у вас есть. Криком кричу — больно. Походи, сынок, не поленись...»

Максим склонился головой на руки, задумался. Заболело сердце — жалко стало мать. Он подумал, что зря он так редко писал матери, вообще почувствовал гнетущую свою вину перед ней. Все реже и реже думалось о матери последнее время, она перестала сниться ночами... И вот оттуда, где была мать, замаячила черная беда.

«Дождался».

Было воскресенье. Максим надел выходной костюм и пошел в ближайшую аптеку.

«Наверно, как-нибудь называется этот змеиный яд, узнать бы надо, чтоб посолидней спрашивать».

Но узнать не у кого, и он пошел так.

В аптеке было мало народа. Максим заметил за прилавком хорошенькую девушку, подошел к ней.

— У вас змеиный яд есть?

Девушка считала какие-то порошки. Приостановилась на секунду, еще раз шепотом повторила последнее число, чтоб не сбиться, мельком глянула на Максима, сказала «нет» и снова принялась считать. Максим постоял немного, хотел спросить, как называется змеиный яд по-научному, но не спросил — девушка была очень занята.

В следующей аптеке произошел такой разговор:

— У вас змеиный яд есть?

— Нет.

— А бывает?

— Бывает, но редко.

— А может, вы знаете, где его можно достать?

— Нет, я не знаю, где его можно достать.

Отвечала сухопарая женщина лет сорока, с острым носом, с низеньким лбом. Кожа на лбу была до того тонкая и белая, что, кажется, сквозь нее прэсвечивала кость. Максиму показалось, что женщине доставляет удовольствие отвечать «нет», «не знаю». Он усталился на нее.

— Что? — спросила она.

— А где же он бывает-то? Неужели в целом городе нет?!

— Не знаю, — опять с каким-то странным удовольствием сказала женщина.

Максим не двигался с места.

— Еще что?—спросила женщина. Они были в стороне от других, разговор их никто не слышал.

— А отчего вы такая худая?—спросил Максим. Он сам не знал, что так спросит, и не знал, зачем спросил — вылетело. Очень уж недобрая была женщина.

Женщина от неожиданности заморгала глазами.

Максим повернулся и пошел из аптеки.

«Что же делать?» — думал он.

Аптека следовала за аптекой, разные люди отвечали одинаково: «нет», «нету».

В одной аптеке Максим увидел за стеклянным прилавком парня.

— Нет,— сказал парень.

— Слушай, а как он называется по-научному? — спросил Максим.

Парень решил почему-то, что и ему пришла пора показать себя «шибоко умным» — застоялся, наверно, на одном месте.

— По-научному-то? — переспросил он, улыбаясь.— А как в рецепте написано? Как написано, так и называется.

— У меня нет рецепта.

— А что ж вы тогда спрашиваете? Так ведь и живую воду можно спрашивать.

— А что, не дадут без рецепта? — негромко спросил Максим, чувствуя, что его начинает слегка трясти.

— Нет, молодой человек, не дадут.

Это снисходительное «молодой человек» доконало Максима.

— До чего же ты умница! — тихо воскликнул он.— Это ж надо такому уродиться!..

Максим вышел на улицу, закурил.

Напротив, через улицу, было отделение связи. Максим докурил вчистую сигарету, зашел в отделение и дал матери телеграмму: «Змеиный яд выслал. Максим».

«Весь город переверну — добуду»,— думал он, шагая по улице. Казалось теперь: будет змеиный яд — мать будет здорова.

В одной очень большой аптеке Максим решительно направился к пышной красивой женщине. Она выглядела приветливее других.

— Мне нужен змеиный яд,— сказал он.

— Нету,— ответствовала женщина.

— Тогда позовите вашего начальника.

Женщина удивленно посмотрела на него.

— Зачем?

— Я с ним потолкую.

— Не буду я его звать — незачем. Он вам не сможет помочь. Нет у нас такого лекарства.

Максиму захотелось вдруг обидеть женщину, сказать в лицо ей какую-нибудь тяжкую грубость. И не то вконец обозлило Максима, что яда опять нет, а то, с какой легкостью, отвратительно просто все они отвечают это свое «нет».

— Позовите начальника! — потребовал Максим.

И тут вместо того, чтобы грубо оскорбить женщину, Максим жалобным голосом сказал:

— У меня мать болеет.— Аж самому противно сделалось.

Женщина оставила официальный тон.

— Ну нет у нас сейчас змеиного яда, я серьезно говорю. Я могу дать вам пчелиный. У нее что, радикулит?

— Ага.

— Возьмите пчелиный. Змеиный не всегда и нужен.  
 — Давайте.— Максиму было стыдно за свой жалобный тон.— Он тоже помогает?

— У вас рецепт есть?

— Нету.

— А как же?..

— Что?

— Без рецепта нельзя, не могу.

У Максима упало сердце.

— Это такой ма-аленький рецептик, да? Бумажечка такая...

Женщина невольно улыбнулась.

— Да, да. Рецепт выписывает врач, а мы...

— Дайте мне так, а... А я завтра принесу вам рецепт. Дайте, а?

— Не могу, молодой человек, не могу.

На улице Максим долго соображал, что делать. Даже если он и наткнется где-нибудь на змеиный яд, то без рецепта все равно не дадут. Это ясно. Надо сперва добыть рецепт.

По дороге домой опять зашел на почту и дал матери еще одну телеграмму: «А пчелиный яд надо? Максим».

На другой день в девять часов утра он пошел на стройку, отпросился с работы и направился в поликлинику.

В белой стеклянной стенке — окошечко, за окошечком — белая девушка. Она долго «заводила» на Максима карточку, потом подала ему талончик. Максим посмотрел — четырнадцатая очередь, на тринадцать тридцать.

— А поближе нету?

— Нет.

— Девушка, милая...— Максим почувствовал, что опять начинает говорить жалостливым тоном, но остановиться не мог.— Девушка, дайте мне поближе, а? Мне шибко надо. Пожалуйста.

Девушка, не глядя на него, порылась в талончиках, выбрала один, подала Максиму. И тогда только посмотрела на него. Максиму показалось, что она усмехнулась.

«Милая ты моя,— думал растроганный Максим.— Смейся, смейся— талончик-то вот он». Его очередь была шестой, на одиннадцать часов.

У кабинета врача сидело человек десять больных. Максим присел рядом с пожилым мужчиной, у которого была такая застойная тоска в глазах, что, глядя на него, невольно думалось: «Все равно все помрем».

«Прижало мужика»,— подумал Максим. И опять вспомнил о матери и стал с нетерпением ждать доктора.

Доктор пришел. Мужчина, еще молодой.

Вышла из кабинета женщина и спросила:

— У кого первая очередь?

Никто не встал.

— У меня,— сказал Максим и почувствовал, как его подняла какая-то сила и повела в кабинет.

— У вас первая очередь? — спросил его мужчина.

— Да,— твердо сказал Максим и вошел в кабинет совсем веселым и, как ему казалось, очень ловким парнем.

— Что? — спросил доктор, не глядя на него.

— Рецепт,— сказал Максим, присаживаясь к столу.

Доктор чего-то хмурился, не хотел подымать глаза.

«Выпил, наверно, вчера крепко»,— сообразил Максим.

— Какой рецепт? — Доктор все перебирал какие-то бумажки.

— На змеиный яд.

— А что болит-то? — Доктор поднял глаза.

— Не у меня. У меня мать болеет, у нее радикулит. Ей врачи посоветовали змеиным ядом.

— Ну, так?..

— Ну, а рецепта нету. А без рецепта, вы сами понимаете, никто не даст.— Максиму казалось, что он очень толково все объясняет.— Поэтому я прошу: дайте мне рецепт.

Доктора что-то заинтересовало в Максиме.

— А где мать живет?

— В Красноярском крае. В деревне.

— Ну?.. И нужен, значит, рецепт?

— Нужен.— Максиму было легко с доктором: доктор нравился ему.

Доктор посмотрел на сестру.

— Раз нужен — значит, дадим. А, Клавдия Николаевна?

— Надо дать, конечно.

Доктор выписал рецепт.

— Он ведь редко бывает,— сказал он.— Съезди в двадцать седьмую. Знаешь где? Против кинотеатра «Прибой». Там может быть.

— Спасибо.— Максим пожал руку доктору и чуть не вылетел на крыльях из кабинета — так легко и радостно сделалось.

В двадцать седьмой яда не было.

Максим подал рецепт и, затаив дыхание, смотрел на аптекаря.

— Нет,— сказал тот и качнул седой головой.

— Как нет?

— Так, нет.

— Так у меня же рецепт... Вот же он, рецепт-то!

— Я вижу.

— Да ты что, батя? — с тихим отчаянием сказал Максим.— Мне нужен этот яд.

— Так нет же его, нет — где же я его возьму? Вы же можете сообразать — нет змеиного яда.

Максим вышел на улицу, прислонился спиной к стене, бессмысленно стал смотреть в лица прохожих. Прохожие все шли и шли нескончаемым потоком... А Максим все смотрел и смотрел на них и никак о них не думал.

Потом одна мысль пришла в голову Максиму. Он резко качнулся от стены и направился к центру города. В цирк.

Вахтер в цирке поднялся навстречу Максиму.

— Вам к кому?

— К Байкалову Игнату.

— У них репетиция идет.

— Ну и что?

— Репетиция!.. Как что? — Вахтер вознамерился не впускать.

— Да пошли вы! — обозлился Максим, легко отстранил старика и прошел внутрь.

Прошел пустым гулким залом.

На арене посредине стоял здоровенный дядя, а на нем — одна на другой — изяшные, как куколки, молодые женщины.

Максим подошел к человеку, который бросал в сторонке тарелки.

— Как бы мне Байкалова тут найти?

Человек поймал все тарелки.

— Что?

— Мне Байкалова надо найти.

— На втором этаже. А зачем?

— Так... Он земляк мой.

— Вон по той лестнице — вверх.— Человек снова запустил тарелки в воздух.

Игнатий боролся с каким-то монголом. Монгол был устрашающих размеров.

— Игнат! — позвал Максим.

Игнатий слез с монгола.

— Максим!.. Здорово.— Игнатий был потный, разгоряченный борьбой.— Ты как здесь? — Он погладил рукой бок.

— Намял он тебе?

— Вот именно — намял. Здоровый буйвол, а бороться не умеет.

— Неужели ты его одолеешь?

— Хошь, покажу?

— Не надо. Я к тебе по делу, Игнат. У меня мать захворала — письмо получил. Надо змеиного яда достать... Весь город обошел — нигде нету. Может, у тебя какие знакомые есть?.. Может, врач какой-нибудь...

Игнатий задумался.

— Черт его знает... трудно сейчас сказать. Если бы раньше пришел... Я ж завтра уезжаю. Домой ведь еду!

— Домой?

— Но!

— В отпуск, что ли?

— Но.

Максим с тоскливой завистью посмотрел на земляка.

— Хорошо.

— Я попробую сегодня спросить у одних. Раньше бы надо...

— Раньше-то он не нужен был.

— Я понимаю. В общем, я схожу туда сегодня, спрошу. Но не обещаю. Максим.

Максим кивнул головой.

— Ладно, работай. Пойду еще куда-нибудь.

Игнатию стало отчего-то неловко.

— Я схожу, Максим. Может, достану.

— Ты надолго домой?

— На пару недель. А потом — в Гагры.

— Зайди там к матери... Скажи: пришлю лекарство. Зайди.

— Конечно! Ты не унывай особо-то. Может, достанем сегодня.

— Ничего. Привет своим передавай. Сколько не был?

— Лет пять уже.

— А я два года. Изменилось, наверно, там все...

— Да.

— Ну, работай.

Максим вышел из цирка и так же решительно, как шел от двадцать седьмой аптеки, пошел снова туда.

Подошел к старичку аптекарю.

— Я к вашему начальнику пройду.

— Пожалуйста,— любезно сказал аптекарь.— Вон в ту дверь. Он как раз там.

Максим пошел к начальнику.

В кабинете заведующего никого не было. Была еще одна дверь, Максим толкнулся в нее и ударил кого-то по спине.

— Сейчас,— сказали за дверью.

Максим сел на стул и решил без змеиного яда не уходить.

Вошел низенький человек с усами, с гладко выбритыми — до сияния — жирненькими щеками, опрятный, полненький, лет сорока.

— Что у вас?

— Вот.— Максим протянул ему рецепт. Сердце вдруг так заколотилось, что стало больно в груди.

Заведующий повертел в руках рецепт.

— Не понимаю...

— Мне такое лекарство надо.— Максим поморщился — сердце вы-  
брыкивало нешуточным образом.

— У нас его нет.

— А мне надо. У меня мать помирает.— Максим смотрел на заведую-  
щего немигающими глазами: чувствовал, как глаза наполняются сле-  
зами.

— Но если нет, что же я могу сделать?

— А мне надо. Я не уйду отсюда, понял? Я вас всех ненавижу,  
гадов!

Заведующий улыбнулся.

— Это уже серьезнее. Придется найти.— Он сел к телефону и, наби-  
рая номер, с любопытством поглядывал на Максима. Максим успел вы-  
тереть глаза и смотрел в окно. Ему стало стыдно, он жалел, что сказал  
последнюю фразу.

— Алле! — заговорил заведующий.— Петрович? Здоров. Я это, да.  
Слушай, у тебя нет...— Тут он сказал какое-то непонятное слово.— Нет?

У Максима сдвоило сердце.

— Да нужно тут... пареньку одному... Посмотри, посмотри... Слав-  
ный парень, хочется помочь.

Максим впился глазами в лицо заведующего. Заведующий беспечно  
вытянул губы трубочкой — ждал.

— Да? Хорошо, тогда я подожду его. Как дела-то? Мгм... Слушай,  
а что ты скажешь... А? Да что ты? Да ну?..

Пошел какой-то непонятный треп: кто-то заворовался, кого-то сняли  
и хотят судить. Максим смотрел в пол, чувствовал, что плачет, и ничего  
не мог сделать — плакал. Он очень устал за эти два дня. Он молил бога,  
чтобы заведующий подольше говорил — может, к тому времени он пере-  
станет плакать, а то хоть сквозь землю проваливайся со стыда. А если  
сейчас вытереть глаза — значит, надо пошевелиться, и тогда заведующий  
глянет на него и увидит, что он плачет.

«Вот морда! Вот падла!» — ругал он себя. Он любил сейчас заведую-  
щего, как никого никогда, наверно, не любил.

Заведующий положил трубку, посмотрел на Максима. Максим на-  
хмурился, шаркнул рукавом бостонского пиджака по глазам и полез в  
карман за сигаретой. Заведующий ничего не сказал, написал записку,  
встал... Максим тоже встал.

— Вот по этому адресу... спросите Вадима Петровича. Не отчаивай-  
тесь, поправится ваша мама.

— Спасибо,— сказал Максим. Горло заложило, и получилось, что  
Максим пискнул это «спасибо». Он нагнул голову и пошел из кабинета,  
даже руки не подал начальнику.

«Вот же ж морда!» — поносил он себя. Ему было очень стыдно.

На другой день рано утром к Максиму забежал Игнатий. Внес  
с собой шум и прохладу политых асфальтов.

— Максим!.. Я поехал! Вот яд-то — достал.

Максим вскочил с кровати.

— Куда поехал?

— Домой! Вот яд...

— Так я тоже достал вчера. Флакон.

— Ну — два будет. Пригодится.

— Ты сейчас прямо едешь?

— Но. Будь здоров! Зайду попроведаю мать...

— Погоди, Игнат, я провожу тебя.

— Меня такси ждет...

— Я скоро.



— Давай. Только — одна нога здесь, другая там! — орал Игнатий. — Пятнадцать минут осталось. Жена сейчас икру мечет в вагоне.

— Она там уже? — Максим прыгал по комнате на одной ноге, стараясь другой попасть в штанину.

— Там.

— Сейчас... мигом. Мы в магазин не успеем заскочить? Хотел гостинцев матери...

— Да ты что! — взревел Игнатий. — Я что, по шпалам жену догонять буду?!

— Ладно, ладно...

Побежали вниз, в такси.

— Друг, — взмолился Игнатий. — Десять минут до поезда... Жми на всю железку. Плачу в трехкратном размере.

Машина рванула с места.

Жена ждала Игнатия у вагона. Оставалось полторы минуты.

— Игнатий, это... это черт знает что такое, — встретила она мужа со слезами на глазах. — Я хотела чемоданы выносить.

— Порядок! — весело гудел Игнатий. — Максим, пока! Крошка, цыпоська, — в вагон.

Поезд тронулся.

— Будь здоров, Максим!

Максим пошел за вагоном.

— Игнат, передай матери: я, может, тоже скоро приеду! Не забудь, Игнат!

— Не-ет!

Максим остановился.

Поезд набирал ходу.

Максим опять догнал вагон Игнатия и еще раз крикнул:

— Не забудь, Игнат!

— Передам!

Уже расходились с перрона люди.

А Максим все стоял и смотрел вслед поезду.

...Уже никого почти не осталось на перроне, а Максим все стоял. Смотрел в ту сторону, куда уехал Игнатий.

## Стенка

И пришла весна. Обычная — добрая и бестолковая.

В переулках на селе — грязь по колено. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья. И если ухватится за кол какой-нибудь дядя из «Заготскота», то и останется он у него в руках, ибо дяди из «Заготскота» все почему-то как налитые, с лицами красного шершавого сукна. Хозяева огородов ругались, на чем свет стоит.

— Тебе, паразит, жалко сапоги измарать, а я должен каждую весну плетень починять?!

— Взял бы да накидал камней, если плетень жалко.

— А у тебя что, руки отсохли? Возьми да накидай...

— А, тогда не лайся, если такой умный.

А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега. В тополях, у речки, что-то звонко лопается с тихим ликующим звуком: «пи-у».

Лед прошел на реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дрсеву, а на изгибах речных

льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше — умирать.

Шалый сырой ветерок кружится и кружит голову... Пахнет навозом, гнилым мокрым деревом и талой землей.

Вечерами, перед сном грядущим, люди добреют.

Во дворах на таганках потеют семейные чугуны. Пляшут веселые огоньки, потрескивает волглый хворост. Задумчиво в теплом воздухе... Вполсилы ведутся неторопливые, необязательные разговоры — завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься бог знает о чем: что, может, жизнь — судьба эта самая — могла бы быть какой-нибудь иной, малость лучше?.. А в общем-то, и так ничего, хорошо. Особенно весной.

В такой-то задумчивый хороший вечер, минуя большак, пришел к родному селу Степан Воеводин.

Пришел он с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, нагретый за день солнышком, и вздохнул. И стал смотреть на деревню. Он, видно, много отшагал за день и крепко устал.

Он долго сидел так и смотрел.

Потом встал и пошел в деревню.

Ермолай Воеводин копался еще в своем сарайчике — тесал дышло для брички. В сарайчике пахло сосновой стружкой, махрой и остывающими тесовыми стенами. Свету в сарайчике было уже мало. Ермолай шурился и, попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился.

...И тут на пороге, в дверях, вырос сын его — Степан.

— Здорово, тять.

Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына... Потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына.

— Степка, что ли?

— Но... Не узнал?

— Хот!.. Язви тя... Я уж думал: почудилось.

Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу... Обнялись, чмокнулись.

— Пришел?

— Ага.

— Чо-то раньше? Мы осенью ждали.

— Отработал... отпустили.

— Хот... Язви тя!..-- Отец был рад сыну, рад был видеть его. Только не знал, что делать.

— А Борзя-то живет ишо, — сказал он.

— Но? — удивился Степан. Он тоже не знал, что делать. Он тоже рад был видеть отца. — А где он?

— А шалается где-нибудь. Этта, в субботу вывесили бабы бельишко сушить — все изодрал. Разыгрался, сукин сын, и давай трепать...

— Шалавый дурак.

— Хотел уж пристрелить его, да подумал: придешь — обидишься...

Присели на верстак, закурили.

— Наши здоровы? — спросил Степан.

— Ничо, здоровы. Как сиделось-то?

— А ничо, хорошо. Работали.

— В шахтах небось?

— Нет, зачем — лес валили.

— Ну да.— Ермолай кивнул головой.— Дурь-то вся вышла?  
 — Та-а...— Степан поморщился.— Не в этом дело.  
 — Ты вот, Степка...— Ермолай погрозил согнутым прокуренным пальцем.— Ты теперь понял: не лезь с кулаками куда не надо. Нашли, черти полосатые, время драться...

— Не в этом дело,— опять сказал Степан.  
 В сарайчике быстро темнело. И все так же волнуяще пахло стружкой и махрой.

Степан встал с верстака, затоптал окурок... Поднял свой хилый вещмешок.

— Пошли в дом, покажемся.  
 — Немтая-то наша,— заговорил отец, поднимаясь,— чуть замуж не вышла.— Ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость и ничего как-то не приходило в голову.

— Но? — удивился Степан.  
 — Смех и грех...  
 Пока шли от сарайчика, отец рассказывал:  
 — Приходит один раз из клуба и маячит мне: мол, жениха приведу. Я, говорю, те счас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь.

— Может, зря?  
 — Чо зря? Зря... Обмануть надумал какой-то — полегче выбрал. Кому она, к черту, нужна такая. Я, говорю, такого те жениха приведу...  
 — Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда...

А в это время на крыльцо вышла и сама «невеста» — крупная девка лет двадцати трех. Увидела брата, всплеснула руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки, и смотрела она до слез доверчиво.

— М-эм, мм,— мычала она и ждала. когда брат подойдет к ней, и глядела на него сверху, с крыльца... И до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы.

— Вот те и «мэ»,— сердито сказал отец и шаркнул ладонью по глазам.— Ждала все, крестики на стене ставила — сколько дней осталось,— пояснил он Степану.— Любит всех, как дура.

Степан нахмурился, поднялся по ступенькам, неловко приобнял сестру, похлопал ее по спине... А она вцепилась в него, целовала в щеки, в лоб, в губы.

— Ладно тебе,— сопротивлялся Степан и хотел освободиться от крепких объятий. И неловко ему было, что его так нацеловывают, и рад был тоже и не мог оттолкнуть сестру.

— Ты гляди,— смущенно бормотал он.— Ну, хватит, хватит... Ну, все...

— Да пусть уж,— сказал отец и опять вытер глаза.— Вишь, соскучилась.

Степан высвободился наконец из объятий сестры, весело оглядел ее.

— Ну как живешь-то? — спросил.  
 Сестра показала руками — «хорошо».

— У ей всегда хорошо,— сказал отец, поднимаясь на крыльцо.— Пошли, мать обрадуем.

Мать заплакала, запричитала:  
 — Господи-батюшка, отец небесный, услышал ты мои молитвы, долегли они до тебя...

Всем стало как-то не по себе.  
 — Ты, мать, и радуешься и горюешь — все одинаково,— строго заметил Ермолай.— Чо захлюпала-то? Ну, пришел теперь, радоваться надо.

— Дак я и радуюсь, не радуюсь, что ли...  
— Ну и не реви.  
— Здоровый ли, сынок? — спросила мать. — Может, по хвори по какой раньше-то отпустили?

— Нет, все нормально. Отработал свое — отпустили.

Стали приходиться соседи, родные.

Первой прибежала Нюра Агапова, соседка, молодая гладкая баба, с круглым добрым лицом. Еще в сенях заговорила излишне радостно и заполошно:

— А я гляжу из окошка-то: осподи-батюшка, да ить эт Степан пришел?! И правда — Степан...

Степан улыбнулся ей.

— Здорово, Нюра.

Нюра обвила горячими руками красивого соседа, прильнула наголодавшимися вдовьими губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам...

— От тебя, как от печки, пышет, — сказал Степан. — Замуж-то не вышла?

— Где они тут, женихи-то? Два с половиной мужика на всю деревню.

— А тебе что, пять надо?

— Я, может, тебя ждала. — Нюра засмеялась.

— Пошла к дьяволу, Нюрка! — возревновала мать. — Не крутись тут — дай другим поговорить. Шибко тяжело было, сынок?

— Да нет, — стал рассказывать Степан. — Там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там — в неделю два раза. А хошь — иди в красный уголок, там тебе лекцию прочитают: «О чести и совести советского человека» или «О положении рабочего класса в странах капитала»...

— Что же, вас туда собрали кино смотреть? — спросила Нюра весело.

— Почему?.. Не только, конечно, кино...

— Воспитывают, — встрял в разговор отец. — Мозги дуракам вправляют.

— Людей интересных много, — продолжал Степан. — Есть такие орлы!.. А есть образованные. У нас в бригаде два инженера было...

— А эти за что?

— Один — за какую-то аварию на фабрике, другой — за драку. Дал тоже кому-то бутылкой по голове...

— Может, врет, что инженер? — усомнился отец.

— Там не соврешь. Там все про всех знают.

— А кормили-то ничего? — спросила мать.

— Хорошо, всегда почти хватало.

Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало колготно в небольшой избенке Воеводиных. Степан снова и снова принимался рассказывать:

— Да нет, там, в общем-то, хорошо! Вы здесь кино часто смотрите? А мы — в неделю два раза. К вам артисты приезжают? А к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало... А один раз фокусник приезжал. Вот так берет стакан с водой...

Степана слушали с интересом, немножко удивлялись, говорили «хм», «ты гляди!», пытались сами тоже что-то рассказать, но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним.

— А насчет охраны — строго?

— Ерунда! Нас последнее время в совхоз возили работать, так мы там совсем почти одни оставались.

— А бегут?

— Мало.

— А вот говорят: если провинился человек, то его сажают в каменный мешок...

— В карцер. Это редко, это если сильно проштрафился... И то — уркаганов, а нас редко.

— Вот жуликов-то, наверно, где! — воскликнул один простодушный парень. — Друг у дружки воруют, наверно?..

Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана.

— Там у нас строго за это, — пояснил Степан. — Там, если кого заметят, враз решку наведут...

Мать и немая тем временем протопили баню на скорую руку, отец сбегал в лавочку... Кто принес сальца в тряпочке, кто пирожков, оставшихся со дня, кто пивца-медовухи в туюске — праздник случился нечаянно, хозяйева не успели подготовиться. Сели к столу затемно.

И потихоньку стало разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу, перебивали друг друга, смеялись... Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево, хотел еще рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибко старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им доставил удовольствие, позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться... И чтобы им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл:

Прости мне, ма-ать,  
За все мои поступки,  
Что я порой не слушалась тебя-я!..

На минуту притихли было; Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел.

Х, я думала-а, что тюрьма д это шутка,  
И этой шуткой сгубила д я себя-я! —

пел Степан.

Песня не понравилась — не оценили чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их...

— Блатная! — с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в тюрьме — сплошное жулье. — Тихо, вы!

— Что же, сынок, баб-то много сидят? — спросила мать с другого конца стола.

— Хватает.

И возник оживленный разговор о том, что, наверно, бабам-то там не сладко.

— И вить дети небось пооставались.

— Детей — в приюты...

— А я бы баб не сажал! — сурово сказал один изрядно подпивший мужичок. — Я бы им подолы на голову — и ремнем!..

— Не поможет, — заспорил с ним Ермолай. — Если ты ее выпорол — так? — она только злей станет. Я свою смолоду поучил раза два вожжами — она мне со зла немую девку принесла.

Кто-то поднял песню. Свою. Родную.

Оте-ец мой был природный пахарь,  
А я работал вместе с им...

Песню подхватили. Заголосили вразнобой, а потом стали помаленьку выравниваться.

...Три дня, три ноченьки старался —  
Сестру из плена выруча-ал...

Увлечлись песней — пели с чувством, нахмурившись, глядя в стол перед собой.

...Злодей пустил злодейку пулю,  
Уби-ил красавицу сестру-у.

Взошел я на гору крутую,  
Село-о родное посмотреть;  
Гори-ит, горит село родное,  
Гори-ит вся родина-а моя-я!..

Степан крепко припечатал кулак в столешницу.

— Ты меня не любишь, не жалеешь! — сказал он громко. — Я вас всех уважаю, черти драные! Я сильно без вас соскучился.

У порога, в табачном дыму, всхлипнула гармонь — кто-то предусмотрительный смотался за гармонистом. Взрели... Песня погибла. Вылезали из-за стола и норовили сразу попасть в ритм «подгорной». Старались покрепче дать ногой в половицу.

Бабы образовали круг и пошли и пошли с припевом. И немая пошла и помахивала над головой платочком. На нее показывали пальцем, смеялись... И она тоже смеялась — она была счастлива.

— Верка! Ве-ерк! — кричал изрядно подпивший мужичок. — Ты уж тогда спой, ты спой, чо же так-то ходить! — Никто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке — просто закатывался.

Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе:

— Кэ-эк она на меня навалится, матушка, у меня аж в грудях сперло. Я насслу-пасилу вот так голову-то приподняла да спрашиваю: «К худу или к добру?» А она мне в самое ухо дунула: «К добру!»

Пожилая баба покачала головой.

— К добру?

— К добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, говорит.

— Упредила.

— Упредила, упредила. А я ишо подумай вечером-то: «К какому добру, думаю, мне соседка-то предсказала?» Только так подумала, а дверь-то открывается — и он вот он, на пороге.

— Господи, господи, — прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза. — Надо же!

Бабы втащили на круг Ермолая. Ермолай не долго думая пошел вколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал... И приговаривал: «Оп-па, ат-та, оп-па, ат-та». И вколачивал и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу вздрагивала.

— Давай, Ермил! — кричали Ермолаю. — У тя седня радость большая — шевелись!

— Ат-та, оп-па, — приговаривал Ермолай, а рабочая спина его, ссутулившаяся за сорок лет работы у верстака, так и не распрямилась, и так он и плясал — слегка сгорбтившись, и большие узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести — долго ждал этого дня, без малого пять лет.

В круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую, нечеткую дробь...

— Давай, тять...

— Давай — батька с сыном! Шевелитесь!

— А Степка-то не изработался — взбрыкивает.

— Он же говорит: им там хорошо было Жрать давали...

— Там дадут — догонют да еще дадут.

— Ат-та, оп-па!.. — приговаривал Ермолай, приравливаясь к сыну.

Плясать оба не умели, но работали ладно — старались. Людям это нравилось; смотрели на них с удовольствием.

Так гуляли.

Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошел к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу. А в избе продолжали гулять: решили, что так надо, надо, наверно, явиться Степану в сельсовет — оформить всякие бумаги. Только немая что-то забеспокоилась, замычала тревожно, начала тормозить отца. Тот спьяну отмахнулся.

— Отстань, ну ты! Пляши вон.

Вышли за ворота. Остановились.

— Ты что, сдурел, парень? — спросил участковый, вглядываясь в лицо Степана.

Степан приткнулся спиной к воротному столбу, усмехнулся.

— Чудно? Ничего...

— Тебе же три месяца сидеть осталось!

— Знаю не хуже тебя... Дай закурить.

Участковый дал ему папиросу, закурил сам.

— Пошли.

— Пошли.

— Может, скажешь дома-то?.. А то хватятся...

— Сегодня не надо — пусть погуляют. Завтра скажешь.

— Три месяца не досидеть и сбежать!.. — опять изумился милиционер. — Прости меня, но я таких дураков еще не встречал, хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал?

Степан шагал, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла... Вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок, задумчиво улыбался.

— А?

— Чего?

— Зачем ты это сделал-то?

— Сбежал-то? А вот — пройтись разок... Соскучился.

— Так ведь три месяца осталось! — почти закричал участковый. —

А теперь еще пару лет накинута.

— Ничего... Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили — каждую ночь деревня снится... Хорошо у нас весной, верно?

— Н-да... — раздумчиво сказал участковый.

Долго шли молча, почти до самого сельсовета.

— И ведь удалось сбежать!.. Один бежал?

— Трое.

— А те где?

— Не знаю. Мы сразу по-одному разошлись.

— И сколько же ты добирался?

— Две недели.

— Тьфу!.. Ну, черт с тобой, сиди.

В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан задумчиво смотрел в темное окно. Хмель прошел.

— Оружия нет? — спросил участковый, отвлекаясь от протокола.

— Сроду никакой гадости не таскал с собой.

— Чем же ты питался в дороге?

— Они запаслись — те двое-то...

— А им по сколько оставалось?

— По много...

— Но им хоть был смысл бежать, а тебя-то куда черт дернул?

— Ладно, надоело! — обозлился Степан. — Делай свое дело, я ж тебе не мешаю.

Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге. Еще сказал:

— А я, честно говоря, не поверил, когда мне позвонили. Думаю: ошибка какая-нибудь — не может быть, чтоб на свете были такие придурки. Оказывается, правда.

Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал.

— Небось смеялись над тобой те двое-то? — не вытерпел и еще спросил словоохотливый милиционер.

Степан не слышал его.

Милиционер долго с любопытством смотрел на него. Сказал:

— А по лицу не скажешь, что дурак. — И ушел окончательно в протокол.

В это время в сельсовет вошла немая. Остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата...

— Мэ-мм? — спросила брата.

Степан растерялся.

— Ты зачем сюда?

— Мэ-мм? — замычала сестра, показывая на милиционера.

— Это сестра, что ли? — спросил тот.

— Но...

Немая подошла к столу, тронула участкового за плечо и, показывая на брата, руками стала пояснять свой вопрос: «Ты зачем увел его?»

Участковый понял.

— Он... он, — показал на Степана, — сбежал из тюрьмы! Сбежал! Вот так!.. — Участковый показал на окно и показал, как сбегает. — Нормальные люди в дверь выходят, в дверь, а он в окно — раз, и ушел. И теперь ему будет... — Милиционер сложил пальцы в решетку и показал немой на Степана. — Теперь ему опять вот эта штука будет! Два! — Растопырил два пальца и торжествующе потряс ими. — Два года еще!

Немая стала понимать... И когда она совсем все поняла, глаза ее, синие, испуганные, загорелись таким нечеловеческим страданием, такая в них отразилась боль, что милиционер осекся. Немая смотрела на брата. Тот побледнел и замер — тоже смотрел на сестру.

— Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди...

Немая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее...

— Убери ее, — хрипло попросил Степан. — Убери!

— Как я ее убери?..

— Убери, гад! — заорал Степан не своим голосом. — Уведи ее, а то я тебе расколю голову табуреткой!

Милиционер вскочил, оттащил немую от брата... А она рвалась к нему и мычала. И трясла головой.



— Скажи, что ты обманул ее, пошутил... Убери ее!

— Черт вас!.. Возись тут с вами, — ругался милиционер, оттаскивая немую к двери. — Он придет сейчас, я ему дам проститься с вами! — пытался он втолковать ей. — Счас он придет!.. — Ему удалось наконец подтащить ее к двери и вытолкнуть. — Ну, здоровá! — Он закрыл дверь на крючок. — Фу-у... Вот каких ты делов натворил — любуйся теперь.

Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку.

Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошел к телефону.

— Вызываю машину — поедem в район, ну вас к черту... Ненормальные какие-то.

А по деревне серединой улицы шла, спотыкаясь, немая и горько плакала.



---

ЖАН-ПОЛЬ САРТР

★

## СЛОВА\*

ПИСАТЬ

**Ш**арль Швейцер никогда не мнил себя писателем, но французским языком не уставал восхищаться и сейчас еще, на семидесятом году жизни. Выученный с трудом, этот язык так и не стал для него родным: дед играл им, каламбурил, смаковал каждое слово, и его безжалостный выговор не давал пощады ни единому слогу. На досуге перо деда вывешивало словесные гирлянды. Он любил отмечать события семейной и университетской жизни произведениями на случай: новогодними пожеланиями, поздравлениями к рожденьям и свадьбам, рифмованными речами к празднику Карла Великого, пьесками, шарадами, буриме, милыми пошlostями; на ученых конгрессах импровизировал четверостишья, немецкие и французские.

В начале лета, еще до того, как у деда кончались занятия, мы — обе женщины и я — уезжали в Аркашон. Он писал нам три раза в неделю: две страницы — Луизе, постскрипtum — Анн-Мари, мне — целое письмо в стихах. Чтобы я оценил свое счастье сполна, мать изучила правила просодии и объяснила их мне. Кто-то увидел, как я пыхчу над ответными стихами, на меня нажали, заставили дописать, помогли. Отправив письмо, обе женщины хохотали до слез, воображая, как остолбенеет адресат. Обратная почта принесла мне похвальное слово в стихах. Я ответил стихами. Это вошло в привычку, между дедом и внуком протянулась еще одна нить: подобно индейцам или монмартрским сутенерам, мы объяснялись между собой на языке, недоступном для женщин. Мне подарили словарь рифм, я сделала стихотворцем: я посвящал мадригалы Веве, белокурой девочке, которая была прикована к креслу и через несколько лет умерла. Девочка — ангельская душа — плевала на них, но восхищение широкой публики вознаграждало меня за ее равнодушие. Кое-что из этих стихов сохранилось. «Все дети гениальны, кроме Мину Друэ»<sup>1</sup>, — сказал Кокто в 1955 году. В 1912 — гениальны были все, кроме меня. Я обезьянничал, выполнял ритуал, корчил из себя взрослого, но, главное, я писал потому, что был внуком Шарля Швейцера. Я прочел басни Лафонтена и остался недоволен; автор позволял себе вольности; я решил переписать басни александрийским стихом. Задача была мне не по плечу, к тому же я заметил, что надо мной посмеиваются: на этом мои поэтические опыты кончились. Но толчок был дан: я обратился от стихов к прозе, без труда перелагая захватывающие приключения, вычитанные

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

<sup>1</sup> Мину Друэ — девочка, вокруг которой французская буржуазная печать подняла сенсационную шумиху, объявив ее гениальной поэтессой.

в «Сверчке». И в самое время: карточный домик моих грез грозил рухнуть. Бег моей фантазии был погоней за действительностью. Когда мать, не поднимая глаз от нот, спрашивала: «Что ты делаешь, Пулу?» — я отвечал иногда, нарушая обет молчания: «Кино». В самом деле, я пытался исторгнуть образы из своей головы и воплотить их во вне, среди всамделишной мебели и всамделишных стен, вернуть им ослепительность, зримость образов, струившихся по экрану. Напрасно: я уже заметил, что тешу себя двойным обманом: притворяюсь актером, притворяющимся героем.

Я принимался писать и тут же откладывал перо, счастье меня переполняло. Обман был все тот же, но я говорил уже, что считал слова сутью вещей. Ничто не волновало меня больше, чем мои собственные каракули, в которых сквозь смутное мерцание блуждающих огней мало-помалу проступала тусклая вещность: воображаемое осуществлялось. Схваченные капканом наименования, львы, капитаны второй империи, бедуины вторгались в нашу столовую и оставались в ней пленниками навечно, обрета плоть в знаках; я поверил, что в закорючках, выцарапанных моим стальным пером, вымысел обращается в действительность. Я попросил тетрадь, пузырек лиловых чернил, написал на обложке: «Тетрадь для романов». Завершив первый, я озаглавил его: «Ради бабочки». В поисках редкостной бабочки некий ученый с дочерью и молодой путешественник атлетического сложения поднимаются к верховьям Амазонки. Фабула, персонажи, детали приключений, даже заглавье — все было заимствовано из рассказа в картинках, напечатанного в очередном выпуске «Сверчка». Преднамеренный плагиат окончательно избавлял меня от сомнений: я ничего не выдумываю — стало быть, все чистая правда. На опубликование я не претендовал, хитрость состояла в том, что я был издан заранее и не писал ни строчки, которая не была бы заверена моим образчиком. Считал ли я себя копиистом? Нет, я считал себя оригинальным писателем: я ретушировал, подновлял; я позаботился, к примеру, о том, чтоб изменить имена персонажей. Сквозь эти легкие смещения я не видел, где кончается воображение и начинается память. Новые и в то же время уже однажды написанные фразы перестраивались у меня в голове со стремительной неотвратимостью, которую обычно приписывают вдохновению. Я их наносил на бумагу, они на глазах обретали вещественную плотность. Если, как принято думать, писателем во власти вдохновенья движет кто-то иной из самых глубин его существа, то я познал вдохновенье между семью и восемью годами.

Я никогда не поддавался полностью обману «автоматического письма». Но эта игра мне нравилась: единственный ребенок в семье, я мог играть в нее один. Иногда рука моя останавливалась, я изображал сомненье: нахмурив лоб, вперив взор в пространство, я ощущал себя писателем. Плагиат я, впрочем, обожал из снобизма и, как будет видно из дальнейшего, намеренно доводил его до предела.

Буссенар и Жюль Верн никогда не упускают случая просветить читателя: в самый напряженный момент они обрывают нить повествования и принимаются описывать ядовитое растение или туземное жилище. Читая, я перескакивал эти познавательные экскурсы: творя, я начинал ими до отказа мои романы. Я стремился сообщить современникам все, чего не знал сам: каковы нравы туземцев острова Фиджи, африканская флора, климат пустыни. Разлученные волею судеб, затем, сами того не ведая, оказавшись на одном корабле, жертвы одного и того же кораблекрушения, собиратель бабочек и его дочь цепляются за один спасательный круг, поднимают головы и одновременно испускают крик: «Дэзи!», «Папа!» Увы, неподалеку в поисках свежего мяса рыщет акула, она приближается, ее брюхо белеет в волнах. Несчастные, спасутся ли они от

смерти? Я отправлялся за томом «А — Бу» большого Ларусса; с трудом дотащив его до пюпитра, открывал на соответствующей странице и, начав с красной строки, переписывал слово в слово: «Акулы распространены в тропической Атлантике. Эти крупные морские рыбы отличаются большой прожорливостью, достигают тринадцати метров в длину и восьми тонн веса...» Не торопясь, я копировал статью: я чувствовал себя пленительно скучным, пристойным, как Буссенар, и, еще не найдя средств для спасения героев, таял от изысканного восторга.

Все шло к тому, чтоб и это мое занятие превратилось в очередную комедию. Мать не скупилась на поощрения. Как бы невзначай она вводила гостей в столовую, заставая врасплох юного творца за его школьным пюпитром; я делал вид, что с головой ушел в работу и не замечаю поклонников; они выходили на цыпочках, шепча: «Ах, как мил! Ах, что за прелесть!» Дядя Эмиль подарил мне маленькую пишущую машинку, которой я не пользовался, госпожа Пикар купила карту полушарий, чтобы я мог безошибочно пролагать маршруты моим кругосветным путешественникам. Анн-Мари переписала мой второй роман «Торговец бананами» на веленовой бумаге и давала его читать знакомым. Даже Мама поощряла меня. «Он по крайней мере хорошо себя ведет,— говорила она,— не шумит». Ка счастью, посвящение в сан было отсрочено в связи с недовольством дед.

Карл по-прежнему не одобрял моего пристрастия к тому, что он именовал «чтивом». Когда мать сообщила ему, что я начал писать, он пришел сперва в восторг, рассчитывая, как я полагаю, на некую хронику нашей семьи, полную пикантных наблюдений и восхитительных наивностей. Взяв мою тетрадь, он перелистал ее, поморщился и вышел из столовой, раздосадованный тем, что я несу «чушь», подражая моим бульварным любимцам. После этого он утратил интерес к моему творчеству. Мать, уязвленная, пыталась несколько раз как бы ненароком заставить его почитать «Торговца бананами». Она выжидала минуту, когда дед наденет шлепанцы и усядется в кресло; и вот пока он, уставив в одну точку жесткий взгляд, сложив руки на коленях, безмолвно предавался отдыху, она брала мою рукопись, рассеянно листала ее, потом, как бы невольно, начинала смеяться вслух. Наконец, не в силах противиться внезапному порыву, протягивала ее деду: «Ну, почитай, папа! Это т а к забавно». Он отстранял тетрадь, а если и заглядывал в нее, то лишь для того, чтобы досадливо подчеркнуть орфографические ошибки. В конце концов мать совсем оробела: не смея меня хвалить и боясь задеть, она перестала читать мои произведения, чтобы вовсе не говорить о них.

Моя литературная деятельность, которую замалчивали и едва терпели, стала полулегальной; тем не менее я упорно предавался ей в перерывах между уроками, в четверг и воскресенье, на каникулах или в постели, если мне, по счастью, случалось заболеть. Помню блаженные дни выздоровления, черную тетрадь с красным обрезом, с которой я не расставался, точно с рукодельем. Я стал реже «делать кино»: романы заменили мне все. Короче, я писал для собственного удовольствия.

Интриги моих романов усложнились, я вводил в них разнохарактерные эпизоды, валил в этот винегрет без разбору все, что читал, дурное и хорошее — в ущерб повествованию, но с пользой для себя: пришлось выдумывать связки, обойтись одним плагиатом стало невозможно. К тому же я стал раздваиваться. В прошлом году, «делая кино», я играл самого себя, я бросался очерта голову в воображаемое, и мне не раз казалось, что я полностью растворился в нем. Теперь я, писатель, был одновременно и героем, я проецировал в героя мои эпические грезы. И все же нас было двое: у него было другое имя, я говорил о нем в третьем лице. Вместо того, чтобы одалживать ему мое тело, я лепил это тело словами

и как бы наблюдал его извне. Неожиданное «остранение» могло бы ужаснуть меня: оно меня пленило; я наслаждался тем, что могу быть и м, тогда как он — не вполне я. Я имел дело с куклой, покорной моим капризам, мог подвергнуть ее испытаниям, пронзить ей грудь копьем, а потом ухаживать за нею, как за мной ухаживала мать, вылечить ее, как мать вылечивала меня. Мои любимые писатели стыдливо останавливались на полпути к высотам величия: даже паладины Зевако вступали в бой не больше чем с двумя десятками супостатов одновременно. В стремлении революционизировать приключенческий роман я вышвыривал за борт правдоподобие, удешевлял опасности, силы противников: спасая будущего тестя и невесту, молодой путешественник из «Ради бабочки» сражался против акул три дня и три ночи; под конец море стало красным. Тот же герой, раненный, убегал из ранчо, осажденного апашами, и шел через пустыню, поддерживая руками собственные кишки, он не разрешил, чтоб ему зашили живот прежде, чем он не поговорит с генералом. Вскоре он же, под именем Геца фон Берлихингена, обратил в бегство целую армию. Один против всех: таков был мой девиз. Ищите источник этих сумрачных и грандиозных фантазий в буржуазно-пури-танском индивидуализме моего окружения.

Герой — я боролся против тираний; демиург — я сделался сам тираном, я познал все искушения власти. Я был безобиден — стал жесток. Что помешает мне выколоть глаза Дэзи? Умирая от страха, я отвечал себе: ничто. И я их выкалывал, как оторвал бы крылышки мухи. В груди спирало дыхание, я писал: «Дэзи провела рукой по глазам — она ослепла», и застывал с пером в руке, испытывая восхитительное чувство виновности за ничтожный сдвиг, произведенный мной в абсолютном порядке мира. Я не был по-настоящему садистом: моя извращенная радость тут же обращалась в панику, я отменял все свои декреты, перечеркивал и замарывал их, чтобы нельзя было разобрат. Молодая девушка вновь обретала зрение, точнее, никогда его не теряла. Но меня еще долго мучили воспоминания о собственном произволе — я внушал себе серьезные опасения.

Пугало меня и то, что выходило из-под моего пера. Иногда, пресытившись безобидной резней для детского возраста, я давал себе волю и в ужасе обнаруживал страшную вселенную. Ее чудовищность была оборотной стороной моего всемогущества. Я говорил себе: все может случиться! Это означало: я могу вообразить все. Дрожа, готовый в любую минуту разорвать страничку, я рассказывал о сверхъестественных жестокостях. Мать, когда ей случалось заглянуть через плечо в мою тетрадь, восклицала победно и тревожно: «Какое воображение!» Покусывая губы, она пыталась что-то сказать, не находила слов и внезапно убегала: тут я и вовсе терял голову от страха. Но воображение было ни при чем, я не придумывал все эти зверства, а черпал их, как и остальное, в своей памяти.

В ту пору Запад погибал от удушья: это называли потом «сладкой жизнью». За неимением явного врага буржуазия тешилась, пугая себя собственной тенью; она избавлялась от скуки, получая взамен искомый тревожный зуд. Говорили о спиритизме, о материализации духов; напротив нас, в доме 2 по улице Ле Гофф, занимались столоверчением. Происходило это на пятом этаже. «У мага», — говорила бабушка. Иногда она подзывала нас, мы успевали заметить руки на круглом столике, но кто-то подходил к окну, задерживал шторы. Луиза утверждала, что маг принимает ежедневно детей моего возраста в сопровождении матерей «И я его вижу, — сообщала она, — он возлагает им руку на голову». Дед пожимал плечами, но, хотя и осуждал все это, высмеивать не смел. Мать трусила, в бабушке на сей раз говорило скорее любо-

пытство, чем скептицизм. Они сходились на одном: «Главное, не задумываться об этом, а то недолго и с ума сойти». В моде были невероятные истории; благонамеренные газеты снабжали ими два-три раза в неделю своих читателей, утративших веру, но сожалевших об ее изысканных прелестях. Рассказчик сообщал в тоне бесстрастной объективности о некоем странном факте; он шел навстречу позитивизму: происшествие, как ни смущает оно ум, наверняка имеет какое-то рациональное объяснение. Автор его искал, доискивался, добросовестно излагал. Но тотчас пускал в ход все свое искусство, чтобы дать понять, сколь это объяснение легковесно и неубедительно. Вот и все: рассказ обрывался на знаке вопроса. Этого было достаточно. Потустороннее вторгалось в жизнь безымянной и тем более страшной угрозой.

Открывая «Ле матэн», я леденел от ужаса. Одна история меня особенно поразила. До сих пор помню ее название: «Ветер в листве». Летним вечером на втором этаже деревенского дома мечется в постели больная; через открытое окно в комнату протягивает ветви каштан. На первом этаже собралось несколько человек, они болтают, глядя на темнеющий сад. Вдруг кто-то обращает внимание на каштан: «Глядите, глядите! Ветер поднялся, что ли?» Недоумевая, все выходят на крыльцо: ни дуновения, а листья трепещут. И вдруг — крик! Муж больной взбегаёт по лестнице, он видит, что юная его супруга села на кровати, она показывает пальцем на дерево и падает мертвая; каштан впал в свое обычное оцепенение. Что она видела? Из сумасшедшего дома сбежал больной: не он ли, спрятавшись на дереве, скорчил ей страшную рожу? Это он, б е з у с л о в и о он, поскольку нет иного разумного объяснения. И все же... Почему никто не видел, как он туда взобрался, как спустился? Почему не залаяли собаки? Почему через шесть часов его обнаружили в ста километрах от поместья? Нет ответа. Рассказчик небрежно заключал с красной строки: «Если поверить жителям деревни, ветви каштана сотрясала смерть». Я отшвырнул газету, затопал ногами, закричал: «Нет! Нет!» Сердце выскакивало из груди.

Однажды в лиможском поезде я чуть не потерял сознания, листая альманах Ашетта: мне попала гравюра, от которой волосы вставали дыбом, — набережная в лунном свете, бугорчатая клешня лезет из воды, хватает пьяного, затягивает его в глубь водоёма. Картинка была иллюстрацией к тексту, который я проглотил с жадностью. Кончался он следующими примерно словами: «Галлюцинация ли это алкоголика? Или то приоткрылся ад?» Я стал бояться воды, крабов, деревьев. В особенности же книг: я проклял палачей, населявших свои рассказы невыносимыми ужасами. Тем не менее я им подражал.

Нужна была, разумеется, подходящая обстановка, например, сумерки. Мрак затоплял столовую, я подвигал свой столик к окну, во мне просыпался страх. В послушании моих героев, неизменно благородных, непризнанных и реабилитированных, я ощущал раздражающую бесплотность. Тогда возникало это: кровь во мне леденела от ужаса, нечто цепенящее, незримое надвигалось на меня; я должен был это описать, чтобы увидеть. Скомкав очередное приключение, я переносил своих героев в другую часть света, обычно в глубины океана или земли, и спешил подвергнуть их новым опасностям: водолазы или геологи-любители, они наталкивались на следы Твари, преследовали ее и внезапно с нею сталкивались. Существо, рождавшееся в этот момент под моим пером, — спрут с огненными глазами, двадцатитонное членистоногое, гигантский говорящий паук — было мной самим, ребенком-уродом, то была скука моей жизни, страх смерти, моя бесцветность и испорченность. Но я себя не узнавал: едва порожденное мною, гнусное создание кидалось на меня, на моих отважных спелеологов, я дрожал за их жизнь, сердце мое пы-

лало, рука двигалась сама собой, казалось, я не пишу, а читаю. Часто на этом все и кончалось: я не выдавал людей на съедение зверю, но и не выручал их — они столкнулись, с меня было довольно; я вставал, шел на кухню или в кабинет. Назавтра, пропустив одну-две странички, я отправлял своих героев на новые приключения. Странные «романы», начала без концов или, если угодно, нескончаемое продолжение одного и того же повествования под разными заглавьями, смесь героических былей и страшных небылиц, фантастических перипетий и статей из словаря: я не сохранил их и порою сожалею об этом: побереги я хоть несколько тетрадей, мое детство было бы мне выдано с головой.

Я начинал познавать себя. Я был почти что ничто: самое большое — активность без содержания, но и этого достаточно. Я ускользал из комедии: я еще не работал, но уже не играл, врун обретал свое истинное «я» в разработке собственного вранья. Я родился от литературы: до нее была лишь игра зеркал; написав первый роман, я понял, что в зеркальный дворец забрался ребенок. Когда я писал, я ускользал от взрослых; но я существовал только для того, чтобы писать, и, если я говорил: «я», это значило — я, который пишу. Неважно я познал радость; публичный ребенок приватно встретился с самим собой.

Продолжаться так не могло, это было бы слишком прекрасно: в подполье я сохранил бы искренность, меня извлекли на свет божий. Я достиг возраста, когда от буржуазного ребенка принято ждать первых заявок на призвание; нас уже давно оповестили, что мои двоюродные братья Швейцеры из Гериньи будут инженерами, как их отец. Нельзя было терять ни минуты. Госпожа Пикар пожелала первой обнаружить знак, запечатленный на моем лбу. «Этот мальчик будет писать!» — убежденно заявила она. Луиза, задетая, сухо улыбнулась. Бланш Пикар повернулась к ней и строго повторила: «Он будет писать! Он создан, чтоб писать». Матери было известно, что Шарль этого не одобряет: она испугалась осложнений и близоруко на меня поглядела: «Вы уверены, Бланш? Вы уверены?» Но вечером, когда я скакал по кровати в ночной рубашке, она крепко обняла меня и сказала, улыбаясь: «Мой малыш будет писать!» Деда уведомили осторожно: боялись взрыва. Он только покачал головой, но в следующий четверг я услышал, как он поверял господину Симонно, что никто не может без волнения присутствовать на склоне лет при пробуждении нового таланта. Он по-прежнему не проявлял интереса к моему бумагоманью, однако, когда его ученики-немцы приходили к нам обедать, клал руку мне на голову и, не упуская случая сообщить им в соответствии со своим методом прямого обучения еще одно французское выражение, повторял, чеканя каждый слог: «У него развита шишка литературы».

Сам он ничуть в это не верил. Что с того? Зло совершилось — отказать мне наотрез было рискованно: я мог бы заупрямиться. Карл огласил мое призвание, чтобы сохранить за собой возможность отбить у меня к нему охоту. Дед отнюдь не был циником, но он старел: собственные восторги утомляли Шарля, в недрах его сознания — в этой ледяной пустыне, куда он редко навевывался, было наверняка хорошо известно, что мы такое на самом деле: я, вся наша семья, он сам. Однажды, когда я читал, лежа в его ног, в гнетущем безмолвии, которым он вечно, как камнем, давил нас, его осенила мысль, заставившая даже забыть о моем присутствии; он с укором посмотрел на мою мать: «А если ему взбредет в голову зарабатывать на жизнь пером?» Дед ценил Верлена, даже приобрел сборник его избранных стихов. Но утверждал, что видел поэта «пьяным, как свинья», в кабачке на улице Сен-Жак в 1894 году: эта встреча укрепила его в презрении к профессиональным писателям, бала-

ганным чудодеем, которые сначала обещают за луидор достать луну с неба, а кончают тем, что за сто су выставляют напоказ собственную задницу. На лице матери отразился испуг, но она ничего не ответила: ей было известно, что у Шарля на меня другие виды. В большинстве лицеев кафедры немецкого языка были заняты эльзасцами, избравшими Францию,— это была своего рода компенсация за их патриотизм: они страдали от межеумочного положения — между двумя народами, между двумя языками,— от несистематичности образования, его пробелов. Они жаловались также, что коллеги относятся к ним враждебно, не допуская в свой преподавательский круг. Я стану мстителем, я отомщу за деда, за них всех: внук эльзасца, я в то же время француз из Франции; Карл приобшиг меня к сокровищнице человеческого знания, я выйду на магистральный путь: в моем лице мученик Эльзас будет зачислен в Высшую Нормальную школу, и, пройдя по конкурсу, станет великим мира сего — преподавателем литературы. Однажды вечером Карл объявил, что хочет побеседовать со мной, как мужчина с женщиной. Женщины вышли, он посадил меня на колени и повел серьезный разговор. Я буду писать — это дело решенное; я достаточно его знаю, мне нечего опасаться, что он пойдет против моих желаний. Но нужно быть трезвым, смотреть правде в лицо: литература не кормит. Известно ли мне, что знаменитые писатели умирали с голоду? Что иным из них пришлось продаваться за кусок хлеба? Если я хочу сохранить независимость, надо выбрать вторую профессию. Преподавание оставляет досуг; интересы университета близки интересам литературы: я буду совмещать одно служение с другим; я буду общаться с великими писателями: раскрывая их произведения ученикам, я буду в этом же источнике черпать вдохновение. В моем провинциальном затворничестве я буду развлекаться, сочиняя поэмы, переводя белым стихом Горация, я буду публиковать в местной печати короткие литературные заметки, а в «Педагогическом журнале» — блестящие эссе о методике преподавания греческого или психологии подростков. После моей смерти в ящиках стола найдут неизданные труды — медитации о море, одноактную комедию, несколько исполненных эрудиции и чувства страниц о памятниках Орильяка: наберется на небольшую книжечку, которая будет выпущена в свет заботами моих бывших учеников.

С некоторых пор меня перестали трогать восторги деда по поводу моих достоинств; когда дрожащим от любви голосом он называл меня «даром небес», я еще делал вид, что прислушиваюсь, но уже научился не слышать. Почему же я развесил уши в этот день, в минуту, когда он лгал намеренно и обдуманно? Что заставило меня истолковать совершенно превратно урок, который он хотел мне преподать? Дело в том, что голос звучал по-иному: он был сух, тверд — я принял его за голос усопшего, того, кто дал мне жизнь. Шарль был двулик: когда он играл в деда, я видел в нем такого же паяца, как я сам, и не уважал его. Но когда он разговаривал с господином Симонно или сыновьями, когда за столом, принимая услуги своих женщин, безмолвно указывал пальцем на солонку или хлебницу, его полновластие меня покоряло. В особенности этот палец: дед не удостаивал даже выпрямить его, полусогнутый палец описывал в воздухе неопределенную кривую, так что двум его служанкам приходилось догадываться о смысле приказания; иногда выведенная из себя бабушка ошибалась и протягивала компотницу вместо графина; я осуждал бабушку, я склонялся перед этими царственными желаниями, предугадать их было важнее, чем удовлетворить. Если бы Шарль воскликнул, раскрыв мне объятия: «Вот новый Гюго! Вот будущий Шекспир!» — я был бы сейчас чертежником или преподавателем литературы. Но нет: я впервые имел дело с патриархом; он был



суров, он вызывал почтение, он и думать забыл, что обожает меня. То был Моисей, оглашающий народу — мне — новый закон. О моем призвании он упомянул для того только, чтоб подчеркнуть его тяготы: я заключил, что вопрос решен. Предскажи он, что я омочу бумагу потоками слез, что буду биться головой об стену, это могло бы отпугнуть мою буржуазную умеренность. Он утвердил меня в моем призвании, дав понять, что все эти роскошества беспорядочной жизни не мой удел — чтоб рассуждать об Орильяке или педагогике, нет нужды ни в лихорадочном жаре, ни — увы! — в безумствах. Бессмертные рыдания XX века будут исторгнуты из иной груди. Я смирился: не быть мне ни бурей, ни молнией в литературе, я буду блистать в ней домашними добродетелями, любезностью и прилежаньем. Профессия писателя предстала предо мной как занятие взрослого человека, столь томительно серьезное, столь ничтожное, столь лишенное, в сущности, интереса, что у меня не осталось и тени сомнения: мне суждено именно это. Я подумал: «Только и всего», и тут же: «Я одарен». Подобно всем витающим в облаках, я принял падение с небес на землю за открытие истины.

Карл вывернул меня, как перчатку: я считал, что пишу, чтобы закрепить свои грезы, а выходило, если ему верить, что я и грезил-то только для того, чтоб упражнять перо, — мой талант пускался на уловки, страшал меня, тревожил и все ради того, чтобы я каждый день испытывал желание сесть за пюпитр; он поставлял мне темы для изложения, подходящие для моего возраста, в ожидании, пока опыт и зрелость не приступят к своим великим диктовкам. Рухнули мои воздушные замки. «Помни, — говорил дед, — мало иметь глаза, надо уметь ими пользоваться. Известно ли тебе, как поступал Флобер, когда Мопассан был маленьким? Он сажал его перед деревом и давал два часа на описание». И я стал учиться видеть. Призванный воспевать памятники Орильяка, я печально разглядывал монументы иного рода: бювар, пианино, столовые часы, — как знать, может, и им суждено обрести бессмертие моими трудами. Я наблюдал — то была неувлекательная, нудная игра: встав перед плюшевым креслом, я принимался изучать его. Что о нем скажешь? Ну, что оно покрыто зеленой ворсистой материей, у него две ручки, четыре ножки, спинка с двумя деревянными шишечками наверху. Пока все, но я еще вернусь к нему, в следующий раз я сумею рассмотреть его лучше, в конце концов я буду знать кресло, как свои пять пальцев; позднее я опишу его, читатели скажут: «Вот это наблюдательность! Как схвачено, до чего похоже! Все как в жизни!» Мое настоящее перо будет описывать настоящими словами настоящие вещи, — сам черт не помешает тогда и мне стать настоящим. Короче, я раз и навсегда узнаю, что ответить контролерам, когда с меня потребуют билет.

Что и говорить, я ценил свое счастье. Одна беда — оно меня не радовало. Меня включили в штат, меня облагодетельствовали, начертав мне будущее, я уверял, что очарован им, но, грешным делом, меня от него воротило. Набивался я, что ли, на эту писарскую должность? Частое общение с великими людьми убедило меня, что, будучи писателем, рано или поздно становишься знаменитостью; но когда я сопоставлял причитающуюся мне славу и несколько тощих книжонок, которые мне суждено оставить, я ощущал какой-то подвох: мог ли я в самом деле поверить, что столь ничтожные творенья дойдут до моих внучатых племянников, что истории, заранее наводящие скуку на меня самого, заставят биться их сердца? Иногда я утешался мыслью, что меня спасет от забвения мой «стиль» — загадочное свойство, которое дед отрицал за Стендалем и признавал за Ренаном; но это слово, лишенное содержания, не успокаивало.

Главное, мне пришлось отречься от самого себя. Два месяца тому назад я был бретером, силачом — конец всему! От меня требовали, чтобы я сделал выбор между Корнелем и Пардальяном. Я отверг Пардальяна, свою истинную любовь; смиренно отдал предпочтение Корнелю. Я видел, как бегают и дерутся в Люксембургском саду настоящие герои; сраженный их красотой, я понял, что принадлежу к низшей расе. Приходилось сказать об этом вслух, вложить шпагу в ножны, стать рядовой скотинкой, возобновить дружбу с великими писателями — мозгляками, перед которыми я не робел: в детстве они были рахитичными, уж в этом-то мы были похожи; они выросли хилыми, состарились в хворостях — и я буду похож на них; Вольтера высекли по приказу одного дворянина, и меня, быть может, вздует какой-нибудь капитан, бывлой задира из городского сада.

Я поверил в свою одаренность из покорности судьбе — в кабинете Шарля Швейцера, среди растрепанных, разрозненных, испещренных помарками книг, талант был начисто обесценен. Так, в прежние времена в дворянских семьях немало младших сыновей, чьей участью от рождения было духовное поприще, продало бы душу черту, чтоб командовать батальоном. Долго еще мрачная помпезность славы представлялась мне в виде одной картины: длинный стол, накрытый белой скатертью, графины с оранжадом, бутылки игристого вина, я держу бокал, люди во фраках, которые меня окружают, — их не меньше пятнадцать — поднимают тост за мое здоровье, позади угадывается пыльная и пустынная огромность наемного зала. Как видите, я не ждал от жизни ничего хорошего, разве что она воскресит для меня на склоне лет ежегодный праздник Института новых языков.

Так выковалась моя судьба — в доме номер один по улице Ле Гофф, на шестом этаже, под Гёте и Шиллером, над Мольером, Расином, Лафонтеном, подле Генриха Гейне, Виктора Гюго, в ходе тысячу раз повторявшихся бесед: мы с Карлом выгоняли из кабинета женщин, крепко обнимали друг друга, вели вполголоса эти разговоры — диалоги глухих, — и каждое слово запечатлевалось во мне. Шарль наносил удары последовательно и точно, убеждая меня, что я не гений. Я не был им в самом деле и знал это; да и на черта сдалась мне гениальность — героизм, далекий, недостижимый, был единственным предметом моей страсти, пылом слабого сердца. Окончательно отказаться от него мне мешали ущербность и чувство собственной бесполезности. Я больше не смел тешить себя мечтами о будущих подвигах, но в глубине души был испуган: произошло какое-то недоразумение — то ли взяла не того ребенка, то ли ошиблись призванием. В полном смятении я соглашался усердно тянуть ляжку второсортного писателя, чтобы не противоречить Карлу. Короче, он швырнул меня в литературу, так как переусердствовал, пытаясь меня от нее отвратить. И сейчас еще в минуты дурного настроения меня мучает мысль: не убил ли я столько дней и ночей, не извел ли кипы бумаги, не выбросил ли на рынок кучу никому не нужных книг в единственной и нелепой надежде угодить деду. Вот смеху-то было бы — через пятьдесят с лишком лет обнаружить, что ради выполнения воли старого-престарого покойника я ввязался в затею, которую он не преминул бы осудить.

Поистине я точно Сван<sup>1</sup>, вздыхающий, излечась от любви: «И надо же мне было так испортить себе жизнь из-за женщины, которая вовсе не в моем вкусе!» Мне случается втайне быть хамом — этого требует элементарная гигиена. Хам режет правду-матку, но прав он лишь до

<sup>1</sup> Сван — персонаж романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

известного предела. Согласен, у меня нет литературного дара, мне это не раз давали понять. Меня обзывали первым учеником, зазубрившим все правила чужого языка. Да, я первый ученик, мои книги пахнут трудовым потом, не спору, нашим аристократам есть от чего воротить нос. Я часто писал наперекор себе, а значит, и наперекор всем<sup>1</sup>, держа свой ум под таким высоким напряжением, что с годами оно превратилось в повышенное давление моих сосудов. Мои заповеди вшиты мне под кожу: не пишу день — рубцы горят, пишу слишком легко — тоже горят. Эта грубая потребность ставит меня сегодня в тупик своей жесткостью, топорностью — она напоминает тех допотопных, величавых крабов, которых море выносит на пляжи Лонг-Айленда, подобно им она пережиток минувшей эпохи. Я долго завидовал привратникам с улицы Ласепед: лето и вечер выгоняли их на улицу; сидя верхом на стульях, они глядели невинными глазами, не облеченные миссией смотреть.

Но вот закавыка: по родной словесности никаких первых учеников вовсе не существует, если не считать старичков, макающих перо в туалетную воду, и пижонов, пишущих, как сапожники. Такова уж природа слова: говоришь на своем языке, пишешь на чужом. Отсюда я делаю вывод, что все мы в нашем ремесле одним миром мазаны: все каторжники, все клейменные. К тому же читатель понял: я ненавижу свое детство и все его следствия. Разве я прислушивался бы к голосу деда, к этой механической записи, которая меня внезапно пробуждает и гонит к столу, если б то не был мой собственный голос, если бы между восемью и десятью годами, смиренно вняв мнимому наказу, я не возмнил в гордыне своей, что это дело моей жизни.

Мне отлично известно, что я всего лишь машина для деланья книг.

*Шатобриан.*

Я едва не сдался без боя. В литературном даровании, которое Карл скрепя сердце согласился признать за мной, опасаясь отрицать его категорически, я видел, в сущности, лишь некую случайность, она не могла служить законным оправданьем для другой случайности — меня самого. У матери был красивый голос, поэтому она пела. Но оставалась все же безбилетным пассажиром. У меня есть шишка литературы — поэтому я буду писать, до конца дней моих буду разрабатывать эту жилу. Ладно. Но тогда искусство утрачивает — для меня по крайней мере — свою священную власть; я все равно остаюсь бродягой, чуть лучше снаряженным, только и всего. Для того чтобы я почувствовал себя необходимым, кто-то должен был воззвать обо мне. Некоторое время домашние держали меня в этом приятном заблуждении; мне твердили, что я дар небес, что меня дожидаться не могли, что деду и матери я дороже жизни; теперь я в это больше не верил, но у меня осталось чувство, что ты только тогда не лишней, когда родился на свет специально, чтобы удовлетворить чье-то ожиданье. Я был так горд и одинок в ту пору, что хотел либо ощутить себя нужным всему человечеству, либо умереть.

Писать я бросил: декларации госпожи Пикар придали моим разговорам с самим собой такое значение, что я не смел снова взяться за перо. Когда мне захотелось продолжить роман и хотя бы выручить юную пару, покинутую мною без провианта и тропических шлемов в самом сердце Сахары, я познал тоскливые муки бессилия. Едва я уса-

<sup>1</sup> Если вы снисходительны к себе, снисходительные люди будут вас любить; если вы растерзаете соседа — другим соседям будет смешно. Но если вы бичуете вашу душу — все души возопят. (*Прим. автора.*)

живался, голова наполнялась туманом, я гримасничал, кусал ногти — я утратил невинность. Я вставал, слонялся по квартире, мне хотелось подпалить ее; увы, я так и не стал поджигателем: послушный по традиции, по натуре, по привычке, я и взбунтовался впоследствии только потому, что довел свою покорность до предела.

Мне купили «тетрадь для домашних работ» в черной коленкоровой обложке, с красным обрезом — ничто не отличало ее снаружи от «тетради для романов»: я бросал на них взгляд, мои школьные задания и мои личные обязательства сливались, я уже не отличал писателя от ученика, ученика от будущего преподавателя; что писать, что преподавать грамматику — все едино; мое перо, отданное обществу, выпало у меня из рук, несколько месяцев я за него не брался. Глядя, как я кисну у него в кабинете, дед улыбался в бороду: он явно считал, что его политика принесла первые плоды.

Она потерпела крах, потому что меня влек героический эпос. Мою шпагу переломили, меня лишили дворянских прав, и я часто видел по ночам один и тот же тоскливый сон: я в Люксембургском саду, около бассейна, против сената; я должен защитить от неведомой опасности белокурую девочку, похожую на Веве, которая умерла за год до того. Малютка, спокойная, доверчивая, серьезно глядит на меня; часто в руках у нее серсо. А мне страшно: я боюсь уступить ее незримому врагу. И как я люблю ее! Какой отчаянной любовью! Я люблю ее и сегодня; я ее искал, терял, обретал, держал в своих объятиях, снова терял — это эпопея. В восемь лет, в момент, когда я покорился, все во мне восстало; чтобы спасти эту маленькую покойницу, я предпринял простую и бредовую операцию, перевернувшую мою жизнь: я передал писателю священные полномочия героя.

Началось с одного открытия, вернее сказать воспоминания, — некое предвесье было мне еще за два года до того — великие писатели сродни странствующим рыцарям: как одни, так и другие вызывают пылкие проявления признательности. В случае с Пардальяном доказательства были налицо — слезы благодарных сирот избородили тыльную сторону его руки. Но если верить большому Ларуссу и некрологам, которые я читал в газетах, писатели могли потягаться с героями: стоило писателю прожить достаточно долго, он неизменно получал письмо с благодарностью от незнакомца. С этой минуты поток не иссякал, благодарности кипами ложились на стол, загромождали квартиру; иностранцы пересекали моря, чтоб позжать руку писателя; соотечественники после его смерти собирали пожертвования на памятник; в родном городе, а иногда даже в столице страны, где он жил, его именем называли улицы. Сами по себе эти выражения признательности меня не интересовали: они слишком походили на наше семейное комедиантство. Тем не менее одна гравюра меня потрясла: знаменитый романист Диккенс должен через несколько часов высадиться в Нью-Йорке, вдалеке уже виден корабль; на набережной теснится в ожидании толпа, рты разинуты, тысячи каскеток подняты в приветственном жесте, теснота такая, что дети задыхаются, и, однако, толпа одинока, она — сирота, вдовица, она покинута — и все потому, что человек, которого она ждет, отсутствует. Я прошептал: «А здесь кого-то не хватает, я говорю о Диккенсе!» — и слезы выступили у меня на глазах. Но я отмахивался от внешних эффектов, меня занимали их причины: раз литераторам устраивают такие пламенные встречи, сказал я себе, значит, они подвергаются неслыханным опасностям и оказывают человечеству неоценимые услуги. Мне пришлось однажды присутствовать при подобном разгуле энтузиазма: шляпы летели в воздух, мужчины и женщины кричали «браво!». «ура!» — было 14 июля, маршировали алжирские стрелки. Это воспоминание убедило меня

окончательно: несмотря на физическую немощь, манерность, изнеженность, мои собратья по перу были своего рода солдатами, они рисковали жизнью, как партизаны, в тайных схватках — аплодисменты относились в большей мере к их воинской отваге, чем к таланту. Значит, это правда, сказал я себе. Они и нужны! Их ждут в Париже, Нью-Йорке, Москве, ждут, кто в страхе, кто в нетерпении, ждут задолго до того, как они опубликуют свою первую книгу, начнут писать, появятся на свет.

Но тогда... как же я? Я, чья миссия — писать? Да, и меня ждут. Я превратил Корнеля в Пардальяна: он остался кривоногим, узкогрудым, сохранил постную мину, но я избавил его от скупости и корыстолюбия; я намеренно совокупил литературное мастерство и великодушные. Теперь уж ничего не стоило самому сделаться Корнелем и облечь себя полномочиями защитника рода человеческого. Забавное будущее готовила мне моя новая ложь; но пока я был в выигрыше. Явившись на свет незванным, я приложил все усилия, чтобы родиться заново: меня, как я уже рассказал, вызвали к жизни тысячекратные мольбы оскорбленной невинности. Сначала все это было понарошку: мнимый рыцарь, я совершал мнимые подвиги, в конце концов меня стало воротить от их невамделишности. И вот я снова обрел право мечтать, но на сей раз мои мечты реализовались. Ведь призванье существовало, никаких сомнений, гарантию дал сам верховный жрец. Выдуманный ребенок, я становился подлинным паладином, чьими подвигами будут книги. Я призван! Моих творений — первое из них, при всем моем усердии, появится не раньше 1935 года — уже ждут. Году к 1930 люди начнут проявлять нетерпение, говорить между собой: «Хорош гусь однако! Не торопится! Вот уже двадцать пять лет кормим туеядца! Что ж, мы так и порем, не прочитав его?» Я отвечал им своим голосом 1913 года: «Отстаньте, дайте поработать!» Но я держался любезно: я видел, что они — бог знает почему — нуждались в моей помощи, и эта нужда породила меня, только я мог ее удовлетворить. Я прислушивался, стараясь уловить в себе самом это всеобщее ожидание, мой животворный источник и смысл моего бытия. Иногда казалось, еще минута — и я у цели, но тут же я понимал тщету своих усилий. Неважно: с меня было достаточно и этих обманчивых проблесков. Успокоенный, я озирался по сторонам: может, меня уже где-нибудь не хватает? Но нет — слишком рано. Прекрасный предмет желания, пока не познавшего себя, я радостно соглашался хранить некоторое время инкогнито. Иногда бабушка брала меня в библиотеку, меня забавляли высокие задумчивые дамы, скользившие от полки к полке в тщетных поисках автора, который насытил бы их голод: они и не могли его найти, ведь им был я — мальчонка, путавшийся у них под ногами, а они даже не смотрели в мою сторону.

Меня это до смерти потешало и трогало до слез; за свою короткую жизнь я насочинил себе немало ролей и склонностей, но все они таяли, как дым. Теперь во мне пробурили скважину, и бур уперся в скалу. Я писатель, как Шарль Швейцер — дед: от рождения и навсегда. Случалось, однако, что под этим энтузиазмом скреблось беспокойство: я не хотел допустить, что талант, гарантией которого в моих глазах был Карл, простая случайность, я ухитрился превратить его в некий мандат. Но никто не поощрял меня, никто ничего от меня не требовал, и мне не удавалось забыть, что уполномочил себя я сам. Спасшись от потопа в тот самый момент, когда я выделился из природы, чтобы стать наконец самим собой — тем другим для других, каким я хотел быть, — я смотрел в лицо своей судьбе и узнавал ее: это была всего лишь моя собственная свобода, возведенная мной самим в ранг некой сторонней силы. Короче, мне не удавалось ни полностью провести себя, ни полностью разубедить. Я колебался. Сомнения воскресили старую пробле-

му: как сочетать верноподданность Мишеля Строгова и великодушие Пардальяна? Когда я бывал рыцарем, я не повиновался приказам короля; мог ли я согласиться на то, чтоб стать писателем по чьему-то повелению? Впрочем, сомнения мучили меня недолго; я был во власти двух противоборствующих начал, но отлично приноравливался к их разноречию. Меня даже устраивало, что я одновременно дар небес и зачат от себя самого. В хорошие минуты началом всему был я сам, я извлек себя из небытия самостийно, чтобы обогатить людей книгами, которых они жаждут: послушный ребенок, я буду покорен до конца дней, но только самому себе. В часы уныния, когда меня тошнило от никчемности моей свободы, я утешал себя, делая упор на предназначение: призывая род человеческий, я возлагал на него ответственность за свою жизнь и становился всего лишь плодом коллективной потребности. Чаще всего я умудрялся не отказываться полностью ни от свободы, которая вдохновляет, ни от необходимости, которая оправдывает, и тем самым сохранял душевный мир.

Пардальян и Строгов уживались прекрасно — опасность таилась в другом; я стал невольным свидетелем неприятной очной ставки, весьма меня насторожившей. Всю ответственность за это несет Зевако, от которого я никак не ждал подвоха; хотел он смутить меня или предостеречь? Так или иначе, но в один прекрасный день в Мадриде, на постоялом дворе, когда я всецело был поглощен беднягой Пардальяном, который вкушал заслуженный отдых за бутылкой вина, романист привлек мое внимание к другому посетителю — то был не кто иной, как Сервантес. Герои знакомятся, обмениваются заверениями во взаимном уважении и отправляются сообща защищать добродетель. Хуже того, не помня себя от счастья, Сервантес признается новому другу, что намерен писать роман: до сих пор главный герой был ему не вполне ясен, но теперь, слава богу, появился Пардальян, который послужит моделью. Я возмущился и чуть не бросил книгу: какая бестактность! Я был писателем-рыцарем, меня рассекли надвое, каждая половина стала самостоятельным человеком, половинки встретились и вступили в спор: Пардальян был не глуп, но не написал «Дон-Кихота»; Сервантес неплохо дрался, но нечего было и рассчитывать, что он один сможет обратит в бегство двадцать рейтаров. Дружба только подчеркивала ограниченность каждого. Первый думал: «Писака хлипковат, но в храбрости ему не откажешь». А второй: «Черт поberi, для рубаки этот парень неплохо рассуждает». И потом мне вовсе было не по душе, что мой герой послужил моделью для рыцаря Печального Образа. В эпоху «кино» мне подарили адаптированного «Дон-Кихота», я не прочел и пятидесяти страниц: мои героические подвиги выставляли всему миру на посмешище! А теперь и сам Зевако... Кому же верить? Сказать по чести, я был потаскухой, солдатской девкой — мое сердце, мое подлое сердце предпочитало авантюриста интеллигенту; я стыдился быть всего-навсего Сервантесом. Чтобы закрыть себе путь к предательству, я установил рерор, изгнал из головы и лексикона слово «героизм» и его производные, загнал вглубь странствующих рыцарей, заставлял себя думать о литераторах, об опасностях, которые их подстерегают, об остром пере, которым пронзают злодеев. Я по-прежнему читал «Пардальяна и Фаусту», «Отверженных», «Легенду веков», плакал над Жаном Вальжаном, над Эвираднусом, но, захлопнув книжку, стирал их имена в памяти и вызывал на перекличку полк, к которому был приписан: Сильвио Пеллико — приговорен к пожизненному заключению, Андре Шенье — гильотинирован, Этьен Доле — сожжен заживо, Байрон — погиб за Грецию. Я отдался с холодной одержимостью переплавке своего призванья, обогатив его прежними мечтами; я не отступал ни перед чем: я выворачиваю

вал идеи наизнанку, поддельвал смысл слов, я отгородился от мира, опасаясь дурных встреч и возможных сравнений. На смену каникулярному покою моей души пришла всеобщая постоянная мобилизация — я стал военной диктатурой.

От сомнений я, однако, не избавился, только они приняли другую форму. Я оттачиваю свой талант — прекрасно. Но с какой целью? Я нужен людям — для чего? Я имел несчастье задуматься о своей роли и предназначении. Я спросил: «О чем в конце концов речь?» — и понял, что все рушится. Речь не шла ни о чем. Не всяк герой, кому хочется. Храбрости и дара мало, нужны еще гидры и драконы. Я их не видел нигде. Вольтер и Руссо крепко повоевали в свое время: но ведь тогда еще не перевелись деспоты. Гюго, с Гернсея, пригвоздил Баденге, которого я ненавидел по рассказам деда. Но велика ли заслуга кричать о ненависти к императору, вот уже сорок лет как умершему? О современной истории Карл не распространялся: дрейфусар, он никогда и слова не сказал мне о Дрейфусе. А жаль! С каким увлечением сыграл бы я роль Золя: я выхожу из суда, озверелая толпа бросается на меня, я уже занес ногу на ступеньку коляски, оборачиваюсь и крушу самых оголтелых, — впрочем, нет: я нахожу грозные слова, которые заставляют их отступить. И, разумеется, уж я-то, я отказываюсь бежать в Англию. Я не признан, всеми покинут — какая услада вновь стать Гризельдой, одиноко скитаться по Парижу, ни на минуту не сомневаясь, что меня ждет Пантеон.

Бабушка получала ежедневно «Ле матэн» и, если не ошибаюсь, «Эксельсиор»: я узнал о существовании уголовного мира; как всем порядочным людям, он был мне омерзителен. Но от этого зверья в человеческом облике проку мне было мало: неустрашимый господин Лепин<sup>1</sup> сам с ними управлялся. Иногда роптали рабочие, рушились состояния, но я об этом и слыхом не слыхал и до сих пор не знаю, что на сей счет думал дед. Он пунктуально исполнял долг избирателя, выходил из кабинки помолодевшим, немного красуясь, и когда наши женщины поддразнивали его: «Ну, скажи уж, за кого ты голосуешь?» — сухо отрезал: «Это мужское дело!» Однако после избрания нового президента республики он в минуту откровенности дал нам понять, что не одобряет кандидатуру Пама. «Табачный торговец!» — воскликнул он в сердцах. Мелкобуржуазный интеллигент, Шарль хотел, чтоб первым чиновником Франции был его ровня, интеллигентный мелкий буржуа — Пуанкаре. Мать уверяет меня теперь, что он голосовал за радикалов, что ей это было отлично известно. Не удивляюсь: он выбрал партию чиновников; к тому же радикалы уже отжили свой век — Шарль мог спать спокойно: отдавая голос партии прогресса, он голосовал за партию порядка. Короче, если верить деду, дела французской политики были отнюдь не плохи.

Это приводило меня в отчаяние: я вооружился, чтобы защищать человечество против ужасных опасностей, а все заверяли меня, что оно безмятежно развивается и совершенствуется. Дед воспитал меня в уважении к буржуазной демократии: я охотно обнажил бы ради нее перо, но в президентство Фальера крестьяне пользовались избирательным правом — чего же больше? Что делать республиканцу, если ему выпало счастье жить в республике? Он бьет баклуши или преподает греческий, а в часы досуга описывает памятники Орильяка. Я вернулся к исходной точке и опять почувствовал, что задыхаюсь в бесконфликтном мире, обещающем писателя на безработицу.

И снова выручил меня Шарль. Невольно, разумеется. За два года до того, чтобы приобщить меня к идеям гуманизма, он высказал не-

<sup>1</sup> Лепин Луи — префект полиции с 1893 по 1912 год.

сколько мыслей, о которых больше не заикался, опасаясь дать пищу моему безумию. Но идеи запечатлелись в моем мозгу. Теперь они вновь потихоньку забродили во мне и ради спасения основы мало-помалу превратили писателя-рыцаря в писателя-мученика. Я рассказывал о том, как неудавшийся пастор, верный воле отца, сберег божественное, влив его в культуру. Из этой амальгамы возник святой дух, атрибут бесконечной субстанции, патрон литературы и искусства, древних и новых языков, а также метода прямого обучения, белый голубок, который нисходил благодатью на семейство Швейцер, порхал по воскресеньям над органами и оркестрами, а в рабочие дни усаживался, как на насест, на макушку деда. Давние высказывания Шарля, собранные воедино, слились в моей голове в некую речь: мир во власти зла; спасение одно — отринуть самого себя, земные радости, отдаться созерцанию недостижимых идей из бездн крушения. Дело это трудное, требующее опасной и долгой тренировки, поэтому оно поручено специальному корпусу. Служители культа берут опеку над человечеством и обращают свои заслуги на его спасение: хищники, большие и малые, могут, спокойно транжиря свое брэнное существование, грызться друг с другом или тупо прозябать, поскольку писатели и художники размышляют за них о красоте и добре. Для извлечения человечества из животного состояния необходимо и достаточно: во-первых, сберечь в местах, находящихся под надзором, реликвии умерших служителей культа — полотна, книги, статуи; во-вторых, иметь в наличии хотя бы одного живого служителя, способного продолжать дело и фабриковать очередные реликвии.

Подлый вздор: я поглощал его, не очень понимая — в двадцать лет я продолжал еще ему верить. Мне было надолго внушено, что искусство — явление метафизическое, и что от каждого произведения зависит судьба вселенной. Я извлек на свет эту свирепую религию и уверовал в нее, чтоб позолотить свое тусклое призвание: я проникся обидами, озлоблением, не имевшими никакого отношения ни ко мне, ни тем более к моему деду, давняя желчь Флобера, Гонкуров, Готье отравила меня; мне была впрыснута их абстрактная ненависть к человеку, выдаваемая за любовь. Этот яд изменил мои представления о собственной роли. Я стал катаром, я не отделял литературу от молитвы, я превратил ее в человеческое жертвоприношение. Мои братья, решил я, ждут, чтобы мое перо послужило им во спасение. От их жалкого бытия давно и следа бы не осталось, когда бы не постоянное вмешательство святых. Если по утрам я просыпаюсь живой и здоровый, если, подбегая к окну, вижу, как по улице идут господа и дамы, целые и невредимые, то благодарить за это надо некоего труженика-надомника, корпевшего от зари до зари над бессмертной страницей — платой за суточную отсрочку для нас всех. Когда стемнеет, он возобновит свой труд, и так будет сегодня, завтра — пока он не умрет от износа; тогда заступлю на смену я — и я тоже буду удерживать род человеческий на краю пропасти моим жертвоприношением, моим творчеством. Незаметно воин уступил место священнику — трагический Парсифаль, я предлагал самого себя на заклятие. В тот день, когда я открыл Шантеклера<sup>1</sup>, в моей душе все сплелось в тугой клубок — тридцать лет я ухлопал на то, чтобы размотать этот клубок змей. Растерзанный, окровавленный, избитый Шантеклер находит в себе силы охранять птичий двор; он запоет — и ястреб обращен в бегство, и злобная толпа, только что травившая певца, курит ему фимиам; ястреб исчез — поэт сражается вновь, красота вдохновляет его, удесятерит силы, он обрушивается на противника, повергает врага. Я плакал: Гризельда, Корнель. Пардальян — я обрел их всех

<sup>1</sup> Шантеклер — «певец зари», петух, герой пьесы Э. Ростана,



в одном — я буду Шантеклером. Все прояснилось: писать — значит украсить еще одной жемчужиной ожерелье муз, оставить потомству память о поучительной жизни, защитить народ от него самого и от его врагов, торжественной мессой привлечь на людей благословение небес. Мне и в голову не пришло, что можно писать, чтоб тебя читали.

Пишут для соседей или для бога. Я избрал бога, в намерении спасти соседей, я жаждал не читателей, а должников. Высокомерие подтачивало изнутри мое великодушие. Уже во времена, когда я был защитником сирот, я прежде всего избавлялся от них, удаляя с поля сражения. Став писателем, я не изменил повадок: прежде чем спасти человечество, я завязывал ему глаза и только потом разворачивался навстречу маленьким, черным, стремительным рейтарам — словам; когда моя новая сиротка осмелится снять повязку, меня и след простынет; спасенная героическим подвигом одиночки, она не сразу заметит на полках национальной библиотеки лучезарный новенький томик с моим именем.

Прошу учесть смягчающие обстоятельства. Их три. Прежде всего сквозь эти выдумки ясно проглядывает мое сомнение в собственном праве на жизнь. В беспаспортном человечестве, отданном на произвол художника, нетрудно узнать ребенка, который пресыщен благополучием и скучает на своем наесте; я принял гнусный миф о святом, спасающем чернь, потому что в конце концов черню был я сам; я объявил себя патентованным спасателем толпы, чтобы потихоньку и, как говорят иезуиты, сверх того обеспечить собственное спасение.

И потом мне было девять лет. Единственный сын, лишенный товарищей, я и представить себе не мог, что моя изоляция не вечна. Следует отметить, что литератором я был совершенно непризнанным. Я опять начал писать. Мои новые романы, за неимением лучшего, ходили, как две капли воды, на прежние, но никто их не читал. Даже я сам. Мне это было неинтересно. Мое перо двигалось так стремительно, что у меня часто болело запястье; я сбрасывал на пол исписанные тетради, потом забывал о них, они пропадали; поэтому я ничего не завершал: стоит ли рассказывать конец истории, если начало утеряно. К тому же, если бы Карл удостоил взглянуть на эти страницы, он был бы для меня не читателем, а верховным судьей, я страшился его приговора. Сочинительство — мой безвестный труд — было ото всего оторвано и потому осознавало себя самоцелью: я писал, чтоб писать. Не жалею об этом. Читай меня кто-нибудь, я старался бы нравиться и опять стал бы вундеркиндом. На нелегальном положении я сохранил подлинность.

И последнее: идеализм служителя культа опирался на реализм ребенка. Я уже говорил: открыв мир в слове, я долго принимал слово за мир. Существовать — значило обладать заверенным наименованием где-то на бесконечных таблицах слова; писать — значило высекать на них новые существа или — такова была самая упорная из моих иллюзий — ловить вещи живьем, в капканы фраз: если я буду изобретательно пользоваться языком, объект запутается в знаках, я схвачу его. Вот в Люксембургском саду мой взгляд притягивает великолепное подобие платана; я не пытаюсь наблюдать, напротив, я доверчиво жду наития; через мгновение приходит простое прилагательное, а иногда и целое предложение — это и есть настоящая листва; я обогатил вселенную трепещущей зеленью. Никогда я не заносил своих находок на бумагу — я считал, что они накапливаются в моей памяти. На самом деле я их забывал. Но они были провозвестниками моей будущей роли: мне предстоит давать имена. Веками невнятные скопления белизны в Орильке ждали точных контуров, ждали смысла; я превращу их в настоящие памятники. Террорист, я посягал на самую их сущность: мне предстоит глаголом сотворить ее. Ритор, я любил только слова: мне предстоит воз-

двигнуть словесные храмы под голубым окном слова «небо». Я буду строить на века. Взяв в руки книгу, я мог сколько угодно открывать и закрывать ее. ей ничего не делалось. Соприкасаясь с устойчивой субстанцией — т е к с т о м,— мой ничтожный бессильный взор скользил по поверхности, ничего не меняя, ничего не изнашивая. Рядом с книгой я, пассивный, эфемерный, был всего лишь мошкой, которая ослеплена, пронизана огнем маяка; я выходил из кабинета, гасил лампу — невидимая во мраке, книга струила свет по-прежнему, сама для себя. И я надею мои произведения той же неистовостью, теми же всепроникающими лучами, и потому в развалинах библиотек они переживут человека.

Мне понравилось быть неизвестным, я захотел продлить удовольствие, сделать неизвестность своей заслугой. Я завидовал прославленным узникам, писавшим в темницах на оберточной бумаге. Они приносили себя на алтарь ради современников, но были избавлены от общения с ними. Правда, прогресс нравов почти не оставлял надежды на то, что моему таланту посчастливится расцвести в тюрьме, но я не отчаивался: ошеломленное скромностью моих стремлений, провиденье приложит силы, чтобы их осуществить. Пока что я был узником в предвосхищении.

Мать, которую дед обвел вокруг пальца, не упускала случая живописать радости, ожидающие меня: для вящего соблазна она уснащала мою жизнь всем тем, чего не хватало ей самой — покоем, досугом, душевным миром. Молодой преподаватель, холостяк, я снимаю у красивой старой дамы уютную комнату, пахнущую лавандой и свежим бельем; до лица — рукой подать; по вечерам я задерживаюсь в дверях, чтобы поболтать с квартирохозяйкой, она от меня без ума; впрочем, меня обожают все, потому что я любезен и воспитан. Во всем рассказе я слышал только одно — «твоя комната». Лицей, вдову полковника, запах провинции — я все пропускал мимо ушей, я видел только круг света на столе: занавески задернуты, посреди комнаты, утопающей во мраке, я склоняюсь над тетрадь в черной коленкоровой обложке. Мать продолжала рассказ, перескакивая через десять лет: мне покровительствует генеральный инспектор, я принят в хорошем обществе Орильяка, молодая жена питает ко мне самую нежную привязанность, я делаю ей красивых здоровых детей — двух сыновей и одну дочку,— она получает наследство, я покупаю участок на окраине города, мы строимся и каждое воскресенье всем семейством ездим наблюдать за ходом работ. Я не слушал: все эти десять лет маленький, усатый, как мой отец, я, взгромоздившись на стопку словарей, сижу у стола; усы мои седеют, рука безостановочно пишет, тетради одна за другой падают на паркет. Человечество спит; ночь; жена и дети спят, а может, даже и умерли, хозяйка квартиры спит; сон вычеркнул меня из памяти всех. Вот это одиночество: два миллиарда лежат плашмя и я над ними — единственный дозорный.

На меня глядит святой дух. Он как раз принял решение вернуться на небо и покинуть людей; настал час принести себя на алтарь. Я открываю ему раны моей души, псказываю слезы, омочившие бумагу, он читает через мое плечо, гнев его стихает. Что умиротворило его — глубина страданий или совершенство произведения? Я отвечал себе: «Произведение», тайно думая: «Страдания». Конечно, святой дух ценил только подлинно художественные творенья, но я читал Мюссе, я знал, что «слова отчаяния прекрасней всех других», и я решил приманить красоту подсадным отчаянием. Слово «гениальность» мне всегда казалось подозрительным: теперь оно вызывало у меня просто отвращение. К чему тоска, испытания, преодоленные соблазны, в чем заслуга наконец, если я одарен? Я едва мирился с тем, что мне дано тело и что я не могу выбрать себе голову по собственному усмотрению; нет, я не позволю сковать себя выделенным мне снаряжением. Я готов был возложить на себя

миссию при условии, чтоб ничто во мне не предопределяло моего назначения, чтобы оно не было ничем обусловлено, парило в безвоздушном пространстве. Я тайно препирался со святым духом. «Будешь писать»,— говорил мне он. Я ломал руки: «За что, господи, твой выбор пал на меня?» — «Ни за что». — «Так почему же я?» — «Потому». — «Есть ли у меня хоть легкость пера?» — «Никакой. Ты что ж, считаешь, что великие произведения выходят из-под легких перьев?» — «Господи, но если я так ничтожен, как же я создам книгу?» — «Прилежанием». — «Значит, ее может написать кто угодно?» — «Кто угодно, но я избрал тебя». Такая подтасовка меня устраивала — позволяла заниматься самоуничтожением и одновременно чтить в себе автора будущих шедевров. Я был избран, отмечен, но бездарен: все, чего я добьюсь, будет плодом моего нескончаемого терпения и невзгод; я отрицал в себе какую бы то ни было индивидуальность; черты характера связывают; я был верен только одному — царственному служению, которое вело меня к славе через муки. Муки? Их надо было еще найти; это была единственная, но, казалось, неразрешимая проблема, поскольку надеяться на нищету не приходилось: останусь ли я безвестным, достигну ль славы — мне все равно предстоит получать зарплату по ведомству просвещения, голодным я не буду. Я сулил себе жестокие любовные горести без всякого пыла: я ненавидел вздыхателей, скованных чувством; меня шокировал Сирано, этот псевдо-Пардальян, глупевший перед женщинами. За настоящим Пардальяном тянулся хвост поклонниц, «но, доблестный, прямой и даже чуть суровый», он их не замечал; правда, сердце его было навек разбито смертью возлюбленной, Виолетты. Вдовство — неисцелимая рана: из-за женщины — «в тебе, в тебе одной причина», — но не по ее вине; это позволяет отвергнуть притязания остальных. Обдумать. Но допустим даже, что моя юная орильякская супруга гибнет в катастрофе, такое горе еще нимало не дает права на избранничество: оно случайно и обыденно. Моя одержимость нашла все же выход: ведь были писатели, на долю которых выпали позор и травля, в гонении и безвестности прозябали они до последнего вздоха, слава венчала лишь их трупы: вот это по мне. Я буду старательно писать об Орильяке и его статуях. Неспособный к ненависти, я буду стремиться ко всеобщему согласью, к служению людям. И, однако, первое же мое произведение вызовет скандал, я буду объявлен общественно опасным: овернские газеты осыплют меня оскорблениями, лавочки откажутся продавать мне пищу, экзальтированные особы забросают камнями мои окна; чтобы спастись от линчевания, я вынужден буду бежать. Подавленный, я проведу долгие месяцы в тупой прострации, неустанно твердя: «Но, право, это же недоразумение. Ведь человек по природе добр!» И в самом деле, это будет недоразумением, но святой дух не допустит, чтоб оно рассеялось. Я выздоровею. Однажды я снова сяду за свой стол и напишу книгу о море или горах. Она не найдется издателя. Преследуемый, вынужденный прятаться, может быть осужденный, я создам другие книги, много книг, я буду переводить Горация стихами, я изложу свои скромные и в высшей степени разумные суждения о педагогике. Ничего не поделаешь: в чемодане будут скапливаться неизданные тетради.

У этой истории было две развязки; я выбирал ту или другую в зависимости от настроения. В сумрачные дни я видел себя умирающим на железной кровати, окруженным всеобщей ненавистью, отчаявшимся в тот самый час, когда слава уже подносила к губам свой рожок. Иногда я дарил себе немного счастья. В пятьдесят лет, пробуя новое перо, я пишу свое имя на рукописи. Спустя некоторое время она теряется. Кто-то находит ее — на чердаке, в канаве, в чулане дома, из которого я только что выехал,— читает, потрясенный, относит к Артему Файяру,

знаменитому издателю Мишеля Зевако. Триумф — десять тысяч экземпляров распродано за два дня. Всеобщее раскаяние. Свора репортеров устремляется на поиски, но след мой утерян. А я, затворник, долго еще и знать не знаю об этом повороте общественного мнения. Наконец однажды, прячась от дождя, я захожу в кафе, беру газету, и что я вижу? «Жан-Поль Сартр, писатель-загадка, певец Орильяка, поэт моря». На третьей полосе шесть колонок крупным шрифтом. Я ликую. Нет: я в сладкой меланхолии. Во всяком случае я возвращаюсь домой, с помощью хозяйки закрываю и обвязываю веревкой чемодан с тетрадьями и отправляю его Артему Файяру без обратного адреса. На этом я прерывал рассказ, перебирая в уме пленительные комбинации: если я пошлю чемодан из города, где живу, журналисты в мгновение ока обнаружат мое убежище. Лучше отвезти чемодан в Париж, отправить его в издательство с посыльным; я еще успею до поезда посетить места моего детства — улицу Ле Гофф, улицу Суффло, Люксембургский сад. Меня потянет в Бальзар; я вспомню, что дед — к этому времени уже покойный — водил меня туда в 1913 году: мы усаживались рядом на диванчике, все глядели на нас с видом сообщников, дед заказывал пиво — себе кружку, мне стаканчик, — я чувствовал, что я любим. И вот теперь, пятидесятилетний и неприютный, я отворяю дверь пивной, прошу пива. За соседним столиком оживленно болтают молодые красивые женщины, они произносят мое имя. «Ах, — говорит одна, — пусть он стар, уродлив, что за важность: я отдала бы тридцать лет жизни, чтоб выйти за него замуж!» Я улыбаюсь ей гордо и грустно, она отвечает удивленной улыбкой, я встаю, исчезаю.

Долгие часы я шлифовал этот эпизод и множество других, от которых избавлю читателя. В них легко распознать мое детство, мое окружение, выдумки, занимавшие меня на шестом году жизни, упрямство моих паладинов, цеплявшихся за неизвестность, — все это — спроецированное в будущее. В девять лет я все еще упрямо дулся на мир, черпая в обиде наслаждение: из упрямства я, непреклонный мученик, не давал рассеяться недоразумению, осточертевшему самому святому духу. Почему не назвал я своего имени прелестной поклоннице? «Ах, — говорил я себе, — слишком поздно». — «Но ведь это ее не останавливает?» — «Да, но я слишком беден». — «Слишком беден? А гонорары?» Я отметал и это возражение: я написал Файяру, чтоб он роздал бедным деньги, причитающиеся мне. История, однако, нуждалась в развязке: что ж, я угасал в своей конуре, всеми покинутый, но с миром в душе — я выполнил свою миссию.

Меня поражает одно. Сколько бы вариантов этой истории я ни сочинял, стоит мне увидеть свое имя в газете, как пружина лопается, и мне приходит конец; я меланхолически наслаждаюсь известностью, но боле не пишу. Суть обеих развязок едина — умираю ли я, чтоб родиться для славы, приходит ли слава, чтоб меня убить, жажда писать таит в себе отказ жить.

В ту пору взволновал меня один не знаю где вычитанный рассказ. Дело происходит в прошлом столетии. На сибирском полустанке некий писатель рассказывает в ожидании поезда. На горизонте — ни избышки, кругом — ни души. Писатель угрюмо клонит крупную усталую голову. Он близорук, холост, груб, всегда раздражен; он скучает, думает об опухолях простаты, о долгах. И вдруг на тракте, что идет вдоль железнодорожного пути, появляется карета: юная графиня выскакивает из экипажа, подбегает к путешественнику, которого никогда не видела и узнала якобы по дагерротипу, склоняется перед ним, ловит его правую руку, целует ее. На этом история обрывалась, не знаю, что хотел сказать автор. Но меня, девятилетнего мальчишку, восхищало, что у писа-

теля-брюзги в степи нашлись читательницы, что столь прекрасная особа явилась напомнить ему о позабытой им славе — это и было рождением. А посмотреть глубже — смертью. Я ощущал это, я хотел, чтоб было так; живой престолюдин не мог принять таких знаков поклонения от аристократки. Графиня, казалось, говорила: «Если я приблизилась к вам, коснулась вас, значит отпала необходимость блюсти высоту моего ранга; мне не важно, что вы подумаете о моем порыве, вы для меня не человек, а символ вашего творчества». Отделенный тысячью верстами от Санкт-Петербурга и полувеком от даты своего рождения, некий путешественник, сраженный поцелуем в руку, вспыхивал ярким пламенем, сгорал в огне славы, не оставив ничего, кроме пылающих букв каталога произведений. Я видел, как графиня садилась в свою карету, исчезала, и одиночество вновь охватывало степь; в сумерках поездов, нагоняя опоздание, сокращал стоянку, по спине моей пробегала дрожь страха, я вспоминал «Ветер в листве» и думал: «Графиня — это смерть». Она явится мне: однажды, на пустынной дороге она коснется поцелуем моих пальцев.

Смерть была моим наваждением, она потому-то и внушала мне ужас, что я не любил жизни. Уподобив ее славе, я сделал из смерти пункт назначения. Я захотел умереть; иногда леденящий страх сковывал мое нетерпение, но ненадолго; моя святая радость воскресала, я рвался к ослепительному мигу, когда буду испепелен. В наших жизненных замыслах нераздельно сплетены намерения и увертки: я понимаю теперь — в безумной идее испросить литературным трудом прощение за свое существование, как она ни чванлива, ни лжива, — было нечто реальное: тому доказательство, что и сейчас — пятьдесят лет спустя — я продолжаю писать. Но, поднимаясь к истокам, я вижу в ней увертку — наступление из трусости, самоубийство шиворот-навыворот; да, я жаждал смерти больше, чем эпопеи, больше, чем мученичества. Я долго опасался, что кончу дни как начал, вне времени и пространства, что случайная смерть будет лишь отголоском случайного рождения. Призвание меняло все: удары шпаги уходят, написанное остается, я понял, что в изящной словесности дарующий может обратиться в собственный дар, то есть в объект в чистом виде. Случай сделал меня человеком, великодушие сделало бы книгой; я смог бы отлить в бронзовых письменах мою болтовню, мое сознание, сменить тщету жизни на неизгладимость надписей, плоть на стиль, вялые витки времени на вечность, предстать перед святым духом, как некий осадок, выпавший в результате языковой реакции, стать навязчивой идеей человеческого рода, быть наконец другим, иным, чем я сам, иным, чем все другие, иным, чем всё. Сотворив себе тело, не подверженное износу, я затем снабжал бы им потребителей. Я писал бы именно для того, чтобы извять в слове это бессмертное тело, а не ради удовольствия писать. С высоты моей могилы рождение представлялось неизбежным злом, неким сугубо временным воплощением, подготовлявшим преобразование: чтобы воскреснуть, необходимо было писать, чтоб писать, необходим был мозг, глаза, руки; завершится труд, и эти органы рассосутся сами собой — году в 1955 лопнет кокон, из него вылетят двадцать пять бабочек инфолио и, трепеща всеми страницами, усядутся на полку национальной библиотеки. Эти бабочки и будут моим «я»: двадцать пять томов, восемнадцать тысяч страниц текста, триста гравюр, в том числе портрет автора. Мои кости — коленкор и картон, моя пергаментная плоть пахнет клеем и грибами, я расположился со всеми удобствами на шестидесяти килограммах бумаги. Я воскресаю, я наконец становлюсь полноценным человеком, говорящим, думающим, поющим, громыхающим, утверждающим себя с безапелляционной устойчивостью материи. Меня берут, меня

открывают, меня кладут на стол, меня поглаживают ладонью и иногда разгибают так, что раздается хруст. Я терплю все это и вдруг взрываюсь, ослепляю, повелеваю на расстоянии, пространство и время передо мной бессильны, я повергаю в прах дурных, я беру под защиту хороших. От меня нельзя отмахнуться, меня нельзя обойти молчанием, я великий кумир, портативный и грозный. Мое сознание раздробилось — тем лучше. Оно вошло в другие сознания. Меня читают, взор прикован ко мне, меня цитируют, я у всех на устах, я язык — всеобщий и единственный в своем роде; во взоре тысяч я свечусь пытливостью; для того, кто сумеет меня полюбить, я глубочайший трепет его души, но попытайся он дотронуться до меня рукой, я уйду, расту; я больше нигде не существую, я есмь наконец! Я повсюду; я паразитирую на человечестве, мои благодеяния въедаются в него, заставляя непрерывно воссоздавать меня из небытия.

Фокус удался: я похоронил смерть в саване славы; отныне я думал только о последней, не вспоминая о первой, не отдавая себе отчета в том, что они едины. Сейчас, когда я пишу эти строки, я знаю, что мое время истекло, осталось несколько лет. Так вот, я отчетливо представляю себе — без особой радости — надвигающуюся старость, дряхлость, от которой не уйти, дряхлость и смерть тех, кто мне дорог; собственную смерть — никогда. Случается, что я даю понять моим близким — некоторые из них моложе меня на пятнадцать, двадцать, тридцать лет, — как горько мне будет пережить их: они посмеиваются надо мной, и я хохочу вместе с ними, но они ничего не могут — не смогут — изменить: в девять лет у меня были удалены способности испытывать некий пронзительный страх, как говорят, свойственный нашей природе. Через десять лет в Нормальной школе от этого страха вскакивали среди ночи, в ужасе или неистовой ярости, лучшие мои друзья: я дрых, как пономарь. После тяжелой болезни один из них уверял нас, что познал все муки агонии, до последнего вдоха включительно. Самым одержимым был Низан: иногда наяву он видел себя трупом; он поднимался, в глазах его кишели черви, хватал, не глядя, свою шегольскую шляпу с круглой тульей, исчезал; через два дня его находили пьяным в компании каких-то незнакомцев. Иногда, отрываясь от книг, эти смертники делились опытом бессонных ночей, предчувствием небытия: они понимали друг друга с полуслова. Я слушал, я так любил их, что мне безумно хотелось быть равным среди равных, но, как я ни старался, до меня доходили только кладбищенские банальности: живешь, умираешь, неизвестно, кто живет, кто умирает; за час до смерти человек еще жив. Я не сомневался, что в их словах есть какой-то ускользающий от меня смысл; я был изгоем, я молчал, завидуя. Кончалось тем, что, заранее сердясь, они спрашивали: «Ну, а ты? Тебя это не трогает?» Я разводил руками, беспомощно и униженно. Они раздраженно смеялись, им застила взор ослепительная очевидность, которой не удавалось поделиться со мной: «И ты никогда не думал, засыпая, что некоторые люди умирают во сне? Тебе не приходит в голову, когда ты чистишь зубы: ну вот, это в последний раз, мой час пробил? Ты никогда не ощущал, что надо спешить, спешить, спешить, что времени нет? Ты что, считаешь себя бессмертным?» Я отвечал — отчасти из вызова, отчасти по привычке: «Факт, я считаю себя бессмертным». Чистое вранье — я был застрахован от случайной кончины, только и всего; святой дух дал мне долгосрочный заказ, он должен дать мне и время для выполнения. Избранный с малолетства в почетные покойники, я был застрахован самой моей смертью от крушений, кровоизлияний, перитонита: мы условились о дате свидания, явившись слишком рано, я не найду ее; друзья могли сколько угодно

упрекать меня, что я никогда не думаю о смерти: им было невдомек, что я ни на минуту не перестаю жить ею.

Сегодня я признаю их правоту: они полностью приняли условия человеческого существования, включая тревогу; я предпочел душевное спокойствие; в сущности, я действительно считал себя бессмертным: я заранее убил себя, потому что только покойники могут наслаждаться бессмертием. Низан и Майо знали, что станут жертвами зверского нападения, что, живые, полнокровные, они будут отторгнуты от мира. А я занимался самообманом: чтобы лишить смерть ее варварского характера, я решил видеть в ней свою цель, а в жизни — единственный надежный способ умереть. Я полегоньку близился к кончине, зная, что надежды и желания мне строго отмерены для заполнения моих книг, уверенный, что последний порыв моего сердца впишется в последний абзац последнего тома моих сочинений, что смерти достанется уже мертвец. Низан в двадцать лет глядел на женщин и машины, на блага мира с жадностью отчаяния: он торопился все увидеть, все взять немедленно. Я тоже глядел, однако скорее из прилежания, чем с вожделением: моим земным уделом были не удовольствия, а подведение баланса. Я устроился, пожалуй, слишком удобно: из робости чересчур смиренного ребенка, из трусости, я уклонился от риска открытого, свободного, не обеспеченного провидением существования, я уверил себя, что все устроено заранее, более того — что все уже в прошлом.

Эта жульническая операция избавляла, разумеется, от соблазна полюбить себя. Перед угрозой уничтожения каждый из моих друзей старался укрыться в настоящем и, проникаясь сознанием неповторимости своей смертной жизни, видел в себе существо трогательное, драгоценное, единственное; каждый нравился себе; я же — мертвец — себе не нравился: я находил себя заурядным, еще более скучным, чем великий Корнель, и моя индивидуальность субъекта была в моих глазах интересна лишь постольку, поскольку подготавливала мгновение, которое превратит меня в объект. Значит ли это, что я был скромнее? Ничуть — просто хитрее: любовь к себе я препоручал потомкам; в один прекрасный день я трону, не знаю чем, сердце мужчин и женщин, которых еще нет на свете, я дам им счастье. У меня были еще более тайные и коварные помыслы: исподтишка я спасал эту жизнь, навившую скуку на меня самого, низведенную мною до роли орудия смерти; я глядел на нее глазами будущего, и она казалась мне трогательной и чудесной, прожитой мною для всех,— благодаря мне никому уже не нужно переживать ее заново. Можно удовлетвориться чтением. Я остервенело держался за эту схему: я избрал своим будущим прошлое великого покойника и пытался жить в обратной последовательности. Между девятью и десятью годами я стал вполне посмертным.

Грех не на мне одном: дед воспитал меня в иллюзии ретроспективности. Да и он, впрочем, невиновен, я отнюдь не в обиде на него: этот мираж — невольный плод культуры. После смерти свидетелей кончина великого человека навсегда теряет свою внезапность, время превращает ее в черту характера. Давний покойник мертв по природе, он мертв при крещении ничуть не меньше, чем после соборования, мы — хозяева его жизни, мы входим в нее с одного конца, с другого, со середины, хотим — поднимаемся, хотим — спускаемся по ее течению: хронология взорвана, невосстановима; персонаж больше ничем не рискует, с него все как с гуся вода. Существование сохраняет видимость развития, но попробуйте оживить мертвеца — вы обнаружите, что все события его жизни для вас одновременны. Тщетно попытаетесь вы встать на место ушедшего, делая вид, что разделяете его страсти, заблуждения, предрассудки, восстанавливая сопротивление, впоследствии сломленное, мимолетную досаду

или опасение, вы все равно будете оценивать поведение покойного в свете результатов, которые нельзя было предвидеть, и сведений, которыми он не располагал, вы все равно будете придавать особое значение событиям, оказавшимся впоследствии поворотными, хотя для него самого они промелькнули незаметно. Вот вам и мираж — будущее реальнее настоящего. Не следует удивляться: когда жизнь прожита, начало судят по концу. Покойник остается на полпути между бытием и оценкой, между грубым фактом и реконструкцией; кривая жизни замкнута, и сущность истории резюмирована в каждой точке этой окружности. В салонах Арраса молодой адвокат, холодный и манерный, держит под мышкой собственную голову — ведь это покойный Робеспьер; голова истекает кровью, не пачкая ковра; ее не замечает ни один из гостей, но мы только ее и видим; понадобится пять лет, чтоб она скатилась в корзинку, а она перед нами — отрубленная, декламирующая мадригалы, несмотря на отвисшую челюсть. Если этот оптический обман установлен, он перестает быть помехой: мы вносим необходимую поправку. Но в ту эпоху служители культуры его маскировали: он питал их идеализм. Когда великая идея решает родиться, она присматривает себе во чреве женщины великого человека, который станет ее провозвестником; она выбирает ему семью, среду, точно отмеряет понимание и ограниченность близких, регламентирует образование, подвергает необходимым испытаниям, мазок за мазком выписывает мятущийся характер и твердой рукой направляет его порывы, пока предмет столь неусыпных забот не расцветет пышным цветом, произведя идею на свет. Вслух этого нигде сказано не было, но подразумевалось, что в сцеплении причин и следствий скрывается другая последовательность, обратная.

Я с восторгом воспользовался этим миражем, чтобы окончательно застраховать свою судьбу. Я взял время, перевернул его с ног на голову — и все стало на свое место. Начало было положено темно-синей книжечкой с потускневшими золотыми завитушками, толстые страницы которой пахли тленом, она называлась: «Детство знаменитых людей»; надпись удостоверяла, что мой дядя Жорж получил ее в 1885 году как вторую награду за успехи в арифметике. Впервые я обнаружил ее в эпоху моих экзотических путешествий, перелистал, отбросил в досаде: эти юные избранные были далеко не вундеркиндами; у них не было со мной ничего общего, разве что никчемность, — чего ради о них рассказывать. В конце концов книжка исчезла: я наказал ее, забросив подальше. Год спустя я перевероршил все полки, чтобы ее найти: я изменился, вундеркинд стал великим человеком в ярме детства. Странное дело — изменилась и книга. Слова были те же, но я узнавал в них себя. Я почувствовал, что эта штука меня погубит, она меня отталкивала и страшила. Ежедневно, еще не раскрыв ее, я усаживался лицом к окну: в случае опасности я промочу глаза настоящим дневным светом. Как смешны мне сейчас те, кто сожалеет о дурном влиянии Фантомаса<sup>1</sup> или Андре Жида: неужто они не знают, что деги находят отраву там, где ищут? Я глотал свою с безрадостным упорством наркомана. На вид она была, однако, совершенно безобидной. Она поощряла юных читателей: будь послушен, почитай родителей — и достигнешь всего, можешь стать даже Рембрандтом или Моцартом; в коротких новеллах говорилось о вполне обычных занятиях вполне обычных, но чувствительных и благодетельных мальчиков, звавшихся Жан, Жан-Жак или Жан-Батист, — все они, как и я, были счастьем своих родных. Но вот в чем яд:

---

<sup>1</sup> Фантомас — герой романов Марселя Аллена, неуловимый и всемогущий бандит.



исподволь, не помяная имен Расина, Руссо или Мольера, автор пускал в ход все свое искусство, намекая, что они станут великими, походя небрежно напоминая о самых прославленных их произведениях или деяниях и так монтировал повествование, что ничтожнейший случай воспринимался в свете грядущих событий: в будничную суету внезапно вторгалось, преображая все, великое безмолвие легенды — будущее. Некому Санцио до смерти хотелось повидать папу; он добился, чтоб его повели на площадь в день, когда святой отец проходил по ней. Мальчик стоял бледный, вытаращив глаза, наконец кто-то его спросил: «Надеюсь, ты доволен, Рафаэлло? Ты хоть рассмотрел нашего святого отца?» Но он отвечал с отсутствующим видом: «Какого святого отца? Я не видел ничего, кроме красок!» Маленькому Мигелю, мечтавшему о воинской карьере, однажды случилось сидеть под деревом, наслаждаясь рыцарским романом, как вдруг он подскочил от громового лязга железа: то был старый безумец, живший по соседству, обнищавший дворянин, который, гарцуя на дряхлом одре, целил в мельницу своим ржавым копьем. За обедом Мигель так мило рассказал о случившемся, он так забавно подражал несчастному, что все покатывались со смеху; однако потом в своей комнате он швырнул роман на пол, топтал его ногами и долго горько плакал.

Эти дети заблуждались: они считали, что их разговоры и поступки случайны, тогда как на самом деле малейшее слово имело конкретную цель — оно было предвестием грядущего. За их спиной мы с автором обменивались растроганной улыбкой; я читал жизнеописания этих мнимых посредственностей так, как они были задуманы богом — начиная с конца. Сначала я ликовал: то были мои братья, их слава была суждена мне. И вдруг все смешалось; я был по ту сторону — внутри книги: детство Жан-Поля походило на детство Жан-Жака или Жан-Батиста; что б он ни делал, все было многозначительным предзнаменованием. Только на этот раз автор подмигивал моим внучатым племянникам. Эти будущие дети, которых я даже не представлял себе, обозревали меня от конца до начала, я безостановочно направлял им знаменья, зашифрованные с помощью неведомого мне самому кода. Я вздрагивал, пронзенный ледяным дыханием смерти — подлинной сущности каждого моего движения; лишенный права собственности на себя самого, я пытался выбраться из книги, вновь стать читателем, я поднимал голову, я обращался за помощью к свету: но и это тоже было знаменьем, внезапное беспокойство, тревога, движение глаз и шеи, — как истолкуют все это в 2013 году те, у кого будут оба ключа ко мне: творчество и кончина? Я не мог отделаться от книги: я давно прочел ее, но оставался одним из персонажей. Я себя выслеживал: час тому назад я болтал с матерью: что я предрек? Я вспоминал отдельные слова, произносил их вслух — никакого толку. Фразы скользили, я ничего не мог извлечь из них: собственный голос звучал в моих ушах, как чужой, в моей голове пиратствовал, похищая мысли, плутоватый ангелок — белообрый мальчишка ХХХ века, наблюдавший меня через книжку у своего окна. Содрогаясь от любви, я ощущал, как его взгляд настигает меня в моем тысячелетии и накалывает на булавку. Я поддельвался под него: я выдавал на публику фразы с подтекстом. Входила Анн-Мари, я что-то строчил за пюпитром, она говорила: «Как тут темно! Ты испортишь глаза, сыночек». Я пользовался этим, чтобы ответить невзначай: «Я мог бы писать и во мраке». Она смеялась, называла меня дурашкой, зажигала свет. Неизбежное свершилось — ни я, ни она не знали, что трехтысячный год уведомлен о предстоящем мне недуге. В самом деле, на исходе жизни, мучимый слепотой более тяжелой, чем глухота Бетховена, я на ощупь сотворю последний труд — рукопись найдут в моих бумагах,

люди скажут разочарованно: «Но это невозможно прочесть!» Кто-то предложит даже выбросить ее на помойку. В конце концов она будет взята на хранение муниципальной библиотекой Орильяка исключительно в знак уважения к автору; забытая, рукопись пролежит сто лет. Потом однажды из любви ко мне молодые эрудиты попытаются ее расшифровать: целой жизни им не хватит, чтоб восстановить то, что, разумеется, было лучшим из всего мной созданного. Мать уже вышла из комнаты, я один, я повторял для себя самого медленно и, главное, совершенно механически: «Во мраке!» Раздавался сухой щелчок — мой далекий праправнучатый племянник захлопывал книгу: он грезил о жизни своего двоюродного прапрадеда, слезы текли по его щекам. «И это свершилось, Жан-Поль писал во мраке», — вздыхал он.

Я красовался перед детьми, которым предстояло родиться похожими на меня, как две капли воды. Я проливал слезы при мысли, что они будут плакать надо мной. Их глазами я видел свою смерть: она была уже позади, она раскрыла мое «я», я превратился в собственный некролог.

Прочтя все это, один из друзей посмотрел на меня обеспокоенно: «Вы, оказывается, были больны еще серьезней, чем я думал». Болен? Право, не знаю. Мой бред был явно разработан. На мой взгляд, важнее всего здесь, пожалуй, вопрос об искренности. В девять лет я еще не дорос до нее, потом оставил далеко позади.

Вначале я был здоровехонек: маленький плут, умевший вовремя остановиться. Но я не жалел сил и даже в блефе оставался первым учеником; я расцениваю теперь свое паясничество как духовную гимнастику, свою неискренность как карикатуру на абсолютную искренность, близкую и недостижимую. Я не взял призвание, мне его навязали. В сущности, ему неоткуда было взяться: какие-то слова, брошенные старой женщиной, макиавеллизм Шарля. Но этого оказалось достаточно, чтоб меня убедить. Взрослые, угнездившиеся в моей душе, указывали пальцем на мою звезду: звезды я не видел, но палец видел и верил им, якобы верившим в меня. От них я узнал, что существуют великие покойники — один пока еще жив — Наполеон, Фемистокл, Филипп-Август, Жан-Поль Сартр. Усомниться в этом — значило усомниться во взрослых. С Жан-Полем, однако, я был не прочь познакомиться поближе. Ради этого я корчился в муках самораскрытия, которое наконец пришло ко мне успокоение, — так холодная женщина, извиваясь всем телом, взывает к оргазму, а потом пытается подменить его судорогами. Что ж это — симуляция или просто излишнее прилежание? Как бы там ни было, я ничего не добился, озарение, которое должно было раскрыть мне меня самого, ускользало от меня, оставаясь недостижимым, я выносил из своих упражнений ощущение зыбкости, они только расшатывали мою нервную систему. Ничто не могло ни утвердить, ни аннулировать мои полномочия, так как они зиждились на авторитете взрослых, на их неоспоримом доброжелательстве. Неприкосновенный, запечатанный мандат был сокрыт во мне, но принадлежал мне столь мало, что я не мог ни на мгновение усомниться в нем, не в моей власти было отбросить или принять его.

Как ни глубока вера, она никогда не бывает полной. Ее необходимо беспрестанно поддерживать или во всяком случае не давать ей разрушаться. Моя участь была предрешена, я был знаменитостью, у меня была могила на кладбище Пер-Лашез, а возможно, и в Пантеоне, мой проспект в Париже, мои бульвары и площади в провинции, за границей: но сердцевины оптимизма незримо, неслышно подтачивало сомнение, я подозревал себя в несостоятельности. В госпитале святой Анны один больной громко кричал: «Я принц! Приказываю арестовать великого герцога!» К его постели подходили, шептались на ухо: «Высмор-

кайся!» Он сморкался; его спрашивали: «Ты кто по профессии?», он тихо отвечал: «Сапожник» — и снова принимался вопить. По-моему, все мы похожи на этого человека, во всяком случае я на девятом году жизни походил на него: я был принцем и сапожником.

Через два года я на первый взгляд выздоровел: принц исчез, сапожник ни во что не верил и даже не писал; выброшенные на помойку, потерянные, сожженные тетради для романов уступили место тетрадям для грамматического разбора, диктантов и счета. Если бы кому-нибудь удалось проникнуть в мою голову, открытую всем ветрам, он нашел бы в ней несколько бюстов великих людей, таблицу умножения с ошибками и тройное правило, тридцать два департамента с административными центрами, но без супрефектур, некую розу, именующуюся розарозарозамрозэрэрроза, исторические и литературные памятники, несколько правил поведения, высеченных на стелах, и изредка — садистскую игру воображения, застилающую этот унылый вертоград пеленой тумана. Никаких сироток. Ни следа паладинов. Слов «герой», «мученик», «святой» не слышно, не видно. Экс-Пардальян получал каждый триместр справку об удовлетворительном состоянии здоровья: ребенок среднего ума и высокой нравственности, способности к точным наукам слабые, воображение развито, но не чрезмерно, чувствителен; вполне нормален, несмотря на ломание, впрочем заметное все меньше и меньше. На самом деле я совершенно спятил. Я утратил остатки разума в результате двух событий — одно из них носило общественный характер, другое частный.

Первое было полной неожиданностью — в июле 1914 года еще насчитывалось несколько скверных людей; но 2 августа внезапно добродетель овладела властью и взошла на престол: все французы стали хорошими. Враги деда бросались ему в объятия, издатели пошли в добровольцы, мелкий люд пророчествовал — наши друзья приносили в дом простые и мудрые слова своего привратника, почтальона, водопроводчика, все громко выражали восхищение, кроме бабушки, особы явно подозрительной. Я был в восторге: Франция играла для меня комедию, я представлял комедию для нее. Однако война мне быстро наскучила: она так мало нарушала распорядок моей жизни, что я наверняка и не вспоминал бы о ней, но я проникся к войне отвращением, заметив, что она лишила меня книг. Мои любимые издания исчезли из киосков; Арну Галопен, Жо Валь, Жан де ла Ир расстались со своими любимыми героями, подростками, моими братьями, которые совершали кругосветные путешествия на биплане или гидросамолете, сражались вдвоем или втроем против сотни. Колониалистские романы предвоенной эпохи уступили место романам военизированным, населенным юнгами, сиротами, юными эльзасцами, кумирами своей части. Я возненавидел новых пришельцев. В маленьких искателях приключений я видел вундеркиндов — ведь они убивали туземцев в джунглях, а туземцы — это тоже в конце концов взрослые; сам вундеркинд, я узнавал в них себя. А чего стоили все эти сыновья полка? События развивались независимо от них. Индивидуальный героизм был поколеблен: в борьбе против дикарей он опирался на превосходство в вооружении, а что можно противопоставить немецким пушкам? Нужны другие пушки, артиллеристы, армия. Среди храбрых солдатиков, опекавших и поглаживавших его по головке, вундеркинд впадал в детство; и я вместе с ним. Время от времени автор, из жалости, поручал мне отнести донесение, немцы брали меня в плен, я держался, не дрогнув, потом убегал, добирался до своих позиций, докладывал об исполнении задания. Меня, конечно, поздравляли, но без подлинного энтузиазма, и в отеческом взгляде генерала я не находил слепого восторга вдов и сирот. Я утратил инициативу: сраже-

ния были выиграны, война будет выиграна без меня; взрослые вновь захватили монополию на героизм. Мне случалось подобрать ружье убитого и выстрелить несколько раз, но ни разу Арну Галопен и Жан де ла Ир не позволили мне пойти в штыковую атаку. Герой-подмастерье, я с нетерпением ждал призывного возраста. Впрочем, нет, то был не я: ждал сын полка, эльзасский сирота. Я проводил между нами черту, я закрывал книжку. Писать — долгий неблагодарный труд, я знал это и был полон терпения. Но чтение — праздник: я хотел, чтоб слава во всем блеске была мне дана тотчас. А какое будущее мне предлагали? Солдата? Веселое дело! Отдельный пехотинец стоил немногим больше ребенка. Он шел в атаку вместе с другими, бой выигрывал полк. Меня не устраивало быть участником коммунальных побед. Когда Арну Галопен хотел отличить бойца, он не мог придумать ничего умнее, как послать его на выручку раненому капитану. Эта слепая преданность меня раздражала — раб спасал хозяина. И потом это было геройство по случаю: во время войны паек храбрости выдается всем; выпади эта честь другому, он управился бы не хуже. Я негодовал. В предвоенном героизме меня пленяли больше всего одиночество и бескорыстие, я забывал о бледных будничных добродетелях, я щедро перекраивал человека на свой манер. «Вокруг света на гидросамолете», «Приключения парижского мальчишки», «Три бойскаута» — я руководствовался этими священными текстами на пути к смерти и воскресению. И вот их авторы меня предали: они сделали героизм общедоступным; мужество и самоотверженность стали будничными добродетелями; хуже того, они были низведены до уровня элементарного долга. Соответственно изменились и декорации — коллективные туманы Аргонн пришли на смену огромному неповторимому солнцу и индивидуалистскому свету экватора.

После нескольких месяцев перерыва я решил вновь взяться за перо, чтоб написать роман в своем вкусе и преподать урок этим господам. Стоял октябрь 1914 года, мы еще не уехали из Аркашона. Мать купила мне тетради. Все совершенно одинаковые: на сиреневой обложке Жанна д'Арк в каске, примета времени. Под эгидой девственности я начал сочинять историю солдата Перрена: он похищал кайзера, притаскивал его связанным в наши окопы, потом перед всем полком вызывал его на поединок, повергал и заставлял, приставив нож к горлу, подписать позорный мир, вернуть нам Эльзас-Лотарингию. Через неделю повествование наскучило мне до одури. Идея дуэли была мной позаимствована из романов плаща и шпаги: Сторт-Беккер, потомок благородного семейства, изгнанник, заходил в разбойничью таверну; оскорбленный геркулесом, главарем банды, он убивал его ударом кулака, сам становился атаманом и ловко спасался со своим войском на пиратском корабле. Церемония происходила по неизменному и строгому канону — полагалось, чтобы поборник зла считался непобедимым, чтобы защитник добра дрался под улюлюканье, чтобы насмешники леденели от ужаса при его неожиданной победе. Но я по неопытности нарушил все правила и добился прямо противоположного результата: кайзер мог быть довольно кряжист, но до профессионального борца ему было далеко, каждый заранее догадывался, что Перрену, первоклассному атлету, победить его — раз плюнуть. И потом публика была настроена враждебно, наши солдатики вопили, не скрывая ненависти к кайзеру; я был огорашен поворотом дела — Вильгельм II, преступный, но покинутый всеми, оскорбленный и оплеванный, узурпировал на моих глазах царственное одиночество моих героев.

Но были вещи и похуже. До сих пор ничто не подтверждало и ничто не опровергало моих, как выражалась Луиза, «небылиц»: Африка была огромна, далека, малонаселена, информация не доходила, никто

не мог доказать, что моих путешественников там нет, что они не палят в пигмеев в ту самую минуту, когда я повествую о сражении. Я не мнил себя, конечно, их историографом, но, наслушавшись бесконечных разговоров о правдивости романов, я уверовал в правду собственных вымыслов: путь, которым я шел к истине, был пока не вполне ясен мне самому, но будущие читатели разберутся без труда. И вот этот несчастный октябрь сделал меня беспомощным свидетелем столкновения фикции и действительности. Кайзер, родившийся под моим пером, был побежден и отдавал приказ о прекращении огня; логика т р е б о в а л а, чтоб эта осень принесла нам мир; но газеты и взрослые, как назло, с утра до вечера твердили, что война затягивается, что это надолго. Я почувствовал себя обманутым: я был лжецом, россиянином которого никто не захочет верить; короче, я открыл воображение. Впервые я перечитал себя. С краской стыда. Неужели мне — мне — нравились эти детские выдумки? Я едва не отказался от литературы. В конце концов я снес тетрадку на пляж и зарыл ее в песок. Смятение улеглось; я вновь поверил в себя — я рукоположен, в этом нет сомнений, но у изысканной словесности есть свои секреты, в один прекрасный день она их мне откроет. Пока же возраст обязывал меня к осмотрительности. Больше я не писал.

Мы вернулись в Париж. Я навсегда расстался с Арну Галопеном и Жаном де ла Иром: я не мог простить этим оппортунистам, что они, а не я, оказались правы. Я разобиделся на войну, эпопею посредственности; в досаде я отверг современность и укрылся в прошлом. За несколько месяцев до того, в конце 1913 года, я наткнулся на Ника Картера, Буффало Билла, тейаса Джека, Ситтинг Буля — с началом военных действий эти издания исчезли: дед считал, что издатель был немцем. К счастью, у букинистов на набережной можно было найти почти все выпуски, успевшие появиться. Я тянул мать на берег Сены, мы рылись поочередно на всех лотках от вокзала д'Орсэ до вокзала Аустерлиц: случалось, что мы зараз приносили домой пятнадцать номеров; вскоре у меня набралось около пятисот выпусков. Я раскладывал их ровными стопками и не уставал пересчитывать, произнося вслух таинственные заголовки: «Преступление на воздушном шаре», «Договор с дьяволом», «Рабы барона Мутушими», «Воскресенье Дазаара». Мне нравились пожелтевшие, испачканные, замусоленные страницы, источавшие странный запах мертвых листьев: это и были мертвые листья, останки минувшего, поскольку война положила всему конец; я понимал, что последнее приключение человека с длинными волосами так и останется мне неизвестным, что мне никогда не узнать, чем увенчалось последнее расследование короля сыщиков: эти одинокие герои, как и я, были жертвами мирового конфликта, и поэтому я любил их еще сильнее. Достаточно мне было увидеть цветные гравюры на обложке — и я пьянел от радости. Буффало Билл верхом мчался по прерии, преследуя индейцев или спасаясь от них. Еще больше нравились мне иллюстрации к Нику Картеру. Они на первый взгляд однообразны: либо великий сыщик крушит врагов, либо они его колотят. Но эти драки происходят на улицах Манхэттена, на пустырях, упирающихся в бурые ограды или хрупкие кубические конструкции цвета высохшей крови; замороженный, я представлял себе пуританский и кровавый город, за которым угадывались бескрайние пространства саванны, грозившие его поглотить. Преступление и добродетель здесь были равно вне закона; убийца и защитник правосудия, равно свободные и независимые, объяснялись в ночи ударами ножа. В этом городе, как на экваторе, солнце испепеляло. героизм вновь становился непрерывной импровизацией — отсюда идет моя любовь к Нью-Йорку.

Я позабыл и о войне, и о своих полномочиях. Если меня спрашивали: «Что ты будешь делать, когда вырастешь?» — я любезно и скромно отвечал, что буду писать, но мечты о славе и духовную гимнастику я оставил. Может быть, именно благодаря этому четырнадцатые годы были самыми счастливыми годами моего детства. Мы с матерью были однолетками и не расставались. Она называла меня своим кавалером, своим маленьким мужчиной; я рассказывал ей обо всем. Больше, чем обо всем: загнанная вглубь литература обернулась болтовней, она рвалась наружу через мой рот: я описывал все, что видел — и что Анн-Мари видела не хуже меня — дома, деревья, людей; я придумывал чувства ради удовольствия поделиться ими с ней, я превратился в трансформатор энергии: мир пользовался мной, чтоб стать словом. Начиналось с анонимного лепета у меня в голове — кто-то говорил: «Я иду, я сажусь, я пью воду, я ем засахаренный миндаль». Я вслух повторял этот нескончаемый комментарий: «Я иду, мама, я пью воду, я сажусь». Казалось, у меня два голоса, из которых один, почти не принадлежащий мне и не зависящий от моей воли, диктует другому свои слова; я решил, что раздвоился. Такое странное состояние продолжалось до лета; оно утомляло меня, раздражало, я стал испытывать страх. «Что-то говорит у меня в голове», — сказал я матери, она, по счастью, не проявила беспокойства.

Это не мешало ни моему счастью, ни нашему согласию. У нас возникли собственные мифы, словечки, ритуальные шутки. На протяжении почти целого года по крайней мере одну фразу из десяти я заключал с иронической покорностью: «Но это неважно». Я говорил: «Вот большая белая собака, она не белая, а серая, но это неважно». Мы завели манеру оповещать друг друга в эпическом стиле о ничтожнейших вещах, по мере того как они с нами случались. Мы говорили о себе в третьем лице множественного числа. Мы ждали автобуса, он проезжал мимо, не останавливаясь; тогда один из нас возглашал: «Земля содрогнулась от их проклятий, посланных небесам» — и мы принимались хохотать. На людях нам достаточно было подмигнуть друг другу — мы чувствовали себя сообщниками. В магазине или в кондитерской продавщица казалась нам смешной, мать говорила, выйдя: «Я не смотрела на тебя, боялась фыркнуть ей в лицо». Я гордился своим могуществом: немногие дети могут одним взглядом заставить мать фыркнуть. Робкие, мы и пугались вместе; однажды на набережной я обнаружил двенадцать еще не читанных мною выпусков Буффало Билла; мать собиралась заплатить за них, когда подошел мужчина в канотье, жирный, бледный, с угольно-черными глазами и нафабранными усами. Со сладкой улыбкой, которой пленяли красавцы той эпохи, он пристально уставился на мать, но обратился ко мне и забормотал скороговоркой: «Балуют тебя, малыш, балуют». Сначала я только оскорбился: я не привык, чтоб посторонние говорили мне «ты»; но я уловил его маниакальный взгляд, и в тот же миг Анн-Мари и я стали одним существом — испуганной девушкой, отпрянувшей в сторону. Он был сбит с толку и удалился; я заблудился тысячи лиц, но эту физиономию, белую, как внутреннее сало, помню до сих пор; я ничего не знал о жизни плоти и не представлял себе, чего хочет от нас этот господин, но очевидность желания такова, что я, казалось, это понял, передо мной неведомо как были сорваны все покровы. Я ощутил его желание через Анн-Мари; через нее я научился чутко самца, его бояться, ненавидеть. Этот случай укрепил нашу связь: я шагал с суровым видом, держа мать за руку, уверенный, что оберегаю ее. И не память ли это о тех годах? Еще и сейчас мне приятно видеть, как пересур серьезный мальчик важно и нежно беседует со своей матерью-ребенком; мне нравится эта трогательная, пугливая дружба, возникающая вдали от мужчин и направленная против них. Я смотрю, не отры-

ваясь, на эти ребячливые пары, потом вспоминаю, что я мужчина, и отворачиваюсь.

Второе событие относится к октябрю 1915 года; мне было десять лет и три месяца, дольше нельзя было держать меня под домашним арестом. Шарль Швейцер смирил свои обиды и записал меня в подготовительный класс лицея Генриха IV в качестве экстерна.

Первое же сочинение определило мое последнее место в классе. Юный феодал, я воспринимал обучение как форму личной повинности — мадемуазель Мари-Луиза передавала мне знания из любви, я по доброте своей, из любви к ней принимал их. Лекции с кафедры, адресованные всем, демократическая холодность закона меня обескуражили. Постоянное сравнение было не в мою пользу — вымышленное превосходство разлетелось в прах: всегда находился кто-то, отвечающий лучше и быстрее меня. Чересчур любимый, чтоб усомниться в себе, я чистосердечно восхищался товарищами и не завидовал им — придет и мой черед. В пятьдесят лет. Короче, я опускался, ничуть не страдая; в холодном раже я усердно сдавал отвратительные работы. Дед уже хмурил брови; мать поспешила встретиться с господином Оливье, моим классным наставником. Он принял нас в своей холостяцкой квартирке; в голосе матери зазвучали певучие ноты; я стоял около ее кресла и слушал, глядя на солнце сквозь пыльные стекла. Она попыталась доказать, что цена мне выше, чем моим школьным работам: я сам научился читать, я писал романы; исчерпав аргументы, она призналась, что я родился десятилетним — лучше проварился, чем другие, лучше пропекся, подрумянился, поскольку дольше оставался в печи. Чувствительный скорее к ее прелестям, чем к моим достоинствам, господин Оливье внимательно слушал. Это был высокий, костлявый мужчина, лысый, с огромным черепом, ввалившимися глазами, восковым лицом и несколькими рыжими волосками под орлиным носом. Он не согласился давать мне частные уроки, но обещал «последить». Большого я и не просил: я ловил его взгляд на уроках; он говорил для меня одного, я был убежден в этом; я поверил, что он меня любит, я любил его, несколько добрых слов довершили дело: без всякого напряжения я стал довольно приличным учеником. Дед ворчал, просматривая мои отметки за триместр, но уже не думал забирать меня из лицея. В пятом классе учителя сменились, я утратил особое расположение, но уже успел приноровиться к демократии.

Писать мне было некогда из-за школьных занятий; да и охота пропала: у меня появились новые знакомства. Наконец-то у меня были товарищи! Меня, изгоя городских садов, приняли здесь с первого дня и самым естественным образом; я не мог опомниться. Говоря по правде, новые друзья походили на меня куда больше, чем юные Пардаляны, разбившие мое сердце, — это были экстерны, маменькины сынки, привлекательные ученики. Неважно — я торжествовал. Я вел двойную жизнь. Дома продолжал корчить мужчину. Но дети, когда они одни, не выносят инфантильности — они настоящие мужчины. Мужчина среди мужчин, я ежедневно выходил из лицея вместе с тремя Малакенами — Жаном, Рене и Андре, — Полем и Норбером Мейр, Бреном, Максом Берко, Грегуаром; крича, неслись мы на площадь Пантеона, то была минута проникновенного счастья: я смывал с себя семейное комедианство; отнюдь не стремясь блистать, я охотно вторил смеху товарищей, подхватывал команды и остроты, молчал, слушался, копировал повадки тех, кто был рядом, страстно стремился к одному — не выделяться. Собранный, твердый, веселый, я чувствовал, что отлит из стали, что грех существования мне наконец отпущен. Мы играли в мяч между отелом Великих людей и памятником Жан-Жаку Руссо, я был незаменим; теперь мне нечего

было завидовать господину Симонно: кому бы дал пасовку Мейр, обводя Грегуара, если бы здесь сейчас не было меня? Какими ничемными и мрачными казались мои мечты о славе рядом с этими молниями прозрений, освещавшими мне мою необходимость.

К несчастью, они гасли быстрее, чем вспыхивали. По мнению наших матерей, игры нас «слишком возбуждали», из разрозненных особей возникло единое скопище, в котором каждый терял себя; но надолго забыть о родителях нам никогда не удавалось: их невидимое присутствие быстро возвращало нас к групповому одиночеству колоний животного мира. В нашем сообществе, лишенном стремлений, целей, иерархии, мы то полностью сливались, то просто сосуществовали рядом. Вместе мы жили подлинной жизнью, но мы не умели бороться с ощущением, что даны друг другу лишь взаймы, а на самом деле принадлежим каждый к особому, замкнутому коллективу, могущественному и примитивному, который выковывает свои собственные завораживающие мифы, питается самообманом и навязывает нам свой произвол. Балованные и благонамеренные, чувствительные, рассудительные, воспитанные в уважении к порядку и в ненависти к насилию и несправедливости, сплоченные и разъединенные молчаливой уверенностью, что мир создан для нас и что родители каждого соответственно лучшие в мире,— мы заботились о том, чтобы никого не обидеть, чтоб остаться вежливым даже в игре. Издевка и подзуживание сурово осуждались; того, кто зарывался, обступали гурьбой, успокаивали, заставляли извиниться, устами Жана Малакена или Норбера Мейра его журила собственная мать. Кстати, эти дамы встречались между собой и спуску друг другу не давали. Они пересказывали наши разговоры, мнения, критические замечания каждого обо всех; мы, сыновья, никогда не повторяли их суждений. Моя мать вернулась оскорбленной от госпожи Малакен, которая заявила ни больше, ни меньше: «Андре считает Пулу ломакой». Меня это не задело: так говорят матери; на Андре я не обиделся и даже не заикнулся ему об этой истории. Короче, мы уважали все и вся, богатых и бедных, солдат и штатских, молодых и старых, людей и зверей; презирали мы только тех, кто был на полупансионе и в интернате: наверно, они здорово провинились, если родные их бросили; может быть, у них были дурные родители, но это ничего не меняло — дети имеют отцов, которых заслуживают. Недаром вечерами, после четырех, когда вольные экстерны покидали лицей, он превращался в разбойничий притон.

Осмотрительность вносит холодок в дружбу. На каникулах мы расставались без особых сожалений. А ведь я любил Берко. Сын вдовы, красивый, хрупкий, тихий, он был мне, как брат. Я любовался его длинными черными волосами, причесанными на манер Жанны д'Арк. Но главное, мы оба гордились, что все на свете прочли. Уединившись в глубине школьного двора, мы беседовали о литературе, то есть в сотый раз с неизменным удовольствием перечисляли произведения, побывавшие у нас в руках. Однажды он бросил на меня взгляд одержимого и признался, что собирается писать. Нам довелось встретиться с ним снова в классе риторики, он был все так же красив, но болен туберкулезом: он умер восемнадцатилетним.

Все мы, даже мудрый Берко, восхищались Бенаром, зябким кругленьким мальчиком, похожим на цыпленка. Слух о его достоинствах дошел и до наших матерей; несколько раздосадованные, они неустанно приводили его нам в пример, так и не добившись, чтоб мы прониклись к нему отвращением. Судите сами, сколь мы были беспристрастны: он был на полупансионе, но мы любили его за это еще больше — мы избрали его в почетные экстерны. Вечерами при свете домашней лампы мы думали об этом миссионере, оставшемся в джунглях, чтобы обратить



каннибалов интерната, и нам было не так страшно. Справедливости ради следует сказать, что его любили и в интернате. Мне трудно сейчас понять причины этого единодушия. Бенар был мягок, приветлив, чувствителен; притом он шел первым по всем предметам. К тому же мама жертвовала собой ради него. Наши матери не водили знакомства с этой портнихой, но часто ссылались на нее, чтоб мы оценили величие магеринской любви; мы же думали только о Бенаре: он был единственной ее утешой, одним светом в окошке этой несчастной, мы чувствовали величие сыновней любви; одним словом, эти благородные бедняки служили предлогом для всеобщего умиления. Но это объясняло еще не все — истина состояла в том, что Бенар жил лишь наполовину; я никогда не видел его без огромного шерстяного платка; он мило улыбался нам, но говорил мало, и я помню, ему запрещали вмешиваться в наши игры. Я лично особенно уважал Бенара за то, что его хрупкость служила барьером между нами: его поместили под стеклянный колпак; он кивал нам, улыбался, но прозрачная преграда не позволяла нам сблизиться; мы нежно лелеяли его издали, ибо еще при жизни он обрел безликость символа. Детству свойственен конформизм: мы были признательны Бенару за то, что в своем совершенстве он дошел до полной утраты индивидуальности. В разговорах с ним мы наслаждались незначительностью его высказываний; нам не приходилось видеть, чтоб он обозлился или захохотал во все горло; на уроках он никогда не поднимал руки, но когда его спрашивали, сама истина говорила его устами, без колебаний, без особого рвения — так, как положено говорить истине. Нашу компанию вундеркиндов поразило, что, будучи лучшим, он был лишен всякого вундеркиндства. В ту пору мы все в той или иной степени осиротели: отцы либо умерли, либо воевали, — те же, которые оставались, утратив мужское превосходство, предпочитали не попадаться на глаза сыновьям; царствовали матери; Бенар был для нас зеркалом негативных добродетелей матриархата.

В конце зимы он умер. Дети и солдаты не думают о мертвых, но мы, все сорок, рыдали над его гробом. Наши матери бдили: бездна была прикрыта цветами; они добились своего — мы сочли это исчезновение некоей сверхнаградой за отличные успехи, выданной посредине учебного года. К тому же в Бенаре было так мало жизни, что и смерть его показалась ненастоящей — он оставался среди нас в некоей вездесущей и священной ипостаси. Наш моральный уровень резко поднялся: у нас был наш дорогой усопший, понизив голос, мы беседовали о нем с меланхолической отрадой. Быть может, и мы, как он, преждевременно покинем сей мир; мы представляли себе слезы матерей и чувствовали себя драгоценными. Однако не заставила ли меня эта смерть призадуматься? Я смутно помню, что меня потрясла чудовищная очевидность: эта портниха, эта вдова, — она ведь потеряла в с.е. Действительно ли при этой мысли у меня спирало дыхание от ужаса? Не приоткрылось ли мне существование зла, отсутствия бога, непригодность нашего мира для жизни? Думаю, да, иначе почему из всего моего детства, которое я отверг, забыл, утратил, я с болезненной четкостью сохранил именно образ Бенара.

Несколько недель спустя в пятом классе А1 случилось невероятное происшествие: во время урока латыни отворилась дверь, вошел Бенар в сопровождении привратника, поздоровался с господином Дюрри, нашим преподавателем, и сел. Мы все узнали его очки в железной оправе, кашне, нос с небольшой горбинкой, облик зябкого цыпленка — я решил, что бог вернул его нам. Господин Дюрри, казалось, был ошарашен не меньше нас: он прервал объяснения, глубоко вздохнул и спросил: «Имя, фамилия, в каком качестве поступили, профессия родителей?» Бенар ответил, что он на полунансионе и сын инженера, зовут его Поль-Ив Низан. Я был поражен больше всех; на перемене я первым подошел к нему,

заговорил, он мне ответил; мы сблизились. У меня, правда, возникло предчувствие, что я имею дело не с Бенаром, а с его сатанинским подобием, из-за одной детали — Низан косил. Но было поздно принимать меры предосторожности: я полюбил в его лице воплощение добра, позднее я любил Низана за него самого. Я попался в ловушку: склонность к добродетели пробудила во мне нежность к дьяволу. Откровенно говоря, в псевдо-Бенаре было не так-то много зла: он жил — вот и все; он сохранил все качества своего двойника, только они утратили свой глянец: сдержанность Бенара обратилась у него в скрытность; раздраемый бешеными, обращенными внутрь страстями, он никогда не кричал, но бледнел и заикался от ярости: то, что мы принимали за кротость, было просто шоком; его устами выражала себя не истина, а некий объективизм, легкий и циничный, смущавший нас непривычностью; Низан, разумеется, обожал родителей, но, единственный из всех, говорил о них иронически. На уроках он блистал меньше, чем Бенар; зато он много читал и хотел писать. Короче, это была законченная индивидуальность, а для меня ничто не могло быть удивительней, чем индивидуальность в облике Бенара. Это сходство меня преследовало. Не понимая, следует ли хвалить Низана за то, что он заимствует внешние признаки добродетели, или порицать за то, что это всего лишь внешние признаки, я непрерывно переходил от слепого доверия к беспричинному недоверию. Настоящими друзьями мы стали только много позже, после долгой разлуки.

Эти события и встречи прервали на два года мое самокопание, но не устранили его причин. На самом деле в глубине души все оставалось по-прежнему: я не вспоминал о мандате, заложенном в меня взрослыми и скрепленном сургучными печатями, но он не терял силы. Он завладел моей личностью. В девять лет я наблюдал за собой даже в минуты крайнего возбуждения. В десять я потерял себя из виду. Я бегал с Бреном, болтал с Берко, с Низаном; предоставленная самой себе, моя мнимая миссия тем временем обрастала плотью и в итоге зажила собственной жизнью во мраке моей души; она больше не вставала предо мной, но сформировала меня она, сила ее притяжения сказывалась на всем, гибая деревья и стены, образуя небесный свод над моей головой. Прежде я принимал себя за принца. Теперь стал им. В этом и заключалось мое безумие. «Невроз формирования характера», — сказал один из моих друзей, психоаналитик. Он прав: между летом 1914 года и осенью 1916 мой полномочия отлились в характер; бред покинул голову и переплавился в кости.

Ничего нового не произошло: все мои вымыслы и предсказания остались в полной неприкосновенности. С одной только разницей: не отдавая себе в этом отчета, безмолвно, вслепую я все осуществлял. Раньше я представлял себе свою жизнь в картинках — смерть вызывала появление на свет, появление на свет бросало меня навстречу смерти. Как только я перестал все это видеть, я сам обратился в эту двуединость, я натянулся, как струна, между двумя оконечностями, рождаясь и умирая при каждом биении сердца. Грядущее бессмертие стало моей конкретной будущностью — оно пронизывало каждое самое беспечное мое движение. Как бы глубоко меня ни поглощало что-либо, оно было еще более всепоглощающим отвлечением, пустотой — в полноте, легкой ирреальностью — в реальности. Оно на расстоянии убивало вкус карамели во рту, огорчения и радости — в сердце; но зато оно же и спасало каждый самый ничтожный миг, ибо, будучи последним в цепи мгновений, он еще на шаг приближал меня к бессмертию. Оно воспитывало во мне терпение: мне уже не хотелось перескочить через двадцать лет, перелистать двадцать других, я уже не воображал

далеких дней предстоящего триумфа — я ждал. Каждую минуту я ждал минуты ближайшей, так как она тянула за собой следующую. Я жил в безмятежном покое целеустремленности — я опережал самого себя, все меня поглощало, ничто не удерживало. Какое облегчение! Раньше дни мои так напоминали один другой, что мне иногда казалось: я обречен на бесконечное повторение одного и того же. Они не очень-то переменились, сохранили скверную привычку осыпаться, увядая. Но я, я в них стал иным: теперь не время накатывало на мое неподвижное детство, но я — стрела, пушенная по команде, — прорывал время и летел прямо к цели. В 1948 году в Утрехте профессор Ван Ленеп демонстрировал мне прожективные тесты. Одна таблица привлекла мое внимание — на ней была изображена лошадь в галопе, идущий человек, орел в полете, глиссер, подпрыгивающий на воде: пациент должен был указать на рисунок, который создает у него наибольшее ощущение скорости. Я сказал: «Глиссер». Потом с интересом посмотрел на картинку, которая побудила меня высказаться так определенно: глиссер, казалось, отрывался от поверхности озера, еще мгновение — и он воспарит над этой зыбкой гладью. Я сразу понял, почему мой выбор пал на нее: в десять лет я ощутил, что мой форштевень, рассекая настоящее, отрывает меня от него; с той поры я бежал, бегу доныне. Показателем скорости в моих глазах является не столько дистанция, пройденная за определенный отрезок времени, сколько способность оторваться.

Лет двадцать тому назад Джакометти<sup>1</sup>, переходившего вечером площадь Италии, сшибла машина. Раненый, с вывихнутой ногой, в обморочном ясновидении он прежде всего ощутил нечто вроде радости: «Наконец что-то со мной случилось!» Человек крайностей, он ждал худшего; жизнь, которую он любил беспредельно, не желая никакой иной, была перевернута, быть может, поломана дурацким вторжением случая. «Ну что ж, — подумал он про себя, — не судьба мне быть скульптором, не судьба жить; я родился попусту». Но в восторг его привело то, что миропорядок внезапно обнажил перед ним свою угрожающую сущность, что он, Джакометти, уловил цепенящий взор стихийного бедствия, устремленный на огни города, на людей, на его собственное тело, распростертое в грязи. Скульптору всегда представляется близким царство мертвой природы. Меня восхищает подобная воля к всепринятию. Если уж любить внезапности, то любить их именно до такой степени, до этих редких озарений, раскрывающих ценителям, что земля создана не для них.

В десять лет я не мечтал ни о чем ином. Мне хотелось, чтоб каждое новое звено моей жизни возникало внезапно, пахло свежей краской. Я был заведомо согласен на препоны и невзгоды; справедливости ради следует сказать, что я принимал их с улыбкой. Однажды вечером погасло электричество — авария; меня окликнули из другой комнаты; расставив руки, я пошел к двери и, с силой стукнувшись о створку, выбил зуб. Меня это позабавило; несмотря на боль, я засмеялся. Как Джакометти смеялся через много лет над своей ногой, но по причине, диаметрально противоположной. Поскольку я заранее решил, что у моей истории счастливая развязка, все неожиданное играло роль приманки, новизна — обманчивой видимости, порядок вещей был отрегулирован заранее потребностью народов, вызвавшей меня к жизни: в сломанном зубе я усмотрел знак, скрытое предупреждение, которое будет понято мною позже. Иначе говоря, в любых обстоятельствах, любой ценой я сохранял веру в целесообразность. Рассматривая свою жизнь в свете кончины, я представлял ее себе замкнутой памятью: ничто лишнее не могло в нее проникнуть, ничто нужное не могло из нее выпасть. Можно ли вообра-

<sup>1</sup> Джакометти Альберто (р. 1901) — известный скульптор.

зить положение надежнее? Случайности не существовали — по воле провидения я сталкивался только с их подобиями. Судя по газетам, улицы таили смертельную, неведомо откуда возникавшую угрозу для обыкновенного человека; мне, чья судьба predetermined, бояться нечего. Может случиться, я потеряю руку, ногу, глаза. Но к этому можно отнести по-разному: несчастья будут мне искусом и материалом для книг. Я научился терпеливо сносить огорчения и болезни: я видел в них первые признаки моей триумфальной смерти, ступени, которые она вытесывала, чтобы поднять меня до себя. Эта грубоватая заботливость была не лишена приятности, мне хотелось стать достойным ее. Чем хуже, тем лучше — считал я; даже от моих ошибок была польза, и, значит, я их не сомневался. В десять лет я был самонадеян: скромный и несносный, я не сомневался, что мои поражения — залог посмертной победы. Пусть я ослепну, потеряю ноги, сойду с пути, чем больше сражений я проиграю, тем верней выиграю войну. Я не делал никаких различий между испытаниями, предначертанными избранникам, и неудачами, за которые я нес ответственность, — поэтому мои преступления казались мне, в сущности, злоключениями, а в невзгодах я усматривал собственный промах; в самом деле, если я подхватывал болезнь — будь то корь или насморк, — я заявлял, что сам виноват: не проявил должной осмотрительности, забыл надеть пальто или шарф. Я всегда предпочитал обвинять себя, а не мир; не по доброте душевной — чтобы зависеть только от себя самого. Надменность не исключала смирения: я тем охотнее признавал свои слабости, что через них неотвратимо лежал кратчайший путь к добру. Это было удобно — движение жизни неодолимо влекло меня за собой, вынуждая непрерывно совершенствоваться, хочу я того или нет.

Всем детям известно, что они делают успехи. Впрочем, им не позволяют об этом забыть: «Добивайся успеха», «Он успеет», «Регулярные и серьезные успехи...» Взрослые излагали нам историю Франции: после первой республики, не слишком надежной, пришла вторая, а затем третья — на этот раз хорошая: бог троицу любит. Сводом буржуазного оптимизма была в ту пору программа радикалов: рост изобилия, устранение пауперизма путем распространения знаний и мелкой собственности. Нам, молодым господам, этот оптимизм преподносили в приспособленном к нашему уровню виде, и мы с удовлетворением замечали, что наши индивидуальные успехи воспроизводят успехи нации. И, однако, только немногие из нас хотели подняться над отцами, для большинства все сводилось к достижению зрелости; после чего рост и развитие прекратятся, зато окружающий мир сам по себе делается лучше и комфортабельней. Некоторые ждали этого момента с нетерпением, иные со страхом, иные с грустью. Что касается меня, то до посвящения в сан я относился к росту с полнейшим безразличием — мне было начхать на право облачиться в тогу совершеннолетия. Дед находил меня маленьким и огорчался. «Он пошел в Сартров», — говорила бабушка, чтобы его позлить. Шарль делал вид, что не слышит, ставил меня перед собой, мерил взглядом и произносил наконец не слишком убежденно: «Он вытягивается!» Я не разделял ни его озабоченности, ни его надежд: ведь и дурная трава быстро растет; можно стать большим, оставаясь дурным. Для меня в ту пору самое главное было остаться хорошим *in aeternum*. Но все изменилось, когда моя жизнь приобрела ускрение: поступать хорошо было уже недостаточно, стало необходимо с каждым часом поступать л у ч ш е. Я подчинил себя одной заповеди — карабкаться вверх. Чтобы дать пищу моим претензиям и замаскировать их непомерность, я поступал, как все: в моих нетвердых детских успехах усматривал предвестия своей судьбы. Я действительно делал успехи, незначительные и вполне обычные, но они создавали у меня иллюзорное ощущение подъема.

Публичный ребенок, я на публике придерживался мифа своего класса и своего поколения: человек извлекает пользу из приобретенного, накапливает опыт, настоящее богато плодами прошлого. Наедине с самим собой я этим отнюдь не удовлетворялся. Я не мог согласиться с тем, что бытие дается извне, сохраняется по инерции, что любое движение души есть следствие предшествующего движения. Порожденный грядущим ожиданием — сразу и сполна, — я порхал, лучась, и каждое мгновение рождало меня вновь: я рассматривал свои сердечные порывы, как искры внутреннего огня. Чем же я обязан прошлому? Не оно меня создало, это я, напротив, восстав из пепла, творил из небытия свою память, воссоздавая ее снова и снова. Я возрождался всякий раз лучшим, я пробуждал и полнее использовал запасы своей души, потому что смерть, надвигавшаяся все ближе, все резче озаряла меня своим темным светом. Мне часто говорили: прошлое нас подталкивает, но я был убежден, что меня притягивает будущее; мне было бы ненавистно ощутить в себе работу размеренных сил, медленное созревание задатков. Я загнал плавный прогресс буржуа в свою душу, я превратил его в двигатель внутреннего сгорания; я подчинил прошлое настоящему, а настоящее будущему, я отринул безмятежную эволюционность и избрал прерывистый путь революционных катастроф. Несколькими лет тому назад кто-то отметил, что герои моих пьес и романов принимают решения внезапно и стремительно — к примеру, в «Мухах» переворот в душе Ореста происходит мгновенно. Черт побери, я творю их по образу своему и подобию; не такими, разумеется, каков я есмь, но такими, каким я хотел бы быть.

Я сделался предателем и им остался. Тщетно я вкладываю всего себя во все, что затеваю, целиком отдаюсь работе, гневу, дружбе — через минуту я отрекнусь от себя, мне это известно, я хочу этого и, радостно предвосхищая измену, уже предаю себя в самый разгар увлечения. В общем, я держу слово не хуже других; но, будучи постоянным в привязанностях и манере поведения, не храню верности эмоциям: было время, когда любой памятник, портрет или пейзаж мне казался самым прекрасным потому только, что я видел его последним; я сердил друзей, цинично или просто небрежно посмеиваясь — чтоб убедиться, что меня все это больше не трогает, — над каким-нибудь общим воспоминанием, по-прежнему дорогим для них. Недолюбливая себя, я убегал вперед; результат: я люблю себя еще меньше, неумолимо поступательное движение непрерывно обесценивает меня в собственных глазах — вчера я поступил плохо, ибо это было вчера, и я предвижу сегодня, сколь суров будет завтра мой приговор себе. Главное, никакого панибратства: я держу прошлое на почтительном расстоянии. Отрочество, зрелость, даже истекший год — все было при царе горохе: сейчас грядет новое царство, но настанет оно, когда рак свистнет. Первые годы жизни в особенности вымараны мной начисто: взявшись за эту книгу, я вынужден был потратить много времени на расшифровку перечеркнутого. Когда мне было тридцать лет, друзья удивлялись: «Можно подумать, что у вас не было родителей. Не было детства». Болван, мне это льстило. И, однако, я люблю, уважаю смиренную и цепкую верность вкусам, желаниям, давним замыслам, отошедшим радостям, присущую некоторым людям — особенно женщинам, я восхищаюсь их стремлением пронести постоянство сквозь все перемены, сберечь память о прошлом, унести в гроб первую куклу, молочный зуб, первую любовь. Я знал мужчин, которые на склоне лет сходились с постаревшей женщиной потому только, что желали ее в юности; другие хранили обиды на мертвых и, хоть тресни, не соглашались покаяться во вполне простительном грехе, совершенном двадцать лет назад. Я не злопамятен и готов все признать: у меня прекрасные данные для самокритики, при одном условии — чтоб мне ее не навя-

зывали. В 1936, в 1945 кто-то досадил человеку, носившему мое имя: какое мне до этого дело? Его оскорбили, он утерся; я списываю это по графе его убытков — дурак, не умел даже заставить уважать себя. Встречает меня старый друг, излагает претензии: вот уже семнадцать лет, как он на меня в обиде; при таких-то обстоятельствах я был невин-мателен к нему. Смутно помню, что нападал, защищаясь, что упрекал его тогда в чрезмерной подозрительности, в мании преследования — короче говоря, у меня была собственная версия случившегося: тем охотней я принимаю теперь его точку зрения; я с ним полностью соглашаюсь, я виню во всем себя: я держался, как человек тщеславный, эгоистичный, я бессердечен; весело рублю направо и налево, наслаждаюсь ясностью собственной оценки; раз мне так легко признать ошибки — значит, я не могу их повторить. Поверите ли? Моя добросовестность, легкость покаяния только раздражают истца. Он, мол, меня раскусил, я над ним издеваюсь. Он сердится на меня — на нынешнего, прошлого, такого, каким он меня знает всю жизнь, всегда одного и того же, а я оставляю ему недвижимые останки ради удовольствия ощутить себя н о в о р о ж д е н н ы м. Кончается тем, что меня тоже разбирает злость на этого психа, выкапывающего трупы. И напрогив, если кто-нибудь напоминает мне случай, когда я, говорят, не осрамился, жестом прекращаю разговор; меня считают скромным, ничего подобного: я просто уверен, что поступил бы лучше сейчас и г о р а з д о лучше — завтра. Пожилым писателям обычно не по вкусу слишком рьяные хвалы их первому произведению, но, безусловно, меньше всех это радует меня. Моя лучшая книга — та, над которой я работаю; затем следует только что опубликованная, но отвращение к ней уже исподволь зреет во мне и скоро найдет выход. Сочти ее критики плохой, сегодня они меня, возможно, раят, через полгода я буду близок к их мнению. Но с одной оговоркой: каким бы ничтожным и плоским ни находили они это произведение, я хочу, чтоб они ставили его выше всего созданного мною раньше; я согласен, чтоб мое творчество в целом было охаяно, но хронологическая иерархия должна быть соблюдена, она — единственный залог того, что завтра я создам нечто лучшее, послезавтра еще лучшее и кончу шедевром.

Я, разумеется, не обольщаюсь: я отлично вижу, что мы повторяемся. Но это понимание, обретенное позднее, хоть и подтачивает стародавние представления, не может разрушить их окончательно. Есть в моей жизни несколько крутых свидетелей, которые со мной не миндальничают, они нередко ловят меня на том, что я иду по проторенной дорожке. Мне говорят об этом, я верю, но вдруг в последнюю минуту нахожу, что все прекрасно: еще вчера я был слеп, а сегодня есть прогресс — вель я понял, что перестал прогрессировать. Иногда я сам выступаю, как свидетель обвинения. Например, я замечаю, что мне могла бы пригодиться страница, написанная два года назад. Ищу ее, не нахожу. Тем лучше: по лени я чуть не всунул в новую работу старье — я пишу сейчас намного точнее, сделаю все заново. Кончив работу, случайно нападаю на пропавшую страницу. Столбенею: если не считать нескольких запятых, я выразил ту же мысль в тех же словах. Поколебавшись, выкидываю в корзину этот устарелый документ, сохраняя вторую редакцию: чем-то она совершеннее прежней. Одним словом, устраиваюсь как могу — гляжу трезво, но плутую с собой, чтоб ощущать и сейчас, вопреки разрушительной работе старости, молодое опьянение альпиниста.

В десять лет мании и самоповторы мне были неведомы, сомнения чужды: быстрый, болтливый, замороженный зрелищем улицы, я не переставал менять кожу, на ходу сбрасывая одни за другим свои выползки. Поднимаясь по улице Суффло, в каждом своем шаге, в ослепительном

блеске уходящих назад витрин я ощущал бег собственной жизни, ее закон и великолепное право ничему не хранить верность. Я повсюду носил с собой всего себя. Вот бабушка хочет пополнить свой столовый сервиз, я сопровождаю ее в магазин стекла и фарфора; она указывает на супницу, крышку которой венчает красное яблоко, на тарелки с рисунком в цветочек. Это не совсем то, что ей нужно: на ее тарелках есть, разумеется, цветочки, но также и коричневые насекомые, ползущие по стебелькам. Лавочница тоже воодушевляется: она понимает, чего хочет клиентка, у нее такие были, но их вот уж три года как не выпускают; эта модель новее, дешевле, и потом — с насекомыми или без насекомых — цветы остаются в цветах, не так ли, незачем — вот уж точно к слову пришло — искать блохи. Бабушка не согласна, она настаивает на своем: нельзя ли взглянуть на складе? Можно, разумеется, но это потребует времени, у лавочницы нет помощников, продавец как раз ушел от нее. Меня пристраивают в уголке, приказав ничего не трогать, обо мне забывают; я подавлен хрупкостью окружающих меня предметов, их пыльным поблескиванием, посмертной маской Паскаля, ночным горшком в виде головы президента Фальера. Однако я второстепенный персонаж лишь по видимости. Так некоторые писатели выталкивают на авансцену служебные фигуры, а главного героя представляют бегло, вполоборота. Читателя не обманешь: он перелистал последние страницы, чтоб посмотреть, хорошо ли кончается роман, он знает: у бледного юноши, прислонившегося к камину, за душой триста пятьдесят страниц. Триста пятьдесят страниц любви и приключений. У меня по меньшей мере пятьсот. Я герой длинной истории со счастливым концом. Я перестал ее себе рассказывать — зачем? Я чувствовал себя героем романа — этого достаточно. Время тянуло ко дну старых озабоченных дам, цветы на фаянсе, лавку, черные юбки выцветали, голоса становились ватными, мне было жаль бабушку — во второй части ее, конечно, не найдут. А я был началом, серединой и концом, спрессованными воедино в маленьком мальчике, уже старом, уже мертвом, з д е с ь, в сумраке лавки, среди высоких, выше головы, стопок тарелок, и там, в о в н е, далеко-далеко, под ослепительно ярким траурным солнцем славы. Я был частицей в начале ее траектории и потоком волн, отраженным преградой в конце пути. Собранный, напряженный, одной рукой касающийся могилы, другой колыбели, я ощущал себя мгновенным и великолепным, вспышкой молнии, поглощенной мраком.

И все же скука меня не покидала — иногда едва уловимая, иногда тошнотворная; не в силах вынести ее, я уступал роковому соблазну. От нетерпения Орфей потерял Эвридику, от нетерпения я нередко терял себя. Ошалев от безделья, я, случалось, оглядывался на свою навязчивую идею, меж тем как следовало о ней забыть, сунуть в стол, сосредоточив внимание на внешнем мире; в такие минуты мне хотелось о с у щ е с т в и т ь с е б я немедленно, объять единым взором полноту жизни, переполняющую меня, если я о ней не задумывался. Катастрофа! Прогресс, оптимизм, веселые измены и тайная целенаправленность, все, что было добавлено мной лично к прорицанию госпожи Пикар, — летело к черту. Прорицание оставалось, однако что мне было с ним делать? Вещее, но пустое в своем стремлении спасти каждое мое мгновение, оно нивелировало все их: будущее, лишенное жизненных соков, обращалось в сухой каркас, я снова обнаруживал ущербность своего бытия и замечал, что никогда с нею не расставался.

Воспоминание без даты — я на скамье в Люксембургском саду: Анн-Мари попросила меня посидеть подле нее, потому что я слишком разбежался и вспотел. Такова во всяком случае реальная связь причин и следствий. Но мне до того скучно, что я высокомерно выворачиваю все

наизнанку: я бегал, потому что было н у ж н о, чтоб я вспотел и дал тем самым матери возможность меня позвать. Все вело к этой скамейке, все должно было к ней привести. Какова ее роль? Не знаю и сначала не думаю об этом: из всех впечатлений, коснувшихся меня, ни одно не будет утрачено; существует цель, я познаю ее, мои племянники ее познают. Болтаю короткими ногами, не достающими до земли, вижу мужчину с пакетом, горбунью — это пригодится. Повторяю в экстазе: «Чрезвычайно важно остаться на скамье». Становится еще скучнее; не могу сдержаться, рискую заглянуть в себя: я не требую сенсационных открытий, но хотелось бы догадаться о смысле этой минуты, почувствовать ее неотложность, насладиться хоть чуть-чуть тем врожденным даром прозрения, который я приписываю Мюссе или Гюго. Естественно, не нахожу ничего, кроме тумана. Абстрактный постулат моей необходимости и примитивное ощущение моего бытия сосуществуют бок о бок, не сталкиваясь, не сливаясь. Хочу одного — бежать от себя, вновь обрести гнавшую меня оглушительную скорость: тщетно — очарование нарушено. У меня мурашки в ногах, не нахожу себе места. Весьма кстати небо поручает мне новую миссию — я должен во что бы то ни стало побежать. Прыгаю со скамейки, лечу во весь дух; в конце аллеи оборачиваюсь: никаких слдвигов, никаких изменений. Прячу разочарование, сплетаю очередную историю: в Орильяке, в мебелированной комнате, году в 1945 — я настаиваю на этом — выяснятся неопределимые последствия моей пробежки. Твержу, что доволен, взвинчиваю себя; чтобы отрезать пути отступления святому духу, выражаю ему доверие: остервенело клянусь быть достойным тех возможностей, которые он мне предоставил. Все на поверхности, все это игра на нервах, я знаю. Мать уже тут как тут — шерстяной свитер, шарф, пальто: она меня кутает, безвольно отдаюсь в ее руки. Впереди еще улица Суффло, усы привратника, господина Тригона, покашливание гидравлического лифта. Наконец несчастный маленький претендент в кабинете, слоняется от стула к стулу, листает и отбрасывает книги. Подхожу к окну, вижу муху под занавеской, ловлю ее в муслиновые силки, заносу смертоносный палец. Это номер вне программы, выгородка, момент, изъятый из времени, застывший в неподвижности, единственный в своем роде, он не повлечет за собой никаких последствий — ни сегодня вечером, ни позже: Орильяк никогда не узнает об этой замутненной вечности. Человечество дремлет, выдающийся писатель — святой, который мухи не обидит, — как раз вышел. Одиноким ребенком, лишенный в эту стоячую минуту какого бы то ни было будущего, ищет в убийстве сильных ощущений; раз мне не дано настоящей человеческой судьбы, стану сам вершителем судеб — хотя бы для этой мухи. Не спешу, пусть догадается, что над ней склонился великан: палец все ближе... раздавил, вот обида! Не надо было ее убивать, черт возьми! Из всего сущего она была единственной тварью, боявшейся меня; теперь со мной не считается никто. Насекомоубийца, я занимаю место жертвы, я сам насекомое. Я муха, всегда был мухой. Дальше некуда. Остается только взять со стола «Приключения капитана Коркорана», бухнуться на ковер, открыть наугад сотни раз читанную книжку; чувствую себя таким выпотрошенным, таким грустным, что утомленные нервы сдают, с первой строчки забываюсь. В пустынном кабинете гонит зверя капитан Коркоран, в руках карабин, ручная тигрица рядом; непроходимый тропический кустарник торопливо отступает их; вдалеке я посадил деревья, обезьяны скачут с ветки на ветку. Вдруг Луизон — тигрица — принимается рычать, Коркоран замирает: враг близко. Именно этот захватывающий момент избирает моя слава, чтобы вернуться восвояси, человечество — чтобы внезапно пробудиться и призвать меня на помощь, святой дух — чтоб прошептать мне переворачивающие душу слова: «Ты не искал бы меня,



если б уже не пашел». Напрасная лесть: кто здесь ее услышит, кроме от-важного Коркорапа? Но тут, точно он только и ждал этой декларации, возвращается выдающийся писатель; внучатый племянник склоняет белокурую голову над историей моей жизни, слезы навертываются ему на глаза, грядущее восходит, бесконечная любовь обволакивает меня, огни кружатся в моем сердце; не двигаюсь, не обращаю внимания на иллюминацию, не отрываюсь от книги. Огни наконец гаснут: ничего не чувствую, кроме ритма, неодолимой тяги вперед, я трогаюсь с места, сдвинулся, двигаюсь, мотор стучит. Я ошушаю скорость моей души.

Таково мое начало: я бежал, внешние силы определили характер моего бега, сформировали меня. Сквозь устарелую концепцию культуры просвечивала религия, она служила образчиком: ребячья модель, она была по сердцу ребенку. Со мной занимались священной историей, евангелием, катехизисом, но возможности верить не дали: это привело к беспорядку, ставшему моим персональным порядком. В процессе горо-образования произошло смещение коры: идея святости, позаимствованная у католицизма, была вложена в изящную словесность, я не сумел стать верующим — поэтому увидел эрзац христианина в литераторе: делом его жизни было искупление, пребывание в земной юдоли имело одну цель — достойно пройти через испытания и заслужить посмертное блаженство. Кончина свелась к ритуалу перехода, и земное бессмертие предложило свои услуги в качестве субститута вечной жизни. Чтоб гарантировать собственную нетленность в сознании человечества, я умозаключил, что и само оно пребудет всегда. Угаснуть в его лоне — значило родиться и обрести бесконечность, но если бы передо мной высказали гипотезу о гибели планеты в результате какого-нибудь катаклизма, пусть даже через пятьдесят тысяч лет, — я пришел бы в ужас; еще и сейчас, утратив все иллюзии, я не могу без страха думать об охлаждении солнца: пусть люди забудут обо мне на следующий день после похорон, это меня не трогает; я буду с ними, пока они живы, неуловимый, безымянный, суший в каждом, как во мне самом присутствуют миллиарды почивших, которых я не знаю, но храню от уничтожения; но если человечество исчезнет, оно убьет своих мертвецов по-настоящему.

Миф был несложен, я переварил его без труда. Сын двух церквей — протестантской и католической, — я не мог верить в святых, деву Марию и даже в бога, пока их называли этими именами. Но я был пронизан огромной силой коллективного воздействия — то была вера других; угнездившись в моем сердце, она ждала своей минуты: стоило переименовать предмет ее поклонения и слегка изменить его облик, как она узнала его под маской, которая меня ввела в заблуждение, кинулась, вцепилась когтями. Я думал, что отдаюсь литературе, на самом же деле принял постриг. Убежденность самого смиренного верующего обернулась во мне надменной уверенностью в предопределении. Предопределении? Почему бы нет? Разве не каждый христианин избранник бога? Я рос сорняком на унавоженной земле католицизма, мои корни впитывали ее соки, наливались ими. Поэтому я тридцать лет глядел, не видя. Однажды утром в Ля Рошелли я ждал товарищей, мы должны были вместе идти в лицей; они опаздывали; не зная, как развлечься, я решил думать о всемогущем. В то же мгновение он кубарем скатился по лазури и исчез без всяких объяснений. Он не существует, сказал я себе с великим удивлением и счел дело поконченным. В некотором роде все действительно было решено, поскольку с той поры у меня никогда не возникало желания воскресить его. Но остался другой, незримый, святой дух, гарантировавший выданные мне полномочия и правивший моей жизнью с помощью безымянных, великих, священных сил. От него было тем трудней изба-

виться, что он обосновался в тылах моего мозга. в тех полученных из-под полы терминах, которыми я пользовался, чтоб понять, оценить, оправдать свое существование. Еще долго я писал только для того, чтобы умолять смерть — перереянную религию — вырвать мою жизнь из когтей случайности. Я предался церкви. Воинствующий ее адепт, я искал спасения в творчестве; мистик, я пытался вторгнуться в молчание бытия раздражающим шорохом слов, и, главное, я подставлял имена на место вещей: это и значит веровать. Мой взор помрачился. Пока длилось затмение, я считал, что выпутался. В тридцать лет я с успехом проделал лихой фокус: описал в «Тошноте»<sup>1</sup> — и поверьте мне, совершенно искренне — горечь бесцельного, неоправданного существования себе подобных, как будто я сам тут ни при чем. Конечно, я был Рокантен<sup>2</sup>, без всякого снисхождения я показывал через него ткань моей жизни; но в то же время я был «я», избранник, летописец ада, фотомикроскоп из стекла и стали, нацеленный на мою собственную протоплазмическую жидкость. Позднее я весело объяснял, что человеку невозможно пребывать самим собой; у меня тоже не было этой возможности, но зато я обладал мандатом, который давал мне право выявить эту невозможность, преобразив ее тем самым в самую интимную свою возможность, объект своей миссии, трамплин своей славы. Я был пленником этих очевидных истин, но не замечал их — я видел мир сквозь них. Подделка до мозга костей, плод мистификации, я радостно писал о том, сколь тягостны условия человеческого существования. Догматик, я сомневался во всем, только не в том, что сомнение — знак моего избранничества; я восстанавливал одной рукой то, что разрушал другой, считал колебания залогом своей устойчивости. Я был счастлив.

С тех пор я переменялся. Я расскажу позднее, какие кислоты разъели прозрачный панцирь, который деформировал меня, как и когда я познакомился с насилием, обнаружил свое уродство — оно надолго стало моей негативной опорой, жженой известью, растворившей чудесное дитя, — какие причины заставили меня систематически мыслить наперекор себе, до такой степени наперекор, что чем сильнее досаждало мне мое собственное суждение, тем очевиднее была для меня его истинность. Иллюзия предопределения рассыпалась в прах; муки, искупление, бессмертие — все рухнуло, здание в развалинах, святой дух был настигнут мной в подвале и изгнан; атеизм — предприятие жестокое и требующее выдержки: думаю, что довел его до конца. Я смотрю на все ясно, трезво, знаю свои задачи, достоин награды за гражданственность; вот уж десять лет, как я — человек, очнувшийся после тяжелого, горького и сладостного безумья: трудно прийти в себя, нельзя без смеха вспоминать свои заблуждения, неизвестно, что делать со своей жизнью. Я вновь, как в семь лет, стал безбилетным пассажиром; контролер вошел в мое купе, глядит на меня, хоть и не так сурово, как раньше: в сущности, он готов уйти, дать мне спокойно доехать до конца; нужно только, чтоб я сослался на извиняющие обстоятельства, безразлично какие, он удовлетворится чем угодно. К сожалению, я ничего не нахожу, впрочем, мне и искать неохота: так мы и поедем вдвоем, смущая друг друга, до самого Дижона, где меня — я отлично знаю — никто не ждет.

Я изверился, но не отрекся. Я по-прежнему пишу. Чем еще заниматься?

Nulla dies sine linea<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Первый роман Сартра.

<sup>2</sup> Рокантен — герой «Тошноты», у которого окружающий мир и он сам вызывают чувство госкливого и безысходного отвращения.

<sup>3</sup> Ни дня без строчки (лат.).

Это привычка и потом это — моя профессия. Я долго принимал перо за шпагу: теперь я убедился в нашем бессилии. Неважно: я пишу, я буду писать книги; они нужны; они все же полезны. Культура ничего и никого не спасает, да и не оправдывает. Но она — создание человека: он себя проецирует в нее, узнает в ней себя; только в этом, критическом, зеркале видит он свой облик. К тому же дряхлое, обветшалое здание — мой самообман — это и мой характер: от невроза можно освободиться, от себя не выздоровеешь. В пятьдесят лет я сохранил свои детские черты, пусть и изношенные, стершиеся, помятые, загнанные вглубь, лишенные права голоса. Обычно они прячутся в тени, подстерегают; чуть ослабишь внимание — они поднимают голову и, замаскировавшись, вырываются на белый свет. Я искренне убежден, что пишу для современников, но известность меня раздражает — это не настоящая слава, поскольку я еще жив, но ее достаточно, чтоб мои давние мечты оказались несостоятельными: значит, втайне я еще их питаю? И да и нет. Очевидно, я их видоизменил: мне не удалось почтить неоцененным, но иногда я льщу себя надеждой, что меня недооценивают при жизни. Гризельда не умерла. Пардальян еще во мне. И Строгов. Я весь — от них, они — от бога, а в бога я не верю. Поди разберись. Что до меня, я не разбираюсь и порой думаю: уж не играю ли я в старую игру — поддавки? Не топчу ли я так старательно былые упования в расчете на возмещение сторицей? В таком случае я Филоктет<sup>1</sup>: величественный и зловонный, этот калека отдал все, вплоть до лука и стрел, не ставя никаких условий; но, поверьте, втайне он ждет воздаяния.

Оставим это. Мама сказала бы: «Здесь скользко — будьте осторожны!»

Но в моем безумии есть и хорошая сторона: с первого дня оно хранило меня от искушения причислить себя к «элите», я никогда не считал, что мне выпала удача обладать «талантом»; передо мной была одна цель — спастись трудом и верой, руки и карманы были пусты. Мой ничем не подкрепленный выбор ни над кем меня не возвышал: без снаряжения, без орудий я всего себя отдал творчеству, чтобы всего себя спасти. Но что остается, если я понял неосуществимость вечного блаженства и отправил его на склад бутафории? Остается весь человек — итог всего человеческого, он — равен всем, ему равен любой.

*Перевела с французского Л. Зонина.*

---

<sup>1</sup> Филоктет — один из греческих вождей, осаждавших Трою. Он был ужален змеей, и его рана источала такое зловоние, что греки оставили его на острове Лемнос. Впоследствии Улисс и Диомед вернулись на Лемнос, чтобы забрать у него лук и стрелы, завещанные ему Гераклом.



ГЕОРГИЙ ШТОРМ

★

## ПОТАЁННЫЙ РАДИЩЕВ

(Вторая жизнь «Путешествия из Петербурга в Москву»)

Писатель Георгий Шторм сделал крупное открытие в области русской общественной мысли и литературы: он установил, что первый русский революционер, автор «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищев после суда над ним и ссылки продолжил работу над своей книгой и усилил ее литературно-политическое звучание. Тюрьма и годы ссылки не сломили мужественного борца. Отважный и опытный конспиратор, он сумел обмануть своих преследователей и оставить потомкам новый — полный — текст «Путешествия».

Острый спор о Радищеве время от времени разгорается и в советском и в зарубежном литературоведении. Некоторые американские и английские исследователи (Р. П. Талер, А. Мак-Коннел, Д. М. Лэнг и ряд других) склонны расценивать Радищева как умеренного либерала. Новые документальные материалы, в результате многих лет труда извлеченные из архивных недр Георгием Штормом, должны положить конец этому спору.

Отныне разрушена легенда о Радищеве, якобы усмиренном жестокостями царизма, и о его превращении в последние годы жизни из революционера в либерала. Исследователю удалось найти то, что казалось навсегда утраченным в глубине истекших десятилетий, и существенно пополнить наши сведения о творческой истории «Путешествия из Петербурга в Москву».

Сын богатого помещика, бывший паж, получивший высшее образование за границей, Радищев пожертвовал своей служебной карьерой, написав и напечатав в собственной домашней типографии «Путешествие» — книгу, которую современники восприняли как «набат», поднимающий русское крепостное крестьянство против господ.

Прослышав, что его арестуют, Радищев заблаговременно почти полностью уничтожил тираж своей книги. Вскоре — 30 июня 1790 года — он действительно был арестован, а в июле судим и приговорен к смертной казни, замененной затем ссылкой в Сибирь на десять лет.

Смерть Екатерины II позволила Радищеву вернуться из ссылки на три года ранее срока. По его собственному, но, как теперь видим, далеко не искреннему признанию, он вернулся в родные места «присмирившим во всех отношениях», как положено человеку, за которым увеждён надзор.

Между тем читатель не забыл об уничтоженной и запрещенной книге Радищева: вскоре же после отъезда его в сибирскую ссылку стали появляться рукописные копии «Путешествия», или списки, причем число их год от году росло.

В настоящий момент известно свыше семидесяти таких списков «Путешествия». Почти все они — копии с первого издания 1790 года; до сих пор были найдены только два списка с существенными дополнениями к первому изданию, но истории этих дополнений не занимался никто.

Георгий Шторм разыскал третий такой список и раскрыл тайную историю этого текста. Автор исследования с подлинно научной убедительностью показал, как был создан новый текст «Путешествия», что было дописано автором и каким образом распространялась «крамольная» книга.

Таким образом, легенда об «измене» Радищева революционным идеалам решительно опровергнута автором исследования. Теперь уже невозможно будет говорить о Радищеве, не учитывая того, что сообщил о нем Георгий Шторм.

«Новый мир» публикует главы из этой книги в сокращенном виде.

А. Западов,  
профессор, доктор филологических наук.

## ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ

## 1

«Радщев... едет по большой дороге, — писал об авторе «Путешествия» Герцен, издавая в 1858 году в Лондоне его книгу, — он сочувствует страданиям масс...»

На большой дороге русской литературы, указующей путь к избавлению от этих страданий, Радщев в России был первым. Но оценка Герцена, данная этому произведению, была бы, наверно, еще более высокой, если бы он знал, что за два года до этого одному русскому книжнику удалось приобрести список «Путешествия», текст которого по спле своего революционного звучания намного превосходил первопечатный текст.

Пять глав в этом списке имели важные дополнения: ода «Вольность» была представлена в новой, пространной редакции; кроме того, текст включал в себя неизвестную ранее поэму «Творение мира». Объем дополнений был значительным. Достаточно сказать, что одна только «Вольность» оказалась больше печатной оды 1790 года почти на двести семьдесят строк.

Более семидесяти лет пролежал этот список под спудом и до настоящего времени еще не издан, хотя отдельные его элементы, выхваченные из разных глав в качестве «разночтений», публиковались не раз. Но ни время, ни обстоятельство создания этого текста, ни место его в творческой истории «Путешествия» до сих пор не установлены, а состав данной рукописи не изучен; поэтому не будет большим преувеличением сказать, что список этот в строго научном смысле еще не открыт...

Перед нами — рукопись «в большую четверку», писанная на голубоватой бумаге отличным почерком конца XVIII века, переплетенная в коричневую кожу с вытисненными на корешке крестами: каждый — из четырех трилистников, упирающихся основанием в центр; водяные знаки 1794 и 1796 годов отчетливо просматриваются в бумаге рукописи; на первом ее листе, в левом верхнем его углу, чернилами помечено: «1846 года», в правом углу, теми же чернилами: «№ 85».

На обороте форзаца с обычными для того времени мраморными разводами — загадочная, сделанная на иностранном языке запись. Эта рукопись — драгоценная копия «Путешествия», снятая, однако, не с печатного издания и во многом отличная от него.

Ее архивный «адрес»: Институт русской литературы (Пушкинский дом), архив М. Н. Лонгинова, ед. хр. 23470/CLVIII б. 21; в научном обиходе он именуется «лонгиновским», или же списком Б<sup>1</sup>.

Этот рукописный экземпляр «Путешествия» находился в библиотеке московского богача П. В. Голубкова — очевидно, по смерти его был «куплен оттуда» книгопродавцем Зайцевским и 9 февраля 1856 года перепродан им историку литературы, библиографу и собирателю книг М. Н. Лонгинову. Дочь Лонгинова, унаследовавшая от отца его архив и богатую библиотеку, принесла их в дар Пушкинскому дому в 1916 году.

Откуда Голубков получил эту рукопись, неизвестно. Но так как ему принадлежали деревни и села в Московском и Клинском уездах, у автора данной работы возникло предположение: не могут ли фамилии прежних владельцев голубковских имений в какой-либо мере прояснить данный вопрос?

При просмотре в Московском областном архиве фонда Клинского уездного суда удалось отыскать дело о вводе во владение селом Веденским П. В. Голубкова в августе 1845 года. В левом верхнем углу первого листа принадлежавшей ему рукописи, как было уже сказано, отмечена дата: «1846 года», очевидно представленная спустя несколько месяцев по оформлению покупки названного села.

<sup>1</sup> В отличие от цензурного экземпляра «Путешествия», обычно обозначаемого литерой А.

Село это было куплено Голубковым у титулярного советника П. Б. Кологринова, с родней которого состоял в близких отношениях А. С. Грибоедов.

И наконец (воздерживаясь пока от каких бы то ни было догадок), укажем, что село Веденское Клинского уезда, как это видно из архивных источников, в конце XVIII века принадлежало Николаю Афанасьевичу Радищеву, отцу автора «Путешествия из Петербурга в Москву».

Эта рукопись, попавшая в Пушкинский дом и хранящаяся там под указанным выше шифром, является поистине драгоценной. Но займемся прежде всего иностранной записью на обороте форзаца этого списка, чтобы показать читателю всю важность загадки, мимо которой почему-то прошли историки литературы.

Так, серьезный исследователь «Путешествия» В. П. Семенников поступил с этой записью просто: объявив ее «по содержанию своему не представляющей интереса», он даже не счел нужным ее привести.

Я. Л. Барсков, автор изданного в 1935 году капитального труда о «Путешествии» Радищева, опубликовал записанные на оборотной стороне форзаца строки вместе с переводом их на русский язык. «Первая строка не поддается переводу», — сообщил он при этом и, не задавшись ни единым вопросом по тексту переведенной записи, вникать в содержание ее не стал.

Почти так же обошлись с этой записью и в первом томе академического издания сочинений Радищева (М. — Л. 1938, стр. 477), где о ней кратко сказано, что она — «малограмотная». Охотников заниматься ею более не обнаружилось, и путь к исследованию был закрыт.

Но взглядем в эти несколько строк, попытаемся вдуматься в их смысл и значение и предоставим судить читателю — можно ли назвать их неинтересными.

Орешковые чернила выцвели и приобрели рыжеватый оттенок. Клонящиеся вправо строки выведены плохо очиненным гусиным пером, с грубым, небрежным нажимом и, очевидно, наспех. Почерк — крупный и твердый, но рука писавшего иногда слишком спешила и делала ненужные интервалы, разрывая на части слова.

Запись сделана на румынском языке лицом, возможно, молдавского или русского происхождения, русскими литерами и сильно русифицирована: кажется, что писавший долгое время жил вдали от родины и основательно забыл свой родной язык.

Изобразим для наглядности первую строку этой румынской записи в точности так, как она написана:

ПЕНТРУ МОНА МЕУ... В. ДР!

Видно, что эта начальная (до сих пор еще не переводившаяся) строка записи представляет замкнутую фразу и носит характер восклицания или обращения, так как после нее стоит восклицательный знак.

Видно также, что лицо, писавшее (или диктовавшее) эту начальную фразу, сперва намеревалось оборвать ее на третьем слове, ибо далее, до конца строки, идет пунктир; затем, очевидно передумав, автор записи или тот, кому диктовал он, приписал: чуть выше пунктира еще два слова, но в таком сокращенном виде, что их легко принять за шифр.

Теперь приведем всю запись полностью, причем первую строку дадим уже в расшифрованном виде — так, как она прочитана нами:

ПЕНТРУ МОНА <СТУ> МЕУ В<ЯКУРИЛОРЪ> Д<А> Р<Ъ>!

АИСТА КАРТУ ДАРУЕШТИ ЛА

МИНЕ ПРЕБУНА ПРИ ЕТЕ:

ФАТА КО КОНИЦА АНКУЦА, 1800 го

АНЬ.

ШИ БУНЪ ПРИТЕТЬ, ТАТА ПАРЕ

НТИ, ТАТ. КИПРИАНЪ ЛА БИСЕРИ

КУЛУЙ САРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ  
ХАЗНОДАРЬ. АЧАСТА КАРТА СОФО  
КУТЬ ПЕНТРУ МИНЕ.

Перевод:

Уединенного жития моего ради для будущих веков дар!

Эту книгу дарит мне добрейшая приятельница, благородная госпожа девица Аннушка, в 1800 году, и добрый приятель, отец наставник, отец Киприан, братства Саровского монастыря казначей. Эта книга изготовлена для меня<sup>1</sup>.

Запись делится на две части и, вернее всего, сделана в два приема: похоже, что сначала в ней упоминалась только девица Аннушка, после чего была проставлена дата; по прошествии же какого-то, быть может, и очень малого времени, тем же почерком и теми же чернилами был дописан текст с упоминанием о Киприане, казначее монастыря.

Тем же почерком в нижней половине листа по-русски приписано: «Чуд озо огр. игла. Телемахида», то есть дан в сокращенном и сильно искаженном виде известный стих Тредиаковского: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя», взятый Радищевым в качестве эпиграфа к «Путешествию» и напечатанный в книге издания 1790 года на ее выходном листе.

Эпиграф этот был приписан здесь либо по памяти, либо под чью-то диктовку, так как писавший, видимо, не понимал того, что записывал, и вместо слов «и лайя» (и ругающееся<sup>2</sup>) написал бессмысленное: «игла».

Такова возбудившая наш интерес запись. Зададим же себе ряд вопросов, которые должны неизбежно возникнуть при мало-мальски внимательном чтении этих десяти строк.

Прежде всего поражает первая строка записи, если только она верно расшифрована нами: кто же этот неизвестный, так верно оценивший в 1800 году значение «Путешествия» Радищева, кто он, рискнувший в страшные годы павловского террора сберечь тайную книгу, как дар для будущих веков?..

Был ли этот человек монахом или мирянином, решить трудно. Ведь заимствованное из греческого румынское слово *mona* <stu> означает и «монашество», и «отшельничество», но главным образом «одиначество», «мирское уединенное житие» (A. T. Laurianu și I. C. Massimu. Dictionariulu limbei rōmane, v. II. București, 1876, p. 335).

Как видно из румынской записи, рукопись книги Радищева, существенно дополняющая текст издания 1790 года, была специально переписана для неизвестного лица. Следовательно, ее списывали с какого-то подлинника, отличавшегося от печатного текста важными дополнениями. Кто же такая эта румынская или молдавская «благородная госпожа девица Аннушка»? Почему она владела и распоряжалась драгоценным подлинником? И как он к ней попал?

За этими вопросами возникает другой: почему изготовленную для неизвестного лица рукопись дарит ему совместно с «благородной госпожой девицей Ан-

<sup>1</sup> Слова «для будущих веков» в первой строке записи являются переводом румынского «вякурулоръ», очевидно, скрытого под аббревиатурой (сокращением) «В»: под этим же сокращением могло скрываться и другое слово: «вслить» (великий), но «вякурулоръ» явно предпочтительнее, как более соответствующее всей записи в целом, а также духу и значению «Путешествия» Радищева. Из всех возможных в румынском языке сокращений только эти два укладываются по смыслу в данный контекст.

Что же касается сокращения ДР. («даръ»), то, по всей вероятности, оно относится к числу произвольных. каковы автор записи позволял себе делать, прибегая к языку, который он плохо знал.

При переводе румынского текста на русский язык и расшифровке имеющихся в нем сокращений автор пользовался консультацией Д. Е. Михальчи, за что приносит ему свою глубокую благодарность.

<sup>2</sup> Эпитет чудища.

нушкой» монастырский казначей Киприан? Очевидно, казначей организовал в монастыре переписку рукописи. Но стачное ли это дело, чтобы монастырские казначеи поручали кому-либо из братии переписывать запрещенный, а местами прямо-таки богохульный текст:

...власть царска веру охраняет,  
Власть царску вера утверждает;  
Союзно общество гнетут...

Странно, крайне странно видеть эти и подобные им строки в рукописи, переписанной, да еще с таким старанием, в монастыре!..

Мысль снова возвращается к вопросу: кто же автор записи? Из текста ее видно, что казначей Киприан был «добрым приятелем» и одновременно «отцом наставником» неизвестного лица — то ли монаха, то ли какого-то богатого вкладчика, знатного монастырского гостя. Но монах вряд ли бы назвал «добрым приятелем» своего духовного отца.

Владелец рукописи состоял в приятельских отношениях и с девицей Аннушкой, и с казначеем Киприаном. Не книга ли Радищева установила между ними какую-то связь?

Нельзя также сразу решить: сам ли автор записи сделал ее собственноручно или же продиктовал кому-то.

И наконец, что это за Саровский монастырь, упоминаемый в румынской записи, то есть подлинно ли он Саровский? Во всяком случае в литературе было высказано отрицательное мнение на этот счет...

## 2

Начнем с последнего вопроса, так как с решением его удастся придать наиболее верное направление поиску.

Я. Л. Барсков в своих изданных в 1935 году комментариях к «Путешествию» Радищева подробно останавливается на этом вопросе. Мнение его настолько авторитетно, что его нельзя не воспроизвести.

«Из записи не видно, — утверждает почтенный историк литературы, — кто именно и кому подарил список, но в ней определенно указаны время и место: 1800 год и Саровский монастырь (в Бессарабии)». Далее исследователь делает оговорку, заявляя, что на географических картах и в описаниях Румынии и Бессарабии такого монастыря он не встретил; но в списках монастырей Бессарабской губернии числятся два мужских монастыря: Соручанский, или Суручевский, в Кишиневском уезде и Сирковский — в Оргеевском. «Возможно, что в надписи искажено одно из этих названий», — говорит Барсков.

«Невероятно, — заканчивает он свое рассуждение, — чтобы надпись относилась к Саровской пустыни Тамбовской губ., Темниковского у.» («Материалы к изучению «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева». «Academia». М. — Л. 1935, т. II, стр. 247).

Авторитет ученого оказал влияние на других.

Так, историк К. В. Сивков уже с полной категоричностью утверждает: «...среди 28 рукописей «Путешествия», описанных Я. Л. Барсковым... значится рукопись, находившаяся когда-то в Бессарабии». Но эта ссылка на Барскова не является убедительной, так как в румынской записи вовсе не сказано, что место, где рукопись была подарена неизвестному, — «Саровский монастырь (в Бессарабии)» («Исторические записки», кн. 40, 1952, стр. 281). В том-то и суть, что слова «Бессарабия» в записи нет.

В пользу бессарабского, или молдавского, происхождения списка можно было бы привести лишь следующие косвенные, и притом крайне слабые, доказательства: «Путешествие» в конце XVIII века распространялось на юге России, а также в Молдавии и оказало влияние на румынскую литературу — так, румынский писатель, организатор литературного и тайного политического общества



Динику Голеску написал в двадцатых годах XIX столетия под влиянием идей Радищева книгу «Дневник моего путешествия» и напечатал ее в Будапеште в 1827 году (*Istoria literaturii romine*, Bucureşti, 1954, pp. 95, 102—103).

Но этого, конечно, слишком мало для того, чтобы повторить вслед за Барсковым, что отнесение румынской записки к Саровской пустыни бывшего Темниковского уезда было бы невероятным. Между тем считать это невероятным никак не следует — напротив, это естественнее всего.

Два обстоятельства приводят к такому выводу. Во-первых, Саровская пустынь Темниковского уезда стояла на стыке трех губерний — Тамбовской, Нижегородской и Пензенской, — к двум из которых Радищевы имели прямое отношение. Во-вторых, размышляя об этой записке, невозможно обойти свидетельство сына А. Н. Радищева — Павла.

В написанной им и помещенной в «Русском вестнике» более ста лет назад биографии отца он говорит:

«Зимой, в начале 1798 года, Радищев отправился со всем своим семейством — четырьмя сыновьями и тремя дочерьми — в Саратовскую губернию. Он нашел отца своего, Николая Афанасьевича, слепым, отпустившим бороду, в простом кафтане, подпоясанном ремнем. Он жил тогда на пчельнике, в лесу, в пяти верстах от своего села Преображенского, которое он отдал своим детям, а сам проводил время в молитве, по большей части в обществе какого-нибудь монаха, а чаще с отцом Палладием из Саровской пустыни, отпущенником зятя его Облязова. Впоследствии Николай Афанасьевич отправился совсем на житье в Саровскую пустынь (разрядка моя. — *Г. Ш.*), наиболее из всех монастырей им облагодетельствованную, но не мог ужиться с монахами, вступаясь в дела управления монастырем, и потому возвратился на свой пчельник, где и жил до своей кончины» («Русский вестник», 1858, т. XVIII, декабрь, книга первая, стр. 420—421).

Текст этого отрывка безошибочно доказывает, что по крайней мере один из Радищевых был связан в XVIII веке с Саровской пустыней, находившейся именно в Темниковском уезде, а не в Бессарабии, где к тому же никогда и не было никакого Саровского монастыря.

Это маленькое, но существенное открытие — нить, попавшая в руки исследователя, — заставило взяться за просмотр всей литературы о Саровской пустыни, чтобы двинуться дальше — туда, куда вела нить...

Вскоре в «Материалах для истории Тамбовской епархии» Н. И. Орлова (Тамбов, 1904, стр. 207) удалось обнаружить очень важную деталь — свидетельство о посещении Саровской пустыни в 1780 году «пензенским помещиком майором Николаем Афанасьевичем Радищевым», который затем выписал из Петербурга для престола обветшавшей монастырской церкви мраморную доску. Н. А. Радищев назван здесь майором не ошибочно: выйдя в отставку в 1752 году подпоручиком, он в 1780 году при назначении его прокурором Саратовского губернского магистрата получил гражданский чин коллежского assessора, что соответствовало воинскому чину майора. Таким образом выяснилось, что отец Александра Радищева еще в 1780 году состоял в числе благотворителей Саровской пустыни, — следует добавить: подобно многим другим помещикам Тамбовской, Нижегородской, Пензенской, а также Симбирской губерний, считавших эту пустынь своим «домашним» монастырем.

Вторичное упоминание в литературе имени Н. А. Радищева как лица, связанного с Саровской пустыней Темниковского уезда, окончательно убеждало в ошибке Барскова и обязывало продолжить просмотр книг и статей о названном монастыре.

Занимаясь просмотром «монастырской» литературы в Государственной исторической публичной библиотеке, я натолкнулся на изданную в 1843 году в Москве брошюру «Краткое историческое описание Саровской пустыни» игумена Маркеллина. Перелистав ее, я ничего интересного не нашел.

Несколько позже мне попала та же брошюра, напечатанная в 1829 году, а

еще через неделю — изданная в 1833-м. Тогда я подумал, что следовало бы узнать, сколько всего было изданий найденного мной «Описания», и с этой целью заглянул в библиотечный каталог.

Оказалось, что Историческая библиотека располагала семью изданиями этой брошюры и что первое из них вышло в Москве в 1804 году.

Сочтя целесообразным на всякий случай просмотреть все эти издания и просмотрить, не имеют ли некоторые из них каких-либо дополнений, я стал просматривать и сличать текст всех семи брошюр.

Предположив, что каждое последующее издание чаще всего полнее предыдущего, я начал с позднейших, постепенно переходя к более ранним. Вскоре мне пришлось убедиться, что я был не совсем прав.

Действительно, по мере сличения одной брошюры с другой обнаруживались разного рода дополнения, однако не представляющие интереса. Так продолжалось до тех пор, пока очередь не дошла до первого издания, напечатанного в 1804 году.

В этой брошюре оказались две страницы, которых не было ни в одном из более поздних изданий. Текст этих двух страниц являлся выпиской из вкладных книг Саровской пустыни, то есть перечнем фамилий особо усердных жертвователей на «благоелепие» монастыря.

Так, на 67-й странице брошюры среди прочих благотворителей были названы «высокоблагородные госпожи: Еванфия Ивановна и дщери ее, девица Анна Ивановна Аргамакова и Екатерина Ивановна Полуехтова». А на следующей (68-й) странице: «господин Николай Афанасьевич Радищев» (в третий раз упоминаемый в литературе как лицо, связанное с этим монастырем).

Но вернемся к предыдущей странице и призадумаемся над смыслом напечатанной там фразы. Как известно, мать Александра Николаевича Радищева была урожденная Аргамакова; значит, в данной выписке, следовало полагать, шла речь о какой-то ее родственнице — Еванфии Ивановне Аргамаковой, вкладчице Саровского монастыря; одна из дочерей этой Еванфии Ивановны именовалась здесь «высокоблагородной госпожой девицей Анной Ивановной», что удивительным образом совпадало с «благородной госпожой девицей Аннушкой» румынской записи; редакция текста выписки из вкладной книги дополняла эту запись и частично расшифровывала ее.

Сложная загадка как будто начала поддаваться решению. Во всяком случае можно было думать, что мы уже знаем, кто такая «благородная госпожа девица Аннушка». В этом можно было бы даже не сомневаться, если бы рядом с именем Аннушки нам встретилось бы и второе имя — монастырского казначея Киприана. Так и произошло. При повторном, более внимательном просмотре «Описания» игумена Маркеллина во всех изданиях этой брошюры, кроме первого, были найдены сведения и о казначее Киприане. Оказалось, что иеромонах Киприан действительно занимал в Саровском монастыре казначейскую должность приблизительно с 1796 года; умер же он в Петербурге. Справочное издание «Петербургский некрополь» называло датой его смерти 16 января 1806 года. Таким образом, оставалось лишь подтвердить каким-либо документом, что Киприан был казначеем Саровской пустыни и в 1800 году.

Итак, сразу напрашивалось несколько гипотез.

Во-первых, если список Б («лонгиновский»), имеющий важные дополнения, изготовлен в 1800 году или около этого времени, то есть спустя десять лет после того, как было отпечатано первое издание «Путешествия», не означает ли это, что и «важные дополнения» сделаны автором около 1800 года? Что, если Радищев после суда и ссылки дописал свое «Путешествие»? Что, если он, только с виду «присмиривший во всех отношениях», на самом деле великолепно обманул всех и вся?..

Но в этом случае история с монастырским списком становилась поистине необычайной: нельзя было придумать конспирацию более остроумную и надеж-

ную, чем хранение и переписка нового текста осужденной книги за монастырской стеной!

Во-вторых, если бы удалось найти архив Саровской пустыни, можно было бы поискать в нем оригинал этого списка, то есть подлинную рукопись Радищева, возможно хранившуюся в библиотеке монастыря.

В-третьих, установление степени родства между Анной Ивановной Аргамовой и автором «Путешествия» позволило бы открыть неожиданное, неизвестное до сих пор его окружение, вывести из исторического небытия ряд каких-то новых, близких ему лиц.

Но среди всех этих предположений настойчивее других была мысль о монастырском архиве, о необходимости установить, существует ли таковой в настоящее время и если да, то где.

С этой целью пришлось обратиться в Главное архивное управление — в его Центральную картотеку. Ответ последовал немедленно: фонд Саровской пустыни хранится в Центральном государственном архиве Мордовской АССР в городе Саранске; это — фонд № 1, довольно большой, около 1500 единиц.

Тогда — через Главное архивное управление — был послан запрос в Саранск: имеется ли в местном архиве, в фонде № 1, опись монастырской библиотеки и с какого по какой год занимал в Саровской пустыни должность казначея иеромонах Киприан?..

### 3

Восемнадцатого декабря 1939 года в газете «Правда» появилась заметка о приобретении особого списка книги Радищева Государственным литературным музеем; в заметке сообщалось о большой ценности приобретенной рукописи, намного превосходящей текст первого издания «Путешествия» своей полнотой.

Семнадцать лет спустя, когда список этот уже перекочевал в хранилище Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ), на него обратила внимание историк литературы Л. И. Кулакова и, посвятив ему ряд публикаций, ввела его в научный оборот под литерой В.

Этот список ЦГАЛИ — «родной брат» предыдущего, хранящегося в Пушкинском доме; при большом количестве мелких разночтений объем и содержание дополнений к печатному тексту 1790 года в обоих списках одинаковы; иначе говоря, оба они восходят к одному и тому же оригиналу. Какова же его история и к какому времени относится его создание? Вот два основных вопроса, которые предстояло разрешить.

Первой мыслью при обдумывании этих вопросов была следующая: если Радищев дописал по возвращении из Сибири свое «Путешествие», ему для этого нужно было иметь под рукою, помимо текста изданной им в 1790 году книги, также и свои черновики; в последнем убеждало то обстоятельство, что списки Б и В изобиловали множеством отдельных слов и выражений, отсутствующих в первопечатном тексте, но имеющих в цензурном экземпляре и, очевидно, в каких-то неизвестных нам черновых рукописях; поэтому естественно было предположить, что автор «Путешествия» вопреки существующему мнению не уничтожил свои черновики, а, напротив, заблаговременно переправил их с чьей-то помощью в укромное место. В таком случае возникал вопрос: не было ли в ближайшем окружении Радищева, среди его родственников или сослуживцев, человека, покинувшего Петербург приблизительно в тот момент, когда автор «Путешествия» приступил к его печатанию, и не этот ли родственник или сослуживец увез с собой черновики?

Начать такую проверку целесообразнее и проще было не с родственников Радищева, а с его сослуживцев по Петербургской таможне.

Догадка подтвердилась: при просмотре описей фонда Воронцовых в Центральном государственном архиве древних актов удалось обнаружить заголовок дела: «Донесение А. Р. Воронцову с-петербургского вице-губернатора Петра Новосильцова со Списком служащих у познания таможенных дел».

Уже беглого взгляда на этот документ было достаточно, чтобы оценить его по достоинству: он являлся особо й ведомостью личного состава таможи, присланной петербургским вице-губернатором Новосильцовым А. Р. Воронцову, очевидно, по его требованию; ведомость эта была составлена 20 июля 1790 года, то есть спустя около трех недель после ареста А. Н. Радищева, и содержала сведения о таможенных «учениках» (недавно поступивших служащих), касающиеся одного близкого ему лица.

Это был неизвестный в литературе сослуживец писателя, Андрей Николаевич Радищев, «секунд-майор из отставных от армии капитанов»<sup>1</sup>, состоявший «при разных должностях»; в специальной графе, отвечающей на вопрос: «какого поведения служащий» — об Андрее Радищеве сообщалось, что «о поведении его неизвестно», а в графе под рубрикой: «Где ныне находится» — стояло: «Уволен в отпуск в Москву».

Происхождение этой ведомости, надо думать, было такое: А. Р. Воронцов, покровительствовавший автору «Путешествия» и бывший его шефом по службе, стремясь на будущее обезопасить себя от гнева императрицы, решил проверить благонадежность ближайшего служебного окружения Радищева; с той целью он сделал запрос петербургскому вице-губернатору, предложив ему выслать сведения о таможенных служащих по особой форме, где графа о поведении играла важную роль.

Таким образом, полностью оправдалась догадка, касающаяся предполагаемого лица — родственника или сослуживца А. Н. Радищева, покинувшего Петербург в период, близкий ко времени его ареста. Оставалось еще неустановленным, — когда именно Андрей Радищев покинул столицу и не состоял ли он в каких-либо родственных отношениях с автором «Путешествия из Петербурга в Москву».

Выяснить родственные отношения двух служивших в Петербургской таможне Радищевых было просто, так как родословную их удалось без труда отыскать в том же Архиве древних актов — среди множества других дворянских родословных, входящих в фонд 388-й.

Оказалось, что отец писателя, Николай Афанасьевич, и отец отставного секунд-майора, Николай Авдеевич, были троюродными братьями. Биографические же сведения об отставном артиллеристе Андрее Радищеве обнаружили в том же Архиве древних актов в фонде 286-м.

Родился он в 1743 году, то есть был на шесть лет старше Александра Радищева; с 1762 года служил в полевой артиллерии, а с 1776 по 1779 год — в уездном городе Смоленского наместничества — Сычевке — городничим; ему принадлежали в Вяземском уезде сельцо Ларино и несколько деревень.

Тут поиск заходил в тупик — никуда дальше не вел, ибо не устанавливалось никакого контакта между Анной Ивановной Аргамаковой и Андреем Николаевичем Радищевым. Обе эти линии существовали пока что обособленно и не пересекались. Поэтому пришлось продолжить наблюдение за маршрутом Андрея Николаевича — с целью выяснить, не отправился ли он еще куда-нибудь по приезде своем в Москву.

Нужно было отыскать теперь книгу записи подорожных — документов на право пользования почтовыми лошадьми, — выданных Московской управой благочиния<sup>2</sup> за первую половину 1790 года. Но для отыскания такой книги требовалось переменить рабочее место — перейти в Московский областной исторический архив. Однако привлекать документальные материалы, хранящиеся в Московском областном архиве (не только подорожные, но и разные другие документы), было целесообразно лишь после выяснения и уточнения родственной связи Александра Радищева с Анной Ивановной Аргамаковой.

<sup>1</sup> То есть капитан, отставленный с чином секунд майора.

<sup>2</sup> Управа благочиния — полицейская управа.

Ответить на этот вопрос помог хранящийся в том же Архиве древних актов фонд Вотчинной коллегии, состоящий из громадного количества дел по дворянскому землевладению и в то же время содержащий самые подробные родословные данные почти за весь XVIII век. Фондом этим обычно пользуются лишь очень немногие исследователи — историки и экономисты; историки же литературы не прибегают к нему вовсе; между тем тяжелые, в тысячу и более листов, книги с делами Вотчинной коллегии содержат неоценимый по своему значению биографический материал...

И вот постепенно — в родословной перспективе — стала вырисовываться линия могучего рода Аргамаковых. Их земельные богатства находились главным образом в Арзамасском уезде. Один из Аргамаковых — Михаил Федорович — оставил некоторый след в истории: будучи поручиком Преображенского полка, он участвовал в заговоре против Бирона; человек он был, видимо, образованный, так как в 1744 году во время придворной церемонии ему было поручено — до выхода императрицы из собора — безотлучно находиться при иностранных посллах. В московском доме этого Аргамакова провел свои детские годы А. Н. Радищев. Как видно из дела Вотчинной коллегии, мать Александра Радищева, Фекла Степановна, приходилась Михаилу Федоровичу Аргамакову троюродной сестрой.

Заметим, что мать писателя была по отчеству Степановна, а не Саввична и не Семеновна, как считали биографы Радищева — Я. Барсков и А. Лосский; это подтверждается делом Вотчинной коллегии, разъясняющим: «Подпоручика Николая Афанасьева сына Радищева жена его Фекла Степановна дочь». А узнав, что отца Феклы Аргамаковой звали Степаном, уже было легко предпринять генеалогическую разведку относительно всей ее ближайшей родни.

Прежде всего выяснилось, что у деда Александра Радищева по матери — Степана Игнатьевича — был брат, Иван Игнатьевич, а у него — дочь Марья, владевшие в Арзамасском уезде землей. Среди землевладельцев этого же уезда удалось отыскать также Еванфию Ивановну Аргамакову, ее дочь Екатерину Ивановну Полуехтову и другую ее дочь — Анну Ивановну Аргамакову, что полностью совпадало с текстом 67-й страницы «Краткого исторического описания Саровской пустыни», изданного в 1804 году.

Но была ли Еванфия Ивановна женой Ивана Игнатьевича, а Екатерина и Анна — его дочерьми? Решить этот вопрос можно было разными способами, в частности — отыскав какую-нибудь купчую на землю или строение, в которой упоминались бы Иван Игнатьевич Аргамаков и его жена. В таких документах, скреплявших акт купли-продажи, обычно подробно отражались семейные и родственные отношения. Искать же нужную купчую было проще всего в так называемых актовых материалах по Москве. Дело в том, что виднейшие представители русского дворянства, в особенности центральных губерний, почти все имели в Москве дома и земельные участки; таким образом, можно было надеяться найти в этих материалах Ивана Игнатьевича Аргамакова или его супругу, купивших или продавших в Москве дом.

Купчие записывались в книги; они уцелели до нашего времени, и значительная часть их опубликована. Изданы также многие московские переписные книги XVIII столетия, в которых перечислялись — улица за улицей — все домовладельцы города, причем, если дом принадлежал женщине, указывалось, кто был ее мужем. Поэтому и те и другие книги пришлось просмотреть сплoшь.

Язык их народен, красочен, и лаконичные деловые записи живо передают своеобразие московской старины. Тут и наивное, приблизительное указание адресов («Идучи от Никитских ворот левою стороною» или: «От Кузнецкого моста поворота направо»); тут и любопытные фамилии, и уличные прозвища, и поэтические, почти сказочные названия улиц, урочищ, церквей.

Так, незастроенные безымянные пространства, то и дело встречавшиеся на разных улицах, назывались в этом описании пустырями безгласными. Церкви имели названия от самых простых до самых затейливых: «Петра и Павла, что на Язуе», «в Больших Трубишках Николая чудотворца, что на курь-

ей ножке», в Китай-городе — тоже «Николая чудотворца, что слывет красные колокола».

Своеобразным был и перечень домовладельцев: среди них и вовсе безвестные лица, такие, как аптекарь Гаврила Андреев Соус или купеческая вдова Марья Васильевна, по прозванию Большая Шанка, и такие родовитые, как Чаадаевы, Фонвизины, Радищевы, Грибоедовы, Ушаковы.

В одной из книг с записями купчих удалось найти жену коллежского советника Ивана Игнатьевича Аргамачева, Еванфию Ивановну, купившую в 1776 году в Москве в приходе церкви Успения на Могильцах (в Обуховом переулке на Пречистенке <sup>1</sup>) «двор» <sup>2</sup> за огромную по тому времени сумму — 1700 рублей.

Таким образом, оказалось установленным, что дочь ее, Анна Ивановна, подарившая вместе с монастырским казначеем особый список «Путешествия» неизвестному, действительно была дочерью Ивана Игнатьевича Аргамачева и приходилась двоюродной сестрой матери Александра Радищева, а следовательно — двоюродной теткой ему самому.

Располагая же московским адресом Еванфии Ивановны, можно было еще кое-что узнать о ней и о ее дочери Анне, если она жила с матерью; для этого требовалось просмотреть несколько исповедных книг.

Исповедные росписи повелись в России со второй четверти XVIII века: все прихожане обоего пола — «от престарелых до сущего младенца» — обязаны были дважды в год являться в свою приходскую церковь и исповедоваться у священника. Так духовные власти осуществляли над мирянами свой контроль.

Исповедные росписи, или ведомости, составлялись в двух экземплярах: один оставался в церкви, а второй отсылали в консисторию, где его подшивали к другим исповедным ведомостям того срока <sup>3</sup>, к которому принадлежала данная церковь. В этих ведомостях, помимо прочих сведений, обязательно указывался возраст исповедуемых.

Являясь частью фонда Московской духовной консистории, хранящегося в настоящее время в Государственном историческом архиве Московской области, исповедные книги (так же как и метрические) нашли приют в одном из хранилищ этого архива — под сводами Новоспасского монастыря.

#### 4

Гёте называл архитектуру застывшей музыкой, а музыку растаявшей архитектурой.

Окидывая взглядом мягкие линии Новоспасского собора над Москвой-рекою, убеждаешься в справедливости этого замечания о близости музыки и архитектуры, понимаешь мелодичную стройность той и другой.

Пятиглавый собор в центре крепостной ограды — подобие московского Успенского, хотя и не столь богато украшенный (и потому не столь знаменитый) — поражает какою-то первозданностью своих архитектурных форм.

Построенный в величественном византийско-русском стиле, собор этот с его крестовыми сводами, четырехгранными столпами и дуговыми перемычками имеет пятирусный позолоченный алтарный иконостас.

Освещаемый окнами, откосы которых назывались в старину *р а с с в е т а м и*, алтарь собора, превращенный сейчас в хранилище, заставлен во всю свою вышину стеллажами, хранящими тысячи архивных дел.

И вот туда-то, на высокий берег Москвы-реки, за Таганкой, пришлось перейти для продолжения разысканий с Большой Пироговской, где помещается Архив

<sup>1</sup> Теперь переулочек Островского на улице Кропоткина.

<sup>2</sup> «Двор» — здесь: участок земли и дом.

<sup>3</sup> Сборок — группа церквей в старой Москве, находившихся в какой-либо одной части города. Сборков было шесть — Китайский, Пречистенский, Никитский, Сретенский, Ивановский и Замоскворецкий.

древних актов. На новом месте работы предстояло установить: 1) сколько лет было в 1790 году Анне Ивановне и 2) не уехал ли куда-нибудь Андрей Николаевич Радищев вскоре по прибытии из Петербурга в Москву.

Уходящие ввысь стеллажи в алтаре и в приделах храма заставлены связками старинных бумаг и переплетенными в доски и суровый холст книгами. И при взгляде на них — непривычно острое ощущение: ведь во всем этом неисчислимом множестве «дел» уже дано множество ключей к разнообразнейшим замкам-вопросам, и всякий раз секрет только в том, чтобы подобрать нужный ключ...

Кое-что удалось найти сразу.

Так как о Е. И. Аргамаковой уже было известно, что она приобрела в 1776 году «двор» в приходе церкви Успения на Могильцах (на Пречистенке), то ее оказалось легко отыскать в исповедной книге Пречистенского сорока за 1777 год; в одной из ее ведомостей — прихода церкви Успения на Могильцах — оказались отмеченными, как бывшие у исповеди, «вдова Еванфия Ивановна Аргамакова» сорока лет от роду и ее дочь «девица Анна Ивановна» двадцати лет.

Итак, оказалось, что «благородной девице Аннушке» в 1790 году, когда она, по всей вероятности, приняла на сохранение черновика книги Радищева, было тридцать три года и — следовательно — сорок три в 1800 году, когда она выступила в качестве лица, совместно с монастырским казначеем Киприаном распоряжающегося особой рукописью «Путешествия из Петербурга в Москву».

Так по крупицам, деталь за деталью, постепенно восстанавливались биографические черты Анны Ивановны Аргамаковой, затерявшиеся во мраке историко-литературного небытия...

Второй вопрос — об Андрее Николаевиче Радищеве, не уехал ли он куда-нибудь из Москвы вскоре по приезде из Петербурга, — удалось так же легко решить в Московском областном архиве, причем решение этого вопроса дало дополнительно совершенно неожиданный результат.

В книге записи подорожных 1790 года, найденной в этом архиве, рядом под последовательными номерами были записаны две подорожные: до Клина коллежскому ассессору Николаю Радищеву — под № 495 и до Дорогобужа секунд-майору Андрею Радищеву — под № 496.

Как мы уже знаем, коллежским ассессором Николаем Радищевым был Николай Афанасьевич — отец писателя.

Обе записи были обведены с правой стороны фигурною скобкою, как выданные членам одной фамилии, и вручены им в один и тот же день — 2 февраля.

Из даты выдачи подорожных следовало, что Андрей Радищев выехал из Петербурга не позже конца января 1790 года, то есть как раз в то время, когда автор «Путешествия» уже приступил к набору своей книги с подготовленной для этого рукописи и уже мог обойтись без черновиков.

Однако у нас нет оснований предполагать, что этот «неизвестного» поведения отставной артиллерист, бывший сычевский городничий и скромный таможенный чиновник, был вольнодумцем, разделявшим взгляды Александра Радищева. Вернее всего, если он действительно взялся отвезти в безопасное место радищевские бумаги, то сделал это просто как родственник, даже не зная при этом, какие бумаги он везет.

Впрочем, одно известие позволяет думать, что он мог и сочувствовать своему сородичу. По словам правнучки писателя, Дарьи Григорьевны Радищевой, в усадьбе сельца Ларина Вяземского уезда, принадлежавшего в начале текущего столетия помещику Дейша, а еще ранее — Энгельгардтам, была большая библиотека, составленная еще в XVIII веке<sup>1</sup>, когда владельцем сельца Ларина был Андрей Николаевич Радищев. А это говорит о нем по крайней мере как о человеке просвещенном и любознательном...

<sup>1</sup> Сообщено Д. Г. Радищевой автору данной работы в Калуге, в ноябре 1959 года.

В найденных записях подорожных прежде всего бросалось в глаза, что обе они выданы Николаю и Андрею Радищевым одновременно, как бы «в одни руки», можно было даже подумать, что они по одному и тому же делу направлялись в разные города.

Кроме того, заслуживало внимания то обстоятельство, что подорожная Николая Афанасьевича Радищева была выдана до Клина; а в Клинском уезде, как уже отмечалось, находилось принадлежавшее Николаю Афанасьевичу село Венденское, которое в XIX веке купил миллионер Голубков, оказавшийся затем владельцем драгоценного списка «Путешествия».

Андрей же Николаевич Радищев получил подорожную до Дорогобужа. Но его земельные владения были сосредоточены не в Дорогобужском уезде, а в Вяземском, и в деловом отношении он был более связан с Вязьмой; поэтому оставалось неясным, зачем он направлялся в Дорогобуж...

С таким результатом закончился очередной этап работы — на этот раз в Московском областном архиве.

Вскоре из Саранска, из Центрального государственного архива Мордовской АССР, поступили в Главное архивное управление две справки — ответ на сделанный незадолго до того запрос. Из Мордовии отвечали, что казначей Саровской пустыни Киприан был родом из купцов города Кашина, но что мирское имя его неизвестно; в справке также не указывалось, с какого по какой год Киприан был казначеем в этом монастыре. По поводу же описи монастырской библиотеки сообщалось, что таковая опись в фонде Саровского монастыря имеется. Это подавало надежду с помощью описи отыскать и самый оригинал списка Б — неопубликованный авторский подлинник «Путешествия».

Дальнейшие шаги представлялись ясными: нужно было составить подробный план работы в Центральном государственном архиве Мордовии, запастись необходимым справочным материалом и немедленно ехать в Саранск.

## САРАНСКИЙ КЛЮЧ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ

### 1

Сентябрьским утром 1955 года скорый московский поезд приближался к Саранску, проходя по радищевским и пугачевским местам.

Мелькали станции: Майдан, Хованщина, за поворотом пути открылась Рузаевка. Где-то здесь, совсем близко, — село Аргамаково, когда-то принадлежавшее Радищевым. Поблизости же и село Яхонтово, где родилась Н. А. Тучкова-Огарева. И тут же — рукой подать — село Исса, где в землянке скрывался Емельян Пугачев.

Вот и Рузаевка, в прошлом — владение помещиков Струйских, ныне — узловая станция и районный центр, город, разбросанный по уступам горы.

В середине XVIII века Рузаевка досталась надворному советнику Еремею Струйскому. Это был изобретательный крепостник и поэт-графоман. Его внук Леонтий имел сына Александра от дворовой девушки Аграфены Ивановой, которую потом выдали замуж за саранского мещанина Полежаева. Продолжатель поэзии декабристов, враг крепостнически-полицейского строя и государства, Александр Полежаев, безвременно погибший от чахотки и побоев, был сыном рузаевского крепостника...

Еще полчаса с небольшим — и поезд прибывает в Саранск. С самого своего основания город этот был сторожевой крепостью Московского государства, выдвинутой против кочевников. Через Саранск пролегал также путь из низовых городов и Персии в Москву. В 1671 году город был занят разинским атаманом Харитоновым, а спустя столетие взял его Пугачев.

И вот в этом-то городе, видевшем помещиков, прасолов, воевод, разинского атамана и самого Пугачева, сейчас на самом видном месте — против Дома Со-



тов — стоит памятник многострадальному поэту Полежасву, воздвигнутый в 1940 году.

По обе стороны высохшей и заросшей высокой травой речки Саранки — наряду с островками нового благоустройства — бывшие дворянские и купеческие домишки и вдоль них гулкие деревянные мостки-тротуары — остатки «толсто-брюхой» саранской старины...

В архиве, на втором этаже, в скромно, по-канцелярски обставленном кабинете, сидел начальник — широкоплечий мордвин с мягкими, добрыми чертами лица — Василий Ильич Беззубов. Выслушав меня и узнав, что именно мне нужно в архиве, он нажал кнопку звонка...

Вскоре мне положили на стол опись фонда № 1 и одно дело этого фонда — опись монастырской библиотеки.

— Этот реестр, — сказал научный сотрудник архива, — начали составлять с 1804 года. Помимо печатных книг, в нем значится много рукописей.

— Их судьба неизвестна? — спросил я.

— Часть попала, кажется, в Пензу и в Куйбышев, часть погибла, а часть, видимо, осела у местного населения — в Темникове и других местах, ближайших к Сарову...

Признаюсь, руки мои слегка дрожали, когда я потянулся к этому библиотечному каталогу: передо мной лежала опись библиотеки Саровского монастыря...

Составленная в начале XIX века опись монастырской «книгохранительницы» (библиотеки) охватывала 2254 печатные книги и около 500 рукописей. Прежде чем приступить к подробному изучению описи, было естественно ее перелистать. И вот тут при этом беглом ее просмотре сразу же обнаружилось нечто в высшей степени важное: в реестр было включено описание личной библиотеки казначая Киприана, содержащее перечень сорока одной печатной и трех рукописных книг.

Все они поступили в монастырскую «книгохранительницу» после смерти их владельца и остались в ней свидетельством его интересов. Из сорока четырех книг, принадлежавших казначею Киприану, около половины были сочинениями светского и притом самого разнообразного содержания: наряду с «Псалтирью», «Миннеями», «Катехизисом» и творениями «отцов церкви» в описании значились: «Логика», «Царственный летописец», «Грамматика» Ломоносова, «Скифская история» Лызлова, «Словарь юридический», «Устав воинский», «Краткое описание болезней в армии», «Путеводитель к щастию» Андрея Болотова и брошюра Иоанна Масона «Познание самого себя».

Состав личной библиотеки казначая Киприана приводил к заключению, что это был человек разносторонний, в прошлом, возможно, военный, интересовавшийся сочинениями религиозно-нравственного характера, книгами о способах обеспечить благополучие жизни, а также логикой, грамматикой, историей и законоведением, то есть всем, чем обычно интересовались в то время люди и вне монастырских стен.

Но самым существенным было наличие в этом описании изданной в Москве в 1801 году книги под названием «Нравоучительные речи господина Стерна» — автора того самого «Сентиментального путешествия», с которым историки литературы издавна связывают радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву».

И хотя «Путешествие» Стерна резко отличалось от «Путешествия» Радищева умеренностью взглядов английского автора — было почти чуждо политике, — тем не менее в свое время оно попало в «Индекс запрещенных книг» Ватикана и осталось в нем спустя почти два столетия при очередном переиздании «Индекса» в 1948 году.

На удивительно, что в XVIII веке сходство некоторых эпизодов и литературной формы обеих «Путешествий» позволяло сближать авторов этих книг значительно больше, чем того заслуживало их содержание. Представлялось очень правдоподобным, что иеромонах Киприан, хорошо знакомый с проповеднически-назидательной по тону книгой Радищева, под ее влиянием заинтересовался и

«Нравоучительными речами» Стерна, тем более что между этими двумя произведениями уже установилась в глазах читателей определенная связь.

Все это помогало понять побуждения человека, решившегося участвовать в столь небезопасном деле, как изготовление списка запрещенной книги Радищева.

Теперь можно было заняться и последовательным просмотром всей библиотечной описи в надежде найти среди множества названий монастырских рукописей подлинник «Путешествия».

Остаток дня прошел в просмотре описей почти не тронутого исследователями монастырского фонда; во всяком случае для историка литературы, занимающегося Радищевым, это была суцая «целина».

## 2

Следующие два дня работы в Центральном государственном архиве Мордовии принесли ряд новых находок.

Подробное ознакомление с описями дел Саровского монастыря (или точнее — пустыни, как было положено ему при основании называться) заставило выделить из общего числа 1500 единиц этого фонда около одной десятой его части; дела эти следовало обязательно просмотреть.

Среди них, судя по названиям, были «единицы» многообещающего содержания: «Переписка монастыря с верующими», «Письма вкладчиков и паломников», списки «монашествующих» 1800 года, личные дела настоятелей и монахов, монастырские летописи и вкладные книги за ряд лет.

И вот начался просмотр ста пятидесяти архивных дел, выделенных из их общей массы на основании заголовков. Разумеется, было всего желательнее найти что-либо важное о А. Н. Радищеве и установить, кто из паломников или монахов, проживавших в 1800 году в Саровской пустыни, сделал румынскую запись в начале списка Б.

Прежде всего просмотренные документы подтвердили многолетнюю тесную связь Радищевых и Аргамаковых с Саровским монастырем.

Так, в списке послушников этой пустыни за 1800—1806 годы значился какой-то Тимофей Радищев, неизвестный ни в литературе, ни по каким-либо другим архивным документам и, очевидно, во время составления списка уже умерший, так как против его фамилии стоял крест.

В списке же монахов за 1796—1799 годы числились: Исидор — «из отпусковых вечно на волю дворовых людей помещика села Аблязова Кузнецкого уезда Саратовской губернии господина Радищева» (отца писателя), и Палладий — того же села отпущенный на волю крепостной, принадлежавший тестю Н. А. Радищева — Г. А. Аблязову. Это был тот самый «отец Палладий», который находился при жившем на пасеке слепом Николае Афанасьевиче, о чем говорит его внук Павел Радищев в написанной им биографии своего отца.

Затем легла на стол квадратная, в твердом коричневом переплете тетрадь с рисунком в начале, раскрашенным акварельными красками; рисунок изображал пишущего в келье за столом инока; сверху же посредине было написано: «Господи благослови! Монах записывает принимаемой хлеб».

Выражение «Господи благослови!» в данном случае служило напутствием, имевшим чисто практическое значение; московские купцы, сократив это выражение до двух букв «Г. б.!»), обычно писали его на первом листе своих торговых книг.

Тетрадь в коричневом переплете была монастырской книгой для записи хлеба и других злаков, жертвуемых разными благотворителями. Рисунок в начале тетради изображал монаха, записывающего дары.

Они вносились в книгу по мере их поступления с точной отметкой — кто, когда и сколько чего пожертвовал на монастырь.

Так, от Николая Афанасьевича Радищева, значилось в книге, 21 января 1791 года было принято ржи, «грешневых круп» и овса 50 четвертей. 4 февраля того же 1791 года от Еванфии Ивановны Аргамаковой поступило овса 10 чет-

вертей. 3 февраля 1792 года от нее же — овса 30 четвертей. 17 марта 1793 года от Николая Афанасьевича Радищева — овса 100 четвертей<sup>1</sup> и т. д.

Таким образом подтверждалось, что Николай Афанасьевич Радищев и Еванфия Ивановна Аргамакова на протяжении ряда лет являлись вкладчиками-благотворителями Саровской пустыни, и были все основания полагать, что Е. И. Аргамакова не только присылала свои приношения в монастырь почти одновременно с Н. А. Радищевым, но иногда и жила там в одно время с ним...

К концу третьего дня работы в архиве я занялся просмотром бывших у меня с собой выписок о Радищевых. Внимание мое привлекла выдержка из дела Московского верхнего надворного суда. Сделанная в свое время «в запас», она тогда почему-то не вызвала у меня каких-либо особых соображений и лежала среди других выписок, «дожидаясь своего часа». И вот в Саранске, то ли под влиянием непривычной обстановки, то ли в связи с накоплением мною новых архивных данных, эта выдержка предстала передо мной в совершенно новом свете, как будто я видел ее в первый раз.

Она содержала три отпускных, данных Николаем Афанасьевичем Радищевым своим крепостным в марте 1791 года. Отпускная, записанная под № 56, была дана крестьянке деревни Москулиной Даниловской округи<sup>2</sup> Ярославского наместничества Акулине Макаровой с сыном; отпускная за № 57 сделала свободным крестьянина той же деревни Артемия Михайлова с женой и детьми его; отпускную же, зарегистрированную под № 62, получил крестьянин деревни Бородинской Лебийской округи того же Ярославского наместничества Алексей Иванов с женой.

Все три отпускные были подписаны сыном Николая Афанасьевича — Петром Николаевичем — и управляющим Степаном Морозовым. Сам Николай Афанасьевич, видимо, с 1791 года не подписывал уже никаких документов, так как после ссылки сына Александра начал быстро терять зрение, а спустя три года ослеп совсем...

На этот раз выдержка из дела Московского верхнего надворного суда вызвала у меня целый ряд мыслей, отвечавших на один из важных вопросов моего разыскания, и я подумал, что вопрос об авторе румынской записи в «лонгиновском» списке «Путешествия» приблизительно решен. Во всяком случае для решения его сделано все возможное, и наметившийся вариант разгадки, пожалуй, — наиболее вероятный; сложился же он так.

Из всех крупных вкладчиков и богомольцев, посещавших в конце XVIII века Саровскую пустынь, лицом, которое более всех других могло интересоваться «Путешествием» Радищева, был его отец, Николай Афанасьевич был человек просвещенный. Он был в состоянии подниматься над сословными предрассудками и однажды, упрекая сына за брак со свояченицей, сказал ему: «Женись ты на крестьянской девке, я б ее принял, как свою дочь». Принадлежа к числу лучших, «добрых» помещиков своего века, он тем не менее не мог сочувствовать идеям Александра Радищева: у отца была своя правда, у сына — своя. Но вот вышла книга, разразилось несчастье, и положение изменилось: удар, потрясший сознание Николая Афанасьевича, должен был заставить его задуматься над правдою сына, защищаемой им в «Путешествии», отнестись к ней со вниманием и даже с известным вынужденным уважением. Затем последовал второй удар: Николай Афанасьевич ослеп. А. Н. Радищев известил об этом А. Р. Воронцова в июне 1794 года. Между тем значительная потеря зрения, лишившая Н. А. Радищева возможности читать и писать, произошла гораздо раньше и, надо думать, была результатом потрясений, вызванных арестом и ссылкой его сына в Сибирь. Должно быть, именно по этой причине отпускные, данные Н. А. Радищевым своим крепостным весной 1791 года, были подписаны (по доверенности) приказчиком

<sup>1</sup> Четверть — мера сыпучих тел, хлеба; в XVIII веке — около 120 кг

<sup>2</sup> Округа — почти то же, что уезд, но несколько крупнее.

Морозовым и сыном Петром. Не подлежит также сомнению прямая причинная связь между этими отпускными и завещанием Александра Радищева, составленным в Петропавловской крепости после объявления ему смертного приговора. В этом завещании, начинавшемся страшным словом «Свершилось!», А. Н. Радищев наказывал детям «просить батюшку» дать отпускные служившим «при нем» (при Александре Николаевиче) дворовым людям.

Да и мог ли Николай Афанасьевич остаться безучастным к такому наказу?.. Ведь, в сущности, это была предсмертная просьба, ибо сын его, приговоренный сперва к смертной казни, ждал, что ему отрубят голову, почти полтора месяца — с 24 июля по 4 сентября. Волосы Александра Радищева после объявления ему приговора побелели. Зрение отца его помутилось. Мать, Феклу Степановну, разбил паралич. В отчаянии от всех этих бед Николай Афанасьевич стал искать утешения в религии. По всей вероятности, он счел обрушившиеся на него несчастья испытанием свыше и решил искупить неправедность своей жизни рядом добрых дел. К их числу относится освобождение крепостных, предпринятое Н. А. Радищевым в исполнение завещательной воли сына, и почти одновременно с этим — в начале 1791 года — пожертвование Саровской пустыни пятидесяти четвертей ржи, овса и «грешневых круп». Однако Николай Афанасьевич не мог не понимать, что сын его пострадал за правду, хотя правду эту ему, отцу, владельцу двух тысяч душ в разных уездах Российской империи, не так-то просто было принять. Но и не принять ее вовсе он, видимо, также был не в состоянии. И кажется наиболее правдоподобным, что слепой, умудренный личным горем и страданиями, Николай Афанасьевич нашел в себе силу духа и прозорливость, чтобы признать сыновнюю правду принадлежащей будущему и продиктовать неизвестному — из осторожности для перевода на иностранный язык — запись, начинавшуюся словами: «Уединенного жития моего ради для будущих веков дар!»

Неизвестно, отпустил ли Николай Афанасьевич тех дворовых, о которых просил сын в своем завещании, или же заменил их другими, но между этим поступком отца и просьбой сына, несомненно, есть связь.

Сложным было в то время душевное состояние Николая Афанасьевича, сложным и его отношение к «Путешествию». От этой книги он пострадал, пострадали самые близкие ему люди. И все же этот опасный, запретный плод не мог его не привлекать.

Благотворителю Саровской пустыни — Николаю Афанасьевичу Радищеву, видимо, не стоило большого труда добиться там изготовления для себя копии «Путешествия», снятой с подлинника, которым распорядилась другая благотворительница этой пустыни, его «добрейшая приятельница», двоюродная сестра его жены — Анна Ивановна Аргамакова; дело упрощалось еще и тем, что монастырский казначей Киприан был человек разносторонне образованный, имевший среди пестрой своей библиотеки такого близкого в жанровом отношении А. Н. Радищеву автора, как Стерн.

Слепой Николай Афанасьевич, обычно проводивший время «в обществе какого-нибудь монаха», став обладателем изготовленной для него рукописи, очевидно, поручил сделать на ней запись одному из иноков, находившемуся в Саровской пустыни, а до того, видимо, побывавшему в Бессарабии и довольно хорошо усвоившему румынский язык. Надо думать, что Н. А. Радищев продиктовал этому иноку содержание записи, и уже тот перевел ее на румынский; сделано это было с целью маскировки, разумеется довольно наивной, так как в тексте записи хотя и отсутствовало имя владельца списка, но были названы лица, способствовавшие его изготовлению — «девица Аннушка» и «казначей Киприан».

Кандидатура Николая Афанасьевича Радищева в авторы этого иностранного текста (точнее, в авторы его содержания) кажется еще потому наиболее подходящей, что первая строка записи («Уединенного жития моего ради...» и т. д.) соответствует обстоятельствам жизни Н. А. Радищева в конце XVIII века: ведь он провел какое-то время в Саровской пустыни, а затем так же отшельнически жил на пасеке вблизи принадлежавшего ему села...

Но есть еще вопрос — об Анне Ивановне Аргамаковой, подарившей вместе с монастырским казначеем Киприаном особый список «Путешествия» неизвестному лицу.

«Девушка Аннушка» и казначей Киприан подарили эту рукопись неизвестному; следовательно — они имели на нее какие-то права. Проще всего предположить, что богатая вкладчица Анна Ивановна располагала оригиналом этой рукописи, а Киприан содействовал ее переписке. Что же касается места ее изготовления, то таковым мог быть только Саровский монастырь. Такое происхождение списка, судя по тексту румынской записи, — самое правдоподобное. К тому же и переплет рукописи, вне всякого сомнения, изготовлен в Саровском монастыре: вытисненный на его корешке орнамент является для этой пустыни типическим; точно такой же орнамент — крест из четырех трилистников, обращенных в центр острями, — имеется на крышке переплета «Жития Анны Кашинской» — рукописи XVIII века, ранее входившей в состав библиотеки Саровской пустыни, а ныне хранящейся в Саранске, в Научно-исследовательском институте истории, экономики, этнографии и культуры при Совете Министров Мордовской АССР.

Предположение о том, что Анна Ивановна Аргамакова распорядилась оригиналом особой редакции «Путешествия» и устроила его переписку в Саровском монастыре, является более чем вероятным, и ни один даже самый осторожный исследователь не мог бы такую догадку пренебречь.

Но если это так, что заставило «благотельницу» Саровской пустыни — «благородную девушку Аннушку» — совершить такой необычный для женщины ее времени, ее круга и положения поступок? Ведь Анна Ивановна должна была понимать, какое опасное она предпринимает дело и какую берет на себя ответственность, решаясь на этот шаг...

Чтобы сделать то, что сделала для Александра Радищева Анна Ивановна Аргамакова, нужно было относиться к нему с особым расположением и быть убежденной, что он пострадал за правду.

Как уже говорилось, в рукописи, подаренной Анной Ивановной неизвестному, помимо важнейших дополнений к тексту «Путешествия», напечатанному в издании 1790 года, имеется небольшая библейского содержания поэма «Творение мира». Ее скрытый смысл ускользнул от внимания историков литературы, осталась непонятой и причина, заставившая Радищева включить названную поэму в свою книгу сразу же после оды «Вольность». Анна Ивановна вряд ли могла правильно понять поэму «Творение мира», как не могла и оценить по достоинству революционно-обличительный пафос «Путешествия» в целом. Для нее, человека верующего, огромную притягательную силу должно было иметь внешнее качество книги — стиль, обычный для житийной литературы, ее проповеднический, церковно-назидательный тон. Не следует делать из Анны Ивановны единомышленницу Радищева. Вероятно, она была всего-навсего пленена возвышенной и, как ей казалось, религиозной тематикой отдельных мест «Путешествия», в особенности поэмы «Творение мира», а также личным обаянием автора и его почти мученической судьбой.

Сам он, разумеется, был далек от примитивной религиозности. Верный философскому духу века, он, видимо, признавал верховный Разум, то есть был деистом. Однако в своем литературном творчестве он иногда прибегал к религии как к форме, с помощью которой можно было замаскировать и безопасно выразить революционную мысль.

### 3

Еще три дня работы в Саранском архиве позволили выявить важный дополнительный материал.

Был обнаружен документ очень странного содержания, являющийся указом Тамбовской духовной консистории «строителю» Саровской пустыни, иеромонаху Исаяе; указ этот пересказывал полученное консисторией предписание епископа Тамбовского и Шацкого Феофила в следующих тревожных словах:

«...потребно нам некоторые сведения получить необходимо от казначея Саровския пустыни неромонаха Киприана, того ради консистории отнюдь не медля, по первой почте послать указ — повелеть помянутого казначея по получении <сего> того же дня выслать при рапорте в Тамбов непременно, не приемля никаких отговорок ни от него, ни монастырю во отпуск его не ставить никакого препятствия в резон. И для того сия консистория п р и к а з а л и: тебе, строителю, послать указ и велеть казначея по получении сего тотчас выслать в консисторию».

Документ этот датирован 17 сентября 1800 года: лицом, поставившим под ним свою подпись первым, был архимандрит Козловского монастыря Варлаам.

Тон предписания был необычный; сразу же настораживали выражения: «отнюдь не медля», «по первой почте», «непременно», «не приемля никаких отговорок», «тотчас». Указ Тамбовской духовной консистории свидетельствовал о том, что в Саровской пустыни в 1800 году произошло какое-то чрезвычайное происшествие, связанное с казначеем Киприаном и требовавшее самого срочного расследования. причем дело это было настолько секретным и важным, что епископ не считал нужным раскрыть его сущность в указе настоятелю монастыря.

Архимандрит Варлаам, первый поставивший свою подпись под консисторской бумагой, был особо доверенным лицом епископа, что также указывает на важность события. А дата документа — 17 сентября 1800 года — ведет к догадке, которую иначе как наиболее вероятной назвать нельзя.

В румынской записи на монастырском списке «Путешествия» говорится, что рукопись эта подарена неизвестному «девицей Аннушкой» и казначеем Киприаном в 1800 году.

«Девица Аннушка», как удалось выяснить, оказалась Анной Ивановной Аргамаковой. По состоянию местных дорог самым удобным временем года для посещения Саровской пустыни Аргамаковыми и Радищевыми было лето или ранняя осень — до наступления затяжных дождей.

Таким образом, если список «Путешествия» был вручен заказавшему его лицу в июле или августе 1800 года, само собой напрашивается предположение, что именно это из ряда вон выходящее событие монастырской жизни спустя какой-нибудь месяц с лишним вызвало известное нам предписание епископа Феофила и указ Тамбовской духовной консистории от 17 сентября.

Были просмотрены напечатанные, а также неопубликованные, хранящиеся в Саранском архиве письма епископа Феофила. В одном из них, адресованном игумену Исайе, епископ признавался: «...в жизни и такие случаи бывают, каковых иногда на бумаге и писать нельзя».

Фраза эта как нельзя более подходит к занимающему нас эпизоду и, возможно, к нему и относится. Как бы то ни было, но суть загадочного эпизода держалась в строжайшей тайне, и в приводимых ниже отрывках из писем епископа Феофила «строителю» Саровской пустыни, касающихся проступка Киприана, о деле этом, кроме намеков, не содержится ничего:

Феофил—Исайе

«1800 г.

8 октября.

...вы пишете, чтобы не требовать Киприана, но сего никак учинить невозможно, ибо его отношение такого рода, что никак отменить его невозможно, и вы его как скорее отправьте в Тамбов; говорю вам: не ужасаться ничего, мы будем стараться благообразно и кротко все решить; вот вам на целый век наука и примечание...»

Из этих строк видно, что игумен Исайя не хотел «высылать» в Тамбов Киприана, «ужасаясь» того, что на казначея «заведут дело» и оно получит огласку, а это грозило личной ответственностью и «строителю» за происшествие в пустыни. Не намерен был раздувать его и епископ, потому и обещавший «благообразно и кротко все решить».

«1800 г.

[Без даты. очевидно — середина или конец октября.]

...как я прежде обещал вам, так и совершить намерен, чтобы по спросу у казначея отца Киприана покрыть случай ваш духом кротости моея в такой надежде, что вы непременно постараетесь общими силами не навлекать на святую обитель таких и подобных пороков...

...я казначея возвращаю вам...»

Письма епископа Феофила и указ Тамбовской духовной консистории о высылке к допросу казначея Киприана осенью 1800 года очень похожи на отголоски дела о переписке в Саровской пустыни «Путешествия из Петербурга в Москву».

Кто же донес или мог донести об этом епископу? Таким доносителем мог оказаться и кто-либо из монахов, и какой-нибудь богомалец-помещик, побывавший в Сарове и оттуда проехавший в Тамбов. Донести епископу на Киприана могли и другие лица, обычно занимавшиеся подобного рода делом и, в частности, доносившие на него самого. Так, в Синод поступали от неизвестных лиц сведения о попуствительстве Феофила Саровской пустыни, где неизменно превышались разрешенные законом штаты: ей было положено иметь только тридцать иноков, а количество их к концу XVIII века дошло до двухсот. При этом закон обходился с помощью незамысловатой хитрости: многие «монашествующие» показывались в ведомостях временно проживающими в пустыни, и некоторые из них действительно проживали там временно, переходя из одной «обители» в другую. «Бога ради,— писал в Саров об этих кочующих иноках Феофил,— не принимать бродяг: от них можно беду нажить». Но именно такой «бродяга» мог сделать известную нам румынскую запись и вскоре затем покинуть пустынь; не этим ли и объясняется отсутствие в монастырском архиве почерка его руки?..

До нас дошли установления, введенные в Тамбовской епархии епископом Феофилом: консистории было предписано без экстрактов, то есть кратких записок, никаких важных дел не решать; делá же о проступках священнослужителей оканчивать незамедлительно; для этого консистории была дана особая форма, по которой «виновный собственноручно свидетельствовал признание в своем проступке». Мы не знаем, был ли Киприан допрошен устно или давал свои показания письменно; во всяком случае ни в фонде Тамбовской духовной консистории, ни в фонде Синода такого письменного показания впоследствии обнаружить не удалось.

Скорее всего оба они — и «строитель» пустыни, и епископ — не рискнули доверить данный случай бумаге и, не желая нести за него ответственность, если слух об этом деле выйдет за пределы епархии, отнюдь не склонны были его разглашать.

Надо думать, что здесь-то и скрыта причина, почему Феофил, который обычно «порочных монахов не щадил и наказывал без милосердия», как милостиво обошелся с Киприаном, покрыв его «грех» «духом кротости» своей.

По возвращении из Тамбова Киприан формально еще оставался казначеем, но с января 1801 года уже был отстранен от этой должности: в приходных и расходных книгах Саровской пустыни за 1801—1802 годы подпись его исчезает и появляются подписи других лиц.

В 1802 году Киприан отправляется в Петербург в качестве поверенного пустыни — наблюдать за ходом дела о спорных монастырских землях; спустя два года дело это решается, но Киприана в Саров больше не возвращают, и он остается жить в Александро-Невской лавре, где и умирает в 1806 году. «Жил 48 л. 4 месяца» — сообщает о нем «Петербургский некрополь», воспроизводя надпись, сделанную на могильном камне Лазаревского кладбища. Дата смерти казначея Киприана была обнаружена также в записи, внесенной в «Дневник-летопись Саровского монастыря».

Запись о смерти его помещена на 132-м листе этой рукописи. А на обороте листа 148 оказалась другая запись: «22 декабря 1806 года скончалась благотворительница нашей обители Анна Ивановна Аргамакова в Москве и погребена в Новодевичьем монастыре».

Обнаруженная деталь была очень важной. Зная дату смерти Анны Иванов-

ны и место ее погребения, можно было отыскать в Московском областном архиве метрическую книгу с записью о ее кончине и выяснить, в чьем доме и где именно она умерла. А определив московский адрес А. И. Аргамаковой и тем самым — какого прихода числилась она прихожанкой, было уже нетрудно найти исповедную книгу и в ней подробный перечень окружавших ее лиц.

Все это имело важнейшее значение потому, что Анна Ивановна, по всей видимости владевшая подлинником или оригиналом «Путешествия» особого состава текста, могла и не оставить его на хранение в пустыни, а увезти рукопись с собой. А за шесть последующих лет, прожитых ею, разве не могла она поручить кому-либо из близких ее друзей или родственников изготовление второго, а быть может, и еще нескольких списков с оригинала, находившегося в ее руках?..

Собственно говоря, о втором списке особого состава, приобретенном в 1939 году Государственным литературным музеем, можно было сказать с уверенностью, что он также изготовлен с оригинала А. И. Аргамаковой; но следовало, кроме того, допустить, что с находившейся у нее рукописи был сделан не один и не два, а, возможно, несколько списков.

Оставалось проверить это в Москве.

#### 4

И вот опять — Новоспасский монастырь над Москвой-рекою.

В Ленинград и Тамбов посланы запросы: нет ли в фондах Синода или Тамбовской духовной консистории дела о казначее Киприане? А пока архивисты на местах пытались на эти запросы ответить, разыскание шло своим чередом — под монастырскими сводами продолжал разматываться клубок.

Прежде всего были обследованы метрические книги Пречистенского сорока церковей за 1806 год. Так как в «Дневнике-летописи» Саровской пустыни значилось, что Анна Ивановна Аргамакова умерла в Москве в декабре 1806 года и была погребена в Новодевичьем монастыре, можно было почти безошибочно предположить, что метрическую книгу с записью о ее кончине следует искать среди книг того сорока, к которому относился этот монастырь.

Так оно и оказалось: в толстом томе, переплетенном в доски и обтянутом грубой холстиной, среди метрических книг церковей Пречистенского сорока 1806 года была обнаружена следующая запись, сделанная в метрической книге Зачатьевского девичьего монастыря:

«В декабре 22 числа в доме надворной советницы Прасковьи Александровны Ушаковой умре по христианской должности <sup>1</sup> полковническая дочь девица Анна Ивановна Аргамакова, которой от роду было 53 года...»

Эта короткая запись вызывала ряд соображений, возникавших при чтении ее одно за другим.

Прасковья Александровна Ушакова была лицом, известным в грибоедовской литературе: это о ней в воспоминаниях современников глухо говорилось, что дом ее — где-то недалеко от Зубовской площади — посещали грибоедовские родственники, а также, видимо, Настасья Федоровна Грибоедова и ее дети — Марья и ее впоследствии прославленный брат Александр.

Таким образом всплывала тема Грибоедовых, сплетаясь с темой Ушаковых.

Кроме того, оставалось невыясненным, почему Анна Ивановна, дочь богатых родителей, жила, как жиличка, в чужом доме: с какого времени она там поселилась и не имела ли до этого собственного дома в Москве?

Вернее всего было думать, что она свой дом продала и уже после этого поселилась в доме Ушаковой, а так как всякая совершенная в Москве сделка регистрировалась в одном из городских судов, был предпринят в первую очередь просмотр описей этих фондов за 1790 годы. Но никаких дел об А. И. Аргамаковой там не нашлось.

Затем начался просмотр описей Московской управы благочиния. Этот в высшей степени пестрый по своему составу фонд поражал разнообразием

<sup>1</sup> По христианской должности — исполнив долг христианина.



входивших в него документальных материалов — сведений о явках паспортов приезжавших в Москву лиц за разные годы, распоряжений о зажигании фонарей на улицах и бульварах, о содержании дворов в чистоте; то какая-то купчиха «испрашивала дозволения» на постройку в своем дворе бани; то известный всему городу богач сообщал приметы сбежавшего от него дворового, а никому не ведомый стряпчий просил «дозволить» ему поставить в своем доме комедию; одно дело касалось запрета предпринимателю-иностранцу показывать какую-то «невидимку»; другое — «непредставления в театре соблазнительных пьес».

И вот из этой бытовой пестроты, из всего этого нескончаемого потока фактов, просьб, предписаний и жалоб выглянуло наконец искомое — казалось бы, сухой документ хозяйственного значения, которому тем не менее пришлось сыграть в этом разыскании важную роль. То была деловая бумага:

«Подано июля 3 дня 1797 года, Ведомства Московской управы благочиния в Экспедицию архитектурных дел.

Покойного коллежского советника Ивана Игнаьева сына Аргамакова от дочери ево девицы Анны Ивановны

#### Заявление

Имею я собственной свой дом, состоящей в Арбатцкой части в 4 квартале под № 530-м, в приходе Георгия Победоносца, что на Сполье, доставшейся мне по купчей прошлого 1794 года от сестры моей родной секунд-майорши Марьи Розенбергши, в котором желаю вновь построить сарай, каретный амбар, два погреба и перевести на другое место канюшни с покрытием кровель тесом... к чему без дозволения оной Экспедиции приступить не могу...»

О сестре А. И. Аргамаковой — Марье Ивановне, — как уже говорилось ранее, встречались упоминания в книгах Вотчинной коллегии; но то, что она была замужем за «секунд-майором» Розенбергом, являлось для данного разыскания фактом новым и по некоторым причинам требующим исследования.

Дело в том, что в исповедных росписях церкви Георгия на Всполье (которые, конечно, немедленно были просмотрены) за 1794 год значился полковник Богдан Карлович Розенберг, значился он и в росписях за другие, более ранние годы; в связи с этим можно было предположить, что Анна Ивановна или составивший ее заявление стряпчий ошибочно назвали полковника «секунд-майором». Разрешить этот вопрос было крайне важно. Дело в том, что сравнительно недавно московским архивистом Т. Г. Снытко были опубликованы новые данные по истории заговора против Павла I, организованного на Смоленщине в 1797 году; в этой статье о деятельности подпольного кружка Ермолова — Каховского, между прочим, сообщалось, что штаб-квартира заговорщиков находилась в Дорогобужском уезде, в сельце Котлине, в доме, принадлежавшем, как и все это сельцо, «вдове полковника Розенберга Марье Ивановне» («Вопросы истории», № 9, 1952, стр. 112); вряд ли можно было допустить, что одновременно существовали две Марьи Ивановны «Розенбергши» и что обе они были «полковницами», к тому же такое неожиданное обстоятельство, удивившее нить поиска на Смоленщину, сближало две обособленные линии этого исследования и делало еще более интересной причину, заставившую Андрея Николаевича Радищева в начале 1790 года выехать из Москвы в Дорогобуж.

### РУКОЙ РАДИЩЕВА

#### 1

После длительных разысканий в архивах удалось установить, что «полковница» Марья Ивановна Розенберг, владевшая сельцом Котлином под Дорогобужем и предоставившая свой дом в этом сельце под штаб-квартиру заговорщиков, мечтавших низвергнуть Павла I, действительно была сестрой Анны Ивановны Аргамаковой и приняла фамилию Розенберг во втором браке, выйдя

замуж за полковника в отставке, директора Московского ассигнационного банка Богдана Карловича Розенберга; первым же ее мужем был лейб-гвардии капитан-поручик Федор Алексеевич Грибоедов, дед поэта Александра Грибоедова с материнской стороны (ЦГАДА, ф. 3165, д. 2, л. 233).

Отсюда следовало, что Марья Ивановна, сестра Анны Ивановны Аргамаковой и сама урожденная Аргамакова, — была бабкой А. С. Грибоедова и двоюродной теткой А. Н. Радищева. Авторы двух знаменитых русских литературных произведений, оказывается, состояли в довольно близком родстве....

Деятельность смоленского подпольного кружка «отцов декабристов», которому «полковница» М. И. Розенберг предоставила свой дом в сельце Котлине под Дорогобужем, была прервана летом 1798 года, когда на Смоленщине появился фаворит Павла I, инспектор кавалерии генерал-лейтенант Линденер.

Покинув свой штаб в Калуге, откуда он направлял против восставших крестьян свои карательные отряды, Линденер прибыл для следствия в Дорогобуж, затем в Смоленск, и нити заговора вскоре оказались у него в руках.

Он быстро выяснил, что в подпольный кружок А. М. Каховского и А. П. Ермолова входили офицеры и гражданские чиновники из Смоленска и Дорогобужа — всего около тридцати человек.

Они вели беседы с простыми людьми и пускались в «дерзкие рассуждения» между собою об «умножающихся налогах», о «военной строгости», об «образе правления» и русском самодержавии, причем идея цареубийства прямо обсуждалась на заседаниях кружка.

Дом Марьи Ивановны Грибоедовой-Розенберг в сельце Котлине был местом тайных сборищ смоленских подпольщиков; мечтая о низвержении тирана и сообщая обдумывая план действий, они читали вслух книги, «поселяющие дух вольности», в том числе, видимо, и «Путешествие» Радищева<sup>1</sup>. Последнее кажется еще потому особенно правдоподобным, что в доме Марьи Ивановны могли находиться списки разных редакций «Путешествия»: ведь Андрей Николаевич Радищев, родственник писателя и его сослуживец по Петербургской таможне, совершил весьма подозрительную поездку из Петербурга в Дорогобуж.

Он отправился туда в конце 1789 года, то есть в то самое время, когда А. Н. Радищев приступил к печатанию своей книги и когда черновые материалы «Путешествия» были ему уже не нужны.

Радищевские списки и черновики, надо думать, были переброшены в укромное место — в дом грибоедовской бабки в сельце Котлине, хранились там в течение долгого времени и были возвращены автору спустя год или два после его возвращения из Сибири. Очень похоже, что переброску этих бумаг в дом Марьи Ивановны Грибоедовой организовала Анна Ивановна Аргамакова, ее сестра.

2

Удивительной бывает иногда жизнь рукописи! Так, список В, по своему содержанию почти идентичный рукописи Б, то есть списку Пушкинского дома, или «лонгиновскому», хранящийся в настоящее время в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ, ф. 1719, оп. 1, ед. хр. 3), прошел почти за сто шестьдесят лет своего существования необыкновенный и сложный путь.

Прежде чем попасть в государственное хранилище, список этот, надо полагать, побывал в доме Княжнинных, потом — в руках переводчика Р. М. Цебрикова; от него перешел к сыну — декабристу Николаю; затем — к потомку декабриста, приват-доценту Московского университета, геологу В. М. Цебрикову; из его библиотеки попал к его родственникам, тоже Цебриковым, и уже от них — в Литературный музей.

<sup>1</sup> М. В. Нечкина считает более чем вероятным, что на этих собраниях читалось также и «Путешествие из Петербурга в Москву» («Движение декабристов», т. 1, М. 1955, стр. 89).

Замечательно, что геолог Цебриков проживал в Москве, в 1-м Ильинском переулке на Остоженке, в каких-нибудь пяти минутах ходьбы от дома, где умерла Анна Ивановна Аргамакова, подарившая список особой редакции «Путешествия» неизвестному лицу.

Анна Ивановна, как выяснилось, умерла в доме своей двоюродной сестры — П. А. Ушаковой — по 2-му Ушаковскому (теперь — Хилкову) переулку на той же Остоженке в 1806 году.

Список В, судя по водяным знакам, обнаруженным на его бумаге крупнейшим советским знатоком филиграней С. А. Клепиковым, был изготовлен не ранее 1800 года. Заслуживает также внимания, что в непосредственной близости от дома П. А. Ушаковой находился Зачатьевский девичий монастырь. Не исключена возможность, что Анна Ивановна, которая была его прихожанкой, незадолго до своей кончины повторила свой саровский опыт и заказала новый список «Путешествия» в этом монастыре.

Объем дополнений к тексту изданной в 1790 году книги Радищева был в этой рукописи таким же, как и в рукописи Саровской пустыни. А многочисленные мелкие разночтения в этих списках зависели только от степени грамотности переписчика и в г л а в н о м не могли идти в счет.

Главное же заключалось в том, что оба списка — Б и В — были, видимо, скопированы с одного и того же о р и г и н а л а, содержавшего различные в а р и а н т ы, которые требовали отбора и поэтому были п о - р а з - н о м у и с п о л ь з о в а н ы в списках Б и В.

Но тут, в этом важном месте исследования, возникает вопрос: Анна Ивановна Аргамакова, по всей вероятности, устроившая в 1800 году переписку «Путешествия» в Саровской пустыни с имевшихся у нее материалов, могла ли она располагать его протографом в обычном смысле этого слова, то есть первичным подлинником, написанным авторской рукой?

Нет, таким подлинником она, по-видимому, располагать не могла. В ее распоряжении были лишь с п и с к и разных редакций и дополнения, однако вряд ли писанные рукой Радищева; скорее наоборот — осторожность, присущая ему еще до издания книги и, конечно, возросшая в величайшей степени после его ареста, должна была удерживать автора в столь рискованном деле от пользования собственным почерком. Вернее всего, это был скопированный разнообразный материал, но авторизованный Радищевым и сохраненный его друзьями и близкими для восстановления «Путешествия» в его новом качестве — во всей его зрелой силе и полноте.

И я задумываюсь над непоследовательностью тех историков литературы, которым приходится иметь дело с Радищевым — составлять собрания его сочинений, снабжать их примечаниями, писать о нем статьи. Все они, как один, «признают», то есть публикуют и цитируют, пространный текст «Вольности», дополняющий сокращенный текст первого издания почти на целых двести семьдесят строк. Но это признание они почему-то не в полной мере распространяют на прозаические отрывки, дополняющие то же издание «Путешествия»; отрывки эти обычно помещаются среди «разночтений» в разделе академических примечаний, как будто знать об этих дополнениях должен самый узкий читательский круг...

Итак, черновики запрещенной в 1790 году книги не были уничтожены. Текст «Путешествия» особого состава переписывался в Саровской пустыни, а затем, возможно, поблизости от московского дома П. А. Ушаковой — с одной и той же рукописи. И я сказал себе, что если не самую эту рукопись, то во всяком случае какое-то посредствующее, близкое ей звено разыскать можно, и я приложу все усилия, чтобы его найти.

### 3

В выставочных залах Государственного исторического музея как будто застыл во всей своей нищете и великолепии русский XVIII век. Убогие сельскохозяйственные орудия, жалкая утварь и одежда крепостного люда; средства для

его обуздания и «мучительства» — пудовые чугунные шапки, рогатки, цепи, плети — и роскошь помещичьего обихода, созданная трудом талантливых народных рук. Трофейные знамена; шитые золотом мундиры; начищенные до блеска палашу, мортиры и пушки; возки и кареты коронованных женщин, угнетавших Россию; железная клетка, в какой держали в Москве Пугачева, и — под стеклом — списки «Путешествия из Петербурга в Москву».

Стальная дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен» открывается в одном из этих залов на слабо освещенную площадку: мраморная отлогая лестница ведет на самый верх здания, где помещается Отдел письменных источников — едва ли не самый интересный архив в Москве.

Самый интересный потому, что наименее разобранный, а значит, и наиболее богатый счастливыми неожиданностями для исследователя. Эти неожиданности таились главным образом в части Щукинской коллекции<sup>1</sup> — необработанном и неопианном собрании рукописных сборников, которые предстояло просмотреть...

В самом же начале их просмотра удалось обнаружить любопытного содержания сборник, состоявший из девяти частей, или тетрадей, под названием «Всякая всячина». В нее вошли копии произведений «потаённой литературы» первой половины XIX века, а также разнообразные исторические анекдоты и дневниковые записи составителя. В пятую часть «Всякой всячины» (ОПИ ГИМ, Щ-616-а, ч. 5) оказался включенным список «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, занимающий всю эту часть целиком.

При ознакомлении с ним обнаружилось, что в этом списке «Путешествия» содержатся все основные дополнения к изданию 1790 года, имеющиеся в списках «лонгиновском» и «цебриковском»: четыре дополнительные строфы оды «Вольность», поэма «Творение мира» и дополнения к прозаическому тексту ряда глав<sup>2</sup>.

Таким образом, рукопись из сборника «Всякая всячина» оказалась третьей и по счету списком особого состава текста. А так как первые два уже были условно обозначены второй и третьей буквами алфавита, пришлось — для удобства дальнейшей работы — новый список обозначить четвертой буквой алфавита — литерой Г.

Второй замечательной особенностью этой рукописи было наличие в ней только тех глав, которые в списках Б и В имели дополнения к первому изданию «Путешествия». Ряд глав в списке Г отсутствовал; некоторые же были даны сокращенно и служили как бы «окрестностями» дополнений, позволяющими переписчику или сводчику ориентироваться, то есть каждый раз точно определять место, куда надлежало вставить дополнительный текст.

Общее впечатление от рукописи при первом, беглом, ознакомлении с нею привело к выводу, что текст ее объединяет две редакции «Путешествия» — раннюю и более позднюю и что лицо, изготовившее этот список, имело главной своей целью включить в него все наиболее революционные, то есть самые запретные места.

Так в тайной творческой истории «Путешествия» открылся новый этап, требующий изучения. Начать нужно было с объема, формата и водяных знаков рукописи, с определения, когда она могла быть изготовлена и когда и кем включена в тетрадь.

Новонайденный список умещался всего на шестидесяти шести листах, то есть составлял приблизительно одну треть «лонгиновского» или «цебриковского»; фор-

<sup>1</sup> Коллекция П. И. Щукина — московского собирателя картин и рукописей, издавшего в конце минувшего столетия — начале нынешнего целую серию «Сборников» старинных бумаг.

<sup>2</sup> Одновременно с находкой этой рукописи в Отделе письменных источников Государственного исторического музея автором данной работы были обнаружены там же, в фонде Варягинских (ед. хр. 71), два полных списка оды «Вольность», каждый в объеме пятидесяти четырех строф. Эти списки, содержащие оригинальные варианты, судя по их пагинации, были вырваны из двух толстых рукописей — по всей вероятности, из списков «Путешествия из Петербурга в Москву».

мат его — большая четверка, бумага — сборная: белая и голубая; водяные знаки — начала девяностых годов XVIII века и по 1797 год.

Писан он был небрежной скорописью конца XVIII—начала XIX столетий, одним, очень характерным и отнюдь не писарским почерком; обладатель его ничуть не заботился о красоте рукописи, смело делал поправки и выброски и — по всему было видно — так торопился, точно подлинник, с которого он переписывал, был предоставлен ему на самый короткий срок.

Удалось установить, что список этот был включен в состав пятой тетради «Всякой всячины» осенью 1852 года и что составителем всего этого сборника является инженер путей сообщения, писатель Александр Петрович Нордштейн. В пятидесятых годах XIX века он служил в Воронеже и был видным членом местного литературно-краеведческого Второвского кружка, интересовался литературой и собирал рукописи. А. П. Нордштейн состоял в родстве с Бегичевыми — ближайшим окружением А. С. Грибоедова — и поддерживал отношения с игуменьей Воронежского девичьего монастыря Смарагдой (в миру — Варварой), сестрой Степана Никитича Бегичева, задушевного друга автора «Горя от ума».

Мелочи, курьезы и любопытные исторические характеристики перемежались в тетрадях «Всякой всячины» дневниковыми записями А. П. Нордштейна. Одна такая запись в четвертой части этого сборника представляла исключительный интерес.

Касаясь своего пребывания в 1847 году в Петербурге, Нордштейн вспоминает о вечере, проведенном в доме моряка Николая Яковлевича Розенберга, и далее о нем говорит: «...Н. Я. Розенберг теперь начальник в Ситхе от Американской компании и уже капитан 2 ранга... Он оставил 4-х сыновей в Морском корпусе и поехал с женой и двумя маленькими детьми в Ситху. Жена его — премилая и прекрасная дама, она двоюродная сестра покойного поэта Грибоедова а...» (Разрядка моя. — Г. Ш.) (ОПИ ГИМ, Ц 615. Рукописный сборник «Всякая всячина», ч. 4, л. 80 об.).

Справка, тотчас же запрошенная в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота, подтвердила, что «капитан 1 ранга Н. Я. Розенберг» был «женат на дочери титулярного советника Грибоедова Александре Александровне»<sup>1</sup>. Сведения эти были взяты из формулярного списка Н. Я. Розенберга за 1857 год.

На путях данного разыскания снова возникали «Розенберг и Грибоедова», так же соединенные брачными узами, как и полковник, директор Ассигнационного банка, и бабка автора «Горя от ума».

Моряк Николай Яковлевич Розенберг и его жена Александра Александровна, урожденная Грибоедова, принимали у себя А. П. Нордштейна, который позднее оказался обладателем замечательного списка «Путешествия», почти полностью совпадающего по объему и содержанию дополнений со списками Б и В.

Дополнения к изданию «Путешествия» 1790 года во всех трех списках были в основном одинаковы и, по-видимому, восходили к одному и тому же первоисточнику, связанному с именем А. И. Аргамаковой и М. И. Розенберг.

Могло ли все это быть случайным? Вряд ли. Скорее всего мы имеем здесь дело с тесным кругом знакомств и родственных связей. А. И. Аргамакова — М. И. Грибоедова-Розенберг — П. А. Ушакова — А. П. Нордштейн — Н. Я. Розенберг — А. А. Грибоедова — так замыкался этот круг.

\* \* \*

В одном из сейфов Центрального государственного архива древних актов хранится уникальная, тщательно переписанная тремя переписчиками рукопись — цензурный экземпляр «Путешествия» Радищева; на отдельных ее листах видны зачеркнутые автором слова и части предложений, а также приписки и поправки, сделанные его рукой.

<sup>1</sup> Речь идет о дочери брата Сергея Ивановича Грибоедова, отца писателя.

Как известно, в этой рукописи сохранился местами начальный слой текста «Путешествия».

Список Г, обнаруженный в архиве Государственного исторического музея, в основе своей совпадает с этим начальным слоем, или ранней редакцией. Но он не однороден по своему составу: в нем, помимо основного слоя, то есть ранней редакции, имеется и другой — более поздний, точнее — позднейший слой.

Этим позднейшим слоем, или редакцией, «Путешествия» являются дополнения к первопечатному его изданию — те же самые, что и в списках «лонгиновском» и «цебриковском», дополнения, которые не могли быть сделаны автором ни до представления им книги в цензуру, ни в ближайшие после выхода книги несколько лет.

Таковы были первые общие выводы при ознакомлении с новонайденной рукописью; они обязывали предпринять более широкое, чем обычно, изучение текста «Путешествия», а именно — сличение трех списков особого состава с печатным текстом 1790 года, цензурной рукописью и зачеркнутыми в ней местами, впервые прочитанными в инфракрасных лучах.

Предпринятое сличение дало возможность прийти к выводу, что переписчики или сводчики имели под рукой варианты всех редакций книги Радищева, ибо черновики ее не были уничтожены, а если и были, то далеко не все.

И переписчики, создавая эти особые списки, проявляли каждый свой вкус и произвол при отборе и совмещении текста разных редакций.

Так работа по сличению полных списков «Путешествия» с первым его изданием и рукописью, побывавшей в цензуре, дала важный результат. Она позволила значительно уяснить творческий процесс создания полного текста книги Радищева, и в этом уяснении не последнюю роль сыграл список Г. Он помог понять, как использовались элементы ранней редакции в списках «лонгиновском» и «цебриковском».

Теперь следовало заняться вопросом: не ошиблись ли исследователи, отнеся эти списки к несоответственно ранней поре? <sup>1</sup>.

#### 4

...Когда же появились в «Путешествии» строки, которых нет в издании 1790 года? Куски «крамольной», острополитической прозы, целый ряд строф оды «Вольность» и поэма «Творение мира», что это — «ранняя редакция», как утверждают литературоведы, или же дополнения к изданной книге, сделанные после того, как автор был арестован и сослан в Сибирь?

Важность этого вопроса не подлежит сомнению. Ведь само представление о личности и характере Радищева должно существенно измениться, если окажется, что исследованные нами списки дают не только раннюю редакцию, но в целом ее окончательный вариант.

Но это тесно связано с другим вопросом: остался ли Радищев после ареста и ссылки верен своим идеалам и сохранил ли он силу духа, волю и мужество, чтобы в конце жизни вернуться к работе над «Путешествием». В этом важнейшем вопросе предстоит разобраться. Однако, прежде чем это сделать, следует выяснить: была ли органичной для Радищева идея продолжения «Путешествия» или после издания этого произведения, суда и ссылки она стала ему чужда?

Во всяком случае, в 1790 году, при подготовке к печати последних страниц «Путешествия», такая идея была автору присуща. Нельзя оставить без внимания его обращение к читателю в самом конце книги: «...Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути».

<sup>1</sup> Условия журнальной публикации не позволяют уделить много места текстологии «Путешествия». В отдельном издании настоящей работы, выходящем в издательстве «Советский писатель», текстологические наблюдения будут даны с достаточной полнотой.

Знаменательно, что эта концовка вставлена Радицевым после получения рукописи из цензуры и что в цензурной рукописи этой концовки нет.

Печатный текст «Путешествия» заканчивался обещанием в торичной встрече с читателем. Но первоначально такой концовки в замысле автора не было, и он представил в цензуру (на что не обратили внимания исследователи) два других варианта конца.

В цензурной рукописи имеется, во-первых, вариант окончания, где Путешественник при въезде в Москву встречается с самоубийцей. Человек, видимо раздавленный феодально-крепостнической действительностью и потому лишаящий себя жизни, — таков итоговый образ, поставленный было Радицевым в конце книги, но затем им отвергнутый, так как, по его объяснению, данному на допросе, эпизод этот показался ему дурным.

Второй вариант помещен в самом конце цензурной рукописи. Исследователи сочли его «случайно» присоединенным к ней. «Трудно сказать, — говорится по этому поводу в первом томе академического издания полного собрания сочинений Радищева (М. — Л. 1938, стр. 496), — мог ли иметь данный отрывок какое-нибудь отношение к тексту «Путешествия». Между тем отрывок этот имеет к нему прямое отношение и настолько интересен, что его стоит привести целиком:

«...а теперь увы! Плачевные перемены! С Нероном ты сравнился, и что всего страннее, те ж самые учинил ты пороки, которыми Нерон всему Риму сделался ненавистным; тебя так же, как Нерона, чудовищем, жаждущим человеческой крови, нарицают. Отсель по справедливости все твое трепещет царство, и добродетельные и порочные от твоей ярости цепенеют. Всяк знает, что неутолимая жажда крови начавшего ее пить никогда удовольствована быть не может. Знаем, что ласковые и по природе тихие звери, как скоро напьются крови, делаются свирепейшими; так о тебе, коего кротость прежде сего весь свет превозносил хвалами, заключаем, что от пролития христианской крови ты рассвирепел и впредь свое бесчеловечие обуздывать едва ли будешь. Лучше бы тебе мщение отложить до утра. Ежели нетерпеливость нудила тебя употребить таковую строгость, то б хорошее и кроткое природы твоя расположение или совесть тебя удержали, нежели от внезапного огорчения неразумному твоего сердца следовать воспалению и, отступив от здравого рассудка и презрев человечество, чрезвычайным пылать гневом.

Вижу, что тщетно мое изобличение, недействительны слова и духовное мое врачество тебя не исцеляет. Итак, удались отсюда, зараза святых церкви, чтоб от долгого твоего здесь пребывания воздух священный, храм сей окружающий, ядовитым твоим не зарылся дыханием, или самый храм, не терпя гнусного твоего здесь присутствия, разорвав крепкие связи, не пременил места. Удались отсюда и поди в свои чертоги, орошай слезами одр твой, ударяй руками в перси, посып пеплом главу твою, или скажу тебе кратко: последовал ты Давиду в беззаконии, следуй ему и в покаянии.

К о н е ц .

Эти строки «неизвестного сочинения» Радищева — не что иное, как его политическая «анафема» Екатерине II, учинившей кровавую расправу с Пугачевым и его сообщниками. Стилизованные под обличительную церковную проповедь и — маскировки ради — обращенные к коронованной особе мужского пола, они имеют прямое отношение к «Путешествию из Петербурга в Москву»<sup>1</sup>.

Отрывок этот упоминает о «плачевных переменах», происшедших с тираном, «коего кротость прежде сего весь свет превозносил хвалами», — прозрачный намек на Екатерину — истребительницу пугачевцев, ранее заигрывавшую с энциклопедистами и державшую у себя в кабинете бюст Вольтера, а позднее сославшую этот бюст в подвал.

<sup>1</sup> Замечательно, что в тексте главы «Спасская Полесь», переведенной в 1793 году вместе с пятью другими главами «Путешествия» на немецкий язык в Германии, переводчик заменил слово «государь» словом «императрица» (Kaiserin), «показывая тем самым, что речь идет об империи Екатерины II» (Е. Г. П л и м а к. Новые материалы о Радищеве и Герцене, «История СССР», № 1, 1964, стр. 197).

Тема крестьянской войны в России, поднятой Пугачевым, пронизывает «Путешествие» Радищева во многих местах. Но где находился он сам во время московских казней в январе 1775 года, до сих пор было неизвестно, хотя выяснить это следовало уже давно.

Екатерина решила после казни Пугачева отправиться в Москву на длительное время и прибыть туда в середине февраля. Но двор и государственные учреждения в связи с этим стали переезжать гораздо раньше. Переехал в Москву и штаб петербургского генерал-губернатора и командующего Финляндской дивизией Я. А. Брюса, при котором Радищев служил тогда обер-аудитором. Следовало проверить: не был ли он отправлен в Москву вместе со штабом Брюса? Это можно было сделать, просмотрев хозяйственные дворцовые документы. И расчет оказался верным: среди них удалось отыскать запись о выдаче Радищеву в эти дни билета на поставку ему лошадей от Петербурга до Москвы.

«Штата его сиятельства, — гласит эта запись, — господина генерал-адъютанта лейб-гвардии Семеновского полку подполковника и кавалера Якова Александровича Брюса обер-аудитору Александру Радищеву с будущими при нем — 3 подводы». Билет этот выдан 6 января.

Пугачева и его сообщников казнили в Москве 10 января 1775 года.

Лица придворного и военного ведомств, обеспеченные хорошими лошадьми, ездил быстро и преодолевали расстояние от Петербурга до Москвы на четвертые или пятые сутки. Таким образом, Радищев скорее всего прибыл в Москву 10 января, в день казни Пугачева, а быть может, видел и самую казнь.

Во всяком случае он появился в Москве, еще взволнованной пролитой на Болоте кровью. Рассказы очевидцев о страшных событиях, надо думать, произвели на него неизгладимое впечатление. И оно должно было еще усилиться, когда Радищев, выйдя вскоре в отставку, отправился в саратовское имение своих родителей — Верхнее Аблязово — и по дороге туда увидел тысячи казненных и замученных пугачевцев. Вполне естественно, что впоследствии он пришел к мысли закончить свою книгу проклятием тирану-императрице, и то, что это — заключительный отрывок, подтверждает выведенное под ним крупными буквами слово «К о н е ц».

Цензурное разрешение на основной текст «Путешествия» последовало 22 июля 1789 года.

Спустя два месяца, 25 сентября, было дано разрешение на дополнительно представленное «Слово о Ломоносове».

Отрывок же о тиране, уподобившемся Нерону, был отдан в цензуру значительно позже и получил разрешение 10 марта 1790 года, когда большая часть книги была уже отпечатана и оставалось допечатать не более, чем треть.

Таким образом, мысль закончить «Путешествие» обличением Екатерины появилась у Радищева, видимо, незадолго до завершения процесса печатания. Но он отверг этот вариант конца, как и вариант с самоубийцей, предпочтя закончить книгу обещанием вторичной встречи с читателем, что было важнее для книги и в идейном отношении, очевидно, наиболее существенно для него самого.

Екатерина II, читая «Путешествие» и делая к тексту его замечания, обратила внимание на концовку книги, записав это, как особо важный пункт: «На стр. 453 обещает сочинитель продолжение той книги на возвратном пути. Где это сочинение, начато ли оно и где находится?»

Шешковский, допрашивая «сочинителя», повторил этот вопрос буквально — в тех же словах, в каких изложила его императрица.

Радищев ответил: «Оное сочинение начато не было». Тем самым он косвенно подтвердил, что мысль о таком сочинении у него была.

И мысль эта не покинула Радищева после ареста и ссылки. Об этом свидетельствуют его «Записки путешествия в Сибирь» с ноября 1790 года по декабрь 1791 года и «Дневник» возвращения из Сибири, который он вел в 1797 году.

В первом выпуске «Пермского краеведческого сборника» (Пермь, 1924)



П. С. Богословский напечатал (недостаточно впоследствии оцененную) интересную статью.

Сравнивая текст «Путешествия» с текстом сибирских путевых записок Радищева, он решал два важных вопроса: об устойчивости убеждений их автора и об идейной и литературной связи между «Путешествием», с одной стороны, и сибирскими «Записками» и «Дневником» — с другой.

Взятые из статьи П. С. Богословского несколько сопоставлений не оставляют сомнения в постоянстве идей Радищева, его общественных интересов и симпатий. Приведенные П. С. Богословским примеры убеждают, что Радищев во время своего подневольного путешествия в Сибирь и обратно продолжал «болеть народным горем, его страданиями и нуждами». Автор статьи приходит к выводу, что сибирские путевые записки Радищева были «заготовками» его нового грандиозного сочинения о России, и даже считает, что если бы это сочинение было написано, оно — по разнообразию и обилию наблюдений — оказалось бы более значительным, чем «Путешествие из Петербурга в Москву».

И хотя Радищев не написал такой книги, это постоянство его интересов и склонность к продолжению однажды избранной темы следует признать свойством его характера. Закованный в кандалы, он был увезен из Петербурга 8 сентября 1790 года. При проезде через Нижний-Новгород благодаря заступничеству А. Р. Воронцова кандалы с Радищева были сняты. А 11 ноября, всего через какие-нибудь два месяца, несмотря на все пережитое, он уже начал свои «Записки путешествия в Сибирь».

## 5

Сколько же было строф в первоначальном варианте «Вольности»? Пятьдесят — как в издании «Путешествия» 1790 года, или пятьдесят четыре — как в списках Б, В и Г?

До сих пор считалось, что ода «Вольность» объемом в пятьдесят четыре строфы есть вариант первоначальный, находившийся в цензурной рукописи. Но такое утверждение голословно, ибо эти листы цензурного экземпляра «утрачены» и — как удалось установить — только часть их восстановлена Радищевым перед арестом, точнее — им подменена.

Между тем, некоторые исследователи, считающие пространный текст «Вольности», известный по спискам Б и В, допечатным, полагают, что автор в издании «Путешествия» 1790 года, где количество строф оды равно пятидесяти, исключил именно из пространного варианта четыре строфы. Но мнение это ошибочно.

Дело в том, что в печатном тексте 1790 года всего лишь четырнадцать строф оды приведено полностью; двенадцать — даны в стихотворных отрывках и в пересказе прозой, а остальные двадцать четыре — только в прозаическом пересказе, иногда обобщающем сразу большую группу строф.

Так, в пересказе содержания оды, обещанного после строфы 40-й, говорится: «Следующие 8 строф содержат прорицания о будущем жребии отечества, которое разделится на части, и тем скорее, чем будет пространнее. Но время еще не пришло. Когда же оно наступит, тогда встретят заклепы тяжкой ночи. Упругая власть при издыхании приставит стражу к слову и соберет все свои силы, дабы последним махом раздавить возникающую вольность...»

Но оказывается, что четыре строфы из этих восьми (45-я, 46-я, 47-я и 51-я) не имеют в списках Б, В и Г никакого отношения к тематике данного пересказа и совершенно им не предусмотрены.

Строфы 45-я, 46-я и 47-я образуют в оде «Вольность» звенья единого — и притом вставного — сюжета явно автобиографического характера, разработанного автором на самом склоне лет.

Огорченный затуханием революции во Франции, где реакция начала поднимать голову, Радищев в строфах 42-й и 43-й говорит о «неизменном» законе жизни: «Из мучительства рождается вольность, из вольности рабство».

«О вольность, вольность, — тем не менее восклицает он, полный надежды и просветительской страсти, — да скончаешь со вечностью ты свой полет». И тут же с горечью добавляет:

Но корень благ твой истощится,  
Свобода в наглость превратится  
И власти под ярмом падет.

Затем колебаниям приходит конец. Наступает это не сразу, а, видимо, спустя годы, так как новое отношение Радищева к «закону» чередования свободы и рабства отражается в строфах 45-й — 47-й, не предусмотренных в 1790 году.

Строфы эти, несомненно, позднейшего происхождения: в них уже иной, более спокойный и мудрый взгляд автора на революцию; теперь (в строфе 45-й) Радищев считает, что народы, завоевавшие свободу, могут быть счастливы и что «вольность» «соблюсти» можно, если помнить об опасностях, которые ей грозят:

45

О, вы, счастливые народы,  
Где случай вольность даровал!  
Влюдите дар благой природы,  
В сердцах что Вечный начертал.  
Се хлябь разверстая, цветами  
Усыпанная, под ногами  
У вас, готова вас сглотить.  
Не забывай ни на минуту,  
Что крепость сил в немощность люту,  
Что свет во тьму лъзя<sup>1</sup> претворить.

Обращаясь к молодой Американской республике, он продолжает:

46

К тебе душа моя вспаленна,  
К тебе, словутая страна,  
Стремится, гнетом где согбенна  
Лежала вольность пограна.  
Линуешь ты, а мы здесь страждем!..  
Того ж, того ж и мы все жаждем;  
Пример твой мету обнажил;  
Твоей я славе не причастен,  
Позволь, коль дух мой не подвластен,  
Чтоб брег твой пепл хотя мой скрыл.

47

Но нет! Где рок судил родиться,  
Да будет там и дням предел;  
Да хладный прах мой осенится  
Величеством, что днесь я пел.  
Да юноша, взалкавый славы,  
Пришед на гроб мой обветшалый,  
Дабы со чувством вещал:  
«Под игом власти сей рожденный,  
Нося оковы позлащенны,  
Нам вольность первый прорицал».

Эти строки, разумеется, написаны человеком, много испытавшим, чувствующим себя состарившимся и уже думающим о близком «пределе» своей жизни, о собственном «хладном прахе», над которым будут произнесены заслуженно величественные слова.

В литературе отмечалось, что эта строфа «Вольности» отражает соответствующее место из книги французского просветителя Рейналя «Американская революция», изданной в Лондоне в 1781 году.

<sup>1</sup> Лъзя — старорусское, народное — можно.

Рейналевский текст действительно послужил основой для Радищева как автора нескольких строк этой строфы. Однако он противопоставляет желанию Рейналя свое, совершенно иное: он твердо намерен умереть на своей еще «страждущей» «под игом власти», но милой его сердцу родине. Факт же использования Радищевым нескольких строк из книги Рейналя издания 1781 года вовсе не говорит о том, что 46-я строфа «Вольности» была написана в начале или даже в конце восьмидесятых годов. Радищев, работая над этой строфой, мог обратиться к выпискам из прочитанной ранее книги или к ней самой гораздо позднее. А книги его (как и рукописи) сохранялись в безопасном месте: 8 марта 1791 года он писал из Тобольска А. Р. Воронцову: «Я просил, чтобы вы сообразовали обременить себя пересылкой «Физико-экономической библиотеки», находящейся среди моих книг, но узнал, что они увезены в Москву» (разрядка моя.— Г. Ш.).

Ощущение Радищевым своей преждевременной физической дряхлости отразилось в его просьбе к Павлу I (в декабре 1797 года) — разрешить ему поездку в Саратовскую губернию для свидания с престарелыми матерью и отцом. «...я сам, — писал он, — хотя еще на пятидесятом году от рождения, не могу надеяться долголетнего продолжения дней моих, ибо горести и печали умалили силы естественные. Взглянув на меня, всяк сказать может, колико старость предварила мои лета». Особенного же внимания заслуживает начало 47-й строфы:

Но нет! Где рок судил родиться,  
Да будет там и дням предел..

Строки эти имеют, видимо, локальное значение, то есть относятся не просто к отечеству автора, России, а к местности под Малым Ярославцем (сельцо Немцово), где Радищеву было разрешено поселиться по возвращении из Сибири в 1797 году.

Место его рождения до сих пор не установлено, так как метрические книги за первую половину XVIII века не сохранились; уцелели, и то лишь случайно, книги отдельных церквей.

По одним сведениям, Радищев родился в селе Верхнем Аблязове Кузнецкого уезда Саратовского наместничества (ныне — Пензенская область), по другим — в Москве.

Что касается первой версии, то ее никак нельзя считать убедительной, ибо единственным ее источником является надпись на иконе аблязовской церкви, сделанная спустя сто семнадцать лет после рождения Радищева.

Два его сына — Павел и Николай — показывают, что отец их родился в Москве.

Сам он так определенно нигде не говорит об этом. Но московскую версию отчасти подтверждает его ответ на вопрос анкеты Лейпцигского университета 1767 года; в графе «отечество, откуда родом» рукой университетского канцеляриста против фамилии «Радищев» отмечено: «Equ Moscov» («Известия Академии наук по Отделению русского языка и словесности», т. IX, СПб. 1860—1861, стр. 159). Однако слову «Москва» такое сокращение соответствовать не может. Скорее оно означало: «Equ<es> Moscov<iens>», то есть «дворянин, уроженец московский», но в широком, региональном смысле: уроженец Московской губернии, а не обязательно города Москвы.

До 1776 года Калуга и Малый Ярославец с находящимся в его уезде сельцом Немцовом входили в состав Московской губернии. Радищевы с очень давних пор владели в Малоярославецком уезде землями, и даже волость, где находилось сельцо Немцово, в XVIII веке называлась Радищевской. Автор знаменитой книги, по-видимому, провел детство в этом сельце.

С начала XVIII столетия малолетние дворяне — так называемые недоросли — обязаны были по достижении семилетнего возраста являться по месту своего жительства на смотр. Ответ на вопрос: где «являлся» семилетний недоросль

Александр Радищев, — удалось найти в Центральном государственном архиве древних актов: в одной из книг Герольдмейстерской канторы о сыне отставного подпоручика Николая Афанасьевича Радищева Alexandre сказано, что он «на первый смотр являлся в Малоярославецкой воеводской канцелярии»; там же был «явлен» и его младший брат Моисей.

В статье «Описание моего владения» Радищев, рисуя свое прибытие из Сибири в Немцово, с грустью отмечает: «Прямо против двора, при въезде, стоят три березы, современницы моего детства...»

И наконец два его последних письма из ссылки А. Р. Воронцову прямо указывают на место его рождения под Москвой.

Первое из этих писем было послано им своему покровителю из Илимска в начале января 1797 года. Из этого послания видно, что Радищев несколько раньше уже просил Воронцова исхлопотать ему у Павла I разрешение покинуть Сибирь и поселиться у себя на родине; в ожидании ответа на эту просьбу он писал: «...Ах, как сладко снова увидеть места, где протекало наше детство... Ах, если бы рука, подающая мне жизнь, могла, по крайней мере, уготовить мне могилу в местах, где я родился» (разрядка моя. — Г. Ш.).

Ему разрешили возвратиться и жить «в своих деревнях»; практически это означало в Немцове. И он с радостью уведомил А. Р. Воронцова о том, что желание его исполнилось, послав своему заступнику письмо уже с дороги (26 января).

Выраженное в первом из этих писем желание Радищева «уготовить» себе могилу там, где он родился, почти дословно повторено в начале 47-й строфы:

Но нет! Где рок судил родиться,  
Да будет там и дням предел...

Радищев мог написать эти строки либо перед самым возвращением из Сибири, либо — что гораздо вернее — уже очутившись в своем Немцове, то есть не ранее, чем в 1797 году.

Вот почему эти лучшие в оде строфы — 47-я и составляющие с нею единое целое 45-я и 46-я — не были предусмотрены автором в конспективном пересказе, данном в издании 1790 года при строфе 40-й.

Не предусмотренной оказывается и строфа 51-я — о возникновении «из недр» обреченной на распад империи, из хаоса гражданской войны, «кровавых рек», голода и болезни федерации «малых светил», украшенных «дружества венцом».

Это произошло потому, что четыре строфы — 45-я, 46-я, 47-я, а также 51-я — еще не были в 1790 году написаны, и — более того — их еще не предусматривал в будущем авторский план.

Таким образом устанавливается, что количество строф оды в допечатной редакции было пятьдесят, а не пятьдесят четыре...

Вопрос же о количестве строф «Вольности» в первоначальном варианте оды неразрывно связан с вопросом о датировке прозаических дополнений, обрамляющих этот стихотворный текст в списках Б, В и Г.

Во всех этих трех списках Путешественник, ознакомившись с одой «Вольность», обращается к Стихотворцу с практическим и вполне дружелюбным советом: «...если вы, государь мой, — наставительно говорит он, — ни за чем другим едете в Петербург, как дабы истребовать дозволение на напечатание ваших стихов, то возвратитесь в покое домой и потщитесь исправить их от двух погрешностей: от нелепости выражений и, сказать вам могут, от нелепости мыслей».

Ни о каком лишении Стихотворца свободы за попытку напечатать оду «Вольность» речи здесь нет.

Между тем Стихотворец, поглядев на собеседника с презрением, вручает ему другую свою рукопись и произносит: «Прочтите сию бумагу и скажите мне, не посадят ли и за нее?...» (Разрядка моя. — Г. Ш.)

Чем же вызвана эта реплика? Ведь она не может служить ответом на мягкое и по форме и по содержанию наставление Путешественника, вовсе не предрекавшего Стихотворцу арест за его вольнолюбивые стихи.

Здесь Стихотворец явно выдает автора «Путешествия».

В этом месте тайна Радищева сама давалась в руки исследователям, но они отвернулись от нее, словно боясь заглянуть ей в лицо.

И все тот же Семенников, имеющий большие заслуги как первый публикатор «лонгиновского» списка и автор ценных статей о Радищеве, анализируя эту фразу, ограничился пояснением: автор-де «Путешествия» «в легкой, шуточной форме» (!) выразил здесь, что ему грозит арест (В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования. М.—Пг. 1923, стр. 13).

Между тем тут сказано ясно: «Не посадят ли и за нее!», то есть — и за новую поэму. Но ведь так мог сказать только автор, уже сидевший в крепости за оду «Вольность» и за все свое «Путешествие» в целом, следовательно — мог сказать лишь спустя какое-то время после разразившейся над ним катастрофы.

Что же касается поэмы «Творение мира» и ее прозаических «окрестностей», то они вообще не могли быть написаны до 1799 года.

Кстати заметим, что в ранних списках «Путешествия» никаких дополнений к тексту первого издания нет.

### «...И НОВЫЙ МИР ВСТАЕТ...»

#### 1

Радищев расценивал свое проживание в Немцове как вторую ссылку. Подарив одному из своих соседей — И. Г. Самарину — книгу «Феатр чрезвычайных происшествий», он сделал на ней надпись: «Истинному товарищу моего изгнания». Поездка всего за сто пятьдесят верст к другу юности — Янову — была уже для Радищева невозможна: Янов жил «слишком далеко» для него.

Крестьянскими волнениями встретили родные места возвратившегося из Сибири писателя: вспыхнув в 1797 году в разных местах России, они охватили и Калужскую губернию — уезды Медынский, Лихвинский, Перемышльский и ряд других.

В сентябре 1797 года крестьяне деревни Кабицыной Боровского уезда не допустили помощника землемера и земского исправника производить межевание (то есть плутовским манером отрезать у них землю) и дубьем согнали их с межи. Калужский вице-губернатор Митусов донес Павлу I, что вынужден был отправиться туда лично, вытребовав «от г-на шефа и кавалера квартирующего в губернии гусарского полка» Линденера команду солдат.

«Г-н шеф и кавалер» Линденер был тем кавалерийским генералом, которому годом позже предстояло стать следователем по делу смоленского подпольного кружка.

В самом начале 1797 года он участвовал в усмирении крестьян села Брасова (в Севском уезде Орловской губернии), причем гусары его были обращены восставшими крестьянами в бегство, а ему самому «досталось поленом по спине».

Вскоре после этого гусарский полк Линденера был расквартирован в Калужской губернии, а в самой Калуге расположился его штаб.

Линденеровские эскадроны выполняли роль карательных отрядов; некоторые же гусарские офицеры вели наблюдение за особо подозрительными людьми.

«Однажды вечером, — писал Радищев в ноябре 1797 года А. Р. Воронцову, — когда мы с детьми сидели у чайного стола, вошли ко мне два человека военного вида. Сперва я подумал, что это гусары, часто оказывавшие мне честь своим посещением (разрядка моя. — Г. Ш.); однако мне о них не доложили. Вообразите себе, каковы были мое удивление и моя радость! Я еще не успел

спомниться, как уже был в их объятиях. Это были мои дети, приехавшие повидать меня после семилетнего отсутствия».

Сыновья Радищева — Василий и Николай, — направлявшиеся к месту своей службы в Киев, заехали по дороге в Немцово и провели там пятнадцать дней.

Это была нечаянная радость, ненадолго скрасившая тягостные немцовские будни, гнет одиночества, почти полное отсутствие поблизости «истинных товарищей» и друзей.

Зная «неверность» почты, то есть что письма его читаются не только адресатом, он вкладывал в невозмутимо-спокойные строки всю горечь и весь саркастический яд своего ума: «Что касается моих занятий, то я читаю мало, не пишу совсем ничего, эта мания уже давно прошла... Я видел, как убили рожь и яровые, я видел сенокос. Я наблюдал, но я запретил себе размышления...» (разрядка моя. — Г. Ш.)

Перлюстраторы не могли в чем-либо его заподозрить; но им было не постичь степень его осторожности и затаенную силу его духа. «Присмиривший во всех отношениях», он как будто не внушал опасений. Седой, изможденный, с пронизающим взглядом темных печальных глаз под выгнутыми удивленно бровями, он бродил по окрестным полям и лесам или в ненастье сидел в своей крытой соломой лачуге — «сердешный Радищев», как скажут о нем много лет спустя.

Барский каменный дом лежал в развалинах. В окно был виден сад, переставший плодоносить, убитый морозом. Дождевая вода сквозь худую крышу текла прямо на стол.

Письма получались изредка, и шли они долго, задерживаемые согладатами. Покоя не было: каждую минуту могли войти гусары. И Радищев, отводивший в те дни душу с Горацием, Вергилием и Овидием, мог бы как нельзя более кстати вспомнить «ссылные» стихи последнего:

Сердце, не проси, чтобы было хорошо;  
проси, чтобы было худо,  
но более безопасно...

А опасность между тем надвигалась. В соседней Смоленской губернии к этому времени созрело подпольное вольнодумство среди отставных военных, местных чиновников и офицеров квартировавшего в Дорогобуже Петербургского драгунского полка.

Генерал Линденер, посланный на Смоленщину Павлом I, чтобы выкорчевать там «крамолу», начал следствие в Дорогобуже и затем продолжил свою работу в Смоленске, растянув ее на целый год.

Раздувая изо всех сил дело кружка Каховского — Ермолова и стремясь расширить круг обвиняемых, Линденер утверждал, что связи подпольщиков протянулись «между Москвою, Калугою и за оною». Очень возможно, что этой фразой он намекал и на Радищева, за которым офицеры Линденерова штаба вели надзор.

Линденеру, разумеется, очень хотелось предъявить автору «Путешествия» какое-нибудь обвинение. И еще неизвестно, не осуществил ли бы генерал-следователь свое намерение, если бы успел сделать у него обыск. Но он не успел.

Еще до первых арестов в Дорогобуже Радищев, получив разрешение Павла I, уехал в Саратовскую губернию для свидания с родителями и, проведя там — в селе Верхнем Аблязове — более года, возвратился в Немцово, когда дело подпольного кружка на Смоленщине было уже завершено.

Мог ли Радищев не знать о его разгроме? Вряд ли. Его близкое родство с Марьей Ивановной Грибоедовой-Розенберг, предоставившей свой дом под Дорогобужем для сборищ подпольщиков, а возможно, и для хранения черновики радищевской книги, кроме того, ряд посредствующих звеньев, связывавших автора «Путешествия» с его двоюродной теткой, скорее говорят о том, что он о происшедшем разгроме знал.

Впрочем, он не проявил в этот период никакой заметной тревоги или же сделал вид, что его ничто не тревожит. Удивительная бодрость духа охватила Ради-

щева как раз весной 1799 года по возвращении его в Немцово. В письме к А. Р. Воронцову он писал: «...испытав всякого рода усталость телесную и, если можно так выразиться, всякого рода усталость душевную... я чувствовал себя легче, веселее, спокойнее и смотрю на вещи с наилучшей стороны... Неужто надобно подвергнуть пытке и плоть свою и дух, чтобы стать безмятежнее? Вот каким я был, вот каков я ныне. Веселее, чем больше у меня неприятностей, угрюмее, чем покойнее течет моя жизнь».

Как ни объяснять причину происшедшей с ним перемены, но это был перелом. Угнетенный годами ссылки, Радищев вновь распрямылся и, бросив вызов действительности, ощутил прилив жизненных сил.

«Мания» сочинительства овладела им снова. Начиная с 1799 года по 1802-й — последний год его жизни — им были написаны: поэма «Бова», «Песни, петье на состязаниях...», сатирическая статья «Памятник дактилохорейческому витязю», стихотворение «Осмнадцатое столетие» и ряд других.

Это то, что известно и что установлено. Однако, кроме этих произведений, им была еще написана в эти годы поэма «Творение мира», что устанавливается в данной главе.

Приведенные из письма к Воронцову строки говорят о душевном подъеме Радищева, о возвратившейся к нему весной 1799 года бодрости. Есть основание полагать, что в период с момента написания этого письма до конца года он вернулся к работе над «Путешествием из Петербурга в Москву».

## 2

Слава современника Радищева — композитора Иозефа Гайдна — распространилась почти по всему свету после первых же исполнений «Сотворения мира», созданного им в 1798 году.

Этот музыкальный опус был о р а т о р и е й, то есть произведением на сюжет из «священной истории», написанным для концертно-сольного и хорового пения, сопровождаемого оркестром. В свое время Мильтон написал текст оратории «Сотворение мира» для Генделя, но тот не успел сочинить музыку. Это же либретто — переработанное — сделал основой своего «Сотворения» Гайдн.

...Речитативы, арии и хоры начинали эпическую повесть о рождении из мирового океана земли и возникновении на ней природы, оркестр наивно подражал разнообразным звукам только что сотворенной жизни: простодушный композитор «сотворил» идиллию мироздания — щебет птиц, рычание льва, воркование голубков.

В последней части оратории ясное утро мира встречало первых людей на земле. «Мужественный человек, царь природы» Адам, обращаясь к первой женщине во вселенной — Еве, начинал дуэт, и в него неожиданно вплеталась мелодия... «Марсельезы». Получалось так, что музыка, написанная на библейский сюжет, тем не менее отражала революционную эпоху, и творение, в котором звучали слова: «...и новый мир встает...» — оказалось неизмеримо больше своего творца.

Для многих и многих эта оратория о рождении нового мира, прозвучавшая в конце XVIII века, была залогом великих перемен в жизни, осуществления надежд человечества, возлагаемых на XIX век.

Сам Гайдн не был затронут идейными бурями своего времени. Равнодушный к социальной борьбе, ограниченный своим кротким религиозным мировоззрением, он лишь предощущал будущее. И все же музыка «Сотворения мира», написанная на безнадежно устаревшую тему, несмотря на это, покоряла умы и сердца.

Маркс в своей знаменитой статье «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», объясняя подобные явления в истории, писал: «...Как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого,

заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории».

И далее — уже непосредственно об эпохе Мильтона, с именем которого связано в своей основе «Сотворение мира»: «...Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8, изд. 2-е, М. 1957, стр. 119—120).

Повинуясь велению времени, по стопам Лютера, Кромвеля и Мильтона пошел в этой своей оратории и Гайдн...

Очевидно, в силу той же традиции с самого конца XVIII столетия и до начала второй половины XIX темой «сотворения мира» интересовались передовые русские люди: Грибоедов, Пушкин, Петрашевский, Огарев.

Деятнадцатого марта 1798 года «Сотворение» Гайдна было впервые исполнено в Вене. Партитура оратории вышла из печати там же в 1800 году.

В изданной Гайдном партитуре (*Die Schoerpfung. Vienna. 1800*) был помещен список лиц, подписавшихся на это издание, среди них двенадцать русских фамилий, в том числе калужане: Н. П. Хлебников и дед будущей жены Пушкина — Афанасий Николаевич Гончаров.

От Немцова до усадьбы Гончаровых «Полотняный завод» было не более сорока верст проселком, и Радищев, состоявший, по его словам, в родстве с Гончаровыми, вполне мог слышать у них ораторию Гайдна, которую исполнял гончаровский ансамбль крепостных.

Это могло иметь место не ранее начала 1801 года. Но нельзя было утверждать, что Радищев не познакомился с «Сотворением» Гайдна годом или двумя раньше. Ибо нити от этого произведения тянулись с разных сторон из-за границы в Россию и, в частности, в Радищевскую волость Боровского уезда Калужской губернии, где коротал дни своей второй ссылки автор «Путешествия из Петербурга в Москву».

### 3

Поэма «Творение мира», примыкающая в списках Б, В и Г к оде «Вольность», то есть служащая ее продолжением, и текст «Сотворения мира» Гайдна настолько близки по форме и содержанию, что это обязывает их сличить.

Такое сличение никем еще произведено не было. Исследователи отмечали лишь, что «Творение мира» Радищева имеет подзаголовок «Песнопение» и что слово это равнозначно понятию «оратория»; в качестве же примера последней называли творения Генделя и Гайдна. Впрочем, Барсков мимоходом заметил, что поэма Радищева и «Сотворение» Гайдна тематически близки.

Но прежде, чем начать это сличение, нужно выяснить: познакомился ли Радищев с «Сотворением» Гайдна по партитуре, изданной в 1800 году в Вене, или же по источнику более раннему; другими словами: не опубликовал ли Гайдн где-нибудь отдельно либретто своей оратории еще до того, как закончил печатание партитуры?

С этой целью я предпринял необходимые розыски. Как раз в это время на мой письменный стол попала библиографическая карточка с описанием редчайшего издания творений Гайдна, любезно предоставленная мне знатоком истории музыкального театра А. А. Ильиным.

Это была выписка из каталога № 6, напечатанного в 1938 году в Лондоне антикварным магазином Отто Гааза. Под № 497 в каталоге значилось изданное в Париже Плейелем «Полное собрание квартетов» Гайдна, посвященное Первому Консулу Бонапарту. Это посвящение нельзя было не поставить в связь с корреспонденцией из Парижа, помещенной 18 января 1801 года в номере «Санкт-петербургских ведомостей». Корреспондент сообщал: 24 декабря в 8 часов вечера Первый Консул, сопровождаемый конным отрядом гвардии, на-

<sup>1</sup> 1800 года.



правлялся в карете к театру, где было назначено первое исполнение «Сотворения мира» Гайдна. В карете с ним находились: военный министр Бертье, генерал Лан и адъютант Лористон. На улице Сен-Никез дорога оказалась прегражденной телегой с бочкой, похожей на водовозную. Кучер на полном скаку объехал препятствие; но едва карета миновала телегу, бочка взорвалась с такою силою, что стекла вылетели даже в Тюильрийском дворце. Первый Консул продолжал свой путь в театр и прослушал там всю ораторию, несмотря на то, что весть о случившемся распространилась среди публики и наполнила тревогой зал.

В Париже стало известно, что покушение — дело рук якобинцев. Взрыв был произведен с помощью часового механизма, и термин «адская машина» с этого дня вошел в обиход.

Глубочайший политический и общественный смысл скрывался в описанном корреспондентом события: новый век встретил Бонапарта якобинскою бомбой, а десять минут спустя своды парижского театра сотрясла инструментальная мощь «Сотворения мира», предназначенного для услаждения слуха Первого Консула, но звучащего во имя светлого будущего свободных народов. Ибо творение было больше своего творца...

...Между тем предпринятые мною розыски дали свои результаты: при просмотре лейпцигской «Всеобщей музыкальной газеты» («Allgemeine Musikalische Zeitung») я обнаружил в приложении VII к № 18 этой газеты от 30 января 1799 года полный текст либретто «Сотворения» Гайдна (без нот).

Таким образом, выяснилось, что, начиная приблизительно с середины февраля 1799 года, у Радищева была возможность ознакомиться с печатным текстом этой оратории путем просмотра лейпцигской «Всеобщей музыкальной газеты».

Но ему могла встретиться и проникшая в Россию рукописная партитура «Сотворения», ходившая тогда по рукам...

#### 4

В первопечатном тексте «Путешествия» 1790 года вслед за окончанием оды «Вольность» идет лаконичная реплика Стихотворца: «Вот и конец...»

За нею следует замыкающее главу «Тверь» краткое ироническое послесловие «Путешественника»: «Я очень тому порадовался и хотел было ему сказать, может быть, неприятное на стихи его возражение, но колокольчик возвестил мне, что в дороге складнее поспешать на почтовых клячах, нежели карабкаться на пегаса, когда он с норовом».

В списках особого состава вслед за ознакомлением Путешественника с одой Стихотворца идет другой текст. Напомним читателю эти уже цитированные ранее строки и добавим к ним несколько последующих строк:

«...Я ему сказал: если вы, государь мой, ни за чем другим едете в Петербург, как дабы истребовать дозволение на напечатание ваших стихов, то возвратитесь в покое домой и потщитесь исправить их от двух погрешностей: от нелепости выражений и, сказать вам могу, от нелепости мыслей. Он, поглядев на меня с презрением: «Прочтите сию бумагу и скажите мне, не посадят ли и за нее?.. Читайте: сие долженствовало быть для великого поста, некоторым случаем не dokonчано. Да будет оно пример, как можно писать не одними ямбами».

Развернув, прочел следующее:

«Творение мира»

Песнопение

Хор

Тако предвечная мысль, осеняясь собою и проч.».

В приведенном отрывке столько неясностей и намеков, что пройти мимо них нельзя. Однако будет правильнее приступить к их расшифровке, предварительно

уяснив идею поэмы, названной «песнопением», ее социальный и политический смысл.

Прежде всего нет сомнения, что она является прямым продолжением оды «Вольность», точнее — расширенным вариантом ее последней (54-й) строфы.

Нет сомнения также и в том, что эта последняя строфа полного текста оды дает аллегорическую картину сотворения вселенной, под которой следует разуть новый социальный мир:

Мне слышится уж глас природы,  
Начальный глас, глас божества,  
Трясутся вечно мрака своды,  
Се миг рожденья вещества.

А в соответствующей этой 54-й строфе — строфе 50-й первого издания (в прозаическом ее пересказе) читаем:

«Мрачная твердь<sup>1</sup> позабынулась<sup>2</sup>, и вольность воссияла».

Оказывается, социально-политический план последней (54-й) строфы оды «Вольность» легко подменяется у Радищева планом космогоническим и «вольность» зашифровывается «веществом».

Заключительные строки строфы 54-й почти все (кроме одной) развивают ту же библейскую тему «дней творения»:

Се медленно и в стройном чине  
Грядет Зиждитель наедчине —  
Рекл... яркий свет пустил свой луч.  
И, ложный плена скиптр поправши,  
Сгущенную мглу разогнавши,  
Влестящий день родил из туч.

С богословской точки зрения все было благопристойно в этой последней строфе оды. Исключением являлась только строка восьмая: «И, ложный плена скиптр поправши», сохраняющая присущий всей оде тираноборческий смысл.

И уже в чисто библейском, традиционно-легендарном космогоническом плане следует далее «Творение мира». Как и в оратории Гайдна, в этой поэме выступают: господь-бог, зиждитель вселенной и славословящий его хор.

...Яркий луч света прорезает тьму космической ночи, и в мрачной пучине хаоса возникает безмерный клуб бытия.

Приоткрывается грядущее. Перед заливающим хаос светом отступает тьма, препятствующая рождению вселенной.

Берут свое начало пространство, время, вещество и движение.

И появляется царь природы — Человек...

Таково, в сущности, содержание обоих произведений — гайдновского «Сотворения» и «Творения мира» Радищева. Но если первое из них не имело никакого подтекста и выражало надежду человечества на лучшее будущее, независимо от желания и замысла композитора, то во втором главную роль играл именно подтекст.

В этом легко убедиться, сравнив «Творение мира» Радищева с его же стихотворением «Оснадцатое столетие»: аполитическая библейская тема поэмы обретает в этом стихотворении новое качество — из ее условных, архаических образов рождается мир злободневных идей.

Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,  
Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех...

Оценку протекшего века Радищев начинает с образа космогонического и тотчас же переходит к конкретной исторической действительности, современником которой был он сам:

Из Океана возникли новы народы и земли,—

<sup>1</sup> Т в е р д ь: здесь — небесная твердь, небесный свод.

<sup>2</sup> П о з ы б н у л а с ь — потряслась, пошатнулась.

возникли, рожденные заново революцией, просветительством и творческим духом свободы, «зиждительным, как сам есть бог».

Обращаясь к «столетию безумну и мудру», автор говорит с восхищенным и печалью:

Ты исчисляешь светила, как пастырь играющих агнцов;  
Нитью вождения вспять ты призываешь комет;  
Луч рассеен тобой света; ты новые солнца воззвало;  
Новые луны из тьмы дальней воззвало пред нас;  
Ты побудило упряму природу к рожденью чад новых;  
Даже летучи пары ты заключило в ярём;  
Молнию небесну сманило во узы железны на землю;  
И на воздушных крылах смертных на небо взнесло.  
Мужественно сокрушило железны ты двери призраков,  
Идолы свергло к земле, что мир на земле почитал.  
Узы прервало, что дух наш тягчили, да к истинам новым  
Молнией крылатой парит, глубже и глубже стремясь.  
Мощно, велико ты было столетье! Дух веков прежних  
Пал пред твоим алтарем ниц и безмолвен, дивясь,  
Но твоих сил не достало к изгнанию всех духов ада,  
Брызжущих пламенный яд чрез многотысячный век,  
Их не достало на бешенство, ярость, железной ногою  
Что подавляют цветы счастья и мудрости в нас.  
Кровью на жертвеннике еще хищности смертны багрятыся,  
И человек претворен в люта тигра еще...

Если радищевское «Творение мира» — в иносказательной форме — рисовало картину счастливого, но пока еще туманного будущего, то стихотворение «Осмнадцатое столетие» являлось итоговим, оценивающим протекший век.

При сличении же «Сотворения» Гайдна с «Творением мира» и «Осмнадцатым столетием» Радищева оказывается, что автор «Путешествия» не только по теме и содержанию в обоих этих произведениях чрезвычайно близок Гайдну, но в ряде случаев прямо заимствует у него текст...

Но чтобы заимствовать что-либо из оратории Гайдна, Радищеву нужно было познакомиться с нею, а это — как мы уже видели — могло иметь место не ранее, чем в 1799 году.

Стихотворение «Осмнадцатое столетие» написано в первой половине 1801 года. Поэма «Творение мира» никогда с ним не сравнивалась; не сравнивалась она также и с другим произведением Радищева последней поры его жизни — «Песнями, петыми на состязаниях в честь древним славянским божествам».

Между тем вся первая часть «Песен» также посвящена теме «дней творения», только изображены они на славянский лад: творец вселенной, библейский господь-бог заменен здесь языческим, славянским Перуном, которого окружают подвластные ему (большей частью вымышленные) славянские божества.

Причина такого предпринятого автором «переодевания» персонажей простая: в этой незаконченной поэме он говорит уже не о судьбах народов Земли в целом, а только о «будущем жребии отечества». Итак, мы видим, что в «Творении мира» Радищева, а также в его «Осмнадцатом столетии» и «Песнях, петых на состязаниях» — одна система образов и один круг идей.

Но заимствовал ли у Гайдна свои образы и идеи Радищев? Нет, он мыслил слишком самостоятельно, чтобы кому-либо подражать. Впитав все лучшее и наиболее передовое из опыта русского и западного просветительства, он позволял себе сплошь и рядом повторять своих современников, если их мысли отвечали его собственным. С неподражаемым чувством юмора заявлял он по этому поводу в «Путешествии»: «Признаюсь, я на руку не чист; где что немного похожее на рассудительное увижу, то тотчас стяну; смотри ты не клади мыслей плохо». Жизненный опыт научил его осторожности и приемам иносказания, а стремление во что бы то ни стало оставить за собой в борьбе с самодержавием последнее слово заставило его в «Творении мира» прибегнуть к ветхозаветным образам, то есть дерзать единственно возможным для него путем.

Вводя в полный текст «Путешествия» эту поэму, Радищев, помимо замысла социального предвидения, осуществлял еще одну свою идею: рисуя согласно деистическим представлениям XVIII века зависимость следствий от первопричины как от первого «всемощного» толчка «Зиждителя», он применял свою философскую схему к разным областям жизни. Эта мысль занимала его в Сибири, когда он писал трактат «О человеке, его смертности и бессмертии», и этой же мыслью закончил он «Слово о Ломоносове» в своем «Путешествии из Петербурга в Москву».

«Первый мах в творении всесилен был, — говорит он применительно к Ломоносову и успехам русской словесности в последующую эпоху, — вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как понимаю я действительные великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом» (разрядка моя. — Г. Ш.).

Нет сомнения, что Радищев, мастер приемов эзоповской речи, имел здесь в виду и собственное свое «Путешествие», как первый в России всесильный «ма х», породивший огонь освободительных идей.

\* \* \*

Идея «Творения мира», связь этой поэмы с двумя произведениями последних лет жизни Радищева и всех этих трех произведений с ораторией Гайдна достаточно прояснилась. Сличение их приблизило нас к раскрытию тайны особых списков «Путешествия». Все ведет к тому, что Радищев восстановил и дописал свою книгу за три года до смерти. Но для того, чтобы с полной убедительностью доказать это, следует вернуться назад.

Ведь загадки прозаического текста, предшествующего в «Путешествии» «Творению мира», остались неразрешенными, а их необходимо по мере возможности разрешить.

Разгадка первой из них уже была предложена ранее. Вспомним это «темное» место, суть которого такова: Стихотворец, вручаящий Путешественнику рукопись нового своего произведения, с презрением произносит: «Прочтите сию бумагу и скажите мне, не посадят ли и за нее?» Задать такой вопрос мог только автор, уже сидевший и за оду «Вольность», и за все свое «Путешествие».

Считать же, что фраза эта — вставка, сделанная переписчиком, невозможно. Во-первых, чтобы вставить эту фразу, нужно было внести в текст целый эпизод: Путешественник, прочтя оду, возвращает ее Стихотворцу и произносит нравовучение; после этого Стихотворец вручает ему новую рукопись и, глядя на него с презрением, задает свой вопрос. У какого переписчика поднялась бы рука на такую отсебятину? И кроме того, ведь никаких других вставок в списках «Путешествия» особого состава мы не находим: почему же в данном случае усматривать произвол?..

К загадке второй относится фраза Стихотворца: «...Сие (то есть песнопение «Творение мира». — Г. Ш.) долженствовало быть для великого поста. некоторым случаем не dokonчано». Фраза эта вдвойне загадочна: в одинаковой мере требуют объяснения и «великий пост», в связи с которым почему-то была задумана эта поэма, и «некоторый случай», помешавший ее дописать.

Так как «Творение мира» по своему литературному жанру являлось «песнопением» или ораторией, следовало прежде всего проверить: не было ли принято в России XVIII века исполнять оратории великим постом?

Объяснение музыкального термина «оратория», данное Г. Р. Державиным отвечало на этот вопрос утвердительно: в своем «Рассуждении о лирической поэзии», опубликованном лишь частично, он (в самом начале XIX века) писал, что оратории «исполняются у нас по великим постам на театрах и домах».

В воспоминаниях И. А. Второва, описывающего Москву 1801 года, говорится: «В великий пост уже не бывает ни спектаклей, ни маскарадов» («Русская

старина», 1891, апрель, стр. 5). Слово «уже» в этом контексте указывает, что спектакли и маскарады были запрещены (на время великого поста) не так давно.

Факт такого запрещения косвенно подтверждается одним документом дворцового архива: 11 февраля 1799 года содержатель итальянской группы Аставита Дженаро просил Павла I о «дозволении ему великим постом дать представление: духовные оратории в театральных костюмах, которые в Италии дозволяются папой».

Все эти свидетельства вызывали необходимость обратиться к истории русского законодательства о театре, связанного с церковными праздниками, а также с великим постом.

При просмотре «Полного собрания законов Российской империи» выяснилось, что никаких запретов давать представления во время великого поста до конца XVIII века не было; первое же такое запрещение и притом с упоминанием об ораториях последовало в 1796 году.

Двадцать второго декабря этого года Павлом I был дан указ директору театров князю Юсупову: «Вольные (то есть светские.— Г. Ш.) спектакли запретить давать во весь великий пост... Оратории же духовные в течение великого поста, кроме первой и последней недели, давать позволить...»

Таким образом, Стихотворец, предназначивший «для великого поста» свою поэму «Творение мира», вторично и окончательно выдает Радищева, который мог написать такую фразу не ранее конца декабря 1796 года, то есть только после того, как состоялся данный указ.

С этим указом, видимо, связано общее «ораториальное» направление русской концертной жизни в самом конце XVIII столетия (см. Т. Ливанова, Русская музыкальная культура XVIII в., т. II, М. 1956, стр. 324), чрезвычайно усилившееся в связи с проникновением в Россию «Сотворения» Гайдна, вызвавшего к себе в начале нового века огромный интерес.

В более ранние годы известны всего два случая исполнения великим постом духовных концертов и ораторий: в Петербурге — в 1791 году и в Москве — в 1793. Оба случая имели место в те годы, когда Радищев уже находился в Сибири, где ему не так легко было следить за объявлениями столичных газет.

Только после указа 1796 года, когда на время великого поста были запрещены светские спектакли, исполнение ораторий в великопостные дни стало распространенной модой, и «Творение мира» Радищева, совпадающее с «Сотворением» Гайдна по теме, названию, содержанию, а в некоторых местах и текстуально, было, вне всякого сомнения, его своевременным ответом на музыкальную «злобу дня».

Теперь можно и датировать (более или менее точно) окончание Радищевым последней редакции «Путешествия». Либретто «Сотворения» Гайдна было опубликовано в лейпцигской «Всеобщей музыкальной газете» 30 января 1799 года и, очевидно, вскоре попало к русским любителям музыки как в печатном виде, так и в рукописных копиях, с нотами. Автор «Путешествия» мог познакомиться с этим либретто в том же году, уже весной.

Время, начиная с весны и до конца 1799 года, было наиболее благоприятным для возвращения Радищева к его основной теме; скорее всего именно в эти месяцы он занялся восстановлением и доработкой своей уничтоженной книги: внес в нее ряд дополнений, по-видимому — четыре строфы оды «Вольность», куски относящейся к ней прозы и поэму «Творение мира», вернувшись, таким образом, к литературному труду.

Работа над окончательной редакцией книги, надо полагать, была завершена им либо в конце 1799, либо — вернее — в начале 1800 года — до наступления великого поста, начавшегося в этом году, по свидетельству «Мессяцеслова», 26 февраля. Работа эта была прервана «некоторым случаем», не позволившем автору дописать «Творение мира». Что это был за случай, можно только гадать: это могла быть и какая-то опасность, возникшая поблизости в связи со слезкой, которую местные власти вели за Радищевым, либо представив-

шаяся вдруг — через Анну Ивановну Аргамакову — возможность переписать новый вариант «Путешествия» в монастыре.

Умелец литературно-политической маскировки, Радищев, вложив в свое «песнословие» идею о неизбежном торжестве «вольности» и рождении из нее нового социального мира, облек эту идею в ветхозаветные образы, которым позаиводвал бы любой богослов.

Мало того. У него была еще дерзкая мысль — добиться того, чтобы это произведение пели, исполняя в концертах. Почти одновременно Карамзин добился того же, сделав перевод «Сотворения». Но Радищев не переводил с немецкого: он написал самостоятельное произведение, имевшее свой, глубоко скрытый смысл.

Спустя четверть века А. С. Пушкин, делясь с П. А. Плетневым своими намерениями, писал: «Я Андрея Ш<ень> велю напечатать церковными буквами во имя от<ца> и сы<на> etc...»

Выражаясь фигурально, Радищев написал свою поэму тоже «церковными буквами», изобразив в ней новый, рождаемый духом вольности, мир.

Стихотворец в списках особого состава, по прочтении Путешественником первой строки «Творения мира», говорит: «Вы уже улыбаться начинаете, вам кажется уже, что читаете «Тилемахиду». Но смейтесь, как хотите — чудище обло, эгромно, тризевно и лаяй — не столь дурной стих».

Косноязычный слог Тредиаковского ничуть не отталкивает Стихотворца: смейся, недогадливый современник, смейся, сколько тебе угодно, — Стихотворец обманул тебя и всех, кто «принадлежит к цензурному комитету». А с трудом читаемый стих Тредиаковского потому ведь не столь дурен, что этим стихом можно выразить сущность самодержавно-крепостнического строя, а придаться к стиху нельзя.

Недаром же эта строка взята эпитафией к «Путешествию» как пример иносказания. В иносказательной же манере написана и поэма «Творение мира», причём обрамляющие ее прозаические строки обнажают этот прием.

Так, Стихотворец с гневным сарказмом предупреждает Путешественника относительно своего «песнословия»: «Да будет оно пример, как можно писать не одними ямбами». Это значит: не одними ямбами, которыми написана ода «Вольность», можно выразить революционную идею, но и любым другим размером. А по прочтении Путешественником зашифрованной поэмы Стихотворец так же саркастически спрашивает: «Что ж вы скажете о употреблении в одном сочинении разного рода стихов?..»

«Вот и конец», — объявляет он в тексте первого издания, окончив читать Путешественнику оду.

«К о н ц а н е т», — стоит в списках особого состава после поэмы «Творение мира». И в этой диаметрально противоположной прежнему утверждению реплике скрыт сокрушительной силы смысл.

«К о н ц а н е т». Это касается не только оборванной «некоторым случаем» поэмы — смысл этих слов несравненно глубже: не было конца уничтоженному в 1790 году «Путешествию», и нет конца освободительной миссии автора, как и стремлению народов к свободе, как и «дару небес» — вольности, которая лишь с вечностью «скончает свой полет».

## 5

Калужский гражданский губернатор Лопухин 22 марта 1800 года отправил Павлу I «всепопданнейший» рапорт. Он сообщал императору, что гусарский полк Линденера (возвратившийся, очевидно, из очередной карательной экспедиции) прибыл «в непременные свои квартиры» и расположился эскадронами в уездных городах.

Гусары снова появились в непосредственной близости от Немцова. Для Радищева это означало, что наблюдение за ним возобновилось. В любую минуту

могли нагрязнуть к нему непрошенные гости, произвести обыск и отобрать бумаги, либо просто поинтересоваться тем, что он писал.

В вечном страхе, не забывая о своем положении поднадзорного, с о в е р ш а л он свой подвиг — спеша и озираясь, заканчивал последнюю редакцию «Путешествия». Очень возможно, что гусары, появившиеся в соседнем городе Боровске, снова зачастили в Немцово и что это и заставило его прервать работу над «Творением мира» и поспешить с передачей всей рукописи Анне Ивановне Аргамаковой, увезшей ее затем в Саровский монастырь.

Осторожностью Радищева, должно быть, следует объяснить и то обстоятельство, что стихотворение «Оснадцатое столетие» не было опубликовано при жизни автора. Сначала он, видимо, предназначал его к печати, но потом передумал: стихотворение слишком ясно отражало взгляды писателя, который увидал «всемирно-исторический восход солнца» и низко поклонился ему...

Томительно тянулись дни ссылки под Малым Ярославцем, в сельце Немцове. Ничто не возмущало провинциальную тишину.

Убийство Павла I, разумеется, на первых порах встревожило Радищева: ведь трое прямых участников заговора — поручики Марин и два брата Аргамаковы — были его родственниками; кроме того, он состоял в близком родстве с Марьей Ивановной Розенберг, двумя годами ранее замешанной в деле смоленского кружка.

Но все обошлось. В виновных в убийстве Павла никто не стал преследовать. В апреле 1801 года Радищев был освобожден из своей второй ссылки с возвращением чинов и дворянства и привлечен к участию в составлении законов; казалось бы, он мог спокойно доживать свой век.

Подвиг был совершен: его уничтоженная книга, несмотря ни на что, была восстановлена и дополнена. Он получил доступ к государственной деятельности и трудился, надеясь, что работа комиссии составления новых законов облегчит участь крестьян.

Но надежды развеялись. В законодательной комиссии Радищеву слишком часто приходилось оставаться при особом мнении: члены комиссии, как правило, были не согласны с ним.

Наболевший крестьянский вопрос не получал разрешения. Люди переменились; во всяком случае те, от кого могло зависеть разрешение этого вопроса, и кто в девяностых годах разделял республиканские идеи, теперь, разочаровавшись в революции, взяли иной курс.

Сохранилось письмо вельможи Павла Александровича Строганова к обществу деятелю В. Н. Каразину, того самого «Пашки» Строганова, который в юные свои годы, находясь в Париже, был библиотекарем революционного клуба и возлюбленным одной из знаменитейших женщин Французской революции — Теруань де Мерикур.

Это неопубликованное письмо наглядно показывает, как повисали в воздухе идеи Радищева в последний период его жизни. Граф П. А. Строганов писал:

«Милостивый государь мой Василий Назарыч,

Я Вас благодарю сердечно за отрывок сочинения г-на Радищева, которое вы мне присылайте; я его прочту с вниманием. Что же касается до вчерашнего разговора, вы напрасно приняли это за насмешку, но действительно нельзя было согласиться с началами, г-ном Радищевым приведенными; нет сомнения, что он был наполнен рвением к добру, но, судя по вчерашнему отрывку, мне кажется, он не взял в этом деле истинный путь...»

Из письма этого, не совсем ясного, все же можно понять, что в начале февраля 1800 года, то есть еще до окончания своей немцовой ссылки, Радищев пытался — через Каразина и Строганова — продвинуть вверх какой-то свой государственный проект.

Известно, что Каразин получил от Радищева рукопись его «Проекта гражданского уложения» и обещал показать ее Александру I. В письме Строганова, очевидно, о данном сочинении и шла речь.

Этот же «Проект», по словам сына писателя Павла, вызвал недовольство П. В. Завадовского, сказавшего Радищеву, что «восторженный образ мыслей уже раз навлек ему несчастье» и что оно может повториться, причем даже произнес слово «Сибирь». (Кстати, будет не лишним вспомнить, что Завадовский, председатель комиссии составления законов, был одним из семи членов Государственного (Непременного) совета, подписавших Радищеву смертный приговор в 1790 году.)

По свидетельству служившего в той же комиссии Н. С. Ильинского, недовольным поведением Радищева был и его покровитель А. Р. Воронцов. Александр Романович будто бы сказал своему подопечному, что, если он вольнодумствовать не перестанет, с ним поступят еще хуже прежнего (!). Эти слова Воронцова вполне могли ускорить роковую развязку и напомнить Радищеву несколько собственных его строк: «Если добродетели твоей убежища на земли не останется, если доведенну до крайности не будет тебе покрова от угнетения, тогда вспомни, что ты человек, вспомняи величество твое...— Умри».

«Умри на добродетель»,— говорит Радищев в другом месте своей книги.

Идея самоубийства, как крайнего средства сохранить человеческое достоинство в борьбе с существующим режимом, высказывается во многих местах «Путешествия». К этому средству Радищев прибегнул, разочарованный в своих надеждах на перемену в правовом положении крестьянства и угнетенный рядом обстоятельств, имевших отношение лично к нему.

В ночь на 12 сентября 1802 года Александр Николаевич Радищев покончил с собой.

Посмертная его слава, идя в ногу с русским общественным и революционным движением, отразилась в многочисленных списках «Путешествия из Петербурга в Москву».

Большинство этих списков воспроизводит текст издания 1790 года. Среди них имеется только три списка окончательной редакции «Путешествия», содержащих дополнения к первому изданию, и столько же отдельных списков оды «Вольность» в составе пятидесяти четырех строк.

Вполне возможно, что таких особых (полных) списков было гораздо больше и что некоторые из них еще будут найдены: ведь распространение «Путешествия» было очень широким — не только среди разночинной революционной интеллигенции, но и в гуще народной: среди рабочих, солдат и помещичьих крепостных.

Так, например, корреспондент Л. Н. Толстого, крестьянин-самоучка Тимофей Бондарев, автор книги «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца», писал: «Об Александре Николаевиче Радищеве я слышал, еще когда был у помещика рабом, а потом приходилось читать «Путешествие» его, будучи солдатом, а затем в Минусинске попала мне полностью копия рукописи «Путешествия из Петербурга в Москву».

Русские революционные рабочие читали в тюрьмах книгу Радищева.

С конца XVIII века «Путешествие» переписывалось в самых разных местах России, причем иногда коллективно, под диктовку, точно так же, как переписывалось в свое время декабристами «Горе от ума».

\* \* \*

...Я думаю о великой страсти научного следопытства. В хаосе явлений, разрозненных и между собою никак не соотнесенных, она помогает установить порядок и связь.

Так, в этом труде оказались переплетенными судьбы Радищева, Аргамаковых, Грибоедовых, Цебриковых и судьбы книг и рукописей, не менее интересные, чем судьбы людей...



Теперь можно считать доказанным, что промежуточная редакция «Путешествия», известная по изданию 1790 года, была дополнена Радищевым и превращена им в окончательную после возвращения его из Сибири, скорее всего в 1799 году.

И я думаю, что пора издать полный (окончательный) текст «Путешествия», используя для этого все списки особого состава, и притом издать так, чтобы дополнения к первоначальному тексту были доступны широкому читателю, а не выносились бы — в виде разночтений — в «академическую», комментарную часть.

После всего сказанного остается открытым вопрос о протографе, подлиннике или — что вернее всего — авторизованном Радищевым оригинале, с которого списывался полный текст. Не исключена возможность, что этот оригинал еще будет найден, и есть много путей для его поисков. Некоторые из этих поисковых линий следует наметить, и я обращаюсь к будущим моим читателям с просьбой и призывом иметь эти пути в виду.

Подлинник или авторизованный оригинал «Путешествия» мог сохраниться у кого-либо из жителей Темниковского района, в местности, где находился Саровский монастырь.

Он мог остаться и в Москве, в доме № 2 по 2-му Ушаковскому — ныне Хилкову — переулку, где (в доме П. А. Ушаковой) умерла Анна Ивановна Аргамакова и — кто знает! — где, может быть, он и по сей день лежит в забытой старой корзине, на чердаке.

Эта рукопись могла «осесть» в одном из переулков бывшей Пречистенки, в домишке какого-нибудь дьячка или священника Зачатьевского монастыря, прихожанкой которого была Анна Ивановна.

Этот подлинник мог переместиться и в район Лефортова, куда незадолго до 1812 года переехала П. А. Ушакова, приобретя там дом в приходе церкви Петра и Павла.

Его следует также искать в уцелевших фамильных бумагах Грибоедовых — в личных архивах их друзей.

Наконец его вместе с некоторыми монастырскими рукописями могли увезти эмигрировавшие за границу монахи Саровской пустыни, и сейчас он, возможно, находится за рубежом в частных руках.

Последнее приобретает особый интерес в связи с одним известием, которое мне довелось услышать. Несколько лет назад я делал сообщение об этой работе в Союзе писателей, в узком товарищеском кругу. После моего доклада присутствовавший на нем Лев Никулин неожиданно сообщил мне, что в один из приездов своих в Париж он читал выступление в печати какого-то иезуита, грозившего русским церковникам-эмигрантам опубликовать имеющуюся у него переписку Радищева с монахами Саровского монастыря.

В кратком сообщении о своей работе я не назвал пустыни, где А. И. Аргамакова, видимо, организовала переписку «Путешествия», поэтому совершенно исключалось, чтобы я название пустыни Л. В. Никулину подсказал.

С другой стороны, не было никакого сомнения, что переписка Радищева с саровскими монахами, которую грозился опубликовать владевший ею католик, имела отношение к изготовлению в их монастыре списка «Путешествия». К сожалению, фамилию этого иезуита мой собеседник вспомнить не мог.

Кто же мог им быть?

Фигурой, особенно подходящей для этой роли, мне кажется, мог быть И. Н. Кологривов, белоэмигрант, в прошлом лейб-гусар, принявший в эмиграции католичество и ставший историком; у него были свои счеты с русским духовенством, обретавшимся за границей, так же как и у этого духовенства — с ним.

Перу Кологривова принадлежит большая статья о жене декабриста — Е. И. Трубецкой, помещенная в 1936 году в парижских «Современных записках», и ряд работ по истории проникновения католицизма в Россию. Его прямым предком был генерал А. С. Кологривов, начальник кавалерийского резерва в

Отечественную войну 1812 года, шеф А. С. Грибоедова в пору его военной службы и двоюродный брат С. Н. Бегичева — ближайшего друга автора «Горя от ума».

Таким образом, с фамилией Грибоедовых у Кологривовых были (косвенные) дружески-традиционные связи; были они у них и с родом Радищевых: вспомним, что Кологривовым принадлежало в Клинском уезде село Веденское, ранее бывшее собственностью Николая Афанасьевича Радищева, а в 1845 году купленное московским богачом Голубковым, ставшим вскоре после этого обладателем особого списка «Путешествия из Петербурга в Москву».

Надо думать, что бывший лейб-гусар, а затем ученый иезуит-историк И. Н. Кологривов имел возможность благодаря своим родственным и личным эмигрантским связям раздобыть переписку Радищева с монахами Саровской пустыни; он мог разыскать эти письма и в бытность свою заведующим Русской библиотекой в Париже, каковым в течение ряда лет состоял.

Пути эмиграции некоторые фамильные архивы рода Радищевых ушли за границу. Так, «Бюллетень Колумбийского университета» называет среди своих новейших приобретений семейный архив Ф. И. Радищева. «отражающий русскую либеральную мысль и развитие земских учреждений в России», поступивший в Отдел рукописей университета в 1960 году («Columbia University Bulletin». 1960, Series 60, № 39).

Известие о иезуите, располагавшем перепиской Радищева, и сообщение «Бюллетеня Колумбийского университета» говорят о том, что оригинал радищевского «Путешествия» полного состава текста или относящиеся к нему документы можно также искать за границей. Будем надеяться, что западноевропейские и американские ученые, если они найдут у себя в архивах, после выхода из печати этой работы, какие-либо материалы, проливающие дополнительный свет на тайную творческую историю «Путешествия», — не замедлят их опубликовать.

\* \* \*

С мыслью о преемственности русских революционных традиций и с чувством гордости за их самоотверженных представителей заканчиваю я эту работу, относящуюся к истории русских освободительных идей.

Радищев — революционер и демократ — занимает в этой истории почетное и первое по времени место. В своем «Путешествии» он бесстрашно писал о «тяжести порабощения» крепостного крестьянства, которое неизбежно приведет к взрыву, о бесчеловечных господах-помещиках, продающих вольных людей, как скот; порицая весь строй закостенелой жизни любимого им, но порабощенного отечества, он говорил о «мужественных писателях, восстающих на губительство и всеислие», о «суеверии политическом», о «пресмыкающемся искусстве», о льстецах, рукоплещущих мысли властителя еще до того, как он выскажет свою мысль.

И если бы меня спросили: за что я боролся в этой своей работе, — я бы ответил: за раскрытие тайны, запечатанной « семью печатями » — за подлинный нескгибаемый характер Радищева, восстановившего и дописавшего в последние годы жизни свою истребленную книгу, смотревшего вперед «сквозь целое столетие» и ненавидевшего рабство, в какой бы форме оно ни выражалось, павшего в борьбе с самовластием за счастье своего народа, но уверенного, что потомство за него отомстит.



# В МИРЕ ИСКУССТВА

Б. БАБОЧКИН

★

## ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

**11** этого ноября 1934 года у входа в кинотеатр «Титан» в Ленинграде появился написанный от руки плакат:

«Сегодня новый звуковой фильм «Чапаев».  
В главных ролях В. Мясникова и Н. Симонов.  
Режиссеры братья Васильевы».

Я смотрел на этот плакат со сложным чувством. Я не испытывал досады за то, что я — исполнитель главной роли — не был в этом плакате упомянут. Не упомянуты были и другие исполнители. Я понимал, что фамилиями Мясниковой и Симонова — популярными в то время у зрителей — киноадминистраторы пытались пробудить в публике хоть какой-нибудь интерес к новому фильму. Я понимал, что в сочетании их имен есть некоторый намек на возможность романтической истории, которая будет показана на фоне гражданской войны. Я понимал, что сама тема была изрядно жевана-пережевана в фильмах последних лет и может казаться окончательно исчерпанной. Но горько было думать: неужели целых два года иступленного, изнурительного труда, который внес в создание фильма большой коллектив людей, влюбленных в тему и вложивших в нее буквально всю душу, — пропадет даром? Неужели этот труд, вдохновенный и искренний, так и не найдет живого отклика в сердцах зрителей, так же как не нашел он его в среде кинематографистов, так же как не нашел он его в сердце нашего кинематографического начальства?

Действительно, два просмотра, предшествующие такому тихому выходу «Чапаева» на экраны, могли вселять в нас тревогу и беспокойство и запомнились навсегда. Первым смотрел готовый фильм начальник главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ).

В порядке исключения или по недоразумению на этом просмотре присутствовали не только режиссеры, но и некоторые исполнители. Я подчеркиваю это потому, что сейчас, очевидно, многие не смогут представить, что тридцать лет назад актеры не считались членами съемочного коллектива, не участвовали в производственной и творческой жизни киностудии и не имели никакого права голоса при обсуждении художественных вопросов. От эпохи немого кино звуковому досталась в наследство такая практика: в актере больше всего ценился так называемый «типаж», то есть более или менее резко выраженная внешняя типичность, да еще, пожалуй, способность актера выполнять режиссерские указания слепо, без рассуждений, без всяких художественных претензий. Под эту практику подводилась в свое время и некая теоретическая база. Одно время существовала даже тенденция заменить в кино слово «актер» названием «натурщик». Так что, повторяю, на этот просмотр мы — исполнители главных ролей — попали лишь по случайному недосмотру.

Трудно было понять, какое впечатление произвел «Чапаев» на нашего начальника ГУКФа. Вероятно, он все пытался представить себе, какое впечатление все это произведет на еще более высокое начальство, но так и не смог решить

эту загадку. Во всяком случае, когда на экране появилось слово «конец» и в просмотровом зале киностудии «Ленфильм» зажегся свет, на высоком челе высокого начальства не отразилось ничего. Оно вышло из зала, не высказав никакого мнения, не сделав ни одного замечания и даже забыв сказать нам «до свиданья». Его мнение было потом передано режиссерам картины через директора студии. Мнение это заключалось в коротком и категорическом распоряжении выбросить из картины песню «Ревела буря, дождь шумел», как «задерживающую действие». Ни одного звука больше о фильме сказано не было. И Васильевы, и весь съёмочный коллектив, и мы — актёры — были в отчаянии. Нас даже не огорчило это ледяное равнодушие к фильму, но распоряжение выбросить из фильма абсолютно необходимый кусок, закономерно и преднамеренно останавливающий действие перед вихревым, лихорадочным, бурным и трагическим финалом, показалось чудовищным.

Вслед отбившему начальству мы послали слезную телеграмму. Насколько я помню, ответа на нее не последовало, и Васильевы истолковали молчание как знак согласия.

Следующий просмотр был еще более драматическим. Присутствовали только режиссеры «Ленфильма». Актёров в зал не пригласили, и мы дожидались конца просмотра в коридоре. По лицам вышедших из просмотрового зала понять ничего было нельзя. Молча или разговаривая о посторонних вещах, люди расходились по своим кабинетам. Я все же подошел к одному режиссеру и спросил о его впечатлении.

— Видите ли, — сказал он, — меня вообще волнует, когда идет красная конница...

Вот и все, с чем могли мы гадать о возможном успехе или провале картины перед тем, как она вышла на экран.

И вот я стоял у плаката перед входом в кинотеатр «Титан» 5 ноября 1934 года.

Васильевы в этот вечер были в Москве, остальные члены съёмочного коллектива разбрелись кто куда, и наша премьера не была торжественной. Кстати сказать, тогда еще и не было традиции устраивать кинопремьеры так, как это делается теперь.

Перед началом сеанса я вглядывался из директорской ложи в лица зрителей. Они показались мне хмурьими, недоверчивыми, в лучшем случае равнодушными. Но это равнодушие не пугало меня. Где-то в глубине души я не сомневался в том, что через каких-нибудь полтора часа эта публика будет опрокинута, потрясена, раздавлена картиной так же, как уже был раздавлен и потрясен ею я сам. Каждый раз, когда я смотрел картину — а я уже видел ее несколько раз, — я забывал о том, что я — ее участник. Я волновался, как самый непосредственный зритель, я даже ловил себя на том, что забывал, что будет дальше.

Начался первый сеанс для публики. Прошли вступительные титры. Зазвучала великолепная музыка Гавриила Попова. Зазвенели бубенцы лихой тройки, запряженной в шикарный фаэтон, на верш которого проволокой был привязан станковый пулемет (кстати, почему-то эту упряжку потом всегда называли тачанкой, а это была не тачанка, а именно фаэтон), послышались первые реплики, и опять, уже не в первый раз, я, знающий картину чуть ли не наизусть, смотревший ее, вероятно, уже в пятый раз, был вовлечен в медленно разворачивающееся, но непреодолимое развитие событий фильма.

Описывать реакцию зрителя тридцатых годов на фильм «Чапаев» — задача безнадежная, а для участников фильма и неблагоприятная. Я буду рассказывать только о фактах — несомненных, достоверных и документальных.

Когда сеанс кончился, публика не встала с мест. Зал притих и чего-то ждал. Директор кинотеатра вышел перед экраном и сказал:

— Товарищи, всё... Но среди нас находятся исполнители главных ролей...

Все мы знали, что и теперь и раньше, и у нас и главным образом за рубежом некоторая, весьма значительная часть зрителей очень бурно и даже с неко-

торым оттенком психопатии реагирует на встречи с так называемыми «кинозвездами». Я могу заверить, что в успехе Чапаева этот элемент отсутствовал начисто. Публика тридцатых годов вообще не воспринимала Чапаева как произведение киноискусства, она восприняла его как жизненный факт — несомненный и реально существующий.

Если повторить выражение некоторых критиков — «чудо Чапаева», — то это чудо заключалось именно в этом необъяснимом, непонятном, странном и неповторимом обстоятельстве: «Чапаев» для зрителей тридцатых годов, или во всяком случае для громадного большинства этих зрителей, был не фильмом — заранее придуманным, подготовленным, срепетированным, а потом снятым на пленку. Это был подлинный, несомненный и реальный кусок жизни, захватывающий и трагический, а если он возник передо мною, зрителем, сейчас на экране, если я, зритель, очнувшись, начинаю понимать, что сижу в кинотеатре, что сейчас не 1919, а 1934 или 1935 год, то все это просто необъяснимое волшебство, которого я не понимаю, да и не хочу понимать и объяснять. Я повторяю: громадное большинство зрителей считало волшебством и чудом не художественные качества фильма и не то, что этот подлинный кусок жизни прошел сейчас перед моими глазами, а то, что я, зритель, я, имярек, вдруг оказался здесь в кинотеатре и что куда-то исчезли, растворились и уральские степи, и уральские волны, и эти люди, вместе с которыми вот сейчас, вот только что я жил, боролся, страдал, побеждал и погибал... Непосредственность восприятия фильма, полная вера в подлинность, первозданность происходящих событий приближались к своему абсолюту, к своей вершине, к своим ста процентам.

За тридцать лет, прошедших со дня выхода в свет «Чапаева», я получил от зрителей не сотни, а, вероятно, не одну тысячу писем. И многие, очень многие из них показывают, насколько совместились для их авторов иллюзия и реальность, искусство и жизнь. И до сих пор, через тридцать лет, продолжают еще приходиться иногда такие письма.

Наиболее удивительным мне кажется то, что подлинные участники событий — бойцы и командиры Чапаевской дивизии — тоже воспринимали фильм как живую жизнь, а не как произведение искусства. У меня на груди плакал горькими и радостными слезами пожилой человек, бывший чапаевский боец. Он обнимал меня и, всхлипывая и стесняясь своих слез, повторял: «Там у колодца, в белой-то рубашке, ведь это был я... Ты понимаешь, ведь это был я...» И мне не захотелось разрушать эту его иллюзию. Я подтвердил:

— Это был ты. Я знаю.

Это был крестьянин, рядовой солдат. Во встречах с командирами дело оказывалось несколько сложнее, но и эти вот речи, в общем, подтверждали необыкновенную силу иллюзий и некоторый, я бы сказал, гипнотизм, заключенный в фильме.

В первый год войны я встретился в Сарагове с бывшим командиром кавалерийского эскадрона Чапаевской дивизии по фамилии Жуков. В фильме перед сценой каппелевской атаки адъютант Чапаева приносит тревожную весть:

— Буза в эскадроне. Жукова убили.

В этом тексте Жуков — случайная фамилия. Он мог быть Ивановым, Петровым — кем угодно.

Но подлинный Жуков, не виновный в случайном совпадении, предъявил мне, как Чапаеву, самую серьезную претензию: как это я, не разобравшись как следует, поверил, что его убили. Он — Жуков — был только ранен. и пока усмиряли взбунтовавшийся эскадрон, ему делали перевязку здесь же неподалеку, вот в этом же лесу.

Но я все забегаю вперед, путаю хронологию, а начинать мне надо сначала — с первого сеанса «Чапаева» в кинотеатре «Титан» 5 ноября 1934 года, а потом вернуться к периоду съемок картины, к первой читке сценария, к зиме 1933 года, вообще к истории создания «Чапаева» как кинопроизведения.

Первым, кто, как потом оказалось, пытался экранизировать Чапаева, был сам Д. А. Фурманов. В начале 1924 года он переделал свою знаменитую повесть для кинематографа. Но никогда и никому не показывал этой работы. Сценарий был обнаружен в архиве писателя только в 1939 году, то есть тогда, когда наш фильм уже пять лет не сходил с экрана. Очевидно, сам писатель, незнакомый со спецификой кинематографа, не был уверен в удаче своей работы. Это была только экранная иллюстрация повести.

В конце двадцатых годов появились и некоторые инсценировки повести. Одна из них, принадлежавшая перу драматурга С. М. Лунина, шла на сцене театра МГСПС.

После смерти писателя жена его, А. Н. Фурманова, решила экранизировать «Чапаева», и в 1932 году появился ее сценарий на эту тему. Уделив очень много внимания массовым и багальным сценам, А. Н. Фурманова пыталась создать народную эпопею. К сожалению, характеры отдельных персонажей ей не удалось. Сам Фурманов становился олицетворением ходячей морали, произносившим газетные передовицы, а Чапаев непрерывно демонстрировал свое беспрекословное подчинение комиссару.

Этот сценарий и был предложен для постановки молодым кинорежиссерам — однофамильцам Георгию Николаевичу и Сергею Дмитриевичу Васильевым, поставившим до того времени без особого успеха немой фильм «Спящая красавица» и снимавшим новый фильм «Личное дело». Васильевы работали в кино и раньше как редакторы-монтажеры. Фамилия «братья Васильевы» уже несколько лет появлялась в заключительных титрах очень многих зарубежных кинокартин: «Розита», «Знак Зоро», «Доктор Мабузо» и т. д. Перед тем как попасть на советский экран, зарубежные фильмы проходили некоторую правку Георгия и Сергея, для краткости избравших себе псевдоним — «братья Васильевы».

С одним из них — Георгием Николаевичем — судьба столкнула меня еще в 1920 году. Мы оба оказались учениками драматической студии «Молодые мастера», которой руководил Илларион Николаевич Певцов. Он был нашим любимым учителем, одним из самых больших актеров и одним из самых интересных и образованных людей, с которыми столкнула меня жизнь. Последняя наша общая встреча произошла через тринадцать лет. В «Чапаеве» Певцов играл полковника Бороздина. Это была его последняя роль.

В студийное время Г. Н. Васильев был еще и курсантом военно-интендантских командных курсов, и до этого он служил в Красной Армии. Это был очень корректный, красивый, всегда спокойный, тихий, доброжелательный человек. В 1921 году он ушел из студии, занимался журналистикой. Я потерял его из виду на несколько лет и встретил в 1932 году в «Ленфильме», удивившись, что один из «братьев Васильевых» оказался моим старым товарищем.

Биография Сергея Дмитриевича тоже не шаблонна. Сын офицера царской армии, участника обороны Шипки в 1877 году, он во время первой мировой войны был приметной фигурой бойскаутского движения в Петрограде. Но это увлечение Сергея скоро окончилось. В Великой Октябрьской социалистической революции он принял непосредственное участие. В 1918 году он командовал ротой самокатчиков, обеспечивающей службу связи Смольного, и выполнил несколько личных поручений В. И. Ленина.

В противоположность тихому, молчаливому Георгию Сергей Васильев был активным общественником, оратором — эти качества, вероятно приобретенные в первые годы революции, он пронес через всю свою жизнь. Но, чтобы охарактеризовать его личную скромность, нужно сказать, что о своей революционной деятельности, о службе в Смольном и о встречах с Лениным он не рассказывал никогда. Я узнал об этом не от него, а лишь много лет спустя.

Не знаю, как судьба соединила такие разные — если не противоположные — характеры, как характеры братьев Васильевых, но несомненно, что в режиссерской работе они дополняли друг друга. Георгий почти никогда не вмешивался

в работу на съемочной площадке, где Сергей распоряжался и действовал единолично. Если бы мы не знали, что большая часть литературной работы и основная часть монтажа делается Георгием, то можно было бы заподозрить его в пассивности или даже в лени. Не знаю, в чьей именно голове рождались самые ценные замыслы, но убежден, что именно соединению столь противоположных характеров и индивидуальностей, столкновению их художественных вкусов, склонностей, убеждений и полному контакту и согласованности их талантов советское кино обязано фильмом «Чапаев».

Начав подготовку к «Чапаеву», получив в руки неопубликованные дневники и записные книжки Фурманова, с головой окунувшись в громадный интереснейший материал и изучив его добросовестно и досконально, Васильевы прощупали фильтр своих художественных убеждений и вкусов все рассказанное соратниками Чапаева и создали новый сценарий, который стал сам замечательным литературным произведением, совершенно не похожим на повесть Д. А. Фурманова, независимым от нее и в то же время из нее вытекающим и ею рожденным.

Я помню первую читку сценария зимой 1933 года на квартире И. Н. Певцова. Нас было четверо: Певцов, Васильевы и я. Сценарий назывался «Чапай». По размерам он был гораздо больше того, что вошло потом в картину. Но то, что в картину не вошло, не было плохим. Впоследствии были выброшены сцены замечательные, сцены громадной силы и страшного напряжения, наиболее жестокие и трагические. Первый вариант сценария «Чапай» был написан как трагедия, по всем законам этого жанра. Впоследствии, в процессе съемок и монтажа, трагическая линия сценария оказалась несколько приглушенной, на первый план вышли светлые, жанровые, комедийные сцены. Но и после всех этих сокращений, переделок, неожиданных изменений сценария в порядке импровизированных находок на съемочной площадке жанр вещи не изменился. «Чапаев» — это первая советская кинотрагедия.

О фильме написано очень много. Много умных, ценных и искренних исследований, рецензий, книг. Но ни в одной самой доброжелательной и даже восторженной статье нет вот этого единственно правильного определения жанра картины. Чапаев — трагедия, и образ самого Чапаева, в создание которого братья Васильевы, как авторы сценария и постановщики, и я, как исполнитель, вложили все свои силы, все способности и всю свою гражданскую страсть, — образ трагический. Чапаев — бывший пастух, бывший балаковский плотник, бывший солдат, а потом фельдфебель царской армии, бывший герой первой мировой войны (он был георгиевским кавалером «полного банта»), — волною революционных событий был вынесен на громадную высоту. В 1917 году началась и продолжалась около двух лет (всего около двух лет!) его новая деятельность, уже не имевшая ничего общего с его прошлым. Он стал вождем народных масс, политиком, полководцем.

Как бы из глубины русской истории он вобрал в себя черты стихийного революционера, бунтаря, народного вожака. Волга, Белая, Чусовая, Урал, киргизские степи — вот география походов Чапаевской дивизии.

Но ведь по этим же местам прошла мятежная вольница Степана Разина, эти же степи были полем битвы народной армии Емельяна Пугачева. И не случайно полки Чапаева носили имена Стеньки Разина и Пугачева. При всей своей недостаточной образованности, Чапаев хорошо представлял, что, разгоняя кулацкие банды в Самарских степях, громя уральские казахи сотни, отборные части Капцеля и адмирала Колчака, он становился прямым наследником Разина и Пугачева. Он как бы принимал прорвавшуюся через века, через дебри современной обыденности эстафету народного героя, вождя взбунтовавшегося крестьянства.

Чапаев — характер, сложившийся исторически, характер, вынырнувший буквально из глубины веков, и его гибель становилась неизбежной не потому, что лихость у него граничила с неосторожностью, не потому, что сопротивление белых армий становилось все ожесточеннее, не потому, что в превратностях войны смерть подстерегает на каждом шагу, а потому, что начиналась новая эпоха и Чапаев, как исторический тип, как представитель определенного вида, породы, об-

шественной формации, представляющей собою стихийную революционную силу народа, — должен был исчезнуть, уступив место новому типу, новой общественной и политической формации, знаменующей силу организованную, воспитанную и сплоченную партией.

Я говорю о Чапаеве не как о личности. Как личность Чапаев мог бы остаться в живых, мог бы со славой закончить войну, как мог бы в конце концов закончить даже и военную академию... Но как тип, как представитель вида, он все равно перестал бы существовать.

Несмотря на весь оптимизм, на весь юмор, всю жизненную и бытовую достоверность изображаемых событий, после первой же читки сценария для нас была уже совершенно очевидна и несомненна основная его черта и особенность. Она заключалась в трагическом жребии его героя.

Может быть, тогда, в 1933 году, ни авторы, ни мы, первые слушатели, первая публика будущего фильма, не смогли бы еще так четко сформулировать эту идею, эту особенность сценария, но мы чувствовали ее всем своим художественным чутьем, всем своим гражданским инстинктом.

Впечатление и на И. Н. Певцова и на меня сценарий произвел громадное, потрясающее. Певцов был взволнован до глубины души.

Я помню его смятенное лицо, взволнованные, влажные глаза. Когда Георгий Васильев закрыл последнюю страницу сценария, наступило долгое молчание. Потом Певцов тихо пробормотал:

— Ну что ж... Может быть, в нашем искусстве начинается новый этап...

Мы шли от Певцова по снежному ночному Ленинграду. Мы останавливались на пустынных перекрестках, и, захваченный образом Чапаева, я рассказывал Васильевым, как я его себе представляю: как кричит он слова команды своим пронзительно высоким голосом, как носит он свою папаху, какой он ловкий, легкий, изящный. Кстати, то, что я не встречал живого Чапаева, мне кажется чистой случайностью. Я вырос в тех же местах, где потом гремела слава Чапаева, моя комсомольская юность привела меня на некоторое время в политотдел 4-й армии Восточного фронта, куда входила 25-я Чапаевская дивизия. И если я не знал Чапаева, то скольких таких же или очень похожих на него командиров я знал! Я пел те же песни, которые пел Чапаев, я знал тот простой и колоритный язык, на котором тогда говорили, я умел сам носить папаху так, чтоб она неизвестно на чем держалась. Одним словом, мне не нужна была творческая командировка перед тем, как начать работать над ролью. И вопрос о том, что я — намеченный вначале на роль Петьки — буду играть Чапаева, был решен в первые же дни. Мне случалось читать совершенно фантастические версии по поводу того, каким образом досталась мне роль Чапаева. Совсем недавно критик Р. Юренев в своей, в общем-то, очень хорошей статье «Фильм века» («Известия», 7 августа 1962 года) с полной убежденностью рассказал, что роль эта была мне предложена лишь потому, что сначала Хмелева, а потом Ванина не отпустили на съемку из театра. Это неверно. Я действительно подал Васильевым мысль подумать о Хмелеве, но их эта мысль почему-то не заинтересовала, а о Ванине вообще никакого разговора никогда не было.

В серьезной статье Р. Юренева все это не больше, чем небрежность. Встречаются примеры и более вольного обращения киноисториков со своим материалом. Н. Зоркая написала книжку «Советский историко-революционный фильм». Книжка издана Издательством Академии наук СССР. На страницах 130—131 этой книги читаю: «...Характерно, что к десятилетию Октября, когда в Москве готовится грандиозная эйзенштейновская эпопея, на Ленинградской кинофабрике снимают скромный фильм «Два броневика»... В забытых и малоизвестных «Двух броневиках»... были ростки более поздних историко-революционных сюжетов... а образ одного из героев — большевика Карпова, которого играл Б. Бабочкин, уже отличался простотой и человечностью, что покоряет в его Чапаеве».

Мне очень лестно прочитать такой отзыв, но беда в том, что я не только не



играл в фильме «Два броневика», но даже никогда его и не видел, так же как, видимо, и сама Н. Зоркая.

Возвращаясь к теме о том, как мне досталась роль Чапаева, должен сказать, что на эту роль я был утвержден, как только сценарий был запущен в производство, без всяких проб и без предварительных репетиций. И несмотря на то, что в первых снятых сценах я не был похож не только на Чапаева, но, по-моему, вообще ни на что не был похож, это режиссеров совершенно не смутило. Еще тогда, тридцать лет назад, на заре советского кинематографа, они понимали, что у актера — будь он хоть семи пядей во лбу — образ не может родиться сразу, немедленно, по календарному плану. Образ рождается в результате весьма продолжительного, часто мучительного творческого процесса. Недаром Станиславский сравнивал процесс рождения и создания художественного образа с процессом вынашивания и рождения ребенка. Вот почему существующая только у нас практика состязания нескольких актеров в пробе на одну роль, несмотря на кажущуюся целесообразность, на самом деле является бесплодной. На фильмы последних десятилетий эта практика отложила определенный отпечаток. Общий для многих фильмов недостаток заключается в том, что все они как бы разыграны небольшой труппой, где амплу актеров строго разграничены и все их сценарии написаны в расчете именно на эти заранее известные амплу. Тут уж не жди никаких неожиданностей: этот — социальный герой, тот — проstack с лением, эта — многозначительная героиня, та — наивная щebetунья. И все стараются быть «обаятельными» — ведь утверждают их на роли именно по этому «главному» признаку.

Обаяние, о котором актер заботится и которое задано режиссером заранее, непременно оборачивается большей или меньшей долей пошлости и исключает настоящее искусство.

Я не встречал за свою жизнь ни одного большого актера, который на первых же репетициях уже показывал бы образ, уже играл бы в полную силу. Так делают только посредственные актеры. У посредственного актера образ готов еще до начала репетиций — он берет его из своего запаса штампов. И именно это и поощряется в кино при так называемых пробах. Серьезный актер всегда даст обойти себя на старте, его будет заботить только конечный результат, только финиш. Почему же эта практика, столь обедняющая наше киноискусство, укоренилась так прочно? Думаю, что одной из причин является система утверждения исполнителей не только по выбору режиссера, но и с одобрения студийных и главковских инстанций. Необходимость получить это одобрение понуждает режиссера искать готовые решения на предварительном этапе работы. А такие решения всегда оказываются поверхностнее, мельче, чем те, что приходят в совместных поисках, в творческом труде.

Во времена «Чапаева» этой системы еще не было и актеры и режиссеры могли работать гораздо спокойнее, обдуманнее и увереннее. Конечно, в выборе актеров на роль может ошибиться и режиссер даже опытный. Так, Васильевы ошиблись в выборе актера на роль Петьки, и идеальный Петька — Л. Кмит — сменил актера, не оправдавшего надежду, уже после того, как прошло целое лето натурных съемок, и кое-что из снятого пришлось переснимать летом 1934 года.

Через некоторое время после подготовительного периода, после первых и, конечно, неудачных съемок наступил тот желанный момент, когда Чапаев стал моим вторым «я». То, что подразумевается под понятием перевоплощение в образ, уже не составляло для меня никакого труда. Через период сомнений, технических трудностей я перешагнул. Я уже узнал своего Чапаева досконально и мог становиться Чапаевым, таким, как его представлял, в любой момент. Я уже мог поставить его в любые жизненные обстоятельства, даже и не предусмотренные сценарием. Может быть, я узнал его лучше, чем сами авторы сценария и постановщики фильма.

В своем толковании Чапаева я меньше всего чувствовал себя обязанным становиться похожим на настоящего Чапаева, меньше всего старался имитировать

его внешность, походку, манеры, о которых мог судить по рассказам его близких и по немногочисленному сохранившемуся иконографическому материалу.

Вот что писал о Чапаеве Д. Фурманов: «Чапаев живет и будет долго-долго жить в народной молве, ибо он — коренной сын этой среды и к тому же удивительно сочетающий в себе то, что было разбросано по другим характерам его соратников, по другим индивидуальностям». Это давало нам право пытаться создать образ обобщенный, в каких-то чертах он мог и отличаться от Чапаева, каким тот был в действительности.

Многие актеры в силу сложившихся в последующие годы обстоятельств пошли по пути самой подробной и скрупулезной имитации некоторых исторических личностей, подражали некоторым реально существовавшим персонажам и иногда достигали в этой имитации поразительных результатов. Но все это никакого отношения к искусству актера не имеет. Удачное подражание кому-либо хорошо на эстраде, в пародии, а в серьезном искусстве это лишнее.

Образ Чапаева существовал во мне уже совершенно независимо от моего желания или нежелания. Он появился на свет и зажил своей самовольной, самостоятельной жизнью и уже не подчинялся ни режиссерам, ни консультантам, ни даже мне самому. От этого возникали на съемках разногласия в трактовке сцен, иногда — мучительные. Режиссеры, например, в сцене ссоры Чапаева с Фурмановым настаивали и требовали, чтобы голос Чапаева «гремел», как предусмотрено в сценарии, когда он кричит комиссару: «Я — Чапаев! Ты понимаешь, что я — Чапаев?», а мой герой вдруг обессиленно садился на табурет и с трогательной наивностью объяснял и спрашивал:

— Я — Чапаев. Ты понимаешь, что я — Чапаев?

Сцена с картошкой — «где должен быть командир?», пожалуй, самая знаменитая сцена фильма, сцена, которую я до сих пор очень люблю и которую сыграть лучше я все равно бы не мог, — помню — вдруг к концу съемок разонравилась Васильевым, они ее забраковали категорически и собирались переснять. Я употребил всю свою хитрость, чтоб на эту пересъемку у них так и не хватило времени.

Неизбежные при съемке каждого фильма трудности в «Чапаеве» для меня возросли во много раз. Очевидно, в готовности своей роли я забежал вперед. Я был наполнен Чапаевым до краев. Его стремительный ритм, его легкий, кипучий темперамент переполняли и меня. Я чувствовал себя пружиной, сжатой до предела и пытающейся распрямиться немедленно. Но это мое стремление упиралось в убийственно медленный темп каждой съемки, в технические неполадки, в организационные трудности, в обычную рутину повседневной работы на съемочной площадке. Этот разрыв между стремлением и возможностью его осуществить создавал дополнительные трудности и утомлял меня до изнеможения.

О съемочном периоде Чапаева я вспоминаю прежде всего как о периоде страшной физической и нервной усталости, но, очевидно, ничто значительное не создается без больших трудностей. Они неизбежны. Вообще же работа всего коллектива вспоминается как самая дружная, самая сплоченная и артельная в лучшем смысле этого прекрасного русского слова.

Чудесные воспоминания остались у меня от всех участников картины, от всех, помогавших ее снять.

Два лета жили мы на Волге в лагерях 48-й дивизии, среди солдат и командиров, среди крестьян приволжских деревень, в самой гуще народной жизни, в условиях, так похожих на те, которые нам предстояло изобразить, и мы полностью использовали этот материал, такой важный для наблюдений, размышлений, творчества.. С тех пор место, где проходили съемки, где стоял штаб 48-й дивизии, стало называться Чапаевкой, и название это сохранилось до сих пор.

Мы жили и работали там предоставленные самим себе. Это было время, когда кинематографисты готовились к своему первому юбилею — пятидесятилетию советской кинематографии. На исходные рубежи вышла тяжелая артиллерия:

в Ленинграде Козинцев и Трауберг снимали «Юность Максима», Эрмлер «Крестьян», Петров «Грозу», Зархи и Хейфиц «Горячие денечки»; в Москве — Александров «Веселых ребят», Райзман «Последнюю ночь» и т. д. Готовился большой парад.

Что могла значить в таком окружении картина малоизвестных молодых режиссеров на тему о гражданской войне, считавшуюся к тому времени изжитой и исчерпанной? На картину заранее махнули рукой. Но зато она избежала мелкой опеки — в этом было ее счастье. За все время съемок, насколько я помню, никем, за исключением Адриана Пиотровского — главного редактора студии, а фактически ее художественного руководителя и нашего верного друга, картина не просматривалась. Материал никуда не возили, никому не объясняли, не комментировали и не доказывали. Васильевы могли осуществлять свои замыслы без оглядки на то, что материал еще в черновиках, еще до монтажа должен производить благоприятное впечатление, должен убеждать. А предварительное впечатление — дело неверное. Отснятый материал для знаменитой сцены психической атаки, до того как был смонтирован, на меня, например, производил самое удручающее впечатление. Трудно было представить себе, что из этих медленных по темпу, недостаточно динамичных и, казалось, таких невыразительных по изображению кадров в результате монтажа получится одна из самых сильных, самых напряженных, самых стремительных и захватывающих сцен во всем мировом кинематографе с его рождения по сегодняшний день.

Васильевы считали себя учениками Эйзенштейна. Мне кажется, что самые сильные стороны их режиссуры во многом отличаются от школы Эйзенштейна — в основных чертах изобразительно-монтажной. Но несомненно, что искусством монтажа Васильевы владели в той же совершенной степени, как их учитель. В тот момент, когда средства монтажного кинематографа становились главным в решении художественной задачи, Васильевы применяли именно этот метод, доводили его до совершенства и добивались удивительных результатов. Но главный упор режиссеры делали на актеров, на правду и яркость исполнения, на точное воспроизведение атмосферы того времени, на искоренение мелкого бытового правдоподобия, натурализма, которым так грешит наш кинематограф и до сих пор.

Но вернее всего, что в «Чапаеве» применены все художественные средства, все приемы, весь опыт, которым располагал к тому времени советский кинематограф, включая и немой его период. Как режиссеры, Васильевы владели всем арсеналом кинематографических средств, но применяли их с таким умением и расчетом, что их методы и приемы всегда были спрятаны, не бросались в глаза, не становились самоцелью. В этом, кстати говоря, заключается еще одно различие «Чапаева» от целого ряда более поздних картин, многие из которых поднимались на щит как более «современные». В этих более «современных» фильмах зритель видел раньше режиссерский прием, а потом уже сам фильм. В «Чапаеве» виден фильм во всей своей внутренней сущности, а приема так и не видно. И не разглядевшие этого приема кинокритики тогда решили, что приема, стиля, формально-художественного направления в «Чапаеве» просто нет.

Но именно стилевое новаторство подметил, на мой взгляд, очень верно Сергей Эйзенштейн, когда он говорил в 1934 году о путях развития кино:

«...нужно быть ослепленным или близоруким, чтобы не предсказывать и не предвидеть, что последующий этап должен стать этапом синтеза, вобравшим в себя все лучшее, что вносили или прокламировали предыдущие стадии. Вчера мы могли это предугадывать и предвидеть... Сегодня об этом за нас может сказать это же самое с экрана прекрасный фильм «Чапаев».

На чем базируется замечательное достижение «Чапаева»?

На том, что, не утратив ни одного из достижений и вкладов в кинокультуру первого этапа, он органически вобрал без всякой сдачи позиций и компромиссов все то, что программно выставлял этап второй.

Взяв весь опыт поэтического стиля и патетического строя, характерного для первого этапа, и всю глубину тематики, раскрываемой через живой образ человека, стоявшие в центре внимания второго пятилетия<sup>1</sup>, Васильевы сумели дать незабываемые образы людей и незабываемую картину эпохи...

Появление «Чапаева», я думаю, кладет конец распре этапам. Хронологически «Чапаев» открывает четвертое пятилетие нашего кино. Принципиально — тоже...

...мы не хотели провозглашать великими победами то, что, по нашему мнению, не до конца этого заслуживало. Мы отмалчивались на многие картины.

Но это был не пессимизм.

Это был критерий высокой требовательности к своей кинематографии.

Зато сейчас... мы с полным и обоснованным чувством громадной радости можем воскликнуть при этом новом бескомпромиссном доказательстве нашей киномогущества:

— Наконец!»<sup>2</sup>.

С. М. Эйзенштейн, как видно из вышесказанного, находил в «Чапаеве» как раз те самые новые стилевые и формальные признаки, которые некоторые современные кинокритики начинают разглядывать лишь в лучших произведениях, созданных в самое последнее время.

«Чапаев» — фильм лаконичный, каждая сцена доведена в нем до наибольшей выразительности, каждая реплика — до афористичности. Но при этом своем громадном накале «Чапаев» никогда не переходит границ естественности. Его страстный пафос заключен внутри фильма. Чапаев — фильм былинный, но это не значит, что авторы прибегают к архаическому языку, к гиперболам, к внешней поэтичности. Главное достоинство Чапаева в том, что чувство меры нигде не изменило авторам.

До сего времени, несмотря на самые неблагоприятные условия, «Чапаев» остался действующим, живым фильмом, а не музейным экспонатом. Я не могу представить себе Чапаева ни широкоэкранным, ни широкоформатным, ни даже цветным. А мысль поставить «Чапаева» еще раз в цвете, бросив на новый вариант картины громадные материальные и технические средства, возникла в свое время в Министерстве кинематографии, и очень хорошо, что нашлись трезвые люди, которые поняли, что «еще раз — не выходит».

Но вернемся к съемкам фильма и к его премьере 5 ноября 1934 года.

Несмотря на большие трудности, когда дело уже было налажено, целый ряд сцен был снят в одну смену, сразу, без остановок и поправок. Часто нам помогали драгоценные находки. Так, случайно была найдена сцена с картошкой. Мы сидели в избе в селе Марьино Городище. Изба превратилась в штаб времен гражданской войны. На столе — гранаты, пулеметные ленты, у стен составлены винтовки. Хозяйка принесла угощение — чугунок вареной картошки. Картошка рассыпалась по столу и одна — уродливая, с наростом — выкатилась вперед. Это совпало с репликой: «Идет отряд походным порядком. Впереди командир на лихом коне». Мы как раз обсуждали эту сцену. Хозяйка поставила на стол соленые огурцы. Это совпало со словами: «Показался противник»... Все расхохотались и запомнили эти совпадения и потом, в Ленинграде, быстро и весело сняли эту сцену, изменив первоначальную наметку сценария, по которой Чапаев должен был рисовать всю сцену палочкой на земле.

Так же случайно, импровизационно была сразу найдена и сразу снята сцена отъезда Фурманова.

В «Чапаеве» нет никаких кинематографических трюков, никаких комбинированных съемок. Все сделано всерьез и сыграно всерьез. А это и привело к тому ошеломляющему впечатлению, которое испытала публика кинотеатра «Титан» 5 ноября 1934 года. Слава «Чапаева» родилась немедленно и росла, как снежный ком.

<sup>1</sup> Эйзенштейн имел в виду первые пятилетия советской кинематографии.

<sup>2</sup> «Литературная газета», 18 ноября 1934 года.

Через несколько дней по вызову ГУКФ мы приехали в Москву. В десять часов утра ехали по московским улицам. Я спросил шофера: что за громадные очереди стоят по улицам? Ответ:

— Это идет новая картина «Чапаев». Не видели? Вот посмотрите... Если достанете билет.

Наша скромная премьера разрасталась в большое торжество. Большой зал консерватории переполнен был так, как не бывал переполнен никогда, — там встретились москвичи со съемочным коллективом «Чапаева». Поздно вечером мы с трудом проталкиваемся через громадную толпу, которая берет приступом Дом печати, там тоже назначена встреча с нами. В зале: Алексей Толстой, Жан-Ришар Блок, Матэ Зална, Артемий Халатов, Михаил Кольцов, знакомые и незнакомые лица... Колонный зал Дома Союзов украшен колоссальными фотографиями участников «Чапаева». Здесь нашу группу встречают профсоюзы Москвы. В газетах появляются восторженные отзывы писателей, ученых, военных и политических деятелей: Тухачевского, Эйдемана, Гамарника, Рудзутака, Эйхе... В Смольном Сергей Миронович Киров сам показывает «Чапаева» делегациям, приезжающим в Ленинград по своим хозяйственным или партийным делам. А успех «Чапаева» все растет и растет, и уже по улицам Москвы после работы идут колонны трудящихся с фотографиями «чапаевцев», с транспарантами, плакатами, на которых написано: «Мы идем смотреть «Чапаева».

А в одном маленьком районном городке Ленинградской области, на центральной площади, где сосредоточены главные учреждения района — райисполком, милиция, пожарная команда и Дом культуры, — необычная картина: на рассвете горят костры, на таганках кипят чайники, идет пар от зандревелых лошадей, толчея, возбуждение... Что это? Слет? Ярмарка? Нет. Это крестьяне окрестных сел съехались смотреть Чапаева, они ждут своей очереди, и картина идет в Доме культуры круглые сутки.

Утром 21 ноября 1934 года, раскрыв «Правду», я увидел передовую, которая названа: «Чапаева» посмотрит вся страна».

Всенародное признание «Чапаева» разрослось в могучую лавину, которая всепобеждающе неслась по необъятным просторам страны.

Пятнадцатилетие советской кинематографии прошло как торжественный, грандиозный праздник молодой советской культуры — и прошло оно под знаком «Чапаева». На торжественном вечере — он состоялся в Большом театре — было много восторгов, аплодисментов, оваций. Но при появлении на сцене героя фильма «Чапаев» зрительный зал встал. А нужно заметить, что в то время привычки вставать и приветствовать кого бы то ни было стоя вообще не было. Все это вошло в практику по иным поводам, несколькими годами позже, и уже не в связи с тем или иным произведением искусства. Я не так тщеславен, чтоб вспоминать об этой стороне фильма «Чапаев» для своего удовольствия. Мне нужно это вспомнить и рассказать потому, что из всех принимавших самое деятельное участие в создании фильма к его тридцатилетию я остался почти один. И скоро некому будет рассказать о том, каким событием явился «Чапаев», какое он имел значение, какой получил отклик в сердцах народа.

В 1935 году я написал статью для сборника «Лицо советского киноактера». Редакторов заинтересовала моя работа над ролью Чапаева, и, кончая эту статью, я написал: «...искусство кино поднимется на такую высоту, с которой «Чапаев» будет казаться только пробой пера, только первым опытом работы по методу социалистического реализма».

В общем, я был прав, но нужно было пройти двум десяткам лет, чтобы я увидел, что в чем-то и ошибся. Линия «Чапаева» не имела продолжения. Картина не создала направления не потому, что в ней не было направления, а потому, что любое внешнее подражание «Чапаеву» было обречено на провал. «Чапаеву» нужно было следовать. Это значит: создать такой же силы современный сценарий, так же идеально распределить в нем роли между актерами, чувствующими мате-

риал, зажечь идейно-художественным содержанием этого сценария весь творческий коллектив и пайги для этого нового фильма единственно возможную, годную только на этот единственный случай художественную форму.

Мне казалось, что «Чапаев» начинал собою новый этап развития советского кино, но, очевидно, вернее думать, что одновременно «Чапаев» закончил собою этап, вобрав в себя все лучшее, что было в советском кино до этого, включая и немой кинематограф.

Линию «Чапаева» продолжали все те лучшие советские картины, которые были сделаны вдохновенно, бескомпромиссно и поднимались до высокого художественного уровня, пусть они не были похожи на «Чапаева» ни по тематике, ни по стилю, ни по форме, и, наоборот, многие картины, поставленные на темы биографий героев гражданской войны, других деятелей, например, фильмы о Котовском, Пархоменко и т. д., могли напомнить о «Чапаеве» только своей фабулой.

А следовать Чапаеву — это значит категорически, заранее, раз и навсегда отказаться от конъюнктурных соображений и расчетов, как бы выгодны они ни были, какие бы немедленные блага, какое бы немедленное признание ни сулили. В этом смысле «Чапаев» — картина, наполненная одной идеей — идеей Революции. И это, а не что-нибудь другое, составляло и составляет предмет гордости для всех участников фильма.

Ведь рядом с «Чапаевым» к пятнадцатилетию кинематографии был сделан фильм, в котором было показано, как после сбора первого колхозного урожая в селе наступал период такого изобилия благ земных, что даже сомневающиеся и колеблющиеся середняки были подавлены этим изобилием так же, как изобилием пельменей на банкетном столе. Гости ими давились и украдкой сбрасывали под стол. Именно в этом фильме впервые появился на экране Сталин. До этого случая веками установился неписанный закон и прекрасная этическая традиция: не изображать на сцене (а значит, и в кинематографе) живых персонажей под их собственным именем. Право появиться на сцене или вообще в художественном произведении историческая личность приобретала только после своей смерти. Этот неписанный закон касался литературы, драматургии, монументальной скульптуры и даже поэзии. Исключения были только для портрета. Конечно, вступая на эту опасную стезю, кино уже не было в одиночестве. За одним эпизодом последовали другие, потом появились целые картины о Сталине. Положить конец всему этому смог уже только XX съезд партии.

Скажу тут кстати, что таких прямых и безудержных выражений восторга, такой откровенной, громогласной лести, которые прозвучали на торжественном заседании в честь пятнадцатилетия советской кинематографии в Большом театре 11 января 1935 года, до тех пор я не слышал. В конце заседания, отвечая на указы о награждении работников кино, один из крупнейших наших режиссеров, обращаясь в правительственную ложу, прямо к Сталину, прокричал: «Да здравствует величайший человек нашей планеты, наш отец и гениальный вождь!» Я испугался. «Что же ему теперь будет, после такой ужасающей бестактности?!» — промелькнуло у меня в голове. В ответ на мой вопрошающий, растерянный и, вероятно, испуганный взгляд мой сосед сделал каменное лицо...

А «Чапаев» как бы набирал все новую и новую силу и высоту. Не помню точно, когда именно, через сколько времени после премьеры, картина начала наконец уступать свое место в кинотеатрах для демонстрации других картин, потому что довольно долго почти на всех экранах шел только «Чапаев». Но и после недолгих перерывов «Чапаев» шел снова и снова, и казалось, что этому не будет конца. Потом «Чапаев» прорвался через границы Советского Союза и начал свой победный марш за рубежом. Надо напомнить, что в те времена у нас еще не было таких связей с зарубежными странами, какие существуют теперь, и проникнуть за рубеж нашей картине тогда было гораздо труднее, чем теперь. Естественно, что «Чапаев» с его ясным, совершенно недвусмысленным революционным содержанием не был там желанным гостем и во многие страны так и не попал. Его не

знают в Скандинавии, в Голландии, во всех странах Британского содружества, в Латинской Америке. Но еще в 1935 году стали приходить сведения, как проходил он на Балканах, потом во Франции и Италии, в Турции и Китае и наконец в Соединенных Штатах.

В корреспонденции из Нью-Йорка «Правда» 2 марта 1935 года писала: «Наконец на Бродвее был показан «Чапаев». И тогда восторженные голоса прессы и зрителей прозвучали на всю страну. Можно с уверенностью сказать, что такого огромного успеха, таких шумных восторгов публики, такого смеха, таких сдерживаемых рыданий, такого грома аплодисментов и абсолютного (подчеркнуто газетой.— Б. Б.) единодушия прессы не знал не только ни один советский фильм, но почти ни один иностранный фильм вообще... «Чапаев» идет на Бродвее уже шестую неделю, возможно, что он будет идти 8—9 недель. Шесть недель — ежедневно очереди у театра, шесть недель — бурные восторги публики, шесть недель вся пресса ежедневно пишет о «Чапаеве», не устая восторгаться этим замечательным произведением искусства, этой колоссальной победой советской кинематографии. Фильм показывается сейчас в больших кинотеатрах Вашингтона, Бостона, Балтимора, Чикаго, Филадельфии и других городов США. Национальное объединение критиков США дало «Чапаеву» высшую оценку — «исключительный фильм»... Известный критик газеты «Нью-Йорк пост» Торнтон Телегант дал фильму высшую оценку — «превосходный». Такая оценка до сих пор еще не была дана ни одному американскому или иностранному фильму... Бонел в «Уорлд-телеграмм» свой восторженный отзыв заканчивает словами: «Откровенно говоря, «Чапаев» настолько блестящий фильм, что его нельзя пропустить и не посмотреть»... Здесь, в Нью-Йорке, наблюдается такая же картина, как и в Москве, — люди ходят смотреть «Чапаева» по многу раз, каждый раз по-новому восторгаясь картиной... «Чапаев» победил!»

Когда в 1951 году я приехал в Болгарию, меня встретили как старого знакомого — «Чапаева» там хорошо знали уже пятнадцать лет. В 1958 году, впервые попав в Ниццу и Марсель, я еще почувствовал там отзвуки того триумфального успеха, который завоевал «Чапаев» еще до второй мировой войны.

Эпопея «Чапаева» нашла свое великолепное продолжение в событиях гражданской войны в Испании в 1937 году. Там фильм стал боевым оружием республиканцев. Мы узнавали об этом из корреспонденций И. Г. Эренбурга и М. Е. Кольцова, которые были для нас дороже самых восторженных рецензий. Можно сказать без всяких преувеличений, что легендарный советский полководец и после своей смерти еще дрался в Испании за победу идеи коммунизма. Батальон имени Чапаева покрыл бессмертной славой свое боевое знамя в неравной борьбе с фашистскими полчищами.

На встрече советской интеллигенции с первой делегацией киноактеров Индии в Доме архитекторов в 1956 году замечательный индийский киноактер Балрадж Сахни рассказал:

«В 1940 году я жил в Лондоне, который ежедневно подвергался жестоким налетам фашистской авиации. Я был уверен, что погибну. Я примирился с этой мыслью. Я не мог примириться только с сознанием того, что погибаю вдали от родины и так бессмысленно.

Однажды днем я забрел в кино. До этого дня я не видел ни одной советской картины и ничего не слышал о советском кино. Когда я вышел из кино, я перестал бояться, перестал думать о смерти, перестал прятаться в бомбоубежище. Эта советская картина была — «Чапаев».

Через три года Сахни дословно повторил этот рассказ в Бомбее, где индийская художественная интеллигенция принимала советскую делегацию и где укрепилась моя дружба с этим замечательным индийским актером.

О том, как любили «Чапаева» у нас дома, рассказывает известный анекдот: мальчишка смотрит «Чапаева» сеанс за сеансом, не выходит из кино. Его наконец спрашивают: почему ты не идешь домой?

- Я жду.
- Чего ты ждешь?
- Может, он выплывет.

Но это только анекдот. А вот что было на самом деле. Директора московских кинотеатров рассказывали мне, что ватага мальчишек приходила в кинотеатр и спрашивала:

- У вас -- «Чапаев»?
- «Чапаев».
- Тонет?
- Тонет.

— Значит, это не здесь. Пошли, ребята. Есть где-то такое кино, где он не тонет...

В трагические дни 1941 года Чапаеву действительно пришлось выплыть.

В первые же дни войны кинематографисты начали выпускать боевые кино-сборники. Одной из первых картин, выпущенных в самом начале войны, был короткометражный агитационный фильм «Чапаев с нами». Плывет раненый Чапаев по Уралу, а на другом берегу ждут его бойцы 41 года: танкист, летчик и пехотинец. От них слышит Чапаев: «Фашистская Германия напала на Советский Союз!» И вскочил Чапай на коня, и полетел впереди красных батальонов, полков и дивизий — на последний бой с фашистами...

В. М. Петров снимал этот маленький фильм, и во время съемки над нашими головами — в Озерках, в окрестностях Ленинграда, — летали немецкие самолеты...

Как ни странно, но у меня очень мало сведений о том, как шел «Чапаев» во фронтовых условиях Великой Отечественной войны. Знаю только, что он шел часто и много и, вероятно, делал свое патриотическое дело. Но один эпизод, рассказанный мне черноморским матросом, произвел на меня большое впечатление.

В осажденном Севастополе, в бомбоубежище, крутили «Чапаева». Когда картина кончилась, вышел перед пустым экраном матросский старшина и сказал:

— Василий Иванович, клянemся тебе стоять на смерть.

И матросы ушли в бой.

События Великой Отечественной войны, массовый героизм советского народа не могли не отодвинуть на второй исторический план героикy и романтику гражданской войны. Поколение, родившееся в сороковые годы, уже просто не знает «Чапаева». Может быть, это так и должно быть. Но не лучше ли было бы, чтобы молодое поколение хорошо знало своих героев, корни нашей действительности, наших свершений, начатыx отцами и дедами.

«Чапаев» в последнее десятилетие все же время от времени, по большим праздникам да во время школьных каникул, появлялся на экранах, но техническая годность фильма колебалась на уровне от десяти до пятнадцати процентов. Прекрасную музыку Попова слушать уже, по совести говоря, вообще было нельзя, реплики стали в большинстве неразборчивыми, изображение стерлось... и, несмотря на все это, фильм живет, волнует, будит в сердцах светлые чувства, оставляет громадное впечатление.

Лет восемь тому назад в Кривом Роге я встретился в обеденный перерыв с рабочими большого металлургического завода. Старый металлист товарищ Николаенко задал мне вопрос:

— Как вы, товарищ Бабочкин, думаете, сколько раз я видел «Чапаева»?

Я знаю, что редкий человек смотрел картину один раз: кто видел раз, тот потом смотрел и второй и третий, а многие смотрели раз по десять. Я так и ответил:

— Вероятно, много? Раз десять — пятнадцать?

А Николаенко сказал:

— Нет. Я видел картину сорок девять раз.

Тогда я пошутил:

— Посмотрите еще раз — для ровного счета.



А товарищ Николаенко ответил без улыбки:

— Нет. Я смотрю эту картину всегда, когда она идет в кино.

И я вспомнил, как тридцать лет назад в Кадневке я вышел из-за кулис на воздух: в летнем театре была страшная духота, театр был переполнен. Но оказалось, что и со стороны сцены стоит в городском парке толпа в несколько сот человек — те, кому не удалось втиснуться в театр. Высоченный шахтер из этой толпы громко, возбужденно сказал:

— Товарищ Бабочкин, почему не пускают в театр меня?

Я только развел руками: что я мог сделать?

— Нет, вы подождите. Я каждый день хожу смотреть «Чапаева» за десять—пятнадцать километров по шахтерским клубам. Сегодня прошел почти двадцать. А мне к шести утра на смену. Как же так?

Люди расступились, пропустили его в театр, а я усадил его за кулисами.

Как всякое классическое произведение, «Чапаев» с годами стал по преимуществу фильмом для детей и юношества. В этом отношении он разделял судьбу «Горя от ума», «Ревизора», «Грозы», «Железного потока». Но все эти великие произведения остались одновременно произведениями для самого широкого круга людей всех возрастов и самого разного интеллектуального уровня — от академика до рабочего, крестьянина, солдата.

В его победоносной силе мне суждено было убедиться еще раз совсем недавно. 18 сентября 1964 года, на второй день «Недели советского фильма» в Алжире, шел «Чапаев». Два дополнительных дневных сеанса была вынуждена устроить администрация «Недели» на следующий же день, и билеты на них были расхвачены немедленно. Мне пришлось несколько раз на нарядных, ярко-праздничных улицах неповторимого по своей красоте Алжира слышать русскую речь:

— Здравствуйте, товарищ Чапаев.

Только два года назад отгремели последние залпы семилетней тяжелой борьбы алжирского народа за свою свободу и независимость, и образ нашего Чапаева напомнил алжирцам имена их собственных героев-партизан. Мне называли имена погибших героев Мурада Дидуша и Лабри-Бен-Мхиди — легендарные имена, и для ветеранов освободительной войны наш Василий Иванович занял место в их строю. Победив ужасные, непростительные технические недостатки старого, нереставрированного экземпляра, показанного в «Неделю советского фильма», Чапаев завоевал сердца алжирцев. После сеанса ко мне подошел пожилой француз:

— Я один из первых ваших зрителей. Я видел «Чапаева» в 1936 году во Франции и сегодня пришел опять. Спасибо!

Мы показывали «Чапаева» во многих городах Алжира, и нигде он не подвел нашу делегацию. Отличный прием!

Свое тридцатилетие «Чапаев» встречает не только во всеоружии своей проверенной десятилетиями славы и силы, но и в новом техническом качестве. Фильм наконец реставрирован. Найдено несколько нетронутых временем экземпляров, с которых можно было сделать новые контратипы, почти не уступающие по техническим качествам первым экземплярам фильма — экземплярам 1934—1935 годов. Таким образом, «Чапаев» начинает новый период своей жизни, и нет у меня сомнений, что этот новый период будет плодотворным и долгим потому, что «Чапаев» — одно из тех произведений советского искусства, которые способны волновать и ответить самым серьезным и глубоким требованиям зрителя «грядущих светлых лет».



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. УТЧЕНКО

★

## ЕГИПЕТ: ПЯТЬДЕСЯТ ВЕКОВ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1

**В**споминать о человеке, событии или о переживании можно когда угодно. Если вспоминать для себя. Но если ты хочешь написать про то, о чем вспоминаешь, — это уже совсем другое дело. В таких случаях необходимо соблюсти какой-то срок, выждать, пока образуется хотя бы некоторый «пафос расстояния». Не следует браться за перо ни слишком рано и ни слишком поздно.

Я был в Египте около года тому назад. Срок вполне достаточный, чтобы вспоминать. Конечно, свежесть впечатлений уже несколько поблекла, кое-что забылось, но то, о чем помнишь, отстоялось; память произвела отбор. Отбор — великое дело. Это первый шаг на пути к тому, что мы называем искусством. Кстати сказать, моими сотоварищами по поездке в Египет было снято три фильма. Два из них оказались не очень удачными, третий — удался. И вот, когда я смотрел этот третий фильм, то поймал себя на странном ощущении — фильм произвел на меня впечатление даже более сильное, чем поездка, наверное, потому, что из нерасчлененного потока впечатлений что-то оказалось удачно отобранным, сконцентрированным, а что-то было отброшено. Потому и самое восприятие стало обостренным. В армии (на занятиях по тактике) меня в свое время учили: не следует наносить удар растопыренными пальцами, надо бить кулаком. Всякое впечатление или переживание есть некий «психологический удар». Но жизнь бьет нас — и это еще наше счастье! — растопыренной пятерней. Искусство же — и в этом его сила — сжимает пятерню в кулак.

Однако едва ли стоит начинать с отступлений. Поэтому перейдем к основному сюжету. Но и теперь речь еще не о Египте, поскольку до Египта была поездка морем на «Феликсе Дзержинском». А маршрут «Феликса Дзержинского» говорит сам за себя: Одесса — Констанца — Варна — Стамбул — Пирей — Александрия — Фамагуста — Латакия — Бейрут. Этот маршрут был мне знаком в пределах первой своей половины, то есть до Пирея включительно. Но на сей раз и в этих пределах многое оказалось для меня новым и неожиданным.

Взять хотя бы Одессу. Кое у кого до сих пор существует о ней представление основанное на чисто литературных реминисценциях. Для таких людей Одесса — это орнаментальная Одесса Вабеля, романтическая — Вагрицкого. И они — эти люди — бывают очень огорчены, когда выясняется, что все не так. Их тянет на одесскую экзотику. Но ее, конечно, давно уже нет. И жалеть, что она исчезла по-моему, то же самое, что жалеть о языке знаменитых московских просвирен, который тоже исчез, хотя в свое время им так восхищался Пушкин. Но зато Одесса сберегла все милые черты южного города: праздничную сутолоку улиц, почти варварское величопение и красочность базаров, обязательное вечернее гулянье по Дерibasовской, копченую скумбрию. Она-то — скумбрия — и есть в

наше время, пожалуй, единственная специфика Одессы, все остальное мало чем отличается ее от других наших южных городов.

Но на сей раз я заметил в Одессе нечто новое. Какую-то особую и, казалось бы, не свойственную этому городу лиричность. Это, наверное, потому, что я впервые попал в Одессу поздней осенью, в конце октября.

Непривычно пустой, как будто даже поредевший Приморский бульвар. Воздух пронзительно чист; свежо, прозрачно, между сучьев сквозит, начинает играть на солнце редкая паутина. Небо белесовато-голубое, словно выцветшее за время летней жары, и такое же море, далеко видимое до горизонта. Я выхожу к Польскому спуску, пройдя мимо домов, где клетки с птицами выставлены в раскрытых окнах, а иногда и прямо на улице. Я стою у каменной ограды Польского спуска и смотрю на море, на круто сбегające вниз путаные улочки, на развешанное по веревкам белье. Может показаться с первого взгляда, что Одесса здесь похожа на Неаполь, но нет, это неверно, не может быть там такой прозрачности, такой печали, такой неотразимой прелести увядания. Там воздух слишком густ, там не бывает этих оттенков, пастельных полутонов, которые так неожиданно роднят Одессу с нашим русским севером.

На Польском спуске есть маленький деревянный, всегда свежеекрашенный дом, в одно или два окна. Я давно завидую тому, кто живет в этом доме, и не раз хотел позвонить у дверей, узнать, кто здесь живет, быть может, спросить о чем-то или просто пожелать всего хорошего, но у меня никогда не хватало на это смелости.

Первая стоянка после Одессы — Констанца. Здесь я бывал неоднократно и потому сходил на берег, признаюсь, без большого интереса. И оказался кругом не прав. Город заметно вырос и изменился за то время, что я его не видел. Появились новые кварталы. Новый вокзал, новые дома легкой, приятной архитектуры, цветные прозрачные перегородки нарядных балконов.

Потом нас повезли в Мамай. Это курорт, и я тоже был здесь года два тому назад. Но и его я не узнал. Оказывается, за эти два года выстроили совершенно новый курорт ультрасовременного вида. Вид необычный. Я даже не уверен, понравился ли мне новый Мамай; во всяком случае это было интересно.

Представьте себе, что на плоском, открытом, лишенном почти всякой растительности морском берегу построено восемнадцать огромных многоэтажных отелей (к примеру, Парк-отель — пятнадцать этажей). Архитектура, конечно, самая современная: бетон и стекло. Здесь же целый городок, состоящий из плоских одноэтажных зданий, тоже сплошь застекленных и похожих на выставочные павильоны. В них помещаются кафе, магазины, ателье. Витрины оформлены великолепно. Интересен летний открытый театр, который представляет собою своеобразный вариант античного театра, решенного средствами и приемами современной архитектуры.

Все вместе взятое, несомненно, производит впечатление. И, как уже сказано, довольно необычное. Ощущение необычности усиливается еще тем, что, поскольку сезон окончился, во всех этих роскошных отелях ни души. Кафе и рестораны закрыты, магазины не торгуют. Что же это такое? Не город, да и не курорт, не поймешь что. Пожалуй, удачнее всего определил впечатление, производимое Мамаем, один из моих сотоварищей по поездке, сказав: «Черт побери, ведь это какой-то космический курорт!» И действительно, можно представить себе, что в том сравнительно недалеком будущем, когда космические рейсы станут проводиться регулярно (кстати, не всем известно, что первоначальное значение слова космос — порядок), то на каких-либо планетах или их спутниках будут построены пересадочные станции с отелями, магазинами и даже кинотеатрами при космодромах. Они-то, вероятно, и будут выглядеть так, как этот курорт — новый Мамай.

О Варне мне почти нечего сказать, так как наш «Феликс Дзержинский» пришел туда поздним вечером. Правда, и здесь нас повезли автобусом на знаменитые болгарские курорты «Дружба» и «Золотые пески». В отличие от Мамаея тут много зелени. Но я помню лишь какие-то бесконечные темные аллеи, внезапно надвигающиеся кучи деревьев, помню, что справа на протяжении всей дороги

дремотно вздыхало море; все это было даже романтично, но, возможно, именно потому, что ничего не было видно.

Назавтра ранним утром мы входим в Босфор. Погода пасмурная, и его знаменитые берега, столько раз описанные и воспеты, выглядят довольно тускло. Вот и то место — его, конечно, всегда указывают по-разному, — где находились не менее знаменитые цепи, которыми некогда запирали Босфор, вот — Золотой Рог и стенка причала у Галатского моста. Скучное здание таможни, которое не веселит даже открытая терраса ресторана на верхнем этаже.

В Стамбуле я в третий раз, но всегда только проездом, на несколько часов. Туристам же здесь показывают обычно одно и то же: Айя-Софию, Голубую мечеть, Ипподром, а в Галате — Истикляль и площадь Таксим со зданием Оперы. (Кстати, почему во всех городах мира здание Оперы, даже если оно ничего собой не представляет, тем не менее считается одной из главных достопримечательностей?) И хотя я теперь знаю, как попасть во все эти достопримечательные места, город все же мне по-настоящему не знаком. Лишь раз мне удалось побродить одному, без всяких гидов, по тем его улицам, где никогда не водят туристов. Я спускался к набережной, к району Галатского моста, с одного из семи холмов, на которых расположен этот город — как и предшественник Византии — Рим. Это были какие-то задворки, кривые непроезжие улочки со ступеньками, базары под открытым небом, жалкие кофейни, толпы оборванных, но веселых нищих. Все это, конечно, гораздо характернее, чем показательные части города, но и эта прогулка не могла мне понять Стамбул.

Стамбул не европейский город — это ясно. Но он не похож и на город восточный. В какой-то мере он и теперь остается для меня загадкой. А его историческая судьба? Какие взлеты и падения, какие упущенные возможности и неоправдавшиеся надежды!

Более ста лет назад Флобер в одном из своих писем (опубликованном сравнительно недавно) писал, что город произвел на него потрясающее впечатление и что он понимает Фурье, который считал, что Константинополь достоин быть столицей мира. История, как известно, не оправдала этот блестящий прогноз. Стамбул не удостоился даже того, чтобы остаться столицей Турции. Ошибки и заблуждения великих людей, очевидно, не могут быть незначительными, они должны соответствовать масштабу их величия. Ну, а почему Стамбул не похож ни на европейский, ни на восточный город, это я понял, но только позднее — в Египте.

Следующая стоянка — Пирей, а значит, и Афины. Однажды я пробыл в Афинах около двух недель — вполне достаточный срок, чтобы получить представление об этом не столь уж большом городе. Потому сейчас, когда в нашем распоряжении было всего несколько часов, я выбрал для себя Национальный музей и Акрополь.

В Национальный музей я, собственно говоря, шел только затем, чтобы посмотреть бронзовый курос (скульптурное изображение юноши) из Пирея. Мне как-то приходилось писать о сравнительно недавней, но ставшей уже всемирно знаменитой находке — пирейских бронзах. Из пяти статуй я видел в прошлый раз лишь три, остальные находились в реставрационных мастерских.

Пирейский бронзовый курос действительно очень хорош. О греческой скульптуре мы судим по тем произведениям, которые дошли до нас и которые обычно изваяны в мраморе. Но сами греки значительно выше ставили свою бронзу. И они были правы. Удивительно, но бронза — мы привыкли ее видеть лишь в тяжеловесных, маловыразительных памятниках на городских площадях — в руках греческих мастеров была мягче, живее, певучее мрамора.

Ну и, конечно, я снова был на Акрополе. Однако, когда там оказываешься уже не в первый раз, когда заранее знаешь, что как и где, то смотришь, быть может, более профессионально, но без священного трепета. Акрополь в первый раз — открытие, в десятый — великолепный, богатый, единственный в своем роде и все-таки только музей.

Поздно вечером выходим из Пирейской гавани. Начинается незнакомая часть пути. Около полутора суток в Средиземном море. Утром идем мимо Крита. Остров тянется по горизонту без конца. Солнце неторопливо описывает свой полукруг, к полудню оно становится поистине беспощадным. Море теряет обычный цвет, оно все начинает блестеть и серебриться мелкими, частыми волнами, вдруг вспыхивающими с такой силой, что слепит глаза. А потом — огромный, потрясающий, неправдоподобный закат.

На следующее утро — Александрия. Наш «Феликс Дзержинский» медленно швартуется, паспортные формальности (на сей раз почему-то довольно длительные) — и вот мы на берегу. Сразу, с первых же шагов, на нас обрушивается шумный, пестрый, галдящий, пахучий Восток. Фески и галабеи, орущие дети в спальнях пижамах, наргиле в кофейнях, припортовый базар, пылающий оттенками всех цветов, ударяющий в ноздри оттенками всех запахов. Да, вот это — Восток!

И стоило мне только ступить на землю Египта, как я сразу же понял, почему Стамбул не похож на восточный город. В нем утерян колорит людской толпы. А это, оказывается, главное, что определяет облик города. Не архитектура, не детали городского пейзажа, а в первую очередь то, как выглядят люди и во что они одеты. В Стамбуле все ходят в европейском платье, вот почему город и выглядит, в общем, по-европейски.

Сейчас мы в Александрии только проездом. Мы следуем дальше по маршруту «Феликса Дзержинского»: Кипр — Латакия — Бейрут, потом вернемся обратно в Александрию, теплоход уйдет домой, а мы тогда уже останемся в Египте. Поэтому сейчас — лишь обычный туристский пробег по Александрии.

Как только наш автобус выезжает за ворота порта, его сразу окружает шумная толпа детей в галабелях, полосатых пижамах; они все поднимают вверх правую руку с растопыренными пальцами и быстро перебирают ими. По наивной самоуверенности, свойственной многим туристам, мы склонны рассматривать эти знаки как незнакомое нам восточное приветствие. Но вскоре выясняется, что это не совсем так: приветственные жесты означают, что дети просят у нас «бакшиш» — пять пиастров (по числу пальцев на руке).

Нас везут вдоль набережной — главной гордости города. Протяженность этой набережной двадцать шесть километров; она вся застроена многоэтажными домами, которые издали, с моря, кажутся ослепительно белыми, но теперь, вблизи, видно, что они вовсе не белые, а желтые или серые. Гид поясняет, что это район лучших отелей, ночных клубов, казино и прочих развлекательных заведений.

Нас привозят в Монтазар, где находится летний дворец последнего египетского короля Фарука. Роскошный парк. Впервые в жизни вижу финиковые пальмы, отягощенные огромными гроздьями созревших плодов. Самый дворец потрясающе безвкусен, чем-то даже напоминает пресловутый морозовский особняк на бывшей Воздвиженке. Огромное количество спален и ванных комнат; последние имеют ту особенность, которая в современном московском быту именуется «совмещенным санузлом». Такое впечатление, что Фарук и все его королевское семейство только тем и занимались, что спали, а потом сидели в ванной. Ну что же, быть может, это и есть наилучший образ жизни в Александрии знойным тропическим летом.

К вечеру следующего дня приходим на Кипр, в Фамагусту. Однако наш «Феликс Дзержинский» изрядно опаздывает, солнце уже село, становится совершенно темно. В темноте небольшой тесный порт нас не может принять, теплоход остается на рейде. Через некоторое время к нашему борту подходит моторный катер; мы спускаемся в него по трапу.

Эта короткая морская прогулка — одно из самых приятных воспоминаний за все наше путешествие. Как только катер отваливает от борта, мы сразу же с головой погружаемся в удивительно мягкую, горячую темноту, в которой неразличимо сливаются море и небо. Густая маслянистая вода. Низкие звезды. И вот уже кажется, что во всем мире ничего больше нет и не может быть, кроме этой

всеобъемлющей темноты, этих низких, мохнатых звезд да еще, пожалуй, частого, необычайно отчетливо слышного в тишине стука нашего мотора.

Из Фамагусты нас везут в Ларнаку — город, в котором, по преданию, родился великий философ древности, основатель стоической школы, Зенон. По дороге нам часто попадаются небольшие селения: яркий свет в домах, раскрытые настежь двери, громкие голоса, смех: все это производит впечатление полного мира и спокойствия. Разве можно было себе представить, что пройдет всего несколько недель и на этом прелестном острове, на который некогда, выйдя из пены морской, ступила Афродита, вдруг вспыхнут вражда, безумие, прольется кровь?

В Ларнаке нам показывают местную достопримечательность: частный музей, принадлежащий господину Зенону Пиеридесу, генеральному консулу. Нас любезно встречает сам владелец музея, видимо, богатый человек и страстный коллекционер. Он собрал в своем музее самые разнообразные памятники истории и культуры Кипра, начиная с неолита и кончая полотнами современных художников-киприотов.

Все это, конечно, самые беглые впечатления, но на Кипр нам еще предстоит вернуться. К сожалению, не менее беглые, поверхностные впечатления у меня остались от Сирии и Ливана. В Латакию мы приходим ранним утром. Сначала нас из порта везут в город. Веселый, молодой, белозубый шофер; автобус увешан игрушками, серпантинном, фотографиями кинозвезд. Город усиленно строится на европейский лад, старые кварталы исчезают. Но улицы немногочисленны, движение небольшое, кое-где у подъездов домов сидят местные жители и неторопливо курят. Здесь тоже повсюду фески и наргиле.

Выезжаем за город. Цветущие кактусы. Крестьяне собирают урожай оливок. Нас привозят в сельскохозяйственный институт, и мы осматриваем его опытные участки. Вот апельсиновые рощи, где каждому из нас разрешают сорвать по апельсину. К своему удивлению, встречаем соотечественников. Это научные сотрудники Ленинградского института сельского хозяйства, работающие здесь в качестве консультантов.

В Бейрут — конечный пункт нашего маршрута — приходим в тот же день, к вечеру. Самое эффектное зрелище из всего виденного до сих пор: по носу нашего корабля бесчисленные огни города, налево — луна, уже высоко стоящая в небе, по правую руку — багрово догорающий закат. Высаживаемся; в город идем пешком, доходим до центральной площади. Здесь разбредаемся, но так как все боится заблудиться ночью в незнакомом городе, то мы, как цирковые лошади, все время ходим по кругу.

Бейрут считается «шикарным» городом; про него так и говорят: «Париж Востока». Центральные улицы чрезвычайно оживлены, толпы народа, магазины торгуют до глубокой ночи, блеск витрин, огни реклам — чем не Париж! Мы случайно попали на так называемый Армянский базар, и тут нас едва не разорвали на части торговцы всяким залежалым товаром. Кто не устоял, поддался их натиску, тот уже потом на теплоходе с горестью или со смехом обнаруживал расползшиеся швы, дырки в носках, рубашках, кофточках и прочей ерунде.

На обратном пути, минуя Латакию, в восьмом часу утра мы снова приходим в Фамагусту. На этот раз порт нас принимает. Нас тянет маленький закопченный буксирчик, пускающий огромные клубы черного дыма. Называется он «Дездемона». Входная башня венецианской крепости на берегу — «Башня Отелло». Все здесь напоминает о знаменитой трагедии Шекспира, все кажется подходящей для нее декорацией.

В городе хорош готический собор святого Николая; он был в свое время превращен в мечеть, и потому на одной из его башен надстроен минарет. Едем вдоль крепостной стены, ее сооружали еще крестоносцы, до сих пор она в великолепной сохранности. Мы направляемся в Саламин, наиболее крупный город древнего Кипра.

По дороге ненадолго останавливаемся в Энкомии, где раскопками французских и кипрских археологов вскрыто большое поселение микенского времени. Это

по всей вероятности, Аласия — город, который еще в глубокой древности вывозил медь и торговал с Египтом.

Что касается Саламина на Кипре, то, по античному преданию, он был основан Тевкром, героем Троянской войны и сыном царя греческого острова Саламин. Город испытал немалые превратности судьбы: при Константине Великом он был разрушен землетрясением, вновь отстроен и под именем Констанции сделан столицей острова.

Раскопки Саламина очень интересны. Хорошо сохранился гимнасий с его мраморными колоннами и статуями (отчего он нередко именуется «мраморным форумом»), бассейн, развалины театра, остатки базилики святого Епифания. Некоторые уголки среди этих развалин чудо как хороши: низко нависающая листва деревьев, густо-синее небо, горячий от солнца мрамор. Пахнет диким укропом и еще чем-то горьковатым, вроде нашей полыни.

На обратном пути нас завозят в монастырь святого Варнавы, основанный чуть ли не в VI веке. Церковь мало интересна, в ней — с иголки новые, аляповатые иконы. Поэтому гораздо интереснее другая достопримечательность: три брата монаха, они же художники, снабжающие церковь и, конечно, всех окрестных крестьян этими лубочными иконами собственного производства. Они совсем не плохо устроились в жизни, эти братья монахи — лукавые, жирные старцы с одинаковыми библейскими бородами. Они не преминули потребовать с нас мзду за осмотр церкви, пытались нам всучить какие-то иконки, крестики, ладанки и очень охотно фотографировались, принимая благочестивые, но живописные позы.

К вечеру уходим из Фамагусты. Ну вот, собственно говоря, на этом и кончается первая часть путешествия. Завтра утром — Александрия, завтра мы распрощаемся с нашим «Феликсом Дзержинским». А жаль — мы уже успели привыкнуть к его палубе, к его каютам и салонам, к его команде, ко всей его ладной, разумно и в лучших морских традициях регламентированной жизни.

Итак, завтра — Египет.

## 2

Нет, я вовсе не собираюсь продолжать в том же духе и последовательно излагать, что мы еще видели в Александрии или как мы из Александрии поехали в Каир, а потом в Луксор и наконец в Асуан. Попытаюсь как-то отобрать и сконцентрировать свои впечатления под таким хотя бы углом зрения: Египет пять тысяч лет назад и теперь.

Ничего себе «угол зрения», скажет кто-либо из моих читателей, — вместить пяти тысячелетнюю историю Египта в беглый рассказ о месячном путешествии! Надо обладать изрядной долей — мягко говоря — храбрости, чтобы ставить перед собой такую задачу.

Но ни на что подобное я и не претендую. Я хочу лишь рассказать о своих впечатлениях как от древнего, так и современного Египта. Но вместе с тем я хорошо знаю, что даже о самых поверхностных путевых впечатлениях нельзя писать по принципу: что видел, то и пишу. А для Египта это тем более исключено. Так, например, я видел, что Нил течет от Асуана к Средиземному морю, но стоило мне хоть немного пробыть в Египте, хоть немного вжиться в его прошлое и настоящее, как я понял, что это не так: Нил течет от пирамид до Асуана.

Итак, сначала о Египте древнем, то есть о тех памятниках его древней культуры, с которыми мне удалось познакомиться. Здесь прежде всего следует назвать Каирский музей.

Описывать его или хотя бы перечислить его наиболее выдающиеся экспонаты — немислимо. Подробный каталог музея, составленный еще под редакцией Масперо в начале нашего столетия, состоит более чем из шестидесяти томов, а с тех пор музей неоднократно пополнялся.

Могу сказать о нем лишь несколько слов в плане самых общих замечаний. Большое впечатление произвело на меня искусство Древнего царства. Такие скульптурные группы, как супружеская пара Рохотеб и Нефрет, карлик Сенеб с

женой и детьми или наконец знаменитый «сельский староста», принадлежат к самым высоким произведениям реалистического искусства. Среднее царство, на мой взгляд, менее интересно или, быть может, слабее представлено в самом музее. Что касается Нового царства, искусство которого представлено очень широко и разносторонне, то здесь картина гораздо сложнее.

Конечно, своеобразнее всего амарнский период. Это вообще было сложное время, одна из наиболее бурных эпох истории древнего Египта, когда на рубеже XV—XIV веков до н. э. фараон Эхнатон предпринял отчаянно смелую попытку одним ударом покончить с многовековыми традициями и в первую очередь с традиционной религией. Однако его реформа была не только религиозной (введение культа единого солнечного божества), но и социально-политической: ею наносился удар по высшим слоям жречества, которые благодаря своим богатствам и влиянию давно претендовали на ведущую роль в управлении государством.

Я не специалист в области древнеегипетского искусства, но знаю, что знатоки всегда выделяют искусство этой эпохи в особый период (по месту раскопок столицы царя-реформатора около современной Эль-Амарны его обычно называют амарнским). Но не надо, по-моему, и быть специалистом, чтобы заметить резко бросающуюся в глаза специфичность амарнского искусства, его стилевые особенности.

Одни видят эти особенности в ракурсе, в поисках трехмерной формы, другие говорят о сочетании «резкого портретного натурализма» с утонченной «линейной стилизацией». Конечно, не полагается дилетанту спорить со знатоками, но эти определения представляются мне слишком академичными. Суть дела, на мой взгляд, проще и яснее: амарнские мастера — и это, пожалуй, единственный пример в истории древнеегипетского искусства, — стремясь вырваться из круга веками устоявшихся, застывших канонов, но еще не найдя им адекватной замены, встали на путь их разрушения, доводя использование любого канонического приема до крайней нарочитости, почти до гротеска. Отсюда и черты «стилизации» и даже «декаданса» в изобразительном искусстве амарнского периода.

Что касается знаменитой гробницы Тутанхамона, то, говоря честно, впечатление несколько неожиданное. Четыре саркофага, два гроба (один саркофаг и один из гробов, в котором ныне находится мумия, оставлены в самой гробнице, в Долине царей), масса дворцовой мебели, утвари, художественных изделий, извлеченных из этой гробницы, заполняют половину колоннады верхнего этажа музея. Отдельные вещи великолепны, но они тонут в общей массе, а все вместе взятое производит даже какое-то удручающее впечатление — слишком много золота, все блестит, саркофаги блестят, как медные части на нашем теплоходе.

Но основной итог знакомства с Каирским музеем, конечно, не в этих разрозненных впечатлениях. Грандиозное собрание египетских древностей — чем и является Каирский музей — неизбежно создает какое-то общее представление, подсказывает общую оценку древнеегипетского искусства. Но после посещения музея (а я был там трижды) эта оценка еще очень смутно брезжила в моей голове, и я сумел сформулировать ее для себя только после Луксора и Карнака.

Теперь о пирамидах. Впервые я увидел знаменитые пирамиды Гизы из Каира на довольно далеком расстоянии, с минарета мечети Ибн Тулуна. Издали они хороши, даже повиты какой-то голубоватой дымкой и вообще похожи на то, как их изображают на бесчисленных открытках, репродукциях, фотографиях. Но вблизи маленькие пирамиды вообще не производят никакого впечатления, а самые большие — кажутся маленькими.

Кстати сказать, недавно я имел случай убедиться, что, конечно, не я первый обратил внимание на эту особенность. Оказывается, известный русский путешественник А. С. Норов, посетивший Египет в тридцатых годах прошлого века, был того же мнения. Он писал: «...по странной игре оптики, замеченной уже многими путешественниками, пирамиды, по мере приближения к ним, кажутся как бы менее огромными, чем издали: это происходит, по моему мнению, от того, что издали они имеют лазоревый цвет дальности, резко обозначающий их на пустынном про



странстве и на ясном горизонте; но с приближением к ним они принимают желтоватый цвет тех камней, из которых они построены, и, таким образом, сливаются с тем же желтым цветом песчаной пустыни, которая их окружает».

Правильное ли это объяснение — я не знаю; но когда стоишь у подножия знаменитой пирамиды Хуфу (Хеопса), которую еще совсем недавно называли «колоссальнейшим сооружением, какое носит земля», и видишь, что каждая каменная глыба намного выше человеческого роста, и знаешь, что вся пирамида сложена из 2300 тысяч таких глыб, то понимаешь, конечно, насколько все это величественно и грандиозно, но понимаешь лишь умозрительно, непосредственного же ощущения величия нет.

Более того — есть ощущение величия труда многих и многих тысяч безвестных строителей, есть ощущение восторга и удивления уровнем строительной техники и есть наконец досадное ощущение никчемности, нелепости всего сооружения в целом. Причем, так сказать, не только формы, но и содержания.

Это ощущение лишь усиливается, когда в результате долгого, утомительного подъема по наклонному коридору-шахте пирамиды Хуфу, где нужно идти согнувшись, в страшной духоте, достигаешь наконец погребальной камеры — грубо вырубленного в камне тесного помещения, в котором стоит пустой саркофаг фараона. Какая колоссальная диспропорция, говоря языком искусствоведов, «между массой архитектуры и организацией внутреннего пространства!»

Пожалуй, наибольшее впечатление производит одна из самых ранних пирамид — ступенчатая пирамида родоначальника III династии египетских фараонов (около трех тысяч лет до н. э.) Джосера. Неподалеку от нее — храм, построенный великим архитектором того времени Имхотепом. Интересно, что колонны этого храма «прислонены»; их тогда еще не умели и боялись ставить отдельно. И храм, и пирамида Джосера воспринимаются как архитектурное творение, архитектурный ансамбль, чего никак не скажешь о других, более знаменитых пирамидах.

Но, быть может, я не прав. Быть может, не следует подходить к пирамидам, как к произведениям архитектуры, в нашем понимании ее изобразительных средств. Не в этом их величие. Величественна самая идея пирамиды. Идея «вечного дома», идея непреходящего памятника в брэнном мире, в «земной юдоли». «Все в этом мире боится времени, но время боится пирамид». И тогда дело вовсе не в счастливо найденных архитектурных пропорциях (как в пирамиде Джосера), а в монументальности, в своеобразном пафосе огромной и строго геометризованной массы, которая с безразличием подавляет все остальные элементы формы.

Фараоны Нового царства пирамид уже не строили. Фараонов в эту эпоху стали хоронить в подземных гробницах, часто вырубленных в скалах. Так же хоронили и знатных вельмож. Я видел несколько таких гробниц. Самое интересное в них — стенные росписи. Стены гробниц покрыты рельефными композициями, которые обычно очень подробно и очень последовательно разворачиваются в горизонтальных полосах, располагающихся друг над другом, как строки письма. Мы видим здесь сцены сельскохозяйственных работ, мастерские ремесленников — горшечников, пекарей, кожевников и т. п. В гробницах египетских вельмож, которые я видел в Саккаре (то есть в районе древнего Мемфиса, ранней столицы Египта), изображены живые, полные экспрессии сцены сева и жатвы, охоты в пустыне, приручения пантеры, рождения телят, избияния налогоплательщиков писцами.

Но еще, пожалуй, эффектнее росписи эпохи Нового царства — хотя бы в смысле яркости и сохранности красок — в гробницах знаменитой Долины царей. В этой долине (район древних Фив) ныне раскопано шестьдесят четыре гробницы египетских фараонов и вельмож. Мы ездили туда из Луксора, переправляясь через Нил.

Одна из этих поездок мне особенно памятна, потому что это было седьмого ноября, в день Октябрьской годовщины. Температура — тридцать градусов в тени (я никак не мог отделаться от мысли о том, какая погода и температура в этот

день в Москве). Пейзаж — не просто египетский, а именно древнеегипетский. На левом берегу Нила, где мы высаживаемся из катера, на песчаной отмели — фигуры женщин в черном, берущих воду из реки. Свои глиняные сосуды они несут на голове совершенно так же, как на древних фресках. И тут же, где они наполняют свои кувшины, — стадо буйволов, понуро стоящих по грудь в теплой и мутной воде. В Долине царей, куда мы едем и которая расположена в небольшой котловине, — жара, как в парной бане.

Гробницу Рамзеса II (о нем будет речь впереди) мы не могли осмотреть, она была закрыта, так как в ней обвалился потолок. Интересна гробница Рамзеса VI, состоящая из двенадцати камер. Великолепная сохранность росписей, яркость и свежесть красок. В одной из камер на стене развернута Книга мертвых. Некоторые из человеческих фигур изображены вниз головой. Это — плохие люди; Рамзес не берет их с собой в подземное царство.

Гробница Аменхотепа II. Одна из немногих гробниц, где была найдена нетронутой мумия фараона. Хотя грабители проникали и в эту гробницу (почти все гробницы и пирамиды были разграблены еще в древности), но она оказалась не полностью разоренной. Тело Аменхотепа было покрыто цветами, на груди — трогательный пучок акации, вокруг шеи — гирлянды листьев и цветов. В гробнице был также найден лук царя, про который в одной из надписей говорится, что никто не мог его натянуть, кроме самого Аменхотепа.

Огромная подземная гробница фараона Сети I. Она состоит из двадцати пяти камер, идущих в глубину до семисот футов. Вскрыто всего двенадцать камер, дальнейшие раскопки временно приостановлены, так как в погребальной камере начал обваливаться потолок. Хороша черно-белая, выпукло-рельефная роспись одной из стен — двенадцать черных и двенадцать белых фигур. Это часы суток.

Не менее интересны гробницы некоторых вельмож. В гробнице Нахта — знаменитые музыкантши, причем в изображении центральной фигуры осуществлен сложный трехчетвертной поворот. В гробнице Мена, визиря Эхнатона, великолепная роспись, изображающая с мельчайшими подробностями его путешествие в Эль-Амарну. Кстати сказать, в последние две гробницы не проведено электрическое освещение. И только теперь нам приходит в голову та простая мысль, что ведь и все остальные гробницы были его лишены. В них царил кромешный мрак. Если зажечь свечу или какой-либо иной светильник, свет выхватывает очень небольшой участок стены, а значит, и росписи. Спрашивается, как и кто мог ее видеть? Еще более непонятно, как производилась самая работа по росписи стен в такой темноте?

Нам было наглядно продемонстрировано, каким образом все это делалось. На одну из ступеней первого марша лестницы, ведущей в гробницу, — он еще частично освещен солнцем — ставится зеркало, на следующем марше — другое (под определенным углом) и так далее. Теперь стоит только в любой из подземных камер тоже взять в руки зеркало, тоже повернуть его под определенным углом (сторожа при гробницах изучили эту несложную технику в совершенстве), и на стену падает огромный и яркий сноп света, в котором начинают волшебным образом играть все цвета, все краски. Освещение более яркое и, кстати, более естественное, чем от современных ламп так называемого дневного света. Да, оказывается, эти древние египтяне тоже кое-чего соображали! Даже несмотря на свой крайне низкий уровень производительных сил!

Но, конечно, наиболее полное представление о монументальной архитектуре, о ее развитии дают египетские храмы. Среди них на первое место должны быть поставлены храмы Карнака и Луксора, представлявшие собой когда-то единый грандиозный архитектурный комплекс.

Карнак с его колоссальными пилонами и обелисками, колоннадами и залами (из которых особенно знаменит так называемый гипостильный зал, своды которого поддерживали сто тридцать четыре колонны) — это верховное святилище Египта, «престол мира», воздвигнутый в честь бога Амона, главного бога Фив в эпоху их

расцвета. По существу — это совокупность нескольких храмов, которые строились отнюдь не одновременно и не по единому плану, но воздвигались целым рядом фараонов, отражая в своем развитии почти всю историю Нового царства. Недаром Карнак называют каменным архивом — его стены и пилоны покрыты разнообразными рельефами, многочисленными надписями, которые повествуют о важнейших исторических событиях. Анналы походов Тутмоса III и рассказ о его восшествии на престол, поэма о битве Рамзеса II с хеттами при Кадеше, списки египетских фараонов — все это сохранили нам камни карнакских храмов.

Богатейшие пожертвования фараонов превратили Карнакский и Луксорский храмы в крупнейшее хозяйство страны, которое располагало огромными земельными владениями, иногда целыми городами, а жречество этих храмов приобрело решающее влияние в государственных делах. Именно против фиванского жречества и была направлена своим острием знаменитая реформа Эхнатона, которая, однако, завершилась полным провалом.

В Карнаке можно наглядно проследить развитие древнеегипетской монументальной архитектуры — углубление ее содержания, решение ею новых задач, использование новых приемов. В карнакских храмах ряд залов, в том числе и гипостильный, представляют собой базиликальную постройку, где средний корабль возвышается над рядами боковых колонн. Это — прототип всех позднейших храмов и базилик.

Появляется совершенно новое решение проблемы пространства. Если в архитектуре пирамид масса преобладает над пространством, то в храмах Нового царства наряду с монументальностью основных элементов (пилоны, обелиски, статуи-колоссы) подчеркивается и значение пространства. Небывалую еще в египетском зодчестве роль начинает играть колонна. Последовательное чередование вытянутых в один ряд дворов и гипостилей с их колоннадами, уводящими глаз все дальше и дальше вглубь, создает это величественное ощущение пространства.

Не было забыто также и световое решение. Оно строилось на контрастах. Открытые дворы, переходящие в гипостильные залы, были залиты солнечным светом, в гипостильях царил полумрак, а самые святилища были темны и таинственны.

Мы бродим по грандиозным руинам Карнака, дивясь этой каменной летописи, воплощенной некогда с такой силой и страстью. Семь пленных царей висят головами вниз на носу царской барки, на которой Аменхотеп II возвращается домой после победоносного похода в Азию. Они будут принесены в жертву Амону. О пятом походе знаменитого фараона-завоевателя Тутмоса в Сирию карнакские анналы сообщают такие подробности: была осень, сады и леса были отягощены плодами, вина оставлены в давилнях, зерна по склонам холмов больше, чем песка на морском берегу, а солдаты каждый день были пьяны и умашены маслом, как в дни больших праздников.

Луксорский храм меньше, обозримее, чем Карнак, и, быть может, поэтому в нем яснее проступает цельность замысла. Вход в него вел через великолепный вестибюль, увенчанный тридцатью двумя колоннами, в форме связок папируса. К вестибюлю примыкал большой открытый двор, обнесенный портиками. Далее шла центральная колоннада, с капителями в виде распускающихся почек папируса. Когда-то из Луксора до Карнака тянулась двухкилометровая аллея сфинксов, связывающая таким образом оба архитектурных комплекса воедино.

Луксорский храм, посвященный фиванской триаде богов — Амону-Ра, Мут и Хонсу, — строился главным образом при фараонах Аменхотепе III и Рамзесе II. Последний — излюбленный фараон всех гидов. Они рассказывают про него массу полуанекдотических подробностей.

Рамзес II правил шестьдесят семь лет и каждый год воздвигал в свою честь по огромной статуе. Часть из них находилась в Луксорском храме. Здесь до сих пор сохранились две его колоссальные статуи, где он изображен сидящим, одна — стоящая (из шести), и во внутреннем дворе — осколки четырнадцати разбитых

статуй. Он был женат сорок два раза, имел сто двадцать сыновей и шестьдесят семь дочерей (три из них были его женами).

На пилонах храма изображены сцены знаменитой битвы при Кадеше, которую Рамзес усиленно пропагандировал, как одну из своих крупнейших побед. На самом же деле эта битва окончилась для египтян неудачно: им пришлось отступить, а сам Рамзес едва не попал в плен. Таким образом, египетская официальная летопись и египетские придворные историки, как и более поздние их собратья, уже неплохо освоили некоторые тайны своего ремесла и среди них важнейшую — умение выдавать желаемое за действительное.

Не могу еще не упомянуть о замечательных храмах в Дейр-эль-Бахари и Мединет-Абу. Первый из них — это поминальный храм знаменитой царицы Хатшепсут. Он расположен на трех террасах различной высоты, колоннада смело вынесена вперед, самый же храм вырублен в скале. Чрезвычайно интересны рельефы одного из портиков храма: чудесное рождение Хатшепсут от брака самого бога Амона с ее матерью и подробное изображение экспедиции в страну Пунт, прибытие в эту страну и возвращение судов в Египет, когда «привезенные сокровища были сосчитаны, благовония измерены, золото взвешено». Храм строил гениальный зодчий Сенмут, фаворит царицы. Гигантские, уступами подымающиеся скалы составляют величественный задник этого храма. По общему впечатлению, им производимому, я могу сравнить его лишь с незабываемым храмом Аполлона в Дельфах.

Храм в Мединет-Абу построен Рамзесом III. По своим пропорциям — это одно из лучших творений древнеегипетского зодчества. Особенность настенных изображений храма — глубоко врезанный рельеф. По преданию, художнику отрубили руки, дабы он нигде и никогда не мог воспроизвести подобной росписи.

Таковы храмы древнего Египта. Они дают, конечно, наиболее полное представление об искусстве эпохи Нового царства: архитектуре, живописи, рельефе. Теперь я могу попытаться сформулировать свое понимание этого искусства. Конечно, то, что я скажу, всего лишь мнение дилетанта. Но для меня самого оно важно, ибо оно как-то по-новому осветило мне египетское искусство, которое до этого было мне чуждым и даже как бы мало доступным.

Обычно, когда говорят о древнеегипетском искусстве, то подчеркивают такие его характерные особенности, как монументальность, консервативность, тесную связь с религией. Этими последними двумя особенностями объясняют неизменность изобразительных приемов, сохранявшихся на протяжении многих столетий. И действительно, общая планировка храмовых зданий (например, соотношение двора и гипостильного зала) и многие архитектурные элементы сохраняются как таковые, подвергаясь изменениям лишь в некоторых своих деталях, со времен Древнего царства. Условно-схематическое изображение человеческой фигуры в рельефе (плечи развернуты в фас, грудь и ноги — в профиль) тоже проходит через века. Художник не свободен даже в выборе цвета: мужское тело в рельефе (и в круглой скульптуре) всегда окрашивается в кирпично-красный цвет, женское — в желтый или коричневый.

Все это, конечно, так, но мало еще что объясняет. Говорят, что египетское искусство условно, символично, канонично, потому что оно крайне консервативно и связано с религией. Хорошо, но почему оно «крайне консервативно»? Почему и как оно связано с религией? Как известно, в буржуазной историографии все эти особенности объясняются замедленностью темпов общественного развития, общей застойностью «восточных цивилизаций». Но такие объяснения не выдерживают серьезной критики и столь же стандартны, сколь антинаучны.

Суть дела заключается в другом: ответа следует искать в целенаправленности или, если можно так выразиться, в «целесоощущении» искусства. Это «целесоощущение» в древнем Египте было принципиально иным, чем, скажем, в классической Греции.

Когда Шампольон попал впервые в Карнак и Луксор, то все, что он видел до тех пор в Египте, показалось ему жалким по сравнению с теми — как он сам их

называет. — «гигантскими концепциями», которыми он был теперь окружен. Шампольон, говоря о концепциях, нашел правильный и точный термин, ибо главная особенность египетского искусства, его наиболее характерная черта заключается именно в его концептуальности.

Что это значит? Для греческого мастера — все равно, создавал ли он портик храма, или изваяние человеческого тела — общая идея всегда была воплощена в явлении. Отсюда — любование самим явлением в его единичности и неповторимости, стремление передать его, «как оно есть» и «чем оно отлично» от всех других явлений.

Ничего похожего мы не встречаем в египетском искусстве. Подобное «целесоощущение» ему совершенно чуждо. В его основе — явление, уже обобщенное до идеи. Пирамиды не воспринимаются как произведение искусства, но они дерзко-величественны как идея. Да и любое создание египетского искусства — будь то стенная роспись гробницы, колосс Мемнона или монументальный комплекс Карнака — есть по существу не что иное, как выражение какой-либо обобщенной («отчужденной») идеи, философской концепции. Даже портрет — этот самый «натуралистический» жанр в искусстве древнего Египта — никогда не терял некоторых черт обобщенности.

Вот откуда и пресловутая условность, и статичность, и символизм египетского искусства. И это идет вовсе не от какой-то «застойности» или «консерватизма», это всего лишь совершенно закономерно возникшие элементы его концептуальности. И потому возможны различные комбинационные перестановки, новые сочетания тех или иных элементов, но крайне редко их видоизменение. Египетское искусство — это зрительно выраженные формулы мирозерцания. И как в наших современных математических формулах условные обозначения не требуют никакой замены, так и у египтян не возникало особой нужды менять свои приемы и символику. Но комбинационные перестановки, несомненно, имели место и так же, как в математике, вели к изменению результата, итога. Они были следствием и отражением смены господствующих концепций, эволюции или революции мировоззрения (например, реформа Эхнатона). Недаром амарнское искусство представляет собой, как уже говорилось, единственную попытку смело вырваться из окостеневших форм. Но ведь и здесь доведение изобразительного приема до крайней нарочитости было по существу основано на новой комбинации старых средств.

Все сказанное выше — вовсе не отрицание факта внутреннего развития египетского искусства. Я лишь пытаюсь объяснить своеобразие тенденций этого развития. Что касается общего определения искусства древнего Египта как «концептуального», то в этом и заключается «секрет» его связи с религией, поскольку в ту эпоху все мировоззренческие проблемы неизбежно облекались в религиозно-магическую оболочку. И потому задача изучения египетского искусства требует в первую очередь изучения именно этих проблем, их борьбы и смены, а не скрупулезного прослеживания на протяжении веков эволюции — подчас ничтожной — того или иного формального приема.

### 3

Но пора перейти к Египту современному. О нем писать и легче и труднее. Легче — так как речь здесь может идти лишь о непосредственных впечатлениях, труднее — ибо что можно узнать о стране, да еще такой своеобразной и сложной, как Египет, за неполный месяц? Но я хочу еще раз подчеркнуть, что читатель имеет дело всего лишь с путевыми очерками, он не вправе ждать и требовать от них большего.

Очевидно, главная задача, стоящая перед современным Египтом, заключается в том, чтобы ликвидировать страшное наследство колониализма. Иногда говорят о ликвидации феодальных пережитков, но одно от другого неотделимо — колонизаторы в своих интересах тщательно охраняли, искусственно консервировали пережитки феодализма. Они использовали нищету и безземелье, забитость народа, его непрощенность, отсталость техники, отжившие традиции.

Одиннадцатого июля 1882 года в семь часов утра адмирал Сеймур отдал приказ кораблям английского флота о бомбардировке Александрии. Первый же залп корабельной артиллерии возвестил миру о начале оккупации Египта.

Тринадцатого июня 1956 года в девять часов утра последний английский солдат покинул зону Суэцкого канала. Этот день был последним днем семидесяти-четырёхлетней оккупации. Страна обрела независимость.

Но эти семьдесят четыре года лежат до сих пор тяжелым бременем на египетском народе. Конфискация владений королевской династии, закон о земельной реформе, конечно, нанесли серьезный удар по пережиткам феодализма и колониализма, но полностью уничтожить их не могли. Это, к сожалению, так. Однако я не буду говорить о том, какова доля промышленности в национальном доходе, сколько федданов земли распределено по аграрной реформе между крестьянами (феллахами), не буду приводить ни цифр, ни процентов, а лишь попытаюсь показать, как все это выглядит сегодня.

Египетская деревня выглядит — и это не преувеличение! — в общем, так же, как пять тысяч лет тому назад. Глинобитные, иногда сложенные из саманных кирпичей хижины с плоскими крышами, крытыми пальмовыми ветвями или стеблями тростника и кукурузы. Впрочем, это не всегда легко разглядеть, потому что на крышах, как правило, свален всякий мусор. Не знаю почему, но часто крыши бывают разукрашены тесно уложенными рядами битых глиняных сосудов.

Мы ехали из Александрии в Каир через Дельту. Это самый населенный район Египта. Поездка продолжалась почти целый день. На полях — кукуруза, рис. Редкие пальмовые рощи. Землю пахут деревянным плугом. Женщины — в черном, с охапками тростника на головах. Вот едет семья на маленьком ослике. Иногда вдоль дороги — небольшие караваны верблюдов.

Воду на поля качают вручную, шадуфами. Шадуф — это то, что у нас называется журавлем, то есть длинный качающийся шест, укрепленный на столбе. На один конец шеста подвешивается ведро, другой находится в руках того, кто черпает воду. Другое приспособление, при помощи которого орошают поля, — сакия. Работу сакии я наблюдал вблизи (правда, несколько позднее, во время поездки в Дендере). Это — два колеса, поставленные под прямым углом друг к другу. Колесо, расположенное горизонтально, вращает бык (иногда два быка), который ходит по кругу под присмотром погонщика. К вертикальному колесу привязаны веревками кувшины, которые при вращении непрерывно поднимаются и опускаются, черпают воду из колодца и переливают ее в длинный, узкий арык. При помощи шадуфов и сакий орошали землю и в древнем Египте.

Проблема орошения, как известно, всегда была коренной проблемой египетской деревни. Поэтому как в древности, так и ныне огромную роль в жизни всей страны играет ее великая река — Нил. Недаром еще Геродот называл Египет «даром Нила».

Уровень воды в Ниле начинает повышаться в июле, и высокая вода держится до декабря. В период паводка Нил выступает из берегов и затопляет окрестные поля. Но затем вода с полей уходит, начинается период засухи. Проблема орошения в том и состоит, чтобы сохранить необходимые запасы воды на этот засушливый период. До середины прошлого века в Египте применялась идущая еще от древности лиманная, или бассейновая, система орошения. Но она очень несовершенна и теперь почти повсюду (за исключением лишь некоторых районов Верхнего Египта) заменена так называемой постоянной системой, которая основана на строительстве ряда ирригационных сооружений: плотин, каналов, водохранилищ, насосных станций и т. п. Из всех этих сооружений, конечно, самым грандиозным является Асуанская плотина. Но о ней речь впереди.

Пейзаж Дельты очень типичен. Она вся изрезана каналами и арыками. За то время, что мы пересекали Дельту, нас не раз восхищало такое зрелище — паруса, медленно плывущие прямо по полям. Это, конечно, не так, это — не видные издали за высокой кукурузой или тростником каналы, по которым движутся парусные

барки. Или вдруг такой пейзаж в духе Анри Руссо: канал с лодками и парусами, параллельно ему — шоссе (по которому мы и едем), а между шоссе и каналом — железная дорога с идущим по ней поездом. Да еще гигантские кактусы вдоль линии железной дороги.

Проездом я видел довольно много египетских деревень. Особенно когда мы ездили в Фаюм (здесь деревни побогаче и покрупнее) и Дендеру. Всюду пахота тяжелым плугом (скорее, сохой). В упряжке — бык, иногда бык в паре с верблюдом. Землю рыхлят мотыгой (фас). Общественные тока, молотья цепями. Во многих деревнях попадаются своеобразные глиняные сооружения куполообразной формы. Это — общественные голубятни. Голубей специально разводят, их едят. Но это, конечно, лакомство; основная еда египетского феллаха — кукуруза и бобы.

Чем же все-таки современная египетская деревня — хотя бы в смысле своего внешнего облика — отличается от деревень и поселков древних египтян? Пожалуй, лишь тем, что почти в каждой деревне есть мечеть. Да еще дома тех правозверных, кто совершил паломничество в Мекку, расписаны разными занятными рисунками. На рисунках этих изображены те средства сообщения, которые владелец дома использовал во время своего паломничества. Поэтому на одних домах нарисованы верблюды (но таких домов мало), на других — верблюды и пароходы, а есть и такие дома, на которых изображены все виды транспортных средств — от верблюда до самолета включительно.

Так выглядит в наше время египетская деревня с ее примитивной техникой земледелия, с ее уровнем жизни и обычаями, законсервированными колонизаторами на уровне феодального (если не рабовладельческого!) поместья.

Сейчас в новом и независимом Египте, который не хочет идти по капиталистическому пути развития, происходят важные экономические процессы, которые имеют прямое отношение к деревне. Растет число крестьян, владеющих землей, арендная плата ограничивается определенными нормами, создаются сельскохозяйственные кооперативы и так называемые «социальные центры», задачей которых является ликвидация неграмотности, обучение населения ремеслам и рациональным методам ведения сельского хозяйства, улучшение медицинского обслуживания. В этих «социальных центрах», кроме школ, мастерских, больниц, имеются еще опытные участки, питомники, птицефермы. Все это должно в недалеком будущем резко изменить лицо египетской деревни.

А теперь — о городах. Египетские города также сохраняют в своем облике черты недавнего и недоброго прошлого. До сих пор в каждом крупном городе существует резкое различие между центральными, так называемыми европейскими, кварталами и арабской частью города («старый город»). Это бросается в глаза и в Каире, и в Александрии, и даже в таком небольшом городе, как Луксор.

Александрия, честно говоря, оставила по себе довольно слабое воспоминание. Во всяком случае «европейская», показная и нарядная часть города, этой «жемчужины Средиземноморья», как именуют Александрию все рекламные проспекты, показалась мне мало интересной.

Очень колоритен в Александрии припортовый базар (я о нем вскользь уже упоминал). Здесь торгуют чем угодно, начиная от тыквенных семечек и кончая попугаями. На лотках и тележках — груды овощей, невиданных фруктов. Что-то где-то жарится, шипит, крепкий запах бьет прямо в ноздри; запахи вообще более чем разнообразны и далеко не всегда приятны. Теснота, гам; сзади на тебя вдруг наезжают тележкой, ты бросаешься в сторону и попадаешь в объятия старьевщика, который тут же пытается всучить тебе засаленную феску или рваную галабею. Под ногами — огрызки фруктов, корки, кожура бананов, неизвестно откуда взявшиеся лужи. Да, здесь господствует Восток, как мы его и привыкли себе представлять по рассказам и описаниям: здесь ощущаешь, что ты действительно очутился в какой-то другой части света.

Каир — большой и по-своему интересный город. Но и здесь как-то болезненно поражает резкое различие между центральными кварталами и «старым городом», где грязно, тесно, где прямо на улицах обжигают в печах глиняную посуду,

занимаются дублированием кож, стригут и бреют, а дети полощутся в грязных лужах, которые тоже неведомо откуда берутся, так как давно уже не было дождя.

На центральных же улицах — неоновые рекламы, блеск витрин, нарядно одетые люди, и если не смотреть на вывески (большинство из них все же на арабском языке), то не понять, где ты находишься — то ли в Риме, то ли в Париже, то ли в другом крупном европейском городе. В Каире есть квартал (он примыкает к Нилу), который до сих пор, видимо, по старой памяти называется Гарден-Сити: роскошные отели, посольства, даже какая-то башня-небоскреб, построенная, говорят, американцами.

Каир хорош, если смотреть на него откуда-нибудь сверху. Например, с минарета мечети Ибн Тулуна (я о ней уже упоминал). Бесконечно уходящие вдаль плоские крыши, минареты (они успешно соперничают с немногочисленными небоскребами), на горизонте — пирамиды Гизы и резко отграниченная от зелени пригородных садов, серо-желтая полоса начинающейся тут же, за чертой города, пустыни. Вечерами я любил смотреть на город с балкона отеля, в котором мы остановились (мой номер был на девятом этаже). Вид такой: налево мечеть с подсвеченным минаретом, за нею рекламы и огни одной из центральных площадей — площади Оперы; прямо передо мною — узкая, как каменное ущелье, типично восточная улочка с лавочками, лотками, бродячими торговцами в чалмах и галабях. Кстати сказать, эта соседняя мечеть с подсвеченным минаретом мне памятна до сих пор: каждодневно в пять часов утра меня будил истошный рев муэдзина, призывавшего правоверных на утреннюю молитву. Причем, я подзреваю, что сам муэдзин вовсе не вставал так рано; просто прокручивали пленку с однажды сделанной записью его благочестивых призывов.

О Луксоре как о городе мне почти нечего сказать, если, конечно, не иметь в виду самого Луксорского храма. Но о нем уже было сказано. Городок маленький, грязноватый, но на редкость хорош был отель, в котором нас поселили. Мой номер — в нем стояла диковинная кровать с балдахином и кисейным пологом (от москитов) — выходил прямо в сад, в роскошный сад: апельсины росли в нем за просто.

В Луксоре хороша еще набережная Нила, затененная старыми ветвистыми деревьями. На этой набережной мы наблюдали одно из великолепнейших зрелищ в мире — закат на Ниле. Когда меня в первый раз уговорили пойти вечером на набережную, то мне было сказано, что вот вчера все любовались закатом и что это совершенно незабываемое, потрясающее зрелище. Но поначалу я был разочарован. Вот солнце село и небо стало бледно-золотистым, местами даже с легкой празеденью, и очень долго оставалось таким, и я уже думал, что этим все и кончится. Но прошло еще несколько минут, и вдруг бледно-золотистый цвет неба стал густеть, как будто наливался внутренним жаром, он стал червонно-золотым, пылающим, так что глазам стало больно смотреть. Река тоже пылала и переливалась, а парус дальней лодки вдруг стал черным, и сама лодка тоже стала черной, и ее черный силуэт очень резко обозначился на фоне неба. Потом золото стало тускнеть, меркнуть; тогда откуда-то снизу, из-за горизонта, пошла густая багровая краснота, она захватила все небо, и воздух, и реку — и пошло и пошло — такие краски, сполохи, переливы, такое ликование и неистовство света, что передать это никакими словами уже невозможно.

А теперь — Асуан. О нем за последнее время у нас много писали, стараюсь не повторяться. Самый город невелик и мало чем примечателен. Правда, около гостиницы, в которой мы жили, было несколько лавок, это называлось суданский базар. В лавках торговали всякой экзотической всячиной: бусы, тамтамы, фески, скарабеи, резные деревянные фигурки, иногда довольно забавные. Около одной из таких лавок, привязанный веревкой за лапу, лежал небольшой крокодил. Вид у крокодила был больной, жалкий, он, по-моему, издыхал, и потом мне сказали, что его нарочно не кормят, чтобы он скорее издох: тогда его высушат и повесят над входом в лавку. Такие сушеные крокодилы, висящие над дверьми, мне уже не раз попадались на глаза.



В Асуане нас катали на парусных лодках по Нилу и возили, в частности, на небольшой живописный островок, где находится ботанический сад, или, вернее, дендрарий. Он очень хорош. Королевская пальма, пальмы кокосовые, финиковые, бамбуковые, пальма путешественников, листья которой дают воду. Красное дерево. Сикомора. Бугенвиллия, когда она в цвету, то листьев не видно и все дерево похоже на огромный букет. Эвкалипт. Обезьянье дерево, плоды которого висят, как сосиски. Манго, тамаринда, дерево-перец. Папайя. Японская пальма сикет и много еще всяких диковинных деревьев и цветов.

Хороша была также поездка в лодках по Нилу в том районе, где находится первый катаракт (порог), скалы которого мощно вздымаются из воды. Мы ездили осматривать храм Исиды на острове Филе. Однако никакого храма и никакого острова мы не видели: остров настолько затоплен разливом Нила, что из воды торчат лишь верхушки пилонов храма. Но зато, когда мы подъехали к этим пилонам, нас окружила — откуда ни возьмись — целая ватага орущих ребятишек в берестяных самодельных лодочках. Эти лодочки по форме своей очень похожи на лапти: мальчишки, сидя в них, ловко шныряли вокруг затопленных пилонов, вокруг нас и громко требовали бакшиш — пиастры, сигареты.

Было очень жарко. В Асуане летом, говорят, совсем невыносимо, чуть ли не пятьдесят градусов в тени. Где-то я прочел, что дожди здесь бывают довольно редко. Разговорившись с нашим гидом, я нарочно спросил его, правда ли это и когда был последний дождь. Он, по-моему, даже не сразу догадался, о чем идет речь, но потом подумал и сказал, что живет здесь восьмой год и что во всяком случае за это время дождя не было.

На строительстве Асуанской плотины мы были дважды. Впечатление поистине грандиозное. В особенности, если со смотровой площадки заглянуть вниз, в зияющую пропасть котлована. Вот только две цифры: высота плотины — сто одиннадцать метров, объем — тридцать восемь миллионов кубических метров, что равно объему семнадцати пирамид Хеопса. Работы были в полном разгаре. До перекрытия Нила, о котором теперь все знают и читали, оставалось около полугода.

Этот индустриальный пейзаж, развертывающийся в голой, каменной пустыне, производит впечатление чуда. И невольно думаешь — чего только не может человек, в особенности когда он объединен единой волей, воодушевлен единой целью. Есть нечто замечательное и даже как бы исторически справедливое в том, что это грандиозное строительство, оснащенное новейшей и самой совершенной техникой, создается именно в той стране, где несколько тысяч лет тому назад ценой невероятных усилий и страданий, на костях безвестных тружеников были воздвигнуты первые в мире грандиозные сооружения, пережившие самое время. Но какое огромное, какое многозначительное различие! Пирамиды всякого маломальски здравомыслящего человека поражают своей практической бесцельностью. пафос Асуанской плотины — в ее безусловной пользе, в практическом значении. Плотина — это сотни тысяч гектаров орошаемой земли, новые урожаи, электроэнергия, свет и вода для египетских деревень и городов.

И наконец еще одно-два общих впечатления. В Египте есть некая особенность, которая, быть может, не сразу зрительно улавливается, но которая на все накладывает свой отпечаток. Дело в том, что «дар Нила» — всего лишь узкая (за исключением Дельты) полоса жизни, зажатая между двумя пустынями. Впервые в этом я наглядно убедился, когда мы ехали из Каира в Луксор: поезд идет вдоль Нила то с одной, то с другой стороны, сквозь редкие деревни, сквозь пальмовые рощи все время проступают горы, пустыня — видимые границы обитаемой земли. Переход к пустыне очерчен очень резко и отчетливо.

Должен сказать, что пустыня произвела на меня огромное впечатление. Я никогда раньше не предполагал, что она так разнообразна, гораздо разнообразнее моря. И не менее величественна. Особенно она хороша в знойный полдень, когда, как огромная чаша, вмещающая в себя все неистовство солнца, она наполнена легким, едва уловимым звоном и дрожью раскаленного воздуха. Она хороша и

вечером, при закате. Помню, как мы однажды, задержавшись допоздна на плотине, возвращались в Асуан. Дорога шла пустыней — причудливо разбросанные скалы, кратеры, песок, местами взрытый как бы гигантским плугом. В общем, вид, более всего напоминающий какой-то лунный ландшафт.

Ну вот и все. Наше пребывание в Египте подходит к концу. Перелистываю свой путевой дневник. Вот его заключительная страница.

Пятнадцатое ноября. Рано утром — в последний раз! — будит крик муэдзина. Прощальная прогулка по улицам Каира. Сегодня пятница, праздничный — или, по-нашему, выходной — день, быть может, поэтому утренние улицы так пусты.

После завтрака грузимся в автобус, нас везут в аэропорт. Едем какой-то незнакомой дорогой: пальмовые аллеи, фешенебельный район загородных вилл, сады. Затем, как всегда резко, начинается пустыня. Аэропорт. Странно, но именно в это последнее утро, уже перед самым отлетом, я впервые узнал, как называют арабы Египет на своем языке — Миср.

#### 4

Вполне естественно, что поездка в такую страну, как Египет, может навести — или, вернее, не может не навести — историка на некоторые размышления. Кое о чем уже было сказано. Так, например, я довольно подробно говорил о современном Египте, о тех сложных задачах, которые еще стоят перед страной. Но, пожалуй, я не сказал самого главного. А самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что Египет занимает в современном мире особое положение. Египет — одна из первых стран Африки, которая в длительной, напряженной, а иногда и кровопролитной борьбе добилась свободы и независимости. Пробуждающиеся народы великого континента избирают своеобразные пути освобождения, и путь, на который вступил Египет, вероятно, нельзя считать единственно возможным, но во всяком случае — это путь, выводящий народ Египта из нищеты и вековой отсталости. И потому для современного мира, для других народов, борющихся за независимость, Египет, быть может, наиболее ранний символ, наиболее яркий пример начавшегося распада колониальной системы, крушения империализма. А это ли не величайшее знамение нашей эпохи?

Сейчас я говорю о Египте как современник. Но я — историк, и меня не может не волновать вся многовековая история этой страны. Небывалый расцвет египетского государства и египетской культуры в глубокой древности — и затем многие сотни лет зависимого, угнетенного, полуарабского существования. Упорная борьба за свободу, совсем недавняя победа — и начало нового этапа в жизни страны и народа. Если попытаться передать тенденцию исторического развития Египта в каком-то линейном выражении, то я представляю ее себе в виде гигантской раскручивающейся спирали, витки которой знаменуют бесконечные взлеты и падения, продвижение вперед и отступления, то есть всю сложность, затрудненность и противоречивость исторического процесса.

Поэтому задача вовсе не в том, чтобы говорить сейчас о египетской истории как таковой. История Египта, помимо своего конкретного выражения в фактах и событиях, имеет еще другую сторону, другое, более общее значение. Она может и должна служить примером, уроком, выводом. Она — зримый мост, пролагаемый от прошедшего через настоящее к живому будущему. Окидывая мысленным взором сложную, противоречивую, подчас трагическую историю этой страны на протяжении пяти тысячелетий, нельзя не обратиться к тем общим проблемам истории человечества, развития общества, которые подводят нас к пониманию закономерностей этого развития, то есть к тем граням, где действительно прошлое тесно смыкается с настоящим, а история как наука смыкается с философией.

Остановимся на некоторых общих проблемах историко-философского, или, как принято теперь выражаться, «историсофского» характера. Тем более что в сфере идеологической борьбы, борьбы мировоззрений эти проблемы занимают далеко не последнее место.

Если иметь в виду современные (и наиболее распространенные) концепции всемирно-исторического процесса, то, пожалуй, наиболее ярким и наглядным примером можно считать возрождение в наши дни так называемой теории циклизма. Эта теория претендует на исключительное положение. Циклизм объявляется его сторонниками единственно правильным и единственно возможным методом интерпретации истории. Так, например, на происходившем сравнительно недавно во Франции симпозиуме, который так и назывался *L'histoire et ses interprétations*, неоднократно подчеркивалось, что альтернативно возможны лишь два взаимно друг друга исключающих метода интерпретации истории: прогрессизм, то есть однолинейная схема восходящего (или нисходящего) развития, и циклизм. Гегель и, конечно, Маркс — прогрессисты. В наше же время — говорилось на этом симпозиуме — «многие (!) разуверились в этой схеме», чем, мол, и объясняется возрождение циклизма. Нам кажется, что подобная постановка вопроса весьма симптоматична для современной буржуазной историографии, а пресловутая теория циклизма заслуживает того, чтобы на ней остановиться более подробно.

В самых общих чертах суть этой теории сводится к следующему. Выступая против, как заявляют сами сторонники циклизма, «наивной гегелевской схемы» прямолинейного и поступательного развития, они противопоставляют ей идею вечного круговорота, вечного повторения замкнутых циклов, или «культур». Понятие исторического прогресса по существу начисто исключается. В крайнем случае поступательное движение может быть допущено лишь в пределах того или иного замкнутого цикла, но отнюдь не в масштабе всей истории человечества. Строго говоря, для последовательных циклистов даже не существует понятия истории человечества в смысле единого всемирно-исторического процесса, но лишь плюралистические «истории» отдельных, замкнутых и не связанных друг с другом «культур».

Такова, коротко говоря, концепция циклизма. Она далеко не нова, она родилась еще в древности, немногим позже самого понятия истории. В зародышевой форме эта концепция встречается у Аристотеля, но наиболее полного развития достигает у знаменитого греческого историка Полибия в его воззрениях на смену государственных форм. Но для нас сейчас, несомненно, важнее и интереснее тот факт, что теория циклизма приобрела такое широкое, почти повсеместное распространение в наши дни. Причем современные буржуазные историки и социологи всячески ее «совершенствуют» и подновляют. Они, конечно, не довольствуются вышеизложенной схемой, но стремятся ее развернуть и наполнить живым историческим содержанием.

Так, например, один из крупнейших буржуазных историков конца прошлого века Эдуард Мейер обосновывал концепцию циклизма на материале древней истории. Он оперировал хорошо всем нам известными социально-экономическими категориями. С его точки зрения, античное общество от родовых форм жизни перешло к феодализму, затем в нем начинают развиваться капиталистические отношения. В сущности, капиталистическая стадия развития общества рассматривалась Эд. Мейером как высшая и последняя, ибо на этой стадии наступает упадок, внутреннее истощение, развитию дальше идти некуда. Цикл завершен — античное общество гибнет, с тем чтобы в новом, уже «европейском» цикле повторился весь круг развития в тех же самых формах и с самого начала.

Политическая тенденция циклических построений Эд. Мейера предельно ясна. Не говоря уже о том, что он совершенно недвусмысленно модернизирует социально-экономические отношения (которым он, кстати сказать, придавал большое значение) древнего общества, он еще выступает перед нами — вольно или невольно — апологетом капиталистического строя, ибо последний расценивается им как высшая ступень в развитии каждого цикла.

Считается, что в нашем веке учение циклизма возродил Освальд Шпенглер. И действительно, не кто иной, как он, ввел понятие замкнутых «культур», из которых каждая обладает своим особым и неповторимым обликом, особой душой. Историческая жизнь отдельных культур подобна жизни человека; культуры

знают свое детство, юность, зрелость и наконец старость. Каждая культура вырастает из определенного прафеномена или прасимвола. Вся жизнь и развитие данной культуры есть не что иное, как развертывание тех возможностей, которые заложены в ее прафеномене.

Шпенглер в основном тоже сопоставлял (а иногда и противопоставлял!) два цикла, две культуры: античную и европейскую. Первую он называл аполлоновской и ее прафеноменом считал тело. Европейская же культура — это культура фаустовская, ее прафеномен — пространство. В качестве типичного образца его сопоставлений можно привести следующий пассаж: «Аполлоновским является изваяние нагого человека; фаустовским — искусство фуги. Аполлоновские: механическая статика, чувственные культы олимпийских богов, политически разделенные греческие города, рок Эдипа и символ фаллуса; фаустовские — динамика Галилея, католически-протестантская догматика, великие династии времени барокко с их политической кабинетов, судьба Лира и идеал Мадонны. Аполлоновская — живопись, ограничивающая отдельные тела резкими линиями и контурами; фаустовская — та, которая при помощи света и тени творит пространство... Стереометрия и анализ, толпы рабов и динамо-машины, стоическая атараксия и социальная воля к власти, гекзаметр и рифмованные стихи — таковы символы бытия двух, в основе своей противоположных миров».

Что касается Египта, то египетскую культуру, египетскую «душу» Шпенглер противопоставлял как индийской, так и античной. Сознание индийца крайне неисторично; доказательством и наиболее ярким выражением этой неисторичности служит браманская идея нирваны. Наоборот, «душа» или сознание египтянина «предрасположены» исторично: «египетская душа воспринимает весь свой мир в виде прошедшего и будущего, а настоящее... кажется только узкой границей между двумя неизмеримыми пространствами».

Отсюда — особое отношение, особая заботливость о будущем и о прошедшем, проявляющаяся, с одной стороны, в ирригационных сооружениях, высеченных в камне документах, с другой — в погребальных обрядах. Это уже те черты, которые резко отличают Египет и его культуру от античной. «Египтянин отрицает уничтожаемость. Античный человек утверждает ее «всеим языком форм своей культуры».

Учение о замкнутых культурах, или цивилизациях, распространил на всемирную историю один из наиболее прославленных буржуазных историков наших дней — Арнольд Тойнби. В своем монументальном историческом труде «Исследование истории» он насчитывает двадцать одну цивилизацию (у Шпенглера их было только восемь!). Эти цивилизации, по мнению Тойнби, отнюдь не располагаются по единой и последовательно восходящей линии. Понятие прогресса иллюзорно; различные цивилизации в своем круговороте бесконечно повторяют друг друга, причем каждая из них проходит на своем жизненном пути одни и те же стадии зарождения, роста, надлома, разложения и гибели. Выступая против «наивной» и «устаревшей» схемы развития, Тойнби говорит, что всякая попытка реконструировать единый всемирно-исторический процесс равносильна тому, как если бы некто приставлял бамбуковые палки одна к другой. В результате может получиться очень длинная бамбуковая палка, однако всем известно, что бамбук так не растет.

Двенадцатитомный труд Тойнби представляет собой по существу попытку подтвердить на огромном историческом материале общее воззрение автора о циклическом характере исторического процесса. Тойнби поражает всесторонней эрудицией, он оперирует многочисленными фактами и примерами, заимствованными не только из европейской истории, но и из истории стран Востока и американского континента. Он останавливается на характеристиках редких, вымерших и «экзотических» цивилизаций.

Египетскую цивилизацию Тойнби считает одной из «независимых», то есть самостоятельно возникших цивилизаций. По его классификации — это цивилизация первичная, поскольку она возникла непосредственно из первобытного общества. **Последующие цивилизации** являются дочерними, а эти в свою очередь через

посредство «великих религий» порождают третичные (или современные) цивилизации.

Влияние Тойнби на современную буржуазную историографию — хотя его концепция не раз подвергалась серьезной критике, а многие «цеховые историки» (выражение самого Тойнби) считают его дилетантом, — тем не менее огромно. Уже упоминавшийся выше симпозиум *L'histoire et ses interprétations* имеет подзаголовок: *Entretiens autour de Arnold Toynbee*<sup>1</sup>. Интересно, что на этом симпозиуме многие последователи английского историка пытались кое в чем «подправить» своего мэтра, сглаживая некоторые не совсем приемлемые крайности его системы. Так, например, с помощью «наглядных» иллюстраций было показано, а по мнению самих авторов подобных утверждений, даже доказано, что концепция Тойнби не исключает прогресса. Излюбленной иллюстрацией служил пример с колесом. Известно, что при повороте колеса повозки любая точка, взятая на этом колесе, описывает циклоид. Полный поворот колеса означает возвращение точки в исходное положение, следовательно, означает завершение цикла. Но вместе с тем повозка все же движется вперед.

Итак, теория циклизма претендует на то, чтобы быть универсальным — и не только универсальным, но единственно возможным — методом интерпретации истории. Каково же наше отношение к этому «методу»?

Циклическая теория неоднократно подвергалась критическому разбору в работах советских историков и философов. Ее реакционный характер, ее классовая сущность ясны каждому из нас. Но можно ли на этом ставить точку и ограничиться таким чисто негативным отношением к вопросу?

Мне кажется, что это было бы абсолютно неправильным, и прежде всего потому, что нам есть что противопоставить этой теории. Мы можем противопоставить ей не «наивную гегелевскую схему» прямолинейного развития, но глубоко научную ленинскую идею развития по спирали. В. И. Ленин писал: «Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе («отрицание отрицания»), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии...» (Соч., т. 21, стр. 38). Таким образом, отнюдь не «замкнутые циклы» и не «прямая линия», а сложное, не сводящееся только к движению вперед, но в конечном счете все же поступательное движение человеческого общества, человеческой истории, в котором сочетаются оба противоположных момента: цикл и прямая линия.

Нет сомнений, что это замечательное ленинское положение может быть возвращено и подтверждено на огромном историческом материале. Оно не должно оставаться только единичным высказыванием. Однако об этом, к сожалению, приходится говорить, как о стоящей перед нами задаче. Я не могу назвать ни одной работы — ни философской, ни исторической, — написанной под таким углом зрения. А это ли не важнейшая историко-философская проблема?

Поскольку дело обстоит именно так, я позволю себе несколько подробнее развить свои соображения. Возьмем, к примеру, вопрос об исторических аналогиях, о сравнительном методе в истории. Решение этого вопроса тесно связано с общим пониманием и толкованием исторического процесса.

Как и следовало ожидать, теории циклизма в значительной мере основываются на использовании (как правило, весьма неумеренном!) исторических аналогий. Даже такой наиболее последовательный провозвестник и сторонник учения о «замкнутых культурах», как сам Шпенглер, и то пытается проследить — мы уже имели случай в этом убедиться — «в древнем мире развитие, представляющее полную параллель нашему западноевропейскому». Тойнби поступает еще решительнее. Объяснив, что все существовавшие (и существующие) цивилизации могут считаться «в философском смысле современными и эквивалентными», он тем самым стремится обосновать возможность применения сравнительного метода в истории. При подобном подходе открываются поистине неогра-

<sup>1</sup> История и ее интерпретация. Беседы об Арнольде Тойнби (франц.).

нические возможности для самых рискованных и экстравагантных сопоставлений. И наконец некоторые современные американские историки (Марч, Стейнхоф и другие), вообще не утруждая себя подведением какого-либо теоретического базиса, беззащитно оперируют самыми неоправданными, а подчас и вульгарными аналогиями.

История как наука едва ли может существовать и развиваться без каких-либо сопоставлений. Сравнительный метод в истории тоже возможен и, вероятно, даже необходим. Совсем не обязательно стоять на позициях циклизма, признавая эти простые истины. Но вопрос об исторических аналогиях и сопоставлениях должен быть поставлен иначе. Перед историком-марксистом он встает как вопрос о повторяемости в процессе развития. Этот вопрос принципиально важен, ибо без учета фактора повторяемости нельзя говорить о закономерностях развития.

Философы различают несколько видов повторяемости явлений. Например, вопрос о повторяемости на одной и той же ступени развития. В данном случае следует иметь в виду некую относительную повторяемость явлений, которая, несмотря на существование особых индивидуальных различий, позволяет все же установить определенную общность между отдельными странами, точнее говоря, между отдельными человеческими обществами, переживающими одинаковую стадию развития.

Мы беремся утверждать, что между такими различными, имевшими каждая свои специфические отличия странами, как Англия, Италия и т. п., в эпоху, скажем, феодализма имелось все же больше определяющих «общностей», чем между средневековой Англией и Англией современной или между средневековой Италией и той же Италией в наши дни. Не говорим уже о примере нашей страны, которая, несмотря на все своеобразие своих путей развития, в ту эпоху, когда она была Россией капиталистической, тоже имела больше общих черт с другими капиталистическими странами, чем эта старая Россия с нынешней страной социализма.

В наши намерения сейчас не входит, да и не может входить конкретное определение того, в чем состоят эти общности. Нас интересует лишь «историческая» сторона вопроса. Установление таких общностей (или повторяемостей) на одной ступени исторического развития открывает, на наш взгляд, достаточно широкие возможности применения исторических аналогий и сопоставлений.

Повторяемости иного типа могут быть прослежены при изучении обществ, находящихся на разных (высшей и низшей) ступенях развития. Именно о таких повторяемостях, как мы уже убедились, писал В. И. Ленин, устанавливая принцип спиралевидного развития. Но и здесь речь, несомненно, должна идти о сопоставляемости ряда явлений общественной жизни — начиная от вопросов социальной структуры и кончая сферой идеологии.

Таким образом, для историка-марксиста вовсе не исключено применение исторических аналогий и даже сравнительного метода. Но этот метод должен базироваться не на представлении о замкнутых циклах и не на внешне эффектно, а по существу глубоко антинаучном утверждении относительно современности и эквивалентности всех существовавших цивилизаций, но на научно познанных закономерностях развития общества. Кстати, не мешает еще раз подчеркнуть, что к познанию закономерностей исторического развития — как, впрочем, и всякого другого, — мы приходим на основании изучения повторяемости явлений, идя от единичного, через особенное, к всеобщему.

И наконец еще один пример. Все то, о чем говорилось выше, имеет в подтексте одну довольно простую, но, к сожалению, еще не очень популярную у нас мысль. Это мысль о необходимости более тесной связи между историей и философией. Дело в том, что в наше время существует достаточно четкая дифференциация общественных наук. Историк, философ, экономист, юрист, филолог — каждый занимается своим делом. В какой-то степени это правильно и даже закономерно. Подобная дифференциация диктуется как накоплением огромного по своему объему материала, так и развитием, усложнением самих наук. Но значит ли это, что воздвигнуты некие непреодолимые преграды между различными, но все же род-

ственными друг другу науками, значит ли это, что философ (или экономист, или филолог и т. п.) может, к примеру, не интересоваться историей и не следить за развитием исторической науки (хотя бы в какой-то одной, наиболее близкой ему области) или, в свою очередь, историк может оставаться равнодушен к актуальным проблемам современной философии? На Западе это давно не так. И поэтому вопрос о более тесной связи между историей и философией важен, на наш взгляд, и по существу, и как необходимое условие борьбы с враждебной нам идеологией.

Вот передо мною на столе две книги. Одна из них принадлежит перу крупного современного историка Йозефа Фохта (ФРГ). Она называется «Закон и свобода действия в истории». Это книга историка, написанная на философскую тему. Автор другой книги — еще более известный философ-экзистенциалист Карл Ясперс. Ее название: «О происхождении и цели истории». Это книга философа, написанная на тему историческую. Чем не наглядный пример совпадения интересов историка и философа? Еще разительнее пример того, на чем эти интересы совпадают!

В книге Фохта дается общий обзор современных историко-философских и социологических концепций. Попутно автор высказывает некоторые собственные — правда, не очень интересные — соображения. Но чрезвычайно любопытно то, как он обосновывает самую тему и цель своей работы.

Фохт пишет, что вопрос, подлежат ли человеческие поступки и действия определенным законам и насколько человек может быть свободен в своих действиях, занимал многие умы с тех давних времен, как возникло «историческое сознание». «Для нас же, — подчеркивает он, — этот вопрос особенно актуален, ибо мы сознаем свою ответственность за катастрофы современности и понимаем, как важно преодолеть — духовно и нравственно — неудержимый процесс технизации жизни и растущего «омассовления» (Vermassung) общества».

Этот тезис — технизация жизни и «омассовление» общества и культуры — фигурирует в высказываниях Фохта вовсе не случайно. Его можно встретить и у многих других авторов: впервые он появляется, пожалуй, у Альфреда Вебера как образ «четвертого» механизированного человека, человека-робота, а затем становится почти *locus communis* целого ряда современных «историсофских» схем.

Ясперс в своей книге развивает теорию «осевого времени» (Achsenzeit). С его точки зрения, существуют четыре крупных этапа в развитии человечества. Первый этап — это предыстория человечества, или «Прометеев век» (возникновение языка, орудий, употребление огня). Второй этап — основание древних цивилизаций (в том числе и египетской). Третий — «осевое время», когда человек действительно становится человеком в своем наивысшем проявлении. И наконец четвертый этап — научно-технический век, «переправку» которого мы испытываем на нас самих.

Все, чем располагает современное общество, современное человечество, — все это результат и наследие той кульминации, которая произошла в «осевое время». Оно локализуется Ясперсом довольно точно — это пять веков между 800—200 годами до н. э. «Именно там пролегал величайший рубеж (der tiefste Einschnitt) истории. Именно тогда возник человек, с которым мы имеем дело сегодня. Это время Лао-Тзы, Будды, Заратустры, пророков, Гомера, досократической философии, Платона и трагиков, Фукидида и Архимеда». Ясперс определяет и три географических арены или плацдарма «осевого времени»: Индия, Китай, Западная Европа.

Что касается отношения Ясперса к четвертому этапу развития человечества (ср. с «четвертым человеком» А. Вебера!), то оно довольно двойственное. С одной стороны — явный страх перед этим веком техники и «омассовления» и совершенно неясное представление о том, во что все это может вылиться. С другой — в отличие от безнадежного пессимизма Шпенглера и Вебера — некое «самовзбадривание», оптимистические ноты, надежды на то, что этот четвертый этап, быть может, приведет к новому, пусть еще далекому и незримому «осевому времени» (zweite Achsenzeit).

Техника — это лишь средство, и сама по себе она ни плоха, ни хороша. Техника — это демон в том смысле, что она противостоит человеку, но от человека же и зависит укрощение этого демона, использование его и приобретение власти над ним. Техника как таковая есть «пустая сила, бесперспективный и ослабляющий триумф средства над целью».

Чувство страха буржуазных идеологов перед технизацией и «омассовлением» общества объяснить нетрудно. Это, с одной стороны, все более обостряющееся ощущение того, что они сами называют «кризисом современной цивилизации», с другой — и тут существует прямая связь — своеобразный камуфляж, призванный скрыть страх перед другой, более реальной «опасностью» — социалистической революцией, изображаемой в перспективе как «омассовление» культуры, мертвящая технизация, превращение людей в роботов и т. п. и т. п.

Таковы некоторые из многочисленных попыток буржуазных историков, философов и социологов дать свою интерпретацию всемирно-исторического процесса. Рассмотренные нами теории «неоциклизма» и «осевого времени» могут, пожалуй, считаться наиболее распространенными и признанными, наиболее «модными» в современной историографии и социологии. Какие же отсюда следуют выводы?

Первый и наиболее существенный, с нашей точки зрения, вывод заключается в том, что современная «историсофия» оказывается важным, актуальным и даже злободневным участком идеологической борьбы. Это тот участок, где в настоящее время «испытываются» — и подчас достаточно остро и напряженно — многие мировоззренческие проблемы.

Второй вывод состоит в том, что на поименованном участке, как нигде, часто с закономерной неизбежностью сближаются понятия древности и современности, прошлого и настоящего. Ибо древность в современных «историсофских» концепциях, а следовательно, и в современной идеологической борьбе, — понятие отнюдь не антикварное, но живое и действенное, некий эталон, иногда даже оселок, на котором проверяется отношение к той или иной позиции в самой борьбе.

И наконец последний вывод относится к вопросу о необходимости более тесных связей между историей и философией. Эта связь — одно из важнейших условий в борьбе мировоззрений, ибо она, и только она, дает возможность не размениваться по мелочам, не отвлекаться частностями, не наносить удара — возвращаясь, по принципу кольцевого построения, к образу, уже использованному в самом начале, — растопыренными пальцами, но крепко сжатым кулаком и не куда попало, а «под вздох».

Вот те размышления, на которые навела меня поездка в Египет. Иной из читателей, пожалуй, может заметить, что они, эти размышления — к тому же довольно общего характера, — мало чем связаны с фактом самой поездки. Не спорю и согласен, что все высказанные мысли и соображения могут прийти в голову просто за письменным столом, независимо от каких бы то ни было поездок и путешествий. Однако у меня это было не так. И если помнить, что Египет — это и есть колыбель одной из древнейших человеческих цивилизаций и что здесь с какой-то особой силой ощущаешь объемность, безграничность и неисчерпаемость времени — времени, исчисляемого и мгновениями и тысячелетиями, — то, возможно, высказанные выше мысли, заметки, наблюдений покажутся более понятными и более оправданными.





---

---

# МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

## ОН БРАЛ ЗИМНИЙ

*Двадцать шестого октября (8 ноября н. ст.) 1917 года Владимир Ильич Ленин работал над проектами первых декретов советской власти. В «Постановлении об образовании рабочего и крестьянского правительства» он написал, что в Совете Народных Комиссаров власть по делам военным и морским будет осуществлять «комитет в составе: В. А. Овсенко (Антонов), Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбенко».*

*В ночь революционного переворота 7 ноября названный в этом списке первым Владимир Александрович Антонов-Овсенко (1883—1938) и руководил захватом Зимнего дворца.*

*Этот замечательный революционер был в годы культа личности оклеветан, а имя его забыто.*

*Мы публикуем одно из писем В. А. Антонова-Овсенко и воспоминания нескольких близко знавших его товарищей, а также отрывок из вступительной статьи Е. Д. Стасовой к книге, посвященной В. А. Антонову-Овсенко, подготовляемой Политиздатом.*

Он приехал в Питер из Франции в мае 1917 года и сразу направился в ЦК. Ленина не было, и мы прошли с ним к Надежде Константиновне Крупской и Якову Михайловичу Свердлову.

Прирожденный организатор, один из самых отважных подпольщиков, опытный оратор и журналист, он в тот же день включился в титаническую работу партии, готовившей вооруженное восстание.

Антонов-Овсенко запомнился мне как человек страстного революционного темперамента, неиссякаемой энергии. Эти качества бойца с особой силой проявились в дни Октябрьского штурма.

Биография Антонова-Овсенко изобилует яркими событиями, это романтическая — в высоком смысле — биография профессионального революционера. Вся его жизнь неразрывно связана с историей революционного движения России 1902—1917 годов, гражданской войной и становлением Советского государства.

Мне как секретарю Центрального Комитета довелось не раз направлять Владимира Александровича вместе с другими коммунистами в разные города страны.

В Витебске и Перми, Тамбове и Куйбышеве помнят, с какой самоотверженностью трудились уполномоченный ЦК в годы создания социалистического государства.

Антонов-Овсенко пользовался всегда полным доверием Ленина. Владимир Ильич и Центральный Комитет знали, что его можно послать в самый опасный момент на самый трудный участок борьбы, знали, что он себя шадить не будет и задание выполнит.

Честный, прямой, во всем искренний, скромный до самоотречения, необыкновенной душевной чистоты человек — таким я знала Владимира Александровича Антонова-Овсенко.

Сегодня он опять с нами, с народом, которому отдал всю свою жизнь.

**Елена Стасова.**

Буржуазно-реакционные историки и белогвардейские мемуаристы, описывая события Октябрьского переворота и взятие Зимнего дворца, штурмом которого руководил Антонов-Овсеенко, присоединяют к его имени эпитеты «жестокий», «беспощадный», «кровавый террорист» и т. п. Но этот пламенный революционер, одной из черт которого была военная отвага, спасал в те дни от разгневанных масс арестованных буржуазных министров и сдававшихся в плен юнкеров. Но те же юнкера не могли ждать великодушия с его стороны, когда они подняли оружие против народной власти и командующий Антонов-Овсеенко громил их на Дону и на Днепре.

Осенью 1936 года Советское правительство направило Антонова-Овсеенко на дипломатическую работу в республиканскую Испанию. Реакционная печать снова подняла крик: «Советы послали в Каталонию опытного специалиста по уличным боям, известного заговорщика!» Но В. А. Антонов-Овсеенко, находясь в Испании, был другом испанского народа, боровшегося против фашистских заговорщиков и палачей. Как всю свою жизнь, он и здесь защищал человечность против бесчеловечности, жизнь против смерти.

Он был высоко гуманным человеком, добрым, с душой, полной восторженной любовью к прекрасному. В этом смысле публикуемое ниже письмо-дневник, относящееся к 1911 году, особенно интересно и ценно. Оно сохранилось в личном архиве Марии Евгеньевны Гремяцкой, но, к сожалению, не полностью.

### ПИСЬМО В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО МАРИИ ЕВГЕНЬЕВНЕ ГРЕМЯЦКОЙ

10 июня [1911 г.]

У мастерской, в которой я работаю ежедневно часа 2—3, поставили большую клетку с дроздом. Он свистит иногда почти по-человечьему, как какой-нибудь забубенный бродяга — картуз на затылке, ноги врозь смотрят, хорошо найденные ноги. Когда он свистит — так вот и тянет бросить «все это» и пойти по дорогам дальним, окунуться в просторы земные. Д-да! Так и застонешь от тоски.

12 июня.

Вчера на целый день я отдался Парижу. Я был (и был один) в Лувре — я просмотрел в нем почти все, все мне родное. Я сразу прошел к Джоконде, жадно всматривался в ее лицо. Мне все хочется разгадать — что в этом лице есть такое недоверчиво-отстраняющее. Сама благодать, кротость разлита будто в нем — так всегда говорят о Джоконде. А я чувствую в этих неприемлющих блеска мира глазах какую-то жизнь свою, миру неведомую, но глубокую, внутрь направленную. Мне это больно чувствовать — у моей девушки так много этого же отчуждения, такой пелены, за которой чувствуется своя тайна.

Сколько усилий моих напрасно обращено было к тому, чтобы снять с них эту пелену, для себя снять. Джоконда смотрела с кроткой улыбкой — смотрела великая душа Леонардо, которая ни в чем, чувствуется это, не могла найти своего полного выражения. Я переходил дальше от полотна к полотну, но уже довольно безучастный, мимо Рафаэля, Тициана, Мурильо, мимо прекрасных гордых мужских обликов, пришедших к нам с времен Возрождения, чуть останавливался на Гвидо Рени и Рибейре — этих двух выразителях титанического страдания, безудержных в своей экспрессивности. Я ушел в тихие боковые комнаты к отчетливо-непретенциозному Теньерсу, Остаде, я уливался этой свежей живописью, коснувшейся земли; я любовался портретом лошади у Поттера, стариком Ван-Дейка, я застыл перед эскизом головы святого Иоанна (так ли?) Рубенса — это зажженное огнем, безумным упоением (кто бы нашел прекрасным его — почти безбровое, белобрысое?), к небу обращенное лицо. Такая страшная сила экстаза, беспредельная, потрясающая, проникающая через все грани в бесконечное, сливающая небо с землей, стирающая все черты времени и пространства...

Я прошел в новый зал французских реалистов — доподлинных художников Франции — Мейсонье, Коро, Руссо, Милле. Это было когда-то целым откровением, — но только когда увидишь эту живопись, еще не смело пьющую от солнца, от воздуха, только тогда поймешь, как далеко шагнули теперь пленэрцы (я видел недавно у «независимцев» столько прекрасного, нового). Некоторая сухая академичность все же достигла маленькой скучной однородностью на эти уже отцветающие полотна.

Я прошел к Грёзу — к наивно раскрытым глазам и готовым улыбнуться алою улыбочкой устам. Я глубоко, глубоко старался заглянуть в эти глаза, чтоб впить в себя готовую брызнуть из них радость «быть».

И тогда я почувствовал, что сегодня мне надо пойти к ней. В моем волнении я немного сбился с пути и попал в зал des Antiques<sup>1</sup>, на время остановившись около дивно-прекрасной («совершенство опечаленной мужской красоты») головы Антиноя. И когда потом, торопясь и невольно здесь усиливая шаги, я шел через анфиладу комнат, мне странным казалось мое волнение, все возраставшее. Я видел все отчетливее только ее — загадку вечной красоты, совсем чуждую всему холодному мрамору, расставленному в высоко-сводчатых покоех, всему людскому шуршанию у ее ног, всем надуманным и невольным восторгам, принесенным со всех концов земли к этим ногам.

Я не первый раз был здесь недалеко от нее, на моем особом, мною найденном месте, где я, не оскорбляя ее, почти слитый с камнем какой-то статуи, мог долго-долго, совсем в стороне, незаметно стоять и глядеть, глядеть порою с закрытыми глазами, отдаваясь весь этой блаженной (нехорошо данное мною слово...), этой страшной радости творчества — воссоздания в мечте своей ее облика. Я приходил сюда и раньше, и всегда со смешанным чувством — я приносил сюда и скепсис мой обычный к тому, что восторгает обычно людей, и мое томительное ожидание в жизни, и мою стыдливо-страстную мечту о никогда не бывшей прекрасной девушке из дальних стран, из чужих времен... И теперь у меня было одно всеохватывающее счастье, что была зажжена красота для земли, и сейчас, когда я закрываю глаза и вижу вновь ее, у меня то же ощущение, что надо жить как-то особенно в мире, если есть такая красота на земле... Я потом долго сидел около Сены, улыбаясь людям, которые проходили (проходили они к празднику сегодня), улыбаясь тому, что радостно пело во мне.

Когда я утром шел в Лувр, я выбирал места тихие, безлюдные, не смотрелось мне на людей. Теперь я вглядывался пристальнее во все лица, принимая, веселясь, их улыбки. Одно лицо мне чуть-чуть высокомерно усмехнулось. А в нем было немного и едва уловимого от нее, от моей, далекой девушки. Я пошел за нею совершенно просто, иногда рядом с нею, иногда даже слегка опережая ее. Я знал, что она идет на [бульвар] Мишель. Она была в белом платье с желтой сумкой на длинной перевязи в узкой, загорелой немного руке. Люди на нее оглядывались с насмешкой. Наверно, они так же смотрели и на меня, в моем желтом костюме, с моими растрепанными волосами под сдвинутой на затылок каскеткой... Мне это даже нравится немного, что они так смотрят. Когда они смеются, я смеюсь сам в ответ и еще веселее, чем они это могут делать. Но моя девушка чуть-чуть краснеет... Она искоса поглядывает на меня, с некоторым любопытством и ожиданием... На углу St Germain'a к ней подходит высокий (она тоже высокая и еще, видно, очень молодая) черноволосый, чернобородый мужчина... Она подает ему слегка дрогнувшую руку... Слегка взволнованная, идет рядом с ним. Я мог бы слышать их разговор, но не хочется делать усидия. Вдвоем они идут быстрее (видно, они давно знакомы уже, и она ему не очень близка). Неожиданно переходят на другую сторону [бульвара] Мишель, и там с восклицаниями приветственными окружает их пестрая кучка молодых и длинноволосых человечков. Один широким жестом раскланивается перед нею. Другой подхватывает ее за талию ловко (мошеник!), пользуясь случаем — автомобиль летит...

В Люксембургском саду очень людно, играет оркестр. Моя настоящая радость — блуждать среди этой толпы и вглядываться в столько лиц. Столько прекрасных девушек! Но мысли мои около моей незнакомки в белом. Внезапно я вижу ее — пробивается через толпу она, внимательно оглядываясь по сторонам. Я иду за нею... Мы обходим около фонтана Марии Медичи, почти касаясь друг друга, ее совершенно не стесняет, видимо, моя настойчивость... Я вдруг поворачиваюсь, скрываюсь в толпе. Но через несколько минут возвращаюсь и вновь нахожу ее возле фонтана. Она тревожно обходит его вновь и вновь — бедная белая птица с подсеченными крыльями. Я прохожу в последний раз мимо нее...

Весь вечер вчера, до последней ночи, я был так радостен. Все пытался петь, петь...

<sup>1</sup> Античности (франц.).

Я ведь помнил тут же, что, кроме голоса (иногда он мне кажется слишком большим, и мне тяжело с ним), нет у меня «ресурсов».

Сегодня утром я читал Гамсуна (и это в который раз), «Поросль», и это из-за рассказа «Победитель» — она а когда-то находила, что у меня есть нечто общее с этим героем... Если бы...

13 июня.

Я сегодня не могу много писать. Когда закрою глаза, почему-то вижу горбатую бледную девушку с портфелем под мышкой. Не помню где, но где-то я ее встречал. И она для меня тогда ничего (совсем почти ничего) не значила; но она, очевидно, живет где-то в глубине сознания моего, как многое еще другое. Я когда-то любил, закрыв глаза, вглядываться в мелькавшие тогда передо мной образы, то чарующе-прекрасные видения, то хаос крутящихся, сшибающихся линий, сплетенных. Способность «видеть с закрытыми глазами» у меня была (и, конечно, есть) тесно связана с «самоощущением»: когда я бывал утомлен, расстроен, она увеличивалась по сравнению с более спокойным состоянием. Я задумывался тогда над громадностью того круга впечатлений, который воспринимается нами, оставаясь в весьма и весьма дезорганизованном состоянии. Я думал, что можно прожить целые годы в заточении, только разбираясь в этих сверкающих всеми цветами радуги осколках, гармонизируя их, за счет них развивая область своего сознательного. Как много власти над нами имеет это бессознательное восприятие!

Вдруг какой-нибудь толчок — и в тебе оживает целый мир, совсем тебе доселе неведомый. Так часто это бывало со мной. И «роковым образом» так со мною было, когда я встретил мою Сиревую.

14 июня.

Было, как всегда, шумно и не очень толково. Ненужно горячились одни, бестолково и глупо оскорблялись (за себя) другие.

Весь день у меня сегодня прошел мало обычно. Нежданно пришло письмо от Надежды. Эта шарлатанка пишет, что молчала из-за болезни своей, теперь же оправилась, да только весна уже отошла; расспрашивает она меня о тысячах вещей. Я немедленно, отбросив всякие дела, принялся отвечать ей. Я написал ей о себе — о том, что никак не могу «перевлюбиться» (совершенно необходимая для меня вещь). Писал о моей поездке в Италию; много писал о Марусе, немножко о всех остальных и изрядно о *<зачеркнуто два слова>*. (Мне не хочется этого здесь сейчас касаться — может, было бы лучше переписать мое письмо — но это длинная и скучная история, — а между тем я говорил в письме о том, чего еще не касался здесь; как-нибудь после я вернусь к этому.) Мне не хотелось ничего обычного делать в этот день. Я пошел в Пантеон (я еще там не был). Пошел к Пюви де Шаванну. Тут только я понял громадное и своеобразное мастерство этого человека. Мне думалось, глядя на такие одухотворенные, нежно-озаренные облики, что у него всегда должны были дрожать ресницы от восторга, когда он глядел на мир. Он шел от сочетания всех цветов с трогательной благодарностью к щедро дающей жизни. У него жизнь есть в этом сочетании светотени, своя громадная и многокрасочная, не однородная, как у других. Все проходило у него через призму светлой мечты, оттого все так изысканно нежно и гармонично. Эта святая Женестьева — у балюстрады над спящим городом, замороженном темно-лиловой ночью с тихо взошедшей луной. В ее строгой комнате бледно горит святильня. Она — святая Женестьева — стоит строгая и прямая, в своем сумрачном одеянье — единственная предстательница пред ее господом за родной утомившийся город. Такая тихая и строгая — приемлюшая всю скорь мира, всю его безумную тревогу в горячее, такое чудно-трепетное, огромное свое сердце.

Я машинально пошел потом за толпою, которую скликал сторож, вниз, в погребальную «великих людей» Франции. «Вольтер — grand philosophe» etc. «Victor Hugo — grand écrivain»<sup>1</sup> и неожиданно: «Мы находимся сейчас в центре Пантеона — отсюда до

<sup>1</sup> Великий философ. Виктор Гюго — великий писатель (франц.).

вершины  $N + 1$  метр, площадь под Пантеоном  $N + 2$  кв. метра, а весит он  $N + 3$  килограмма». Наш «гид» — человек знающий!

Да, а вот здесь — Карно, а там — Бодри... Какая-то толстая лама и прыщеватый *ponseur* тянутся смотреть на камень плиты, приваленные над убитым президентом и сраженным депутатом... У выхода я вспоминаю, что у меня нет ни одного *su roug boige*<sup>1</sup> непрошеному гиду. Он иронически раскланивается передо мною: «*Merci bien*»<sup>2</sup>... Я бормочу извинение и поспешно выхожу из усыпальницы великих людей... В Люксембургском музее я прямо прохожу к *Un pauvre pêcheur Puvis de Chavanne*<sup>3</sup>. Сталью отливающая вода, в темной лодке — бедный, исхудалый, обветренный рыбак. Руки его невольно молитвенно сжаты. Он отдан этому морю застывшему, этому наступающему вечеру. А на зеленом дерне <нрзбр.> раскинули весело. И в густой траве немного озабоченно согнулась женщина.

15 июня.

Я пройду потом к Каррьеру, остановлюсь у портрета Верлена, буду вглядываться долго в этот темный взгляд без блеска глубоко запавших под крутым лбом глаз... буду вглядываться, стараясь понять загадку этой кроткой в озлобленности мира души... Мимо всего блеска красочного, минуя всю шумную славу самодовольно выпитившихся маэстро, я приду к Христу распятому, вознесенному над туманом жизни, к бездумной муке матери у его креста — к яркой, нежной материнской страстности, вылившейся в поцелуе, данном ребенку. Призрачной, но могучей жизнью живут виденья Каррьера, совсем особенные среди великолепно разрисованных, во всех деталях запечатленных кусочков жизни других художников... Потом мне надо пройти в угол, в который никто почти не заглядывает, к скульптуре Бетховена — да, он «как дающий миру сладостный, волшебный напиток». Мощной средоточенной жизнью дышат упорно сжатые, так сжатые, что будто каменеют волнистой чертой, губы... И я не вижу, не чувствую этот взор бездонных, широко раскрытых глаз...

Я прихожу еще к моему трубадуру — легко-стройному юноше с мандолиной в руках, с слегка озабоченным лицом и с такой наивной грацией. Сегодня я прихожу только для них, для этого особого мира. Вся остальная мраморная и красочно-яркая жизнь сегодня проходит вне меня.

Мои дни проходят в тревоге — опасливо поглядываю на отбегающее время. Систематически не могу ничем заняться, хотя работаю, в общем, изрядно, очень изрядно. Сон тревожный, пяти-шестичасовой, и сразу потом — я в мире, в мире, поднимающем бурные волны, торопливые, шумные... Много в моем прошлом выработало у меня склонность к «чистому созерцанию». Это мешает мне сосредоточиться на чем-либо одном... Но это так, мимоходом будь сказано...

Сегодня я негаданно получил много радости. Мне захотелось сегодня побывать у Микеланджело, этого певца окаменевшего порыва. Но в Лувре, оказалось, по праздникам заперт зал скульптуры *Moypen âge*<sup>4</sup> и Ренессанса... Раздосадованный, бродил я меж ненужными статуями греков, римлян, заглянул к «современникам», кой у чего останавливался, но без особого интереса. Потом прошел к египтянам в смутной надежде что-нибудь отыскать. Миновал несколько зал со сфинксами, мумиями, сосудами, остановился (времени много!) у шкафов, заставленных мелкими статуэтками Нижнего Египта александрийской эпохи... И уже до самого закрытия музея не мог уйти от камер Египта (и Передней Азии) — переходил от одного шкафа с этими небольшими, но такими неожиданно значительными, неожиданно живыми статуэтками, переходил, все вновь и вновь возвращаясь к камням александрийской эпохи.

В этой девушке со слабым уклоном головы, с характерно схваченной в грациозном полудвижении фигурой столько было неизъяснимой прелести...

<sup>1</sup> На чай (франц.).

<sup>2</sup> Весьма благодарен (франц.).

<sup>3</sup> «Бедный рыбак» Пюви де Шаванна (франц.).

<sup>4</sup> Средних веков (франц.).

В acteurs et grotesques<sup>1</sup> 3 или 4 века до Р. Х. порою столько выразительности; в статуэтках *Asie Mineure*<sup>2</sup> (I-II века) столько продуманности... Об этом надо бы, кажется, много-много говорить. Я еще не один раз приду сюда вновь. Приду склониться у светлой девушки из знойного Египта, пройду к статуям Танагры (теперь мне уж не уйти никуда от обаяния этой вдруг открывшейся мне красоты). И, возвращаясь, в «зале богов» я надолго остановлюсь у головы бога Кроноса, буду долго взволнованно глядеть на многое, многое еще негаданно-прекрасное... Как я рад, что я так медленно приближался к этим зачаткам творчества! Такие широкие открываются теперь перспективы. Приобщаешься целому новому миру! Мне теперь, только теперь захотелось полнее, как можно полнее погрузиться во всю эту загадочную, затуманенную жизнь древности. Я впервые с интересом большим, с волнением вглядывался в различные безделушки египтян, во всяческие украшения, в различные обломки — из всего этого воссоздавался целый многокрасочный мир, в котором творил далекий художник. И уже могучим, своим языком заговорили со мной загадочные сфинксы пустыни. И так много нового было в этой твердой улыбке, которую не стерли века — «жестокых уст смеющийся извив».

О жизни с ее переливами, с ее схватывающими моментами мне трудно писать. Трудно писать о трепетном, вечно трепетном городе, переполненном мириадами жизней. О всем том волнении, которое пробегает порывисто через всю толщу людей, его полнящих, пробегает, как какой-нибудь электрический ток, заставляя быстрее или медленнее пульсировать сердца, то разгораться, то тухнуть глаза. Негаданные со всех сторон наплывают влияния многих, многих тысяч жизней, чеканят, формируют незаметно душу. Лихорадка этой суетной жизни переливается в меня, и мне не может быть покоя.

Сегодня я опять был в Дувре. Пришел слишком рано еще для того, чтобы пройти в залы *Музею аге*. Вновь прошел к девушке из Египта и к статуэткам Танагры. Впывал в себя обаяние этих нежно очерченных линий. Как дивно пластично было это искусство древности; какая любовь к человеческому движению! Мне так не хочется, наподобие какого-то Бедеккера, описывать то, что виделось... Я чувствую только, все более сильно чувствую живейшую потребность теснее сойтись с этим миром прошлого, отжившего... И еще сильнее возросло во мне это желание, когда я спустился к залам *Музею аге*. Мне хотелось сопоставить искусство Возрождения с искусством Греции. Я чувствовал сближающие их моменты. И основа, почва у них была родственная, поскольку я ведаю (я, впрочем, еще плоховато ведаю).

17 июня.

Расцвет искусства в древней Греции совпал (и это ведь в глубоко верной связи совпал) с расцветом демократии. То же относится к Ренессансу — искусству великих демократических городов Италии (прежде всего Италии).

Это был культ святой Девы; это была эпоха прекрасных и гордых мужей (вы видите их портреты в галереях Лувра — на коричневом фоне смелые, как будто из бронзы выбитые лица), прекрасных, спокойно величавых жен. Святая девственница с младенцем Иисусом заполняет эти залы с их суровым, мужественным колоритом. Дева кроткая, дева святая, жизни дающая самое светлое свое, верная и верующая Дева. И дитя — безмятежное, или играющее, или тихо радующееся. Но вот святая Дева с младенцем Иисусом Флорентийской школы, под влиянием Guercia (15 века) — не спокойно властная, но полная предчувствия грозной участи, ожидающей сына, и покорно отдающая его судьбе, Мать — и дитя, в тревоге обнявшее мать свою за шею, прижавшееся к груди матери дитя. И будто для лучшего подчеркивания замысла — в стороне немного — дева святая, юная, с шаловливо и нетерпеливо отодвигающим ее руку, выбившимся из-под плаща, прикрывавшего было его, ребенком.

Несколько бюстов женских, и прежде всего бюст «неизвестной молодой женщины»

<sup>1</sup> Актеры и жонглеры (франц.).

<sup>2</sup> Малой Азии (франц.).

Франциско Лорана (вторая половина 15 века)... и так много еще другого прекрасного... Диана с козой — сильная, стройная, вольная, с ветром в волосах, торопящаяся вдали. Орфей (Петра Франшевилля, 16 века) — страдальчески и отдаленный дивным звукам, овладевающим всеми существами живущими. Прекрасны и эти наброски из коллекции Компаньи — и покойно лежащая корова, смелый эскиз среди сурового и высокого общего стиля, и дева мира, и строгая светлая святая жена, и болящий на ложе, и спящая Ариадна. А в соседнем зале — епископ (бюст его с тревожным огнем глаз под тяжелой, давящей тиарой), и скорбь матери у ног распятого (но у них у всех успокоенная) Христа, и дева с младенцем (его фигура разрушена временем), несущая его легко и радостно, как благую весть миру... — но прежде всего святой Иоанн (Туринская школа, середина 15 века), погруженный в самосозерцание, покорный и «немного грустный»... И пламенный св. Христоф (Christophe — 15 век) — кротко возбужденный, дышащий жадной просторных зеленых полей. И великого Донателло — Иоанн Креститель — этот полузакрытый взгляд, сладость гаящий внутри, и уста полураскрытые, слегка склоненная голова на хилом, истощенном теле, и легкие морщины вдоль лба от сосредоточенной силы внутреннего сладостного горения. Это — видение, перенесенное в мир, видение души, осиянной холодным светом вечности... И... (мне трудно говорить об этом) — Микеланджело, все же особый и здесь. Замысел его титанический, порывистый; мысли его — в бурных линиях, в ярких изломах черт. Тут две его вещи, знаменитые во всех бедкедрах, на всех языках превознесенные. Раб — один могучий, отчаянный дикий порыв связанного человека. Порыв жизни, силы! Анджело. Можем ли верить, что бесплоден он? Жизнь должна умереть, если так. Анджело! Жизнь... И покоренный, с последним страдающим движением — прекрасный, сильный юноша, та-ак покорный — раб. В цепях судьбы. Анджело! Н-нет... Сегодня только покорный...

18 июня.

Неведомый мне поэт попытался дать бюст Микеланджело: сильное, изрытое лицо и скорбное (великой скорбью творящего). Но... нет в нем кипучей жизненности Анджело...

В глубине последней залы перед ликами кротких мадонн и темными скорбными тенями, несущими прах незнамого, но, несомненно, благородного сеньора, — «Un roi»<sup>1</sup>, только на мгновение заглянувший сюда из круговорота балов, маскарадов, бурных охот и буйных сражений. Король, с мечтательной осанкой трубадура и сильной, гибкой грацией гидальго...

3 июля.

Лувр дарит все новыми неожиданностями. Вчера я зашел в отдел азиатской древности, минул несколько зал, поднялся во второй этаж. Здесь много скульптуры, носящей несомненный отпечаток греческого влияния, а там пошло кое-что от Ренессанса и старой веселой Франции... Среди бледных гобеленов, резных прямых кресел — хорошая, уверенно отделанная бронза.

И Донателло — Иоанн Креститель, — и несколько прекрасных по выразительности фигур Riccio! А потом... я был прямо ошеломлен — целая сокровищница открылась мне — великие итальянцы (только по этим наброскам чувствуешь уверенную их силу); и потом Рембрандт, Ван Дейк, Рубенс и Дюрер.

Я не скоро обошел эти залы (далеко не все!), и уже прозвенел сигнал к закрытию галерей. Сейчас мне не хочется останавливаться на всем этом.

Мне неможется в последнее время. Одна девушка, видевшая меня перед поездкой в Италию и только что вот мною встреченная, участливо стала расспрашивать обо мне (мне передали), что со мною — почему я таким измученным выгляжу... Она не знает и некому знать, что за дьявольщина в меня вселилась...

От Сиреновой нет писем, а ведь обещала сейчас же по приезде дать адрес. Сейчас я напишу ей суховатое заказное (чтоб обязательно дошло) письмо. Она ответит так же лаконично. Но все же ответит.

<sup>1</sup> Короля (франц.).

7 июля.

Живу я наконец один. Кажется, теперь уж нет оправданий безделью... И я... «не» бездельничаю. Хожу ежедневно в библиотеку, читаю книжку Burkhardt'a «Цивилизация в Италии в эпоху Возрождения» и о Донателло, кое-что дома читаю по-французски — Victor Hugo «Notre Dame»<sup>1</sup>, — утром и вечером вожусь с безработными, прискивая им работу. Но все это мизерно, не по моим силам. Гнетущее что-то есть на мне и во мне. Я писал недавно об этом Евгению в ответ на его коротенькое письмо с этим пренебрежительным отзывом о Санто Кампо в Генуе и советом читать то-то и вот это по эпохе Возрождения (советом я воспользовался). Занятия практические французским языком не наладились — хотя мне обещали найти человека, согласного уделить мне час в день pour causerie<sup>2</sup>.

13 июля.

Ночу я в себе сумасшедшую смуту. Третьего дня проходил по B-d Michel'у. Французы готовятся к празднику — разбирают палатки, раскладывают сласти и другие приманки. На углу B-d St. Germain ограда завешана пестрыми плакатами, грубо эффектными, но местами гравюры и меж ними несколько олеографий из журналов. Это моя Сиреневая. Ее мучительный свежий рот, этот нежный овал лица, обрамленный ее слегка вьющимися (от болезни) волосами, ее смелый очерк бровей, чуть намеченных, — только разрез глаз у Сиреновой еще более прекрасный и взгляд глубже и солнечней.

Я взял эту картину для себя и, мучась, шатаюсь от боли, пошел... Я скрежещу зубами и смеюсь.

Тоска по родной стране, по живому революционному делу звучит в каждом его письме из Парижа. «Все складывается так, что мне нечего думать в течение ближайшего времени выбраться в Россию», — с сожалением пишет он в феврале 1916 года Надежде Сергеевне Петровой в Нью-Йорк. «Несмотря на внешнюю деловитость, живу пусто, незаполненно... Делаю прежнее любимое дело, но нет непосредственного общения с живую, кровоточащей, бунтующей, с трепетной жизнью. Это нашлось бы для меня в России. Я остался русским при всем своем космополитизме, с русской неизгладимой тоскою, с русской безумной сентиментальностью».

Владимир Александрович неустанно думает над планами возвращения в Россию. Еще осенью 1915 года друзья прислали ему сто семьдесят пять франков на дорогу, но билет до Петрограда стоил тогда двести тридцать франков.

Жадно ловит Антонов-Овсеенко каждое известие о революционных выступлениях в России.

«Моя большая гордость говорит мне, что там, в России, живет... то, чему я отдал самую душу мою». А когда кто-то из оставшихся на родине друзей усомнился в твердости «Антон», он вскипел негодованием: «...Нет, я прежним остался, с прежним сознанием правильности того, что делал, с полной уверенностью, что продолжал бы и теперь делать то же и в прежнем направлении, может быть с большим еще размахом... Э-эх! Злость меня берет. Надежда! Показал бы я им — я же уверен, что их втянул бы снова. Но ведь я же знаю что миг один существовать мне там... Я же не могу пуститься на это, не оставив как можно прочнее там свое бытие. Но, может быть, я все же не выдержу — такие дела творятся. Мне надо радикально изменить физиономию. Это требует много денег, не говоря уже о паспорте. Я сравнительно легко достал бы денег на всяческие дела, но на такую «авантюру» не могу — люди солидные «сумасшествию» помочь не хотят. А с их точки зрения безумие мне возвращаться в Россию».

## ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АНТОНОВЕ-ОВСЕЕНКО

М. Е. Гремяцкая

Наша группа организовалась весной 1908 года. Ядро ее составили работники Пресненского, Лефортовского и отчасти Замоскворецкого районов. Пресненские были по большей части «смоляне», знакомые между собой по подпольной работе в их родном Смоленске и соседних небольших городах и местечках. Это были: Борис Зеликин, студент; Михаил Антонович Гремяцкий (товарищ Пантелей, впоследствии мой муж), также студент; Владимир Яковлевич Белоусов (товарищ Зилот), старый подпольщик, большевик с 1917 года (был в 1937 году оклеветан и, по слухам, погиб в Сибири), рабо-

<sup>1</sup> Виктор Гюго. «Собор Парижской богородицы» (франц.).

<sup>2</sup> Чтобы поболтать (франц.).



тал, кажется, не в Пресненском, а в Замоскворецком районе; в Пресненском работал Сергей, деревообделочник, и двое его товарищей, рабочих того же предприятия. Сергей позже, году в 1911, эмигрировал в Австралию. Членом группы был и студент Прокулевич Владимир Михайлович, «Володише необъятное».

Из Лефортовского района членами группы были сестры Опочинины, Нина и Мария Евгеньевны («Вера» и «Елена») — это мы с сестрой, студентки Высших женских курсов, и «Костя», Иосиф Шур (по профессии, кажется, литейщик), незадолго до того приехавший в Москву после побега из ссылки. Замоскворецкими работниками были, кроме Зилота, две студентки: Надежда Сергеевна Петрова и Ида Ивановна Берман-Штерн.

С Владимиром Александровичем мы встретились впервые ранней осенью 1908 года на нелегальном собрании в медицинской библиотеке около Девичьего поля. Там периодически собиралась московская организация. Возможно, это было только вечером или в праздничные дни, когда в библиотеке никого не бывало.

Мы считали, что подпольная работа должна продолжаться и все подпольные связи должны быть сохранены. А легальные профсоюзы и кооперативы, которые мы организовывали, позволяли сохранить в годы реакции передовые рабочие кадры и привлекали на нашу сторону широкие массы. Владимир Александрович был гораздо старше большинства членов группы. У нас, кроме Зилота, была все молодежь. Борис, Костя, Сергей считались уже людьми солидного возраста, а им было по двадцать четыре года (Сергею даже двадцать пять). Моей сестре «Вере» и «Володише необъятному» было по двадцати одному году, «Пантелею», Наде и Иде — по двадцати лет, мне — около девятнадцати. А Владимиру Александровичу шел уже двадцать седьмой год, за плечами была долгая революционная работа, участие в вооруженных восстаниях, аресты, суд, отчаянные побег...

За зиму 1908—1909 годов были организованы три рабочих кооператива, велась подготовка к созданию большого рабочего клуба, который и был открыт летом или к осени 1909 года на Брестской улице под названием «Клуб общедоступных развлечений».

«Антон» (Владимир Александрович) был неутомим на нелегальных собраниях и на организационных — в рабочих кооперативах и в клубе; всюду он выступал с горячими, убедительными речами. Голос у него был сильный, с глубокими, выразительными интонациями.

Была у него необыкновенная жадность до людей. Он всюду обрстал знакомствами, и, если его что-нибудь в человеке привлекало, знакомство быстро превращалось в дружбу.

Его арестовали вместе с группой участников одного легального рабочего профсоюзного собрания. Мы были очень встревожены: согласно полицейским порядкам ему предстоял этап к месту рождения мифического Антона Гука для опознания. Антонов-Овсенко ожидал провал и после установления личности — смертная казнь.

Чтобы спасти товарища, мы решили подкупить старосту местечка Креславка, куда должны были под конвоем доставить Антона. Больше всего для этого сделали мужчины нашей группы. Не помню уж, какую сумму мы сочли минимальной — то ли двести, то ли триста рублей, — но в последний момент нам не хватило пятидесяти рублей. Тогда я пригласила к себе одного студента, беспартийного: «Нашему товарищу грозит смерть, доставьте деньги». Студент сказал, что не сможет собрать такую сумму, да еще срочно. А наутро он деньги принес...

Новое препятствие: заболел Борис, которого было решено командировать в Креславку. Вместо него решили послать кого-то другого. Наш посланник поручение выполнил добросовестно: подкупленные им староста и писарь Креславки бросились обнимать доставленного под конвоем «Антон Гука»:

— А помнишь, как я тебя в армию провожал?

— А помнишь, как мы на свадьбе гуляли?

Словом, сцена была разыграна настолько правдиво, что Антонов-Овсенко был вскоре освобожден из-под стражи.

Обо всем этом Антон со смехом рассказывал по возвращении в Москву.

Ему нужно было немедленно скрыться, но он остался и продолжал работать.

Помню, как мы вскоре после счастливого возвращения Антона из Креславки отмечали день его рождения — 9 марта 1910 года. Денег у нас, как обычно, не было, мы просто поехали на воздух, в Петровский парк. Снег начал уже оседать, чувствовалась весна. Антон был весел, залез на дерево и пел что-то...

Был он человеком необычайно искренним, какой-то порывистой силы, очень непосредственным.

\* \* \*

Полицейские преследования заставили Антонова-Овсеенко бежать за границу. Летом 1910 года он прислал мне первое письмо из Льежа, потом писал из Парижа. Он был очень щедрым корреспондентом. Бывали периоды, когда он писал ежедневно, потом, когда случались перерывы, он присылал большие письма — целые дневники с подробным отчетом о своей жизни и работе.

Весной 1911 года я собиралась в Италию (у меня обострился процесс в легких) и написала Антону, что в один прекрасный день нагряну в Париж, постучу в его дверь, он крикнет: «Entrez!» — и тут я войду...

В конце апреля я приехала в Геную и устроилась в скромном отеле в Нерви.

Однажды горничная постучала в мой номер и доложила о визитере, я сказала: «Entrez!» — и вошел Антон.

Он приехал из Парижа совсем неожиданно. В Нерви он пробыл три дня.

Антон был почти без денег, но не признавался в этом, зная, что и у меня нет. Остановился он в квартире знакомого библиотекаря, у которого был маленький ребенок. Семья жила в большой тесноте, и всю последнюю ночь деликатный Владимир Александрович просидел на берегу моря...

Позднее, будучи полпредом в Чехословакии, Антонов-Овсеенко приезжал в Италию. В 1929 году он опубликовал в журнале «Красная новь» стихотворение:

#### АППЕНИНЫ

На южных склонах Аппенин —  
Оливковые рощи,  
Там очертанья мягче, проще  
Весне отдавшихся долин.  
На южных склонах Аппенин  
Шпалеры винограда.  
И льется чистая прохлада  
От голубеющих вершин.  
На южных склонах Аппенин —  
Ленивая дорога...  
И грустно мне, мой друг, немного,  
Что я здесь без тебя, один...

Цикл стихотворений, куда вошли и «Аппенины», Антонов-Овсеенко подписал своим старым псевдонимом «Антон Гук».

За время его эмиграции мы с ним виделись один раз, в 1911 году. Нашу переписку прервала мировая война. И вот зимой 1917—1918 годов пришло мне толстое письмо с рассказом обо всем пережитом за эти годы. Написано оно было так, как будто мы виделись совсем недавно и беседовали, как очень близкие друзья. А ведь переменилось так многое в жизни.

Зимой 1921—1922 годов Антонов-Овсеенко, работавший тогда в Самаре, приехал в Москву на какое-то большое партийное собрание с участием Ленина. Владимир Александрович предупредил Ленина, что будет выступать и выступит очень резко: в то время как на Поволжье гибнут от голода сотни тысяч крестьян и рабочих, здесь, в столице, полно беспечно веселящихся людей, многие ни в чем себе не отказывают...

В Париже, который стал центром русской политической эмиграции, Антонов-Овсеенко сблизился с группой Мартова, но с первых же дней мировой войны он порвал с меньшевиками. Вместе с Д. Мануильским Владимир Александрович основал ежедневную газету «Наш голос»<sup>1</sup>

Критикуя центристскую позицию «Голоса» и «Нашего слова», В. И. Ленин положительно оценивал деятельность последовательных интернационалистов, среди кото-

<sup>1</sup> Позднее — «Голос», «Наше слово», «Начало», «Новая эпоха».

рых был и Антонов-Овсеенко. Вскоре, по инициативе Владимира Ильича, парижская секция большевистской партии создала Клуб интернационалистов. Антонов-Овсеенко был избран членом правления клуба. А в редакции газеты Владимир Александрович (литературный псевдоним Антон Гальский) возглавил левое крыло

### И. М. Полонский

Когда я прибыл в Париж после удачного побега из Сибири в 1912 году<sup>1</sup>, то сразу же обратился в бюро труда. Председателем этого бюро был Владимир Александрович Антонов-Овсеенко. Он сумел создать информационную сеть: каждый русский эмигрант, устроившийся на работу, узнавал о других вакансиях и сообщал эти сведения в бюро.

Владимир Александрович принимал живое участие в каждом нуждавшемся эмигранте. Он доставал даже те несколько су, которые были нужны на трамвай или метро к месту работы. Сам же он очень бедствовал и постоянно болел. Вид у него был совершенно изможденный, одежда изношена до предела. Мы все смотрели на него, как на святого. Это был очень чистый человек, чистый и в помыслах и в делах. Жил он только идеей. Делать людям добро было для него потребностью.

В 1912 году уже существовала эмигрантская касса. Клуб этой кассы находился на улице Белой Королевы (rue de la Reine blanche) около Авеню де Гоблэн. Там мы и встретились с Антоновым-Овсеенко.

В Париже существовала большевистская секция РСДРП, секретарем которой был Григорий Беленький — образованный марксист. Я вступил в эту секцию, а в 1915 году — в Клуб интернационалистов<sup>2</sup>. Там мы снова встретились с Антоновым-Овсеенко. Хотя Владимир Александрович формально и не входил в нашу секцию, но в Клубе интернационалистов и в газете «Наше слово» он стоял на позиции, очень близкой Ленину. В один из своих приездов в Париж Ленин выступал в зале Ваграм на вечере, посвященном памяти Герцена; я видел там и Антонова-Овсеенко.

В Париже мне довелось печатать издававшийся Лениным в Швейцарии центральный орган партии «Социал-демократ».

...1917 год, первые вести о февральской революции в России. В парижском зале Ваграм — митинг, устроенный французской социалистической партией в поддержку Временного правительства... Бельгиец Вандервельде от имени II Интернационала выступил с шовинистической речью.

Мы все были здесь — Антонов-Овсеенко, Лозовский, другие товарищи. И мы устроили такую обструкцию оратору, что стены видавшего виды концертного зала дрожали. Больше всех старался Антонов. С каким жаром и задором он вновь и вновь выкрикивал: «A bas la guerre!» (Долой войну!)... Нам угрожали, пытались вывести, но мы продолжали свое.

После Октябрьской революции я работал в Москве, а потом с мандатом ЦК направился в Крым. До 1919 года я руководил крымским подпольем, а после установления в Крыму советской власти вошел в состав правительства в качестве наркома труда.

В 1919 году вернулся в Москву и был избран членом ЦК профсоюза пищевиков.

В 1920 году я случайно встретился с Антоновым-Овсеенко, и он с присущей ему энергией и настойчивостью уговорил меня принять участие в организации отдела охраны труда Наркомтруда РСФСР.

— Это совершенно новое дело, — говорил Владимир Александрович, — нам предстоит организовать охрану труда на предприятиях, которые принадлежат самим рабочим. Это одно из самых замечательных завоеваний Октября!

### А. М. Вишняк

С 1906 года я жила и училась в Швейцарии. Там познакомилась с Я. И. Вишняком, который приезжал из Парижа, и в начале 1912 года, будучи уже его женой, переехала в столицу Франции.

<sup>1</sup> Был арестован в 1906 году во время забастовки на спичечной фабрике «Молния» в городе Мозыре, на реке Припять. В 1909 году был отправлен из тюрьмы на вечное поселение в Сибирь.

<sup>2</sup> В то время я уже был рабочим завода «Рено», а до этого полтора года работал шофером такси, а также на строительстве.

В 1914 году мы сняли в Париже квартиру на улице рю Эрнест Крессон (rue Ernest Cresson). Рядом, параллельно этой улице, тянулась рю Дагер (rue Daguerre). Там помещалась в то время типография, где печаталась интернационалистская газета «Наше слово» (первоначальное название «Голос»).

При квартире была на верхнем этаже маленькая комнатенка для прислуги, где, кроме кровати и столика, ничего не было.

Антонову-Овсеенко (тогда мы его знали как Антонова, а в тесном кругу звали Антоном) приглянулась именно эта комнатенка: два шага до типографии.

— Это мне подойдет,— сказал он и тут же въехал в новую «квартиру».

Кроме газет, никакого имущества у него не было. Однако работать в этой клетушке было трудно и, главное, холодно. Поэтому Антонов вставал очень рано и устраивался в нашей столовой.

Наша мебель состояла из одних лишь книжных шкафов и столов. Единственным предметом роскоши была кушетка, по-французски — «канапе» (canapé). Антонов называл ее нежно «канапочкой».

Иногда Антонов выпивал утром с нами стакан чая (еду и сон он считал досадной необходимостью) и уходил на весь день в редакцию. Топили в то военное время плохо, и мы попросили Антонова переехать к нам вниз. Он принял приглашение, и с тех пор «канапочка» стала его постелью.

Дом принадлежал некоему Куйюба (свою карьеру он начал в качестве шансонье на Монмартре, а кончил... сенатором). Куйюба держал красивую консьержку, от которой во многом зависел наш покой: у нас часто бывали заходившие прямо из редакции товарищи Лева Владимиров (Шенфельдт), Безработный (Мануильский), Лозовский и другие; позднее здесь образовалось подобие штаба, и полиция начала слежку. Мой муж получил «поручение» — ухаживать за консьержкой. Видимо, он пользовался успехом: привратница сообщала ему всякий раз о визите полицейских.

В типографии печатный станок крутили по очереди Бер, Лозовский, Мануильский и Антонов-Овсеенко.

Хозяином типографии был Рираховский.

Мой муж когда-то учился в Сорбонне вместе с французом месье Шалем. В ту пору они давали друг другу обменные уроки. Во время войны Шаль благодаря знанию русского языка был назначен цензором. Вот почему, когда нужно было «проташить» какую-нибудь острую статью, к цензору посылали Вишняка: он вызывал месье Шаля на воспоминания, и тот иногда так увлекался, что пропускал наш «крамольный» материал.

Помнится мне юбилейный вечер газеты, устроенный по случаю выхода сотого номера «Голоса». Безработный, очень талантливый пародист подготовил целую программу, в которой фигурировали все сотрудники газеты.

Мне на этом вечере был преподнесен подарок — сто номеров газеты, перевязанных красной лентой с надписью.

Безденежье сделало нас изобретательными. Устраивали вечера с концертом. Я занималась устройством там лотерей и чайного буфета, а муж (у него одного был смокинг) приглашал артистов, по возможности бесплатно.

Следующие эпизоды показывают, от каких случайностей подчас зависел финансовый успех концерта.

Однажды мой муж договорился с одним итальянским артистом об его участии в концерте и, прощаясь, сказал по рассеянности: «До свидания, товарищ». Итальянец с ужасом посмотрел на него и исчез. На концерт он, конечно, не явился.

В другой раз концерт, устраиваемый якобы «в пользу русских сирот», запретила полиция. Нужно было вернуть деньги людям, купившим билеты. А билеты подороже обычно разносили по домам молодые юноши и девушки парами.

Один билет приобрел богатый русский купец, только что прибывший в Париж. Он «отвалил» за свой билет значительную по тому времени сумму. Пара, едвшая к нему отдавать деньги, вернулась расстроенной. Оказывается, купец страшно разорался, когда узнал о полицейском запрете.

— Сколько вы рассчитывали выручить за концерт? — осведомился он.  
 — Пятьсот франков (точно цифру не помню),— ответили молодые «курьеры».  
 — Натe! — И купец выложил эти деньги на стол.— Пусть знают французишки, как русских обижать.

Деньги поступили в нашу кассу, но огорчение не прошло: юноша с девушкой не могли себе простить, что так «продешевили».

...Осень 1937 года. Генерального консула Антонова-Овсенко вызывают из Барселоны в Москву. Он уже знает об аресте Дыбенко и Крыленко, товарищей по октябрьским боям и гражданской войне. Уж нет в живых Тухачевского, да и многие другие его боевые соратники расстреляны как шпионы. Он оглядывается на свою жизнь — нет, он чист перед партией и народом.

В тюрьме, в последние дни жизни, его видел Юрий Томский, арестованный в мальчишеском возрасте после гибели своего отца — Томского Михаила Павловича.

### Ю. М. Томский

Владимира Александровича Антонова-Овсенко привели в нашу камеру на третьем этаже Бутырской тюрьмы в феврале 1938 года.

Был он нездоров, с опухшими ногами, но держался удивительно бодро. Во второй половине дня вокруг него обычно собирались все обитатели камеры, и Владимир Александрович рассказывал о своих встречах с Лениным, об Октябрьской революции, о борьбе испанского народа против фашизма. О себе он говорил очень скупно.

Владимир Александрович ничего не подписал на «следствии». В его деле было триста листов. С негодованием вспоминая следователя, который предупредил его о предстоящей казни. Помнится один эпизод, рассказанный Владимиром Александровичем. Во время одного из допросов в кабинете следователя не был выключен радиопродуктор. Следователь, обозленный упорным отказом арестованного подписать клеветнические материалы, назвал старого революционера врагом народа.

— Ты сам враг народа, ты настоящий фашист,— ответил ему Владимир Александрович.

В этот момент по радио передавали какой-то митинг.

— Слышите,— сказал следователь,— слышите, как нас приветствует народ? Он нам доверяет во всем, а вы будете уничтожены. Я вот за вас орден получил!

...Окно нашей камеры было закрыто так называемым «козырьком» — большим железным коробом. Эти козырьки оставляли для глаз заключенных лишь узкую полоску неба. В один солнечный день в камеру через козырек проник воробей, сидел немного на подоконнике и улетел.

— Сегодня кого-то вызовут,— сказал один из заключенных.

Через четверть часа надзиратель вызвал Антонова-Овсенко. Владимир Александрович начал прощаться с нами, потом достал черное драповое пальто, снял пиджак, ботинки, раздал почти всю свою одежду и встал полураздетый посреди камеры.

— Я прошу того, кто доживет до свободы, передать людям, что Антонов-Овсенко был большевиком и остался большевиком до последнего дня.

Мы стояли молча, потрясенные. Дверь камеры открылась вновь. Антонов-Овсенко направился к выходу. У самого порога он остановился, обнял товарищей, стоявших рядом.

— Прощайте, товарищи, не поминайте лихом!

...Прошли годы. Я встречался со многими замечательными революционерами, но образ Антонова-Овсенко, с которым судьба свела нас на короткое время в тюрьме, образ этого душевного человека и несгибаемого коммуниста забыть нельзя.

*Публикация и комментарии  
 Антона Ракитина*



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДЕМЕНТЬЕВ



## А. М. ГОРЬКИЙ И СОВЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

(По неопубликованным материалам<sup>1</sup>)

Седьмого июня 1930 года А. М. Горький послал коллективу сотрудников редакции журнала «Наши достижения» следующее письмо:

«Дорогие товарищи! — мне захотелось сказать Вам искреннее, горячее спасибо за вашу работу по журналу, который, благодаря вашей энергии, становится все более живым, интересным.

Весьма возможно, что благодарность моя и неуместна, и смешна, — пусть так! А я все-таки говорю: спасибо, товарищи!

Не думайте, что эти слова «ответственного редактора», подполковника от литературы и т. д. Нет, это благодарность товарища по работе и человека, который 30 лет — начиная с «Жизни» — проредактировал и «вывел в свет» не одну сотню книг. Он благодарит, радуясь успеху дела, в котором участвует, и потому, что он хорошо знает, как трудна, неблагодарна, но как важна и необходима редакционная и техническая работа по журналу.

Дружески крепко жму ваши руки, товарищи! Здоровья и бодрости духа желаю Вам.

А. Пешков».

Действительно, Горький не только придавал журналам большое значение, но и постоянно — от начала и до конца своей литературной деятельности, а особенно после Октябрьской революции — отдавал работе в них много сил и времени: то в каче-

стве главного редактора, то в роли руководителя литературного отдела, то как ближайший и заинтересованный сотрудник.

Горький был выдающимся деятелем советской журналистики, продолжателем славных традиций передовой русской печати XIX века, его богатейший опыт сохраняет и по сей день свое живое, актуальное значение.

### I

В октябре 1921 года Горький уехал за границу. Я уехал из России «потому, что был болен, и на отъезде моем за границу настаивал В. И. Ленин. Тогда у нас в России санаторий еще не было», — писал Горький С. В. Брунеллеру.

В 1923 году Горький организовал в Берлине издание журнала «Беседа» и выпускал его в течение двух лет (вышло семь номеров). Некоторый материал, характеризующий «Беседу» и работу Горького в этом журнале, содержится в письмах Горького к В. Ходасевичу, опубликованных в 1952 году в США. В. Ходасевич, ведавший в «Беседе» отделом поэзии, а в 1925 году перебежавший в Париж к белогвардейцам, в своих комментариях к письмам утверждает, что идея издавать «Беседу» возникла якобы потому, что частные издательства и журналы в Советской России закрылись и писателям, желающим выступать «через голову цензуры и казенных редакций», стало нелегко печататься.

Но эти «комментарии» Ходасевича не имеют ничего общего с действительностью.

Горький неоднократно заявлял, что «Беседа» издается главным образом в целях

<sup>1</sup> В ближайшее время в издательстве «Наука» выходит двухтомник «Горький и советская печать», подготовленный Архивом имени А. М. Горького. Настоящая статья написана по преимуществу на основе материалов, помещенных в этом издании.

ознакомления русского читателя с европейской литературой и наукой, и в соответствии с этой задачей подбирал основной материал для журнала. «Это будет ежемесячник в 25 печатных листов,— писал он Г. Уэллсу 16 апреля 1922 года,— цель его — ознакомление русских грамотных людей с научно-литературной жизнью Европы». В том же духе Горький писал тогда и другим зарубежным писателям (Р. Роллану, Д. Голсуорси, Ф. Элленсу, Б. Шоу, Э. Синклеру и другим), приглашая их сотрудничать в «Беседе».

Белая эмиграция никогда не вызывала у Горького ничего, кроме резкого осуждения. Он решительно отказывался участвовать в каких-либо эмигрантских изданиях и писал об эмигрантской литературе в декабре 1921 года И. П. Ладыжникову: «Читаю литературу эмигрантов,— какая жуткая бедность мысли, какое нищенское знание действительности... И — бабья, истерическая злоба. А в общем — декаданс, вырождение...» А когда эмигрантская и буржуазная печать, цепляясь за ошибки и заблуждения Горького тех лет, распустила слухи о его враждебном отношении к советской власти, он выступил с совершенно недвусмысленным ответом. «Распространяются слухи, что я изменил мое отношение к Советской власти,— говорилось в письме Горького в редакцию газеты «Накануне» (20 сентября 1922 года),— нахожу необходимым заявить, что Советская власть является для меня единственной силой, способной преодолеть инерцию массы русского народа и возбудить энергию этой массы к творчеству новых, более справедливых и разумных форм жизни Уверен, что тяжкий опыт России имеет небывало огромное и поучительное значение для пролетариата всего мира, ускоряя развитие его политического самосознания».

Исключительное значение для характеристики журнальной деятельности Горького в двадцатых годах, ее содержания и направления имеет переписка Горького с Воронским, отражающая активное участие писателя в становлении и работе «Красной нови» — одного из лучших журналов двадцатых годов.

Как известно, журнал «Красная новь» был основан по инициативе Н. К. Крупской и Воронского. В начале февраля 1921 года они обратились с соответствующим предложением в Политбюро ЦК РКП (б) от име-

ни Главполитпросвета. С другой стороны, очевидно, что важную роль в возникновении «Красной нови» сыграл Горький. В марте 1921 года он едет к В. И. Ленину и говорит с ним о молодых писателях, которым надо писать большие вещи «и печатать их в больших журналах». Рассказывая об этой встрече с В. И. Лениным Вс. Иванову, Горький сообщал ему: «...Решено в ближайшие месяцы начать издание большого толстого журнала... Мне предложили завести литературным отделом. Я не прочь».

Согласившись взять на себя литературный отдел «Красной нови», Горький очень энергично принялся за дело. Он привлек к участию в журнале молодых писателей из кружка «Серапионовы братья» и в первом же номере напечатал «Партизан» Вс. Иванова — вещь, которая, по словам Воронского, «уже тогда наметила художественную физиономию журнала». Он рекомендовал Воронскому обратиться к С. Подъячеву и И. Вольнову, и тот воспользовался этим советом.

Первый номер «Красной нови» вышел в июне 1921 года. Горький редактировал журнал до своего отъезда за границу. «Рукописи, предназначенные в номер, носились к Горькому — он был шефом журнала», — вспоминает секретарь редакции «Красной нови» Е. В. Муратова.

Под влиянием Горького определилось литературно-художественное направление «Красной нови»: журнал с первых же шагов поднял знамя реализма, классических традиций русской литературы. Это было сразу замечено. Д. Фурманов писал о первой книжке журнала: «Можно только приветствовать, что и в художественных произведениях, и в литературно-критических очерках — ясная линия реализма, совершенно чуждого крикливым и дешевеньким забавам неистовых футуристов и имажинистов, пытающихся внутреннюю пустоту скрыть под размалеванной внешностью».

Воронский еще с дореволюционных времен относился к Горькому с глубоким уважением и любовью, высоко ценя его как писателя. Он прекрасно понимал огромное значение Горького для журнала. «Красная новь» была в основном ставкой на Вас, на вашу литературную традицию, я сказал бы — на вашу школу. Когда я думал и думаю о литературе наших дней — я всегда держу в памяти вас — Толстого и Вас.

Это — сушая правда», — писал Воронский Горькому 26 ноября 1927 года.

Крепкая связь с «Красной новью» сохранилась у Горького и после отъезда за границу. Он пристально следил за журналом, за каждым его номером, постоянно откликаясь на опубликованные в нем произведения. «Знаете, — очень хорош в «Кр[асной] нови» М. М. Пришвин, очень! И даже Соколов-Микитов понравился мне. Сие бо есть литература настоящая, Ремезовской школы, «языкатая», русская — «мозги набекрень» и прочее. Очень хорошо!» — пишет он Ходасевичу в августе 1923 года. В апреле следующего года Горький обращает внимание Ходасевича на печатавшиеся в «Красной нови» «беллетристические комментарии» В. В. Вересаева к стихам Пушкина, а несколько позднее — на рассказ Л. Леонова «Конец мелкого человека» и новеллы Бабеля: «Леонов очень хорошо!.. На Бабеля — надеюсь очень».

Но Горький не был просто читателем «Красной нови», хотя бы и весьма внимательным. Переписка писателя с Воронским показывает, что его связь с журналом оставалась самой тесной, деловой и практической. Он радуется успехам журнала и огорчается его неудачам, оценивает и характеризует напечатанные в нем произведения, определяет круг желательных для «Красной нови» сотрудников («старики»: М. Пришвин, С. Сергеев-Ценский, А. Чапыгин, Ф. Гладков и другие; молодые: Вс. Иванов, Н. Тихонов, В. Казин, Л. Леонов, К. Федин, И. Бабель, С. Есенин и другие), советует откликнуться в журнале на появление тех или иных книг (скажем, «Республики Шкид» Г. Белых и Л. Пантелеева), оспаривает отношение Воронского к Б. Пильняку и С. Клычкову, ободряет его в трудные минуты, делится с ним мыслями по поводу советской и зарубежной литературы и происходящих в них изменений. Одним словом, Горький и в годы жизни за границей продолжал по мере возможности выполнять обязанности руководителя литературного отдела «Красной нови».

В 1923 году не вышло буквально ни одного номера «Красной нови», в котором не были бы напечатаны произведения Горького. В первом номере журнала за 1923 год — «Время Короленко», во втором, третьем и четвертом — «Мои университеты», в пятом — «Сторож», в шестом (журнал выходил раз в два месяца) — «О первой любви».

А в последующие годы Горький передал «Красной нови» рассказы «Городок», «Знахарка», «Паук», «Пожары», «Могильщик», «Бугров», «Пастух», роман «Дело Артамоновых», воспоминания о Гарине-Михайловском, значительные куски из романа «Жизнь Клим Самгина».

Воронский чрезвычайно дорожил и советами и указаниями Горького, и его сотрудничеством в «Красной нови». Рекомендации Горького он, как правило, принимает к выполнению, на некоторые его мнения и соображения, высказанные в письмах, ссылается в своих статьях, настойчиво старается заполучить в журнал новые произведения писателя, посвящает характеристике его творчества последних лет специальную статью. «Ваше сотрудничество ценно и нужно не для журнала только, а для нашей литературы вообще». «Красная новь» с величайшей любовью относилась и относится к Вам», — писал Воронский Горькому 19 февраля 1924 года. А через несколько дней снова подчеркивал: «Ваш уход страшно затруднил бы журналу борьбу за настоящую литературу».

Со своей стороны Горький очень любил и ценил «Красную новь» и уважал редактора журнала Воронского. Когда в конце 1924 года Воронский был на некоторое время отстранен от руководства журналом, Горький писал ему: «Я глубоко огорчен тем, что Вы ушли из «Красной нови», и уверен, что этот журнал «напостовцы» погубят. Не буду говорить о том, что Ваша работа в «Красной нови» имела большое значение для русской литературы, и, разумеется, честные литераторы, наверное, также взволнованы фактом устранения Вас от дела, Вами созданного, как взволнован этим я, искренне уважающий Вас. Я знаю, чего стоила Вам «Красная новь».

Можно предполагать, что Горький хлопотал тогда о возвращении Воронского в «Красную новь». Но через два с половиной года Воронский вынужден был навсегда покинуть «Красную новь». Горький и печалился и недоумевал по этому поводу. «Вами создан самый лучший журнал, какой возможно было создать в тяжелых условиях, хорошо известных мне», — писал он Воронскому 23 марта 1927 года. То же самое говорил он за два дня перед этим и в письме к Ф. Гладкову.

Однако, отвечая Горькому, Воронский и в письме от 30 марта 1927 года, и в после-



дующих письмах весьма односторонне и по сути дела просто неверно осветил причины своего ухода из «Красной нови». Воронский был снят с поста редактора «Красной нови» в связи с тем, что примкнул в то время к троцкистской оппозиции, начал отходить от партийных позиций в литературе. В связи с этим стала изменяться в худшую сторону и «Красная новь». Журнал отрывался от социалистического строительства и утрачивал перспективны. В прозе и поэзии зазвучали ушербные настроения, критика стала благодушнее относиться к проникновению чуждых идей в литературу и почти полностью свелась к групповой борьбе с ВАППом и журналом «На литературном посту». В апреле 1927 года недочеты и ошибки журнала подверглись справедливой критике на расширенном заседании отдела печати ЦК ВКП (б).

Жившему в Сорренто Горькому, несомненно, была далеко не ясна эволюция политических и литературных взглядов Воронского. Но это вовсе не означает, что он был во всем согласен с Воронским и безоговорочно поддерживал его линию в журнале. Совсем нет: между Горьким и Воронским имелись и существенные разногласия.

Прежде всего Горький и Воронский по-разному оценивали общее состояние советской литературы во второй половине двадцатых годов.

Воронский и в своих письмах к Горькому, и в статьях тех лет нередко довольно пессимистически характеризует положение в литературе: «в литературе серовато», «тонем в мелочах», «очень уж смутные настроения среди писателей», «мрачен Всеволод Иванов и нет вообще «изюминки» в том, что сейчас пишут», «уж очень развелось много прытких и прытчайших людей... Прореху от них нет» и т. д. и т. п.

Горький, не закрывая глаза на трудности и отрицательные явления, все же представлял состояние и перспективы советской литературы иначе — шире и глубже. В ответ на жалобы Воронского он писал ему 18 июня 1925 года: «С великой жадностью слежу, как расцветает наша литература, памятуя, что Петрарки и Данты не явились бы, не будь прежде их трубадуров Прованса». И через год, в другом письме: «Да, Вс. Иванов — ворчит: «мы — страна провинциальная, писатели — провинциальные». Послал ему утешительный ответ: здесь — хуже, Париж — не Афины, Лондон — не Флоренция

эпохи Возрождения и вообще здесь Возрождением не пахнет, всяческая же реакция становится все более душной.

«Смутные настроения среди писателей» весьма чувствуются мною, но понимаю я их — плохо. Т. е. — причин для возникновения сих настроений не понимаю. Экономически трудно живется? Так ведь писатель-«разночинец» всегда — в этом отношении — плохо жил. Устал и больше не хочет жить плохо? Увы, — я думаю, что это еще надолго.

Но хотя живет он плохо, а литературу делает хорошую, что подтверждается и Вашей оценкой «Чертухинского балакиря»... Очень характерно, что художников соблазняет «роман», широкие полотна. Сегодня получил «Колокола» Евдокимова, вчера «Вихрь» Демидова. Недавно познакомился с М. Козыревым и В. Андреевым. Все это — крайне интересно. Ведь вы — подумайте, — только десять лет прошло, а как много сделано? И, право же, ценного — больше, чем это видишь с первого взгляда.

Тогда же по поводу пессимистических представлений о советской литературе Горький писал В. П. Полонскому. И можно с уверенностью сказать, что и на этот раз он имел в виду Воронского и других критиков «Красной нови». «Вы совершенно правы: «хныканье и пессимизм надобно оставить», — соглашался Горький с Полонским. — Удивляюсь господам критикам — о чем плачут? Плакать не о чем. Такого подъема в литературе, какой ныне наблюдается, — никогда еще не было. Это — факт. Плохо пишут? Правильно, очень многие пишут плохо. Но, когда нам было по шести, восьми лет от роду, мы тоже плохо говорили. Потом — научились говорить лучше. Не правда ли?»

Расходились Горький и Воронский и в оценке творчества ряда советских писателей. Так, Воронский, подвергнув глубокой и справедливой критике идейное направление произведений Е. Зяматина, написанных после Октября, все же явно преувеличивал размеры его дарования. Талантливым он считал и антиреволюционный роман Зяматина «Мы». Горький же полагал, что «избыток ума мешает Зяматину правильно оценивать размеры своего таланта. Ум Зяматина — не яркий и обманывает его. Мысли у него — слепые». В особенности отрицательно отнесся Горький к роману «Мы». В одном из писем И. Груздеву он сказал о нем точно

и метко: «Мы» — отчаянно плохо, совершенно не оплодотворенная вещь. Гнев ее холоден и сух, это — гнев старой девы».

Столь же различно относились Горький и Воронский к творчеству Б. Пильняка. Воронский считал Пильняка чуть ли не самым талантливым прозаиком двадцатых годов и всячески благоволил ему. Горький же не любил Пильняка и не раз отзывался о его «рваной, болтливой прозе» в высшей степени отрицательно. Пильняк, по мнению Горького, «просто не умеет написать рассказ в достаточной мере связно и это свое неумение пытается выдать за «новаторство».

Характерное расхождение между Горьким и Воронским обнаружилось и при оценке романа С. Клычкова «Чертухинский балакирь». Горький справедливо считал, что Воронский преувеличил художественную значимость романа Клычкова и «недостаточно «разоблачил» его философию. Горький утверждал, что мало характеризовать дуализм и идеализм как пессимистические системы мышления (Воронский критиковал роман Клычкова за дуализм и поэтизацию патриархальщины), но «гораздо важнее доказать, что лишь материализм и монизм могут служить источником пафоса, источником героического мироощущения, что лишь на этой почве человек возникает во всем своем величии, еще неясном нам...»

Эти мысли Горького об идеализме и материализме, о дуализме и монизме вплотную подводят нас и к его серьезным возражениям Воронскому по поводу понимания им творчества самого автора «Дела Артамоновых» и «Жизни Клима Самгина». В общем, писатель относился к трактовке критика весьма одобрительно, но некоторые существенные положения его статей «О Горьком» и «Вопросы художественного творчества» он считал ошибочными. Так, категорически отверг Горький утверждения, что ему присуще пессимистическое восприятие мира, «как ненадежного, коварного и страшного хаоса», — восприятие, от которого «прямая дорога к философскому и художественному солипсизму». «Вы приписали мне взгляд «на природу, на космос как на хаос», — это не совсем верно...» — говорил Горький в «открытом письме» Воронскому.

«Вы сказали также, что я «не верю в прочность мира». Не вижу мотивов для такого утверждения. Нет, я убежден, что мир достаточно прочен и что в нем можно работать, не смущаясь размышлениями о гибели

его. Что же касается природы, на мой взгляд, она — сырой материал, который обрабатывается и должен обрабатываться все более активно, более умело нашей волей, интуицией, воображением, разумом в интересах нашего обогащения ее «дарами», — ее энергиями».

«Вы говорите, что от моих взглядов «прямая дорога к философскому и художественному солипсизму». Думаю, что у меня нет и не может быть причин бояться этого «уклона». Я — антропofil и геофил; для меня прежде всего существует человек и земля, на которой, работая, он создает для себя «вторую природу».

Названные выше статьи Воронского Горький имел в виду и в письме к В. Зазубрину от 25 марта 1928 года: «По поводу приклеиваемой мне Вами и другими «бороды Достоевского» имею сказать следующее: по портретам моим Вы, конечно, видите, что я и свою бороду тщательно брею... Для многих, да, кажется, и для Вас, все «Рассказы» окрашены одним — «Караморой». Это — не верно. «Рассказ о романе», «О необыкновенном», «Репетиция» в моем представлении с «Караморой» не совпадают». Нет сомнения, что, полемизируя здесь с «другими» и «многими», Горький думал о Воронском. Именно Воронский «окрашивал» «Караморой» рассказы Горького двадцатых годов и связывал их с влиянием Достоевского.

Как видно, разногласия Горького с Воронским были достаточно глубокими и носили принципиальный характер.

## 2

Живя за границей, Горький интересовался не только «Красной новью», но и другими журналами, выходившими тогда в нашей стране. И содействие он оказывал не только «Красной нови». Но помогал Горький не всем журналам и относился к разным журналам по-разному.

В сентябре 1923 года в Берлин приехал И. Лежнев и пытался получить у Горького рассказ для организуемого им в Москве журнала «Россия». Его поддержали Ходасевич и А. Белый. Убедая Горького дать Лежневу рассказ, Ходасевич писал Горькому, что «Россия» — журнал «независимый». Но Горького «независимость», рекламируемая Ходасевичем, не прельщала: он знал, что «Россия» — журнал сменовеховский, необуржуазный. Рассказа Лежневу он не дал.

Еще в октябре 1921 года в письме к Ю. В. Ключникову Горький отрицательно оценил известный сборник «Смена вех», утверждая, что его идея беспочвенна, ибо она, с одной стороны, чужда той героической интеллигенции, которая осталась работать в России, а с другой стороны, вряд ли сможет образумить эмигрантов. В связи с этим Горький решительно отказался сотрудничать в организуемом тогда тем же Лежневым и Ключниковым журнале «Новая Россия». Журнал «Россия» был прямым продолжением «Новой России», и в этом, очевидно, и заключалась решающая причина отказа Горького принять в нем участие.

Сложнее было отношение Горького к издававшемуся в Москве в 1924 году журналу «Русский современник». С одной стороны, в издании этого журнала ближайшее участие принимал его старый приятель и помощник по издательским делам А. Н. Тихонов, а с другой стороны, первую скрипку в журнале играл Е. Замятин — один из активных представителей «внутренней эмиграции». Влияние Замятина сказывалось в «Русском современном» довольно явственно. Некоторыми сторонами журнал соприкасался с лежневской «Россией».

Горький, объявленный в числе «ближайших участников «Русского современника» (вместе с Е. Замятиным, А. Тихоновым, К. Чуковским и А. Эфросом), поместил в нем очерки «Владимир Ленин», «О С. А. Толстой» и несколько автобиографических рассказов. Ему нравились историко-литературные материалы, опубликованные в журнале. Что же касается направления и содержания основных отделов, то здесь многое вызвало осуждение писателя. Так, в третьем номере журнала ему решительно не понравились и рассказ Б. Пильняка «Ледоход», и статьи В. Шкловского «Современники и синхронисты», «Тарзан» («как сторонник «формального метода», Шкловский все глубже погружается в нигилизм»), и воспоминания Е. Замятина о Блоке («Замятин написал кокетливо, вычурно и холодно»). Особенно возмутило Горького бесцеремонное обращение в журнале с его именем («обращаются со мною, как опы с покойником»). Так, Замятин иронизировал по поводу деятельности Горького в издательстве «Всемирная литература», называя ее построением Вавилонских башен. Все это, по словам Горького, напоминает ему «интимную беседу знакомых в передбанни-

ке», к литературе же никакого отношения не имеет. «А принимать «ближайшее участие» в построении передбанника мне, А. Н., не хочется,— пояснил Горький Тихонову,— зная меня, Вы знаете, конечно, что я более склонен к построению «Вавилонских башен»... Может быть, А. Н., Вы сняли бы с обложки «Современника» перечень имен «ближайших участников», это дало бы мне возможность отойти от журнала без шума?» Однако А. Тихонову не пришлось исполнять желание Горького: на следующем номере «Русский современник» прекратил свое существование.

«Русский современник» стоял на «правом» фланге советской журналистики двадцатых годов. Но не пользовались сочувствием Горького и такие «левые» журналы, как «Леф» и «Новый Леф», «На посту» и «На литературном посту». В журнальных спорах тех лет симпатии Горького явно были на стороне «Красной нови», «Печати и революции», «Нового мира», Воронского и Полонского. «Я внимательно слежу за Вашей полемикой с «На посту», за хулиганскими выходками «Лефа» и лично к Вам имею чувство искреннего уважения», — сообщал Горький Воронскому в феврале 1924 года. «Разрешите сказать, что Ваша полемика с «Лефом» и «напостовцами» — большая Ваша заслуга», — писал он через четыре года Полонскому.

Как известно, в своих выступлениях по поводу пролетарской литературы Воронский и Полонский чаще всего были не правы, как и в своем отношении к Маяковскому. Горький явно не видел этого. Но журналы рапповцев, как и журналы Маяковского, страдали столь серьезными недостатками, что, конечно, критическое отношение к ним со стороны Горького было понятно.

«Вы, разумеется, совершенно правы: «Леф» — нигилистичье озорство, проза его — бездарна», — писал Горький Полонскому. Одного из главных теоретиков Лефа — Чужака, пропагандировавшего на страницах журнала субъективистскую теорию «искусства — жизнестроения», Горький в том же письме к Полонскому по справедливости называл «великим путаником». В статье «О пользе грамотности» Горький писал о «кружковщине» Лефа, «где несколько самохвалов пытаются смутить молодых литераторов проповедью ненужности художественной литературы». Там же он отметил, что «Леф»

совершенно напрасно убеждает молодежь не учиться у классиков. К числу «выходок» «Лефа» Горький относил и напечатанное в «Новом Лефе» (№ 1, 1927) известное «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому». Стихотворение это возмутило Горького.

Позицию «напостовцев» Горький считал «антиреволюционной, антикультурной». К тому же, как известно, в первом же номере журнала «На посту» среди нескольких других недопустимых по тону и вульгарных по содержанию статей была напечатана грубая статья Л. Сосновского «Бывший Главсокол, ныне Центроуж». Естественно, что когда Ф. Ф. Раскольников — в то время один из видных напостовцев — обратился к Горькому с просьбой «прислать материал» для «Красной нови», перешедшей в то время в его руки, Горький ответил решительным отказом. «Федор Федорович, мое отношение к искусству слова не совпадает с Вашим, как оно было выражено. Вами в речи Вашей на заседании «Совещания», созванного отделом печати ЦК 9 мая 1924 г. Поэтому сотрудничать в журнале, где Вы, по-видимому, будете играть командующую роль, я не могу», — писал он Раскольникову. Речь же Раскольникова, о которой пишет Горький, была выдержана в характерном для напостовцев сектантском духе и проникнута нетерпимым отношением к так называемым «попутчикам».

Кстати сказать, Раскольников сообщал Горькому, что он намерен напечатать в «Красной нови» статью В. Вешнева «Последние произведения Горького», предупреждая писателя, что ему, вероятно, далеко не все покажется в ней правильным. Статья Вешнева не появилась в «Красной нови», а была несколько позднее под названием «Горькое лакомство» напечатана в журнале «На литературном посту» (№ 20, 1927). Трудно понять, как мог Раскольников надеяться на сотрудничество Горького, предполагая напечатать статью Вешнева, правда — далеко не исключительное явление напостовско-рапповской критики. «Я хотел доказать, — писал Вешнев, — что редчайшие виды уродств, многообразный садизм, патологический эротизм, непостижимые извращения человеческой природы находят в Горьком, как находили в Достоевском, Розанове и Сологубе, тщательного собирателя и любовного изобразителя. Кажется, что те-

перь слово «человек» вряд ли звучит для Горького «гордо».

Совершенно неприемлемым для Горького было свойственное напостовцам «комчванство». Горячо одобряя и поддерживая резолюцию ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», он особо подчеркивал выраженное в ней осуждение «комчванства». Возмущившись выпадами Ходасевича против «Москвы», Горький, между прочим, писал ему: «...резолюция ЦК партии по вопросу о политике в области художественной литературы с ее осуждением — резким — «комчванства» явление, которое приветствует даже Айхенвальд, хотя и «сквозь зубы».

Несколько иначе, чем к «На посту», Горький относился к его преемнику — «На литературном посту». Он одобрял некоторые выступления журнала («хорошо и по заслугам отчитали» Чужака), ценил карикатуры Кукрыниксов и пародии Архангельского, давал редакции журнала советы и даже поместил в одном из его номеров статью «О мещанстве». Но Горький сурово критиковал и этот журнал за постоянную готовность «проработать» того или иного талантливого писателя вместо того, чтобы позаботиться о нем, за «групповые отношения», которые «затрудняют рост подлинно «товарищеских» отношений, а м. б., действуют даже разрушительно на чувство товарищества, социально и политически необходимое для нас». В качестве примера Горький ссылается в письме к Полонскому на статью Д. Ханина «Творчество И. Уткина».

Следует сказать, что против несправедливой критики Горький выступал и в ряде других случаев. Так, в известной статье «О пользе грамотности» он писал не только о недостаточном внимании журнала «Октябрь» к языку печатающихся в нем произведений, но и о несправедливо жестоких суждениях главного редактора журнала А. С. Серафимовича о некоторых писателях: «...А. С. Серафимович решительно говорит о Герасимове и Кириллове: «Погибли». Думаю, что старый писатель слишком гордится вычеркнуть из литературы этих талантливых поэтов-рабочих. Столь суровое заявление — уже не критика, а что-то похожее на «смертный приговор». Я нахожу, что так швырять людей нельзя и что такие приговоры — дурной пример для молодых критиков. Весьма возможно, что некий Ханин, человек явно и слишком молодой,

руководствовался именно таким примером в заметке «О творчестве Иосифа Уткина», напечатанной в журнале «На литературном посту».

Против того, чтобы «швырять людей» и выносить им «смертные приговоры», Горький выступил и в связи с недопустимым поступком Б. Пильняка, опубликовавшего в 1929 году в зарубежном издательстве свою повесть «Красное дерево», не напечатанную в журнале «Красная новь» по идейным соображениям. Литературная общественность справедливо осудила поведение Пильняка. Однако некоторые писатели и литературные организации (например, Сибирская АПП) требовали тогда высылки Пильняка, оправдывая свой административный пыл потоком левых фраз, заявляя, что «обойдемся и без попутчиков». Учитывая подобные настроения, Горький выступил со статьей «Трата энергии» («Известия», 15 сентября 1929 года). Нимало не оправдывая Пильняка, он все же выражал опасение: «Достаточно ли осторожно относимся мы к этим людям, достаточно ли умело ценим их работу, способности и не слишком ли сурово относимся к их ошибкам, к их проступкам?» «Нужно помнить,— писал Горький,— что мы все еще не настолько богаты своими людьми, чтобы швырять ко всем чертям и отталкивать от себя людей, способных помочь нам в нашем трудном и великоленном деле».

Те же мысли развивал Горький и в сохранившейся в его архиве статье «Все о том же». Он заявлял в ней (имея в виду Пильняка и ему подобных), что не любит читать «истерически растрепанные сочинения людей, которые видят действительность только, как сплошной хаос», и не хочет защищать тех литераторов, которые пишут, «злостно и сладострастно подчеркивая ошибки, неудачи, недостатки...» Но он решительно протестовал против поведения «разных бойких ребят», обрадованных скандалом и раздувающих его ради того, чтобы «подпрыгнуть высоко, вскочить на видное место». «Люди этого типа,— утверждал Горький,— не плохо владеют революционной фразой, и если им сказать: вы, ребята, кричите зря по пустякам и слишком громко! они тотчас же начинают кричать о «примиренчестве».

«Я нахожу,— писал Горький далее о положении в литературе,— что у нас чрезмерно злоупотребляют понятиями «клас-

совый враг», «контрреволюционер» и что чаще всего это делают люди бездарные, люди сомнительной социальной ценности, авантюристы и «рвачи».

Он видел «перегибы» в литературном движении, сознавал их опасность и именно поэтому ратовал за осторожное, бережное отношение к литераторам, которые могут быть полезны, возражал против того, чтобы их «швырять ко всем чертям и отталкивать от себя». И в статье «Все о том же» он справедливо возражал против того, чтобы в разряд классовых врагов относили тех писателей, которые хотя и «плохо слышат героическую музыку творимого нового» и более внимательны «к шуму и воплям разрушаемого», но не любят старого мира, не сожалеют о его гибели и вовсе не питают ненависти к растущему новому миру.

Суровой критике подверг Горький сибирский журнал «Настоящее». Это было издание, доводившее «левые» перегибы в литературе до крайности. Направление «Настоящего» было позаимствовано у лефовцев (ликвидация художественной литературы и замена ее «литературой факта»), а критическая практика (грубые заушательские приемы, наклеивание политических ярлыков и т. п.) у напостовцев. В статье «Рабочий класс должен воспитывать своих мастеров культуры» («Известия», 25 июня 1929 года) Горький дал «настоященцам» самую отрицательную характеристику, как провинциальному истолкователю «Лефа». В ответ редакция «Настоящего» (А. Курс и другие) подняла против Горького клеветническую кампанию, выступила против него с совершенно недопустимыми выпадами.

Тринадцатого сентября 1929 года Горький писал по этому поводу редактору «Известий» М. А. Савельеву: «Афоризм Курса, цитированный в моей статье — «Художественная литература по природе своей реакционна»,— остался не опровергнутым. Не опровергнуто и уничтожение литстраницы в газете «Советская Сибирь». Революционные фразы Курса и других «настоященцев» звучат не только грамматически, но идеологически малограмотно. Вместе с «лефовцами» «настоященцы» действительно стараются изъять из рук рабочего класса такое сильное оружие, каким является словесное искусство». Дело кончилось тем, что ЦК ВКП (б) принял 25 декабря 1929 года специальное постановление «О выступлении части сибирских литераторов и литератур-

ных организаций против Максима Горького», в котором выступления «настоященцев» были определены как грубое искривление литературно-политической линии партии, и было сказано, что они «в корне расходятся с отношением партии и рабочего класса к великому революционному писателю тов. М. Горькому». После этого постановления группа «настоященцев» распалась и журнал «Настоящее» закрылся.

Как видно, взаимоотношения у Горького с разными советскими журналами складывались по-разному. Но к советской журналистике и печати в целом Горький относился более чем положительно и не раз с гордостью писал об их успехах и достижениях. «Наша печать выковывает новую породу людей» и «показала уже чудеса», — утверждал он в статье «18-я годовщина пролетарской печати». Отмечал Горький заслуги и литературной периодики. Кроме «Красной нови», можно назвать немало других толстых журналов, которые он весьма высоко ценил и горячо поддерживал. К таким журналам принадлежат, например, «Сибирские огни».

Об отношении Горького к «Сибирским огням» много писали. Сошлемся хотя бы на выпущенный в 1961 году в Новосибирске сборник «Горький и Сибирь». Не раз приводились и слова, сказанные Горьким о «Сибирских огнях» в письме к В. Зазубрину, — слова, заслуживающие, чтобы их повторить. «С 22-го г. журнал у меня есть, так что я могу, вероятно, составить себе более или менее полное представление о всей работе «Сибирских огней», — писал Горький. — Из «Искры» разгорелись, — как Вы знаете, — довольно яркие костры во всем нашем мире, — это дает мне право думать, что отличная культурная работа «Огней» разожжет духовную жизнь грандиозной Сибири».

Горький рекомендовал «Сибирские огни» вниманию критики, хвалил многие художественные произведения и статьи, напечатанные в журнале, выступил на его страницах с рецензией на сборник стихотворений М. Исаковского «Провода в соломе» и с открытым письмом Анисимову (Воронскому) «О себе». Положительно оценивал он работу Зазубрина, занимавшего в течение пяти лет пост секретаря редакции «Сибирских огней». «Вашу работу — «пестуна» сибирской литературы я знаю; это и вызвало у меня искреннюю симпатию к Вам», — писал Горький Зазубрину. Роман Зазубрина «Два

мира» Горький считал одним из замечательных произведений советской литературы и написал к нему предисловие. Все это не помешало ему подвергнуть весьма требовательной критике напечатанную в «Сибирских огнях» повесть Зазубрина «Общежитие». Он заметил, что в описаниях Зазубрина впадает в «злейший «золаизм» — работа, сопли, пот, ночные горшки и т. д.», и это замечание касается не только «Общежития», но и ряда других произведений, напечатанных в «Сибирских огнях»: подобно повести Зазубрина, они страдали натурализмом.

Высокого мнения был Горький о журналах «Печать и революция» и «Новый мир», как и об их редакторе — В. П. Полонском. Переписка Горького и Полонского, опубликованная в «Новом мире» (№ 5, 1964), представляет значительный интерес.

«Первую книгу «Нового мира» я нахожу весьма удачной, — писал Горький Полонскому 10 февраля 1926 года, — рад, что у Вас будет печататься Пришвин, и позвольте обратиться Ваше внимание на Юрия Тынянова, автора интереснейшей повести «Кюхля», и на Никулина, автора очень умело и серьезно сделанного авантюрного романа «Никаких случайностей».

Простите, что вмешиваюсь с моими советами, но так хочется, чтоб молодежь писала и училась писать, а ее бы читали и учились читать...

Пожалуйста, высылайте мне «Печать и революцию» — интересный журнал. Не в комплимент будь сказано, Вы его отлично ведете».

Горький отмечал и некоторые недостатки журналов, редактируемых Полонским. В «Печати и революции» он находил необоснованными и безответственными некоторые рецензии, серьезной ошибкой «Нового мира» он считал публикацию «Повести непогашенной луны» Б. Пильняка и повести Н. Никандрова «Знакомые и незнакомые». Но, в общем, отношение к этим журналам было у него самое положительное. Когда Полонский, отчаявшись привлечь Горького к сотрудничеству в «Новом мире», упрекнул его в нежелании быть другом этого журнала, Горький решительно возразил ему: «Само собой разумеется, что, кроме совершенно определенной симпатии к «Новому миру» — да и лично к Вам, организатору двух таких превосходных изданий, как «Печать и революция», «Новый мир», — я не питаю и очень смущен Вашим подозрением в противном».

Слова эти Горький вскоре подкрепил делом, передав «Новому миру» вторую часть романа «Жизнь Клима Самгина», которая и была напечатана в журнале в 1928 году.

Тысячью нитей связан был Горький с советской литературой и журналами. И не только с «Красной новью», но и с многими другими, вплоть до еженедельников: «Прожектора», «Огонька», «Красной нивы», «Чулака», «Крокодила», «Безбожника». Он верил в будущее молодой советской литературы, всемерно способствовал ее расцвету. «...Если б Вы знали, как дорога мне каждая строка, которая сейчас пишется в России вамн, зачинателями какой-то новой литературы,— писал Горький Е. Зозуле в апреле 1925 года.— С жадностью слежу за всеми и жду великого, зная, что оно, в мире нашем, слагается из мелочей».

Важнейшим фактором развития литературы Горький считал журналы. Естественно, что он стремился при первой же возможности активно заняться журналистикой. 15 марта 1928 года он писал нижегородцу В. Илларионову: «Хочется еще и еще работать. Закончив третий том своего романа [«Жизнь Клима Самгина»], я наверное займусь журналистикой, чтобы встать теснее к жизни, главное к молодежи». В мае месяце Горький приехал на родину.

## 3

В одном из набросков Горький так определил свое понимание роли журналов: «По самому существу литературного дела редакции литературных органов должны являться основными звеньями непосредственной связи и работы с писателями. Редакции журналов и издательств, занимаясь практически и каждодневно литературной продукцией, имеют большую, чем какая-либо другая организация, возможность ставить творческие вопросы на конкретном литературном материале, идейно и художественно воспитывать писателей на живом деле, дифференцированно, учитывая все своеобразия дарования, подходить к каждому писателю,— оперативно проводить в области литературы политические задачи».

Нужно ли удивляться, что по приезде в Москву Горький сразу же — не закончив третьего тома «Жизни Клима Самгина», с большой энергией и заинтересованностью отдался журналистике. С февраля 1929 года начинает выходить журнал «Наши дости-

жения», в 1930 году появляются журналы «СССР на стройке», «За рубежом», «Литературная учеба», с 1932 года — альманахи «Год XVI», «Год XVII», «Год XVIII», «Год XIX», в 1934 году — журналы «Колхозник» и «На стройке МТС и совхозов». Характерно, что Л. Сейфуллина в одном из писем к Горькому просила принять журнал «30 дней» в «Горьковский литературный комбинат»<sup>1</sup>.

Но ведь в Советском Союзе и без того выходило много журналов разного рода. Что же в таком случае заставило Горького основать свой «комбинат»? Какие цели ставил он перед новыми журналами? Какие задачи пришлось им решать?

Больше всего Горький был озабочен тем, чтобы периодические издания были тесно связаны с жизнью, с современностью, чтобы они могли «показать партийному и беспартийному рабочему его самого в процессе строительства нового социалистического мира» и этим самым «возбудить его революционное классовое самосознание, углубить в нем понимание государственного значения его государственного труда».

Надо ли говорить, что в этом стремлении Горького как можно теснее сблизить журналы с жизнью, усилить их «социально-педагогическое» значение и влияние звучал голос времени. Советский Союз вступал в новый период своей истории. Шло наступление социализма по всему фронту. Развертывалось гигантское строительство электростанций, фабрик и заводов, городов. В деревне началась коллек-

<sup>1</sup> Кстати сказать, «30 дней» — еще одно свидетельство большого влияния отзывов Горького на работу журналов.

В статье «О работе неумелой, небрежной, недобросовестной и т. д.» (и в письме к Халатову от 24 января 1931 года) Горький назвал журнал «30 дней» «пошлейшим». Это вызвало в редакции журнала большую тревогу. Л. Сейфуллина (в то время член редсовета журнала) написала по этому поводу Горькому большое письмо («Литературное наследство», т. 70, стр. 365—368). Она просила помочь журналу. В ответ Горький весьма обстоятельно высказался о работе и задачах «30 дней» в беседе с председателем редсовета журнала. «Ваше вмешательство» в нашу работу чрезвычайно ободрило нас, оно дает нам уверенность в том, что при вашем руководстве и помощи нам удастся сделать журнал «30 дней» хорошим и нужным». — писал Горькому редсовет. При перензании статьи «О работе неумелой, небрежной, недобросовестной и т. д.» Горький исключил оценку «30 дней».

тивизация. Становилось иным лицо страны, изменялось сознание советских людей. Продолжалась экономическая, политическая, идейная борьба с капиталистическим окружением. В этих условиях основание Горьким новых журналов, сильных своей близостью к действительности и целеустремленностью, было как нельзя более современным.

В статье «Что должен знать наш массовый читатель» Горький сетовал на то, что существующие в стране газеты и журналы недостаточно крепко связаны с жизнью, что они не дают читателю последовательных и полных представлений о результатах его каждодневного труда. Он утверждал, что «информация» о современной жизни в газетах и других массовых изданиях достигается за счет глубины и значительности материала, а в журналах «подчинена требованиям момента: конец или начало года, юбилейная дата, пуск крупного предприятия, та или иная кампания». «Толстые» литературные журналы («Красная новь», «Новый мир», «Октябрь»), — писал Горький, — делают это больше по традиции и не систематически: помещают одну-две статьи, по характеру своему ничем не отличающиеся от таких же статей в специальных изданиях. Статьи, обзоры и очерки, печатаемые в журналах — и специальные и общих, — перегружены плохо переработанным статистическим материалом. Написанные скучнейшим, сухим языком, обремененные цифрами и таблицами, они не доступны пониманию массового читателя, — до этого читателя наша информация об экономическом и культурном росте страны не доходит».

Горький считал, что журналы должны вести пропаганду и агитацию живыми, яркими фактами, а не отвлеченными обобщениями и готовыми выводами. Он писал редакции «Наших достижений», что, идя от фактов, опираясь на тесную связь с действительностью и на сотрудничество «людей массы», «Наши достижения» будут «более сильным и влиятельным проводником идей социалистической культуры, чем любой журнал теоретиков». «Чем шире мы будем охватывать явления действительности, — тем более богатый материал для агитации за Советскую власть, за коммунизм мы дадим, — утверждал Горький. — И это будет агитация не от теории, все еще трудно усвояемой, а от фактов, которые сами читатели будут в состоянии тем более часто

проверять, чем больше мы дадим материала».

Именно поэтому Горький придавал большое значение очерку. Он полагал, что «для познания страны хорошо и усердно служит очерк», и сожалел, что «социально-педагогическое значение очерка не заслужило внимания критики». Он был уверен, что богатые фактами очерки и статьи помогут сделать информацию и пропаганду «не отвлеченной и плоскостной», а «динамичной, конкретной и как бы объемной, осязаемой». Журнал «Наши достижения» и мыслился им как журнал очерка по преимуществу, как журнал особого типа, не похожий на существующие литературные ежемесячники. И разумеется, стремление Горького «идти от фактов» не имело ничего общего с вульгарным лозунгом «литературы факта», выдвинутого теоретиками «Нового Лефа». Лефовская теория «литературы факта» вела к ликвидации художественной литературы и искусства, призывы Горького способствовали развитию литературы и искусства через их сближение с жизнью.

С жадным интересом и пристальным вниманием Горький следил за жизнью страны, за происходящими в ней изменениями, за возникновением и становлением нового во всех областях социалистического строительства и культуры. Он встречается и переписывается с самыми различными людьми, ездит по стране, много читает и отовсюду черпает факты и сведения, которые следует отразить в журнальной информации, сообщениях, статьях и очерках.

«Слышал, что у нас делается что-то очень интересное по изучению глин и добычи алюминия, — надобно узнать. А также необходимо узнать: какие новости в рыболовстве, рыбоводстве и консервировании рыбы? Нужна статья о добыче самоцветов, — это прекрасно может сделать Ферсман... Было бы весьма полезно дать очерки достижений культурных у всех национальностей. Нужна статья об «Озете». О судостроении. О запovedниках бобров, чернобурых лисиц и вообще — редких зверей; тут сделано немало. Коноводство, роль искусственного оплодотворения...»

Это — из письма Горького Урицкому 8 октября 1928 года. А вот что пишет Горький Урицкому через два месяца — 8 декабря 1928 года:

«Необходима статья о курортах, о курортоведении... Сделайте налет на Н. А. Се-



машко и приведите его в движение. Этот человек, при помощи товарищей его, делает огромнейшую работу, чего у нас, конечно, не видят и не ценят. Статьи: он обещал мне статью о сократившейся смертности детей до 5-летнего возраста, об увеличении веса новорожденных и т. д. Содрать с него статью. Привлечь к участию в «Наших достижениях» — активному. Дети, дети! Как можно больше о детях, о их жизни, учебе и т. д. У меня есть масса детских писем. Кто бы мог поработать их? Сам я не могу, нет времени... «Новых людей» довольно много дают «беспризорники»: Пантелеев, один из авторов «Республики Шкид», какой-то замечательный режиссер в Ленинграде, агрономы, студенты из трудколониин».

Снова приходится удивляться живой, творческой инициативе Горького, его кругозору, свойственной ему широкой и конкретной постановке вопросов. При этом в своих заботах об отражении в журналах многообразных фактов действительности он не ограничивался рекомендациями, «указаниями» работникам журналов, но сам с поразительной энергией организовывал материалы, договаривался с авторами, заказывал статьи и очерки.

«Должны быть получены статьи из Казани от Александра об улучшении породы овец, из Шенкурска — о кустарных промыслах, из Уфы — о башкирской женщине, Ростова-на-Дону — о строительстве силовой станции в Осетии, из Алатьяра — о культурном движении в республике Мари. Все это пошлите мне», — писал Горький в одном из писем Урицкому.

От фактов рекомендовал Горький идти и журналу «За рубежом», от фактов быта трудящихся и господствующих классов капиталистических стран к скрытой в них политике. И здесь основной формой подачи материала должен был стать, по его мнению, «полубеллетристический очерк» и фельетон. «...Мы затеваем журнал, — писал Горький Кострову, — который будет рассказывать партийной и беспартийной массе о зарубежном быте, обнажая в каждом бытовом факте политику, идеологию, мораль мешанства и всяческую гниль его». Просмотрев материал, подготовленный для одного из номеров журнала, он снова напоминал, что «теория — «вытяжка» из фактов, и что в конце концов мы все учимся на фактах». «Общий недостаток статей: политические рассуждения типа весьма поверхност-

ного преобладают над фактами, — делал вывод Горький. — Нужно же нечто прямо противоположное: чтоб факты предшествовали политике и чтоб она вытекала из них с логикой несокрушимой и убедительной для читателя, нужно, чтоб читатель видел на живых примерах, как политические интересы капиталистов просачиваются сквозь кожу быта, во все ее поры и быт, отравленный ею, загнивает, разлагается. Именно — разлагается, отравляя, уродуя, уничтожая людей».

Когда Горький советовал редакции «Наших достижений» исходить из фактов действительности, он имел в виду преимущественно факты положительного характера. По мысли Горького, журнал должен был отразить достижения Советской страны во всех областях приложения труда. Освещение и пропаганда наших достижений — главная задача, которую ставил Горький перед первым номером своего журнального «комбината», как несколько позже и перед журналами «СССР на стройке» и «Колхозник». Недостаточное внимание к достижениям он рассматривал как известную ограниченность существующих журналов и газет. Об этом он писал Мальцеву: «...О «плохом» у нас пишут лучше, чем о хорошем, что вполне естественно и объясняется, во-первых, хорошо развитой в процессе борьбы со старым строем способностью критики, во-вторых, необходимостью строжайшей самокритики, в-третьих, естественна слабость ростков нового и хорошего на почве, засоренной и отравленной старым дурным и, — отсюда поэтому вполне понятен и закономерен страхок «перехвалить» достойное похвалы. Однако нового — много...» Горький доказывал Мальцеву необходимость издания ежемесячника «Наши достижения». «Титул журнала, — пояснял он, — точно отвечает на вопрос о его программе и содержании».

Намерение Горького издавать журнал «Наши достижения» вызвало некоторые сомнения и опасения. Об этом можно судить, например, по стенограмме совещания о журнале «Наши достижения», происходившего 8 июня 1928 года. На этом совещании присутствовали и выступали многие видные деятели коммунистической партии и Советского государства, культуры и литературы. И, судя по стенограмме, далеко не все они были убеждены в целесообразности и успехе замысла Горького.

М. Кольцов не видел, как удастся охра-

нить репутацию «Наших достижений», как создать ему репутацию журнала не казенного, и советовал что-нибудь придумать, чтобы уберечь попавшие на страницы журнала достижения от нападков и опровержений. Ем. Ярославский находил, что при освещении наших достижений нельзя упускать из вида борьбы с тем, что мешало нашему движению вперед. А. Свидерский сомневался, правильно ли ставится задача — отмечать только достижения, и советовал «дать двойное название, двойную идею — и достижения и недостатки». Он советовал соблюдать осторожность при выборе объектов наших достижений и не проникаться слишком розовыми, оптимистическими настроениями. А. Фадеев объявил себя горячим сторонником горьковского журнала, но мотивировал свое положительное отношение к замыслу Горького несколько неожиданно лишь тем, что все другие журналы делают «совершенно здоровый уклон на критику».

Весьма скептически отнесся к «общей установке» проектируемого Горьким журнала И. Скворцов-Степанов. Он опасался «вредного уклона» в сторону самохвальства и хвастовства, которые, по его словам, к сожалению, по временам у нас наблюдаются. «...Плохо будет,— говорил И. Скворцов-Степанов,— если мы будем говорить только о своих достижениях. Это будет усыпляющее самохвальство, если мы не будем говорить о задачах, которые стоят перед нами, к разрешению которых не приступлено даже». По мнению Скворцова-Степанова, название журнала едва ли можно признать правильным, так как «нужно говорить не только о достижениях, но и о рюхах, которые мы делаем, и о задачах, которые предостоят».

Как видно, сомнения и опасения были весьма серьезные и сами по себе справедливы. Но можно думать, что после выступления Горького и его помощников по организации «Наших достижений» многие из этих опасений и сомнений рассеялись.

Очень хорошо выступил на совещании С. Урицкий. Он сказал, что ему совершенно ясно лицо «Наших достижений»: журнал призван показать действительные достижения, то, на чем мы должны учиться. Но «Наши достижения» журнал не хвастовской, а воспитательный. Задача журнала — не в том, чтобы хвастать суммарными циф-

рами, а в том, чтобы показать пути тех или иных достижений.

В том же духе говорили на совещании П. Керженцев, Я. Ганецкий, академик С. Ольденбург. Керженцев сообщил, что «Наши достижения» как журнал нового типа в первую очередь будет выявлять наши достижения, но при этом останется абсолютно «чужд такого тона, который внушал бы недоверие и к содержанию, и к освещению, и даже просто к существованию журнала, который видит одни только достижения и больше ничего». Редакция и инициативная группа учитывают, заявил Керженцев, что должны освещаться наши достижения плюс те ошибки и трудности, которыми сопровождается каждое явление, что следует избежать тона самохвальства и самодовольства.

Сам Горький решительно отстаивал на совещании свой замысел. «Мне неловко говорить, мне приходится уверять вас, дорогие товарищи, что, в сущности, сделано громадное дело»,— сказал он, утверждая, что изображение наших достижений и положительного опыта «будет иметь определенное значение, возбуждающее энергию массовых работников, которые... работают в условиях в высшей степени тяжелых». Он снова подчеркнул, что отрицательно относится к тем людям, которые слишком предаются делу самокритики и «занимаются самоистязанием, самобичеванием». Вместе с тем Горький согласился с М. Кольцовым, что одна из существенных задач журнала — создать себе репутацию не казенного издания. «Говоря о каком-нибудь достижении, мы неизбежно будем касаться и недостатков. Достижения наши ведь получаются на почве старой, почве загрязненной, засоренной старым миром и еще недостаточно очищенной. Разве можно обойтись без критики? Конечно, нет».

Как видим, совещание по вопросу о журнале «Наши достижения» было интересным, острым, содержательным. Пройти мимо высказанных на совещании сомнений и опасений было невозможно, и Горький и редакция «Наших достижений» еще не раз будут уточнять и разъяснять позицию журнала. «Изложение материала должно быть проникнуто объективностью, не имея «урпатриотического» оттенка, и, трезво отмечая те ошибки и недочеты, которые мешают нам идти дальше успехов, уже полученных»,— писали Горький и А. Халатов в

«Записке о журнале «Наши достижения». «У многих чувствуется тот фальшивый восторг, который справедливо называют «казенным», — критиковал Горький присланные ему материалы первого номера «Наших достижений».

В сущности говоря, при создании «Наших достижений» Горький исходил из своего постоянного убеждения, что «человек воспитывается на хорошем», и еще более из «установок» В. И. Ленина, который в 1919 году советовал ему — настроенному тогда довольно болезненно — наблюдать новое в армии, в деревне, на фабрике. В. И. Ленин призывал тогда и писателей, и пропагандистов, и организаторов изучать ростки нового и помогать их развитию. «Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигентских рассуждений. Поближе к жизни. Побольше внимания к тому, как рабочая и крестьянская масса на деле строит нечто новое в своей будничной работе. Побольше проверки того, насколько коммунистично это новое», — писал Ленин в статье «О характере наших газет».

## 4

В статье «О мещанстве» Горький писал: «Героем наших дней является человек из «массы», чернорабочий культуры, рядовой партиец, рабселькор, военкор, избач, выдвиженец, сельский учитель, молодой врач и агроном, работающие в деревне, крестьянин-«опытник» и активист, рабочий-изобретатель, вообще — человек массы! На массу, на воспитание в ней таких героев и должно быть обращено главное внимание».

И в этой связи Горький снова обращал внимание на недостатки существующих в стране журналов. «У нас издается, — говорил он, — тысяча, а может быть, и более журналов, количество их все растет, между ними есть немало параллельных по материалу и задачам. В огромном большинстве эти журналы не доступны пониманию массового читателя... Товарищам, наверное, не понравится указание мое на обилие премудрых советских журналов, не доступных массам и, я думаю, довольно убыточных. Ну, что же делать? Факт болезненного бумажного ожирения замечен не мною одним, и не первый я говорю о том, что масса обслуживается литературой недостаточно умело и успешно Я помню:

Дай, Гиз, побольше нам журналов:  
Плоды читателей они, —

но не кажется мне, что журналы наши в достаточной степени считаются с уровнем понимания массового читателя и способны оплодотворить его знаниями в той мере, как следовало бы».

К вопросу о массовости журналов Горький постоянно возвращается и в своей переписке. В одном из писем к Полонскому он замечает, что желал бы «Печати и революции» более широкого распространения, а Камегулову пишет (2 декабря 1930 года), что «всесоюзное значение» журналов, которые выходят в 10 тысячах экземпляров — более чем сомнительно в стране, где книжки расходятся сотнями тысяч».

Свои журналы в отличие от «премудрых» Горький стремился сделать массовыми, доступными пониманию широких читателей и опирающимися на сотрудничество «людей массы». Он не раз говорил и писал об этом работникам «Наших достижений», «За рубежом» и других своих журналов. «Я не представлял «За рубежом» журналом для авангарда революции, — писал он Кострову, — а — журналом для ее армии, массы, арьергарда».

Отсюда и постоянная забота Горького о простоте, ясности, доступности языка журналов, об их «удобочитаемости», о грамотности их сотрудников и редакторов. И в этом отношении многие существовавшие тогда журналы вызывали с его стороны справедливые нарекания. Известно, например, какой суровой критике подверг журнал «Октябрь» за обилие в нем различных опусок, ошибок и небрежностей. «Но — как пишут в «Молодой гвардии»? — писал Горький Воронскому. — См. книгу 3, стр. 194, статья Кузьмина: «человек... превратился в сидячее бревно, которому хоть кол на голове тещи». Сильно сказано! Вам следовало бы открыть в «Красной нови» отдел, в коем такие и подобные «кописки» следовало бы достойно подчеркивать. Болезненное состояние грамматики отражается и на здоровье идеологии».

За языком своих журналов Горький следил с исключительной внимательностью, придавал ему весьма важное значение. «Я бы очень просил авторов о предельной простоте и точности языка статей, — писал он Т. Кострову. — Большинство журналов наших как по терминологии, так и по тяже-

сти фраз — слишком перегруженных словами — не легко доступны пониманию современной молодежи в массе ее».

И, конечно, Камегулов был совершенно не прав, когда стал возражать против статей о языке классиков, против учебы у классиков, усмотрев в этом отрыв от современности и академизм. Естественно, что Горький никак не мог согласиться с Камегуловым. «Литучеба», — писал Горький, — должна бороться за чистоту языка, за расширение лексикона, за точность и ясность слова, изображающего жизнь — в движении, человека — в действии. Стремление технически вооружить «начинающего» писателя нельзя именовать «академизмом».

«Академизм» я вижу в статьях по вопросам политграмоты, идеологии. Эти статьи у нас пишутся торопливо, небрежно, казенно, «сухонным» языком. Пафос, казалось бы, совершенно естественный в наши дни, совершенно отсутствует в этих статьях, его место занимает вульгаризация идеи. Это касается не только «Литучебы», это чувствуется во всей нашей «ведущей» журналистике. Весьма похоже, что возрождается к жизни старый интеллигент, спец «по мудрости» и несмотря на свой внешний демократизм аристократ по «духу».

Стремление Горького сделать свои журналы массовыми, простыми и доступными по языку ничего общего не имело с популярничаньем, примитивизмом, снижением требований к идейности или научности журнальных статей. Наоборот, в своих выступлениях и письмах он часто указывал на возросшие запросы массы и невысокий уровень печатной и устной пропаганды. «На тощеньких брошюрках нельзя уже воспитывать людей: они относятся к брошюркам пренебрежительно, требуют «толстую книгу, посолиднее», — утверждал Горький в статье «О мещанстве». — ...Массе нужно очень много... Ей не нужна сладкая пища литературного красноречия, ей необходим сытный хлеб ясно и четко сказанной правды...»

С нескрываемым осуждением относился Горький к любым проявлениям журнальной замкнутости, узости, отъединенности. «Поймите меня, — писал он в редакцию «Литературной учебы» Камегулову, — по моему мнению, мы должны работать на массу, а такие статьи, как статья Мессера, имеют в виду как будто бы цех и даже кружок. Заметьте, что литература становится боевым делом массы... В нашем журнале я не вижу направле-

ния на массу, — вот его главный недостаток». Ту же мысль Горький развивал в письмах Камегулову и несколько ранее: «Мне кажется, что не только в этом деле (в журнальном. — А. Д.), но и во всех делах, вы, столичные, считаетесь главным образом со столицей, ее ближайшими окрестностями и с родственниками по духу. Это — ошибочно. «Россия — государство уездное» — все еще, все еще! И внимание должно быть направляемо не на друзей и родственников». И наконец интересно варьируется та же мысль в письме к Разину: «...следует учиться работать широкими коллективами. Работая каждый в своем уголке, с излюбленным штабом симпатичных сотрудников, — мы умнеем очень медленно, если вообще умнеем. Плохих журналов у нас очень много, и число их следовало бы сократить».

Но особым врагом Горького была групповщина, в довольно сильной мере свойственная в конце двадцатых и начале тридцатых годов советской журналистике. Он по справедливости видел в групповщине одну из самых опасных болезней литературного движения, подрывающую связь журналов с жизнью, их коммунистическую идейность, стремление к массовости. «От бесед с литераторами и чтения журналов определенно веет затхлостью злейшей «кружковщины», вредной замкнутостью в тесных квадратиках групповых интересов, стремлением во что бы то ни стало пробиться в «командующие высоты», — писал Горький в статье «О пользе грамотности». А в статье «О мещанстве» он указывал на прямую связь, которая существует между литературными распрями журналов и невниманием их к массовому читателю.

Известно, что Горький отнюдь не был «примиренцем» и вовсе не отрицал возможности литературных разногласий и необходимости полемики между журналами и споров между критиками или писателями. «Без драки не проживешь», — любил он повторять слова В. И. Ленина. Горький выступал против разногласий группового характера, против полемики озлобленной, против литературных споров, кончающихся «устрашением». «Да, «без драки не проживешь», — утверждал Горький в статье «О возвеличенных и «начинающих». — Поэтому разногласия, существующие между литературными группами, вполне естественны. Они были бы гораздо более поучительны и полезны, если б «признанные таланты» и литературные па-

стыри не заостряли их своими самолюбиями, своим чванством и не вносили в них тот страхок потерять свои позиции, о котором я говорил выше. Известно, что «тон делает музыку». Представители отдельных литературных групп ведут прения между собой в тоне, не достойном товарищей, людей, которые делают единое, коллективное дело».

С еще большей ясностью и резкостью Горький высказывается в переписке. В его письме к Халатову от 30 сентября 1930 года говорится: «Споры и раздоры кружков носят характер терминологический, преисполнены самолюбия, личных обид и всяческого индивидуализма. Все спорщики именуют себя марксистами и, казалось бы, давно должны выработать единую линию поведения. Воронский, Полонский, Переверзев, Беспалов, «перевальцы» устранены с поля битвы. Меньше всех заслужил это самый талантливый Воронский, если он вообще заслужил ostrакизм. Теперь кричат об ошибках «налитпостовцев». Не думаю, что этот крик и шум молодых честолюбцев достаточно хорошо служит делу идеологического воспитания литературной молодежи... Мне кажется, что ЦК должен бы принять меры к прекращению излишнего и вредного шума... нужно созвать «врагов» под одну крышу и убедить их в необходимости строгого единства».

Принятое через полтора года постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидировавшее особые пролетарские организации в области литературы и объединившее всех советских писателей в один союз, показывает, что выступления Горького против групповщины были весьма своевременны, а его пожелания — близки к осуществлению.

Свои журналы Горький создавал как массовые, а не групповые. Он ставил перед ними задачи не кружковые, а общенародные, государственные и внимательно следил, чтобы «зараза» групповщины не проникала на их страницы. Особенно тревожился Горький, естественно, за «Литературную учебу», которой предназначал важную роль «университета на дому» для молодых писателей, воспитателя тех «литературных младенцев», о которых он с такой любовью писал В. Зазубрину в феврале 1928 года. Как показал дальнейший ход событий, тревога и опасения Горького были не напрасны. Дело в том, что его заместитель по журналу А. Ка-

мегулов принадлежал к так называемому «Литфронту» и был одним из активных участников междоусобицы, которая разгорелась между литфронтовцами и журналом «На литературном посту». Горький был осведомлен об этом (самим же Камегуловым) и очень беспокоился. Poleмика, казавшаяся Камегулову «дискуссией о творческих путях пролетарской литературы», оценивалась им совсем иначе.

«То, что Вы написали о «возможности конфликтов», разумеется, очень тревожит меня,— писал он Камегулову в мае 1930 года.— Не хотелось бы, чтобы эти «конфликты» отразились на журнале, который — по моему мнению — должен и может сыграть весьма крупную культурно-воспитательную и революционную роль... При обилии врагов и явном росте у них политического чутья, разногласия ваши — на мой взгляд — очень ничтожны и крайне вредны. Педагогически крайне вреден и тон, коим высказываются «разногласия». Возможно, что я ошибаюсь, но мне кажется: личные отношения между вами, партиями, говорят о том, что вы очень плохо воспитаны политически. И если б здравствовал Владимир Ильич, он бы, поверьте, сократил эти бесконечные дискуссии процентов на 50. Минимум».

Однако Камегулов не прислушался к словам Горького. Он все больше и больше втягивался в борьбу Литфронта против «налитпостовцев». И опасность вовлечения «Литературной учебы» в эту борьбу не только не была устранена, но увеличилась. Отношение Камегулова к учебе у классиков свидетельствовало об этом с достаточной определенностью. Литфронтовцы решали эту проблему почти так же, как и левовцы. Горький вынужден был энергично выправить положение. Одновременно с «внушением» Камегулову относительно «академизма» «Литературной учебы» он послал письмо Халатову следующего содержания: «...Мне кажется, что «Литучебу» хотят сделать органом определенного литературного кружка. Вот это меня не устраивает. И если «Литучебу» желают сделать кружковым журналом, я, разумеется, должен буду отказать от номинального чина — «ответственный редактор». Кружковщину, дробление на группы, взаимную грызню, колебания и шатания я считаю бедствием на фронте литературы».

При создавшейся обстановке Камегулов решил уйти из «Литературной учебы». Горь-

кий вынужден был расстаться с ним. Делал он это неохотно и в последнем письме к Камегулову еще раз пытался убедить его в том, что скромная работа в «Литературной учебе» полезнее, нежели активное участие в шумной словесной войне по поводу «путей развития пролетарской литературы». «Вы обременены «борьбой за свои творческие взгляды», — писал Горький. — Дорогой товарищ, я — знаю: «плох тот солдат, который не надеется быть генералом», но — мне кажется, что мы должны покамест довольствоваться чином комвзводов и комрот. Временно можно бы обойтись без Белинских, без Добролюбовых, а у нас разродилось таких яко тараканов, все они свирепо друг друга ненавидят, занимаются — по Мессеру — «персональным охаживанием» друг друга, портят огромное количество бумаги и создают «смуту умов».

Эти слова оказались, так сказать, «напутствием» Камегулову. Небесполезно было знать о них и другим критикам.

## 5

Особо следует остановиться на вопросе о месте науки в горьковских журналах.

«Пора бы ознакомить массового читателя с ходом развития науки, техники», — писал Горький в статье «О мещанстве», характеризуя в ней некоторые слабости издающихся в стране журналов. Свои журналы он и задумывал как издания, где популяризация и распространение научных достижений, завоеваний и открытий станут важной — если не главной — задачей. Горький и раньше — с первых лет революции — пытался привлечь к участию в разного рода периодических изданиях не только литераторов, но и ученых, соединить в них под одной крышей литературу и науку. Популяризация науки, ее продвижение в массы — одна из излюбленных идей Горького. Она самым непосредственным образом связана с его представлением о роли познания в жизни человечества, о науке как орудии покорения и освоения природы и создания «второй природы» в труде, как познании, исследовании и творчестве. Поднять познавательную и преобразовательную активность людей — важнейшая задача, которую он ставил перед своими журналами.

Приступая к изданию «Наших достижений», Горький писал Урицкому:

«Мы должны очень ревностно подчерки-

вать все, даже и маленькие достижения науки, — высшей деятельности человеческого разума, мы живем в стране не только глубоко некультурной, но еще и зараженной инстинктивным недоверием к силе разума... Героизация действительности отнюдь не должна опираться на восхваление только эмоций, но, главным образом, на проповедь всеокрушающей и всеорганизующей силы разума, а — она наиболее полно и ярко выражается именно в области науки».

Когда сотрудники редакции «Наших достижений» наметили в журнале четыре отдела: а) отдел искусств, б) отдел науки, в) отдел техники, г) отдел культуры и быта, Горький, имея в виду специфический характер журнала, внес исправления в этот план: на первое место он поставил отдел науки. Тогда же в редакционную коллегию журнала были введены академики А. Е. Ферсман и О. Ю. Шмидт, профессора Н. К. Кольцов, Л. К. Мартенс, В. Р. Вильямс. Не раз напоминал Горький редакции «Наших достижений» о необходимости привлечения к участию в журнале популяризаторов науки (подобных Я. Перельману) и виднейших ученых.

Руководитель отдела науки Н. К. Кольцов, жалуясь на трудности своей работы в журнале, заявил, что писать научно-популярные статьи русские ученые не умеют. Горький решительно возразил ему: «Рефлексы головного мозга» Сеченова, «Жизнь растений» Тимирязева, Покровский, Вернадский и целый ряд других прекрасных писателей».

Урицкому Горький писал: «Нужны статьи: по биологии — авторами оных могли бы быть сам Кольцов или Борис Завадовский, замечательную книгу которого «Очерки внутренней секреции» усиленно рекомендую: прочитайте!. Физика — П. П. Лазарев и, кроме того, просить Иоффе дать сведения о его «аккумуляторе». Рентгенология — проф. Неменов. Химия — А. Н. Бах или Збарский. У Бонч-Бруевича — о работах Нижегородской «Радиолаборатории», у А. Е. Ферсмана — обзор практических достижений научных экспедиций — по геологии: Ферсмана вообще нужно умолять о сотрудничестве, он идеальный популяризатор, — обратите внимание на его «Самоцветы» и «Занимательную минерологию»... По хирургии и просить статью у Оппеля, пусть он использует для нас те странички из «Новости хирургии», где рассказано о вос-

крещении умерших на операционном столе... Нужна статья о лечении прогрессивного паралича прививками тифа и малярии, статья Прянишникова о калийных солях».

И это желательные авторы и темы по отделу науки, названные только в одном письме. В последующих письмах работникам «Наших достижений» и других журналов было названо много и иных тем и имен. Особенно Горький настаивал на статьях и очерках, которые рассказывали бы читателям о практическом значении научных исследований. «...Очень прошу и Вас и сотрудников Ваших,— писал Горький А. Е. Ферсману,— не затушевывая, т. е. не обходя исследовательских задач науки, подчеркивать погуще практическое значение исследований и достижений, обязательно указывая и на сложность, на трудность их. Необходимо, чтоб масса, а особенно — молодежь наша, понимала эти трудности и чтоб этим повышалось ее уважение к науке».

Столь высоко ценя науку, прилагая такие большие усилия для пропаганды ее достижений, Горький, естественно, сильно вознегодовал, прочитав во втором номере «Литературной учебы» за 1930 год статью Г. Тьямского «Марксизм и философия». Статья была напечатана без его ведома. Он увидел в этой статье дискредитацию науки и в течение нескольких месяцев трижды писал о ней Каменеву. Писал с необыкновенным волнением.

В первом же письме (первая половина июня 1930 года) Горький пункт за пунктом оспаривал возмущившие его положения статьи Тьямского:

«Наука обычно понимается как спокойная обитель» и т. д.

Какая наука и кем она так понимается? Известно, что, например, церковь всегда вела и по сей день ведет борьбу против науки, исследующей явления природы, считая эту науку врагом религии, каковым она и в самом деле является.

«В кабинетах, лабораториях царит одна страсть — искание истины»,— пишет Тьямский.

Разве «истину» искали средневековые медики, когда они, под страхом сурового наказания, воровали трупы повешенных для того, чтобы изучить анатомию человека? Разве «истину» искали основатель химии Лавуазье, Дарвин, Менделеев, разве ее ищут Маркони, Павлов, Иоффе?..

«Всякая наука... содержит оправдание господства данного класса»,— говорит он.

Можно ли это сказать о медицине, механике, геохимии, агрономии и вообще о науках этого порядка?»

В последующих письмах — в июле и сентябре 1930 года — Горький до конца определяет свое отношение к статье Тьямского. Его мысли получают развитие, углубляются.

«...Продолжаю думать,— писал Горький,— что когда физик работает над разложением атома, а химик ищет причину разноцветной окраски цветов, растущих на одной и той же почве, так их побуждает на эту работу вовсе не «страсть — искание истины», а служат они оба другой цели, строго практической, вполне реальной, имеющей огромное жизненное значение для трудового человечества... Современный нам, знаменитый физик Эддингтон на силовой конференции в Берлине определил задачу физики очень просто: извлечь из 30 граммов воды — т. е. из одной чашки воды — заключенную в ней энергию, которая способна дать 100 тыс. киловатт и работать круглый год. Как видите, это не поиски «истины», а попытки овладеть силой, которая должна совершенно изменить условия труда. И крупнейшие ученые мира всегда весьма решительно заявляли, что им нет никакого дела до «истины».

Мы, редакция журнала для малограмотных, не должны компрометировать в их глазах науку, не имеем права утверждать, что она безучастно относится к жизни, в то время как на ее данных так быстро и блестяще развивается техника. Утверждая, что «наука спокойная обитель, далекая от всяких тревожений жизни», мы владем в явное и порочное противоречие с новой действительностью, которая создается на основах, выработанных наукой. Мы ежедневно твердим о грандиозных, революционных достижениях в области электрификации, индустриализации, мы восхищаемся недавно найденным у нас новым способом отсасывания паров бензина, успехами искусственного оплодотворения животных и т. д. и мы же возбуждаем скептическое отношение к науке, которая все более решительно и властно входит в жизнь как сила организующая».

Разумеется, Горький не замыкал науку в круг чисто утилитарных и технических задач, не ограничивал ее горизонта узко практическими целями. Он вовсе не был против широких научных концепций, далеко ведущих гипотез и перспективных исследова-

довательских поисков. Горький имел в виду «искания» кабинетные, оторванные от жизни, «истины» абстрактные, метафизические.

Критика Горьким статьи Тымянского дает вполне определенное представление о том, насколько основательным и глубоко продуманным было его стремление отвести в своих журналах важнейшее место пропаганде достижений, завоеваний и открытий науки. Понятными становятся и те огромные усилия, которые Горький приложил к тому, чтобы реализовать свои замыслы. В отделе науки «Наших достижений» сразу же приняли участие ученые Ферсман, Бах, Ольденбург, Н. Кольцов, Завадовский и другие. В первых же номерах были опубликованы статьи П. Куркина «Рост населения в СССР», Р. Самойловича «Спасательная экспедиция на ледоколе «Красин», А. Сысина «Борьба с эпидемиями в СССР», В. Моде-

стова «Вредители и борьба с ними в СССР», Н. Подкопаева «Работы академика И. П. Павлова», М. Иванова «Мериносное овцеводство» и многие другие. Активное участие принимали ученые и в других горьковских журналах («За рубежом», «Колхозник»), в альманахе «Год XVI» и т. д.

Отводя науке первостепенное место в своих журналах, привлекая ученых к активному участию в них, Горький и в данном случае стремился сблизить журналы с жизнью, сделать массовыми, поставить на службу социалистическому строительству и воспитанию нового человека. В этом заключался главный смысл его самоотверженной работы в качестве руководителя и неутомимого редактора «горьковского литературного комбината», главный смысл всех его трудов в качестве выдающегося деятеля советской культуры и литературы.





А. ЛЕБЕДЕВ

★

## ИСКУССТВО «ДЛЯ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ»

(По страницам «Тюремных тетрадей» А. Грамши)

**И**мя Антонио Грамши известно у нас еще не так, как того заслуживает. Между тем, как говорил близкий друг, ученик и продолжатель его дела Пальмиро Тольятти, это был один «из самых великих сынов итальянского народа», один «из самых глубоких и гениальных мыслителей-марксистов»<sup>1</sup>. Антонио Грамши, пишет Карло Салинари, «еще недостаточно известен за пределами Италии, но внутри страны выход в свет его «Тюремных тетрадей» явился самым значительным событием культурной жизни после второй мировой войны»<sup>2</sup>.

Грамши скончался в 1937 году, сорока шести лет от роду, пробыв перед тем в заключении более десяти лет. А через десять лет после гибели Грамши Италия была потрясена, познакомившись с тем, что написал он в тюрьмах, в обстановке, специально рассчитанной на то, чтобы сломить интеллектуальную мощь этого человека. «Величие фигуры Грамши и его произведений поразили итальянскую интеллигенцию»<sup>3</sup>. «Опубликование... трудов, созданных в безмолвном одиночестве тюрьмы, было настоящим

открытием, воспринимавшимся как откровение»<sup>1</sup>.

«Тюремные тетради» Грамши, объединившие его заметки по важнейшим вопросам современной философии, истории, политики, социологии, эстетики, этики, составили целую эпоху в развитии прогрессивной итальянской общественной мысли, озаменовали собой новый шаг в становлении творческого марксизма.

С новой силой интерес к творчеству Грамши проявился среди итальянской коммунистически настроенной и вообще прогрессивной интеллигенции после XX съезда КПСС. «...Наша партия, — говорил на VIII съезде Коммунистической партии Италии Тольятти, — занялась глубоким изучением решений XX съезда Коммунистической партии Советского Союза, развернутой на нем критики и важных разоблачений... Нам, итальянским коммунистам, это было легче понять благодаря содержанию той политики, которую мы проводили свыше десятилетия, благодаря тому характеру, который наша партия стремилась придать самой себе и своим действиям, благодаря нашей идейной подготовке на основе указаний Антонио Грамши»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> П. Тольятти. К советскому читателю. См. в кн. Антонио Грамши «Избранные произведения в трех томах», Издательство иностранной литературы. М. 1957, т. 1, стр. 7.

<sup>2</sup> Карло Салинари. Антонио Грамши — революционер и мыслитель. «Иностранная литература», № 11, 1962, стр. 207.

<sup>3</sup> Марио Спинелла. Некоторые аспекты развития современной итальянской философии «Вопросы философии», № 3, 1955, стр. 100.

<sup>1</sup> Роберто Батталья. Предисловие к русскому изданию книги Паоло Алатри «Происхождение фашизма». Издательство иностранной литературы. М. 1961, стр. 12.

<sup>2</sup> См. «Материалы VIII съезда Итальянской Коммунистической партии», Госполитиздат. М. 1957, стр. 6—7.

Нет никакого сомнения в том, что вся атмосфера, складывавшаяся в мировом коммунистическом движении после XX съезда КПСС, в огромной мере способствовала углублению интереса к идеям Грамши, открывая возможность, в частности и для итальянских коммунистов, на деле, в практике своей культурной политики следовать заветам великого мыслителя-революционера.

Грамши не писал трактатов по эстетике. Однако идеи, заключенные в «Тюрремных тетрадах», представляют исключительную ценность для верного понимания многих важных проблем современного искусства, прежде всего — зарубежного искусства. Хотя, надо сказать, положения, выдвинутые в свое время Грамши, имеют, вне сомнения, и общеметодологический смысл. Как заметил в беседе с корреспондентом газеты «Унита» Эдуардо де Филиппо, «наблюдения и выводы Грамши приобретают сегодня силу точного предвидения и актуальны в гораздо большей степени, чем высказывания многих и многих современных критиков».

Вот только один, но, думается, весьма характерный пример, свидетельствующий о том, сколь полезно может оказаться обращение к наследию Грамши при решении, казалось бы, «чисто современных», сегодняшних вопросов искусства и эстетической теории.

\* \* \*

В течение последних лет в нашей периодической печати часто встречается упоминание о развитии на Западе одного довольно странного жанра искусства. Речь идет о пресловутых «комиксах» и разного рода «пocketбуках» — «искусстве для самого широкого потребления», «искусстве для всех», о «чтиве» для масс. Комиксы и pocketбуки высмеиваются, часто в заметках, посвященных их засылу на Западе, звучит негодование: искусство опошляется в коммерческих целях.

С подобной же точки зрения в основном оценивается у нас и бушующий на зарубежном экране и книжных рынках поток коммерческих фильмов, «литературы ужасов», желтой авантюрной полуполнографической «литературы» и других подобных изданий.

Обычно, обращаясь к подобного толка «искусству», авторы наши говорят о нем как о симптоме общего загнивания буржуазной культуры и о несоместности дальнейшего развития культуры с капиталистическим способом производства. На этом анализ, как правило, и завершается. Меж тем все отмеченные явления представляют незаурядный интерес и с точки зрения социологической, и с точки зрения эстетической. Отнюдь, конечно, не случайно проблема «дешевого искусства», «искусства для масс», проблема «чтива» и «зрелищ» оказалась центральной проблемой целого ряда дискуссий, ведущихся ныне на страницах зарубежной печати.

Как известно советскому читателю, состоявшийся в марте 1962 года во Флоренции конгресс Европейского сообщества писателей был посвящен взаимосвязи литературы и новых средств распространения культуры. За несколько месяцев до созыва конгресса во флорентийском издательстве Сансони вышел номер альманаха «Уллис», целиком посвященный теме предстоящего конгресса. Под общим заголовком «Культура и субкультура» в альманахе были опубликованы выступления авторов, различных по своим профессиям и взглядам. Многие из этих выступлений имеют характер важных свидетельств людей, непосредственно соприкасавшихся с современной буржуазной действительностью в своей житейской и общественной практике.

В настоящее время, писал в упомянутом номере «Уллиса» профессор психологии Римского университета Энрико Фулькиньюни, «имеют хождение теории, обосновывающие существование в области культуры двух систем идеологических ценностей. К первой системе относится все то, что является «подлинным искусством», во второй системе относятся явления так называемой «культуры для масс». Можно ли утверждать, что «подлинная культура» и «культура для масс» представляют собой два противоположных явления, есть ли между ними диалектическая связь? Можно ли считать, что критерием подлинной культуры и подлинного искусства является истинность, в то время как критерием культуры для масс является действительность? Можно ли считать всегда действитель-

ным такие уравнения: искусство — элита — поиск истины; народная культура — масса — развлечение. Не существует ли динамической связи между искусством и «культурой для масс»? Может ли искусство стать «культурой для масс» и при каких условиях? Вот, — заключает профессор, — возникающие в этой области вопросы».

Все эти вопросы в основном и обсуждались на страницах «Уллиса». Заметное место они заняли и в ходе дискуссий на самом Флорентийском конгрессе, и в последующих откликах на этот конгресс в зарубежной прессе различных направлений. При этом следует заметить, что Флорентийский конгресс, без сомнения, явился наиболее представительным писательским форумом последнего времени и что, стало быть, суждение его участников об интересующей нас проблеме можно считать выражением мнения значительной части мировой писательской общности. Очевидно, и не только писательской.

Серьезную озабоченность по поводу положения с так называемой «культурой для масс», «культурой и искусством для широкого потребления» выразило огромное большинство участников дискуссии. Были сказаны горькие слова о том, что в условиях господства современной буржуазии «...критерии подлинных ценностей культуры подменяются иерархией суррогатов. Глупость, на которой спекулируют рыночные дельцы, производящие «полукультуру», благодаря их стараниям лишь умножается и распространяется. Традиционный эстетический критерий становится бесполезным. Ценность того или иного продукта измеряется лишь реакцией покупателей... а сбыт изделий «полукультуры» происходит в условиях искусственного повышения спроса». Человек в условиях современного буржуазного общества, писал искусствовед и театралный кригик Вито Пардольфи, «все более уподобляется ученику чародея: в его руках чудодейственные средства, но он не знает, как пользоваться ими, и становится их жертвой. Телевидение, созданное для расширения человеческих контактов, для приближения человека к миру, в котором он живет, превращается в средство губительного удушья мысли и личности».

Большая группа западных писателей говорила о несовместимости истинной, «высокой» литературы и искусства и массового кино. Кино вообще «не имеет ничего общего с литературой», — заявила Маргерит Дюрас — автор сценария «Хиросима — любовь моя». Огромный успех фильма, снятого по ее сценарию, толкнул ее даже к неожиданному решению: никогда больше не работать для кино. «Тиражи итальянских иллюстрированных изданий говорят о том, — писал очеркист Джузеппе Тедески, — что наиболее вульгарные из них пользуются наибольшим распространением... Наибольшими тиражами выходят так называемые «фотороманы», иллюстрированные журналы для домашних хозяек, периодические издания, уделяющие главное внимание светской хронике, хронике скандальных происшествий, судебно-уголовной хронике... Характер этих журналов требует постоянного приспособления к низкому уровню читателей» и т. д. и т. д.

Таким образом, в выступлениях авторов, подчас весьма различных по своим эстетическим и иным взглядам, упорно утверждалась мысль: беду принесли новые средства и формы распространения культуры — кино, телевидение, радио, массовые дешевые издания. Лишь сравнительно небольшое число писателей связывало кризис современной зарубежной культуры непосредственно с антидемократической политикой правящих классов. Большинство же участников дискуссии склонялось к мысли, что сегодняшняя постановка вопроса «искусство — массы» возникла как непосредственное отражение невиданного доселе вторжения технических средств культурной пропаганды. Вот, оказывается, в чем суть дела.

Но в этом ли действительно суть дела? И сегодня ли возник кризис?

Думается, что стремление ряда современных зарубежных идеологов списать остроту проблемы «культура — массы», «искусство — массы» почти целиком за счет «совершенно новой ситуации» в современном мире нельзя считать убедительным. Одно дело, что чем дальше — тем больше обостряются противоречия буржуазного общества, демонстрируя свою неразрешимость в рамках старого

миропорядка. Другое дело, что эти противоречия (по крайней мере главные из них) вообще свойственны самой природе буржуазного общества и не падают с неба на современный мир. Вот и проблема «культура и массы», на все лады и с самых разных позиций обсуждаемая ныне многими зарубежными идеологами в ее наиболее драматическом для современного зарубежного общества аспекте — «массовая культура», «культура для широкого потребления». — и эта проблема не упала с неба.

Мысли обо всем этом Грамши, имевшего трагическую возможность увидеть буржуазное общество изнутри в один из периодов наиболее тяжелой его деградации, представляют особую ценность.

«Чем, — спрашивал Грамши, — объяснить популярность нехудожественной литературы? Несомненно, что причины такого положения носят практический и культурный (политический и нравственный) характер»<sup>1</sup>.

\* \* \*

Известно, что традиционная эстетика специализировалась на изучении исключительно художественных явлений культурной жизни и всегда видела свое обоснование в ряду наук и свое оправдание в сфере нравственной деятельности именно в обращении к высокому искусству. Между тем, замечает Грамши, «существует другая область в культурной жизни нации и народа, которой никто не занимается и к которой никто не думает подходить критически, а именно область романов-приложений в собственном и широком смысле слова».

Роман-приложение в собственном смысле слова — это литературное приложение к тем или иным периодическим печатным изданиям. В свое время эти приложения были затеяны многими издателями для обеспечения высоких тиражей, для привлечения к этим изданиям самой широкой публики, не интересовавшейся сложными вопросами «высокой» и чуждой ей политики, но с интересом следящей за печатающимися из номера в номер или появляющимися по воскре-

сеньям историями похождения светских красавиц или таинственных бандитов.

С течением времени, однако, жанр романов-приложений выделился в особую литературу, особое искусство. Цель этого искусства осталась прежней: развлекающая — отвлекать. Но романы-приложения в широком, как говорит Грамши, смысле превращаются теперь уже в своего рода «второе искусство» — самое массовое в условиях буржуазной действительности и самое общедоступное. Роман-приложение становится «искусством для широкого потребления», не требующим ни вкуса, ни специальной подготовки, ни интеллектуального напряжения. Он захватывает театр, кино, телевизор, звучит с магнитофонной ленты. Литературу он превращает в беллетристику.

Мир ушел вперед, наука достигла фантастических успехов, но роман-приложение, искусство ширпотреба, продолжает удерживать воображение читателя на уровне едва ли не средневековых представлений о жизни. С этой точки зрения примитивность такого искусства — не просто свидетельство убогости его творцов или следствие стандартизации эстетических мерок в условиях поточного производства, — это прежде всего явление идеологического характера.

Давно истлели зачитанные до дыр страницы романов-приложений, печатавшихся в изданиях фашистской Италии времен Муссолини. Мир пережил за эти четверть века целую эпоху. Но вот, по словам известного современного испанского писателя Хуана Гойтисоло, чем ныне наводнены книжные рынки его несчастной страны:

«Вечный роман. В нем рассказывается о славных деяниях рыцарей. Преследования христиан и их мученичество, крестовые походы и войны — таков наиболее часто встречающийся сюжет этой группы книг... Как правило, автор отличается от инакомыслящих даже одеждой: он носит придающую ему мужественный вид кожаную куртку, ржавое оружие и панцирь».

Социальный роман... Канцеляришка Хосе Перес зарабатывает в месяц восемьсот песет. Он ненавидит своего шефа, кругленького жирного дона Амбросио... В один прекрасный день Хосе Переса вводят в семью шефа, и он начинает

<sup>1</sup> Антонио Грамши. Избранные произведения в трех томах. Издательство иностранной литературы. М. 1957—1959. В дальнейшем мы везде цитируем Грамши по этому изданию.

понимать, что жизнь начальника почти не отличается от его собственной. За суровой внешностью дона Амбросио скрывается нежная любовь к детям; у него, как и у Переса, есть две канарейки. Хосе Перес возвращается домой преображенным. Теперь он чтит строгость и суровость дона Амбросио, так как теперь ему известно (как и читателю), что в сердце шефа заключены неисчерпаемые запасы тепла.

**Рискованный роман.** Представители этого жанра громогласно заявляют на обложках и в интервью, что они намерены говорить правду в глаза и что им чуждо ханжество. Героиней их романа может быть, например, уличная женщина. Покинутая своим возлюбленным, она бросается в море, но ее спасает священник... Сердце девушки раскрывается перед милостью божьей, указывающей ей путь к новой жизни.

**Роман нравов.** Последователям этого жанра предоставляется неограниченное право в выборе тем. Здесь над всем превалирует мораль. Сама история не имеет значения. Сюжет может ограничиваться самой банальной любовной интригой. Скажем, так: Хуанита безумно влюблена в простого рабочего — грубияна и к тому же алкоголика Пасо. Воздыхатель Луисин, молодой благонаправленный студент-архитектор, напрасно ждет ее на углу с букетом цветов, сидя за рулем своего белого «кадиллака». Хуаните не до него. Но рабочий-алкоголик, злоупотребив доверием и чувством Хуаниты, издевается над ней в компании собутыльников... Такая подлость приводит в конце концов Хуаниту в чувство. Она принимает букет Луисина, и оба исчезают вдали на белом «кадиллаке».

**Реалистический роман...** Их нельзя и сравнить с зарубежными реалистическими романами, совершенно лишёнными поэзии. Испанский реалистический роман — это произведение с ярко выраженными высокими идеалами. Маленький сиротка настоятельно просит святого Петра вернуть ему его папу. Святой Петр услышал эту мольбу: отец, который, оказывается, и не думал умирать, появляется на последней странице книги — веселый и довольный» и т. д.

Стоит заменить в этом перечне имена героев, слегка подправить детали нацио-

нального колорита — и перед нами едва ли не все сюжетные варианты беллетры. И, право, нет никакой разницы, происходит ли дело в фашистской Италии тридцатых годов или в фашистской Испании шестидесятых.

Кстати, совершенно неоправданно, говоря о проникновении в наше искусство буржуазных влияний, наши авторы почти всегда обходят вопрос о проникновении беллетристических шаблонов буржуазного искусства ширпотреба. Не происходит ли это лишь потому, что подобное «искусство» бывает свободно от характерных черт буржуазной «модерновости», а его трафареты выглядят почти вневременными из-за своей косности?

«Современники, — говорит Грамши, — не всегда замечают пагубность некоторых литературных явлений».

Конечно, современная эстетика знает грань между «высоким» искусством и так называемым чтивом, занимательной литературой, искусством для времяпрепровождения, искусством ширпотреба и т. п. Более того, представление, что наряду с высоким искусством, настоящим искусством — классикой должно существовать (или даже всегда существует) и, так сказать, тень этого искусства — искусство «легкое», адаптированный вариант истинного художественного явления, шедевра, — такое представление кажется уже привычным и никого, видимо, не озадачивает.

Это естественно. Ибо, по мысли Грамши, если в обществе культивируется неравенство в сфере материальной, в сфере политической и идеологической, то и в сфере искусства, как считает Грамши, дело будет обстоять совершенно таким же в принципе образом. «Роман-приложение», ставший основным чтивом для народа в современном буржуазном обществе, — свидетельство антинародности всей культурной политики данного общества, и Грамши совершенно не случайно уподобляет такого рода «искусство» какому-то наркотическому средству «против повседневной банальности» жизни большинства.

Существующая в современном буржуазном обществе дурная антитеза между «высоким» искусством элиты и «субискусством» для простолюдины — вообще-то говоря, не что иное, как проявление

вполне традиционного для всего старого общества антагонизма между «верхами» и «низами» — управляемыми и управляемыми, трудовыми массами и эксплуататорами. Пусть подобный антагонизм и не всегда прямо выражается в этой антитезе. Но именно так, в частности, в Италии «возникла пропасть, отделявшая культурных людей от прочих, составлявших, однако, большинство и оставшихся во власти проходимцев», возник «глубокий разрыв между простонародьем и образованным классом»<sup>1</sup>.

Но, явившись следствием стихийных обстоятельств, раскол культуры, разрыв, по определению Грамши, «между высокой культурой и жизнью, между интеллигенцией и народом... между повседневной жизнью и культурой, между умственным трудом и физическим», чем дальше — тем больше становится препятствием к дальнейшему интеллектуальному и вообще всякому историческому прогрессу, становится огромной социальной опасностью. Вместе с тем этот разрыв становится уже и вполне осознанной политической, в проведении которой заинтересованы именно правящие классы современного буржуазного общества. Не случайно в этой связи, что тот же Кроче, не считавший возможным отрицать классовые различия и даже классовую борьбу в современном буржуазном обществе, исход и итог этой борьбы представлял лишь «как переход власти от одной элиты к другой элите, которая унаследует от первой ее традиционные способы правления и ее традиционные формулы гегемонии»<sup>2</sup>. Реакционный философ Хосе Ортега-и-Гассет писал в 1925 году: «Надо помнить, что во все эпохи... существовало два типа искусства — одно для меньшинства, а другое для большинства... Соответственно двойной структуре общества, разделенного на касты — знатных и плебеев, — имелось два типа искусства: благородное искусство, которое являлось «условным», «идеалистическим»... и народное искус-

ство». Допустим. Но что же дальше? «Даже если чистое искусство немислимо, — замечает испанский философ, — имеется, без сомнения, возможность для проявления тенденции очистить искусство... В ходе этого процесса будет достигнута такая точка, когда человеческий элемент произведения искусства будет столь ничтожно скудным, что его едва можно будет заметить. Тогда мы будем иметь предмет, который смогут воспринять только те, кто обладает специфическим даром художественной восприимчивости. Это будет искусство для художников, а не для масс людей. Это будет искусство касты, а не демократическое искусство»<sup>1</sup>.

Нет, замечает Грамши, «человечество не может долго пребывать в состоянии раскола. Человеческий род тяготеет к внутреннему и внешнему единству, к такой системе мирного сосуществования, которая позволила бы перестроить весь мир. Социальный строй должен быть таким, чтобы он мог удовлетворять человеческие потребности».

«Разделяй и властвуй!» — таков действительный смысл традиционной культурной политики всякого эксплуататорского общества. Ибо без насильственного отторжения большинства от исторического творчества невозможно господство меньшинства. Однако как только сохранение и поддержание культурного разрыва «низов» и «верхов» становится политикой «верхов» в данном обществе, это начинает означать, что данное общество находится в состоянии кризиса культуры, что «верхи» этого общества уже перестали быть носителями «высокой культуры» и что они боятся теперь потерять даже формальное положение культурных гегемонов.

В этом смысле «кризис культуры» означает кризис авторитета власти вообще, по меткому выражению Грамши, «диктатуру без гегемонии» и в итоге кризис власти. Кризис культуры современного буржуазного общества чреват катастрофой и свидетельствует о неразрешимости лежащих в основе этого кризиса общественных противоречий. Иллюзию культурного единства при действительном разрыве культуры пытаются создать

<sup>1</sup> Франческо Де Санктис. История итальянской литературы. Издательство иностранной литературы. М. 1963, т. 1, стр. 401, 428.

<sup>2</sup> Микеле Аббате. Философия Бенедетто Кроче и кризис итальянского общества. Издательство иностранной литературы. М. 1959, стр. 137.

<sup>1</sup> Современная книга по эстетике. Антология. Издательство иностранной литературы. М. 1957, стр. 450.

именно тогда, когда катастрофичность кризиса данного общества осознается хотя бы некоторой частью идеологов. В этом случае начинается борьба за то, чтобы «не дать, — как говорит Грамши, — интеллектуально более высоким слоям оторваться от слоев низших». Начинается процесс насильственной стандартизации мыслей, причем, как замечает Грамши, такая «стандартизация образа мыслей... принимает национальные или даже континентальные размеры». Общество как бы специально, насильственно и сознательно одурачивается и деморализуется. Не последнее место в подобного рода политике занимает и низкопробное «искусство», особого рода беллетристика «для широкого потребления».

Что же касается марксизма, то, как замечает Грамши, его позиция прогивоположна изложенной. Марксизм «стремится не удержать «простых людей» на уровне их примитивной философии житейского смысла, а, наоборот, подвести их к более высокой форме осознания жизни». Если, продолжает свою мысль Грамши, марксизм «утверждает необходимость контакта между интеллигенцией и «простыми людьми», то это не для того, чтобы ограничить научную деятельность и поддержать единство на низком уровне масс, а именно для того, чтобы создать интеллектуально-моральный блок, который сделает политически возможным прогресс всей массы, а не только узких группок интеллигенции».

Искусство «романов-приложений», «искусство для широкого потребления» в современном буржуазном обществе с этой точки зрения — это отнюдь не просто искусство второго сорта, это не «субискусство», а именно антиискусство. Социальные и эстетические функции подлинного искусства и «искусства для широкого потребления» прямо противоположны, несовместимы, непримиримы.

\* \* \*

Роман-приложение по эстетической природе своей не является художественным отражением жизни, хотя, как считает Грамши, он все-таки отражает некоторые существенные ее закономерности; он не типизирует действительности, хотя и является достаточно типическим явлением сам по себе.

Грамши соглашается с тем мнением, что «роман-приложение... возник на почве потребности в иллюзии, которую испытывали, а может быть, и испытывают еще бесчисленные маленькие существа, как бы желая разрушить убогую монотонность жизни, на которую они считают себя обреченными». «Роман-приложение, — говорит Грамши, — заменяет (и развивает в то же самое время) фантазию человека из народа, это сон с открытыми глазами... В этом случае можно сказать, что в народе мечтание зависит от «комплекса неполноценности» (социальной), который определяет долгие мечтания об идее мести, наказания виновных за принесенное зло и т. д. В «Графе Монте-Кристо» налицо все элементы, необходимые для того, чтобы лелеять эти мечты и, следовательно, давать наркотик, который смягчал бы ощущение боли».

Показательно, что почти в совершенно тех же выражениях говорил в цитированном выше выступлении о «снотворной функции» кино, радио и телевидения Фулькиньони, связывая эту функцию с удовлетворением «стремления к ирреальному миру», которое «становится насущной жизненной потребностью» у масс в современном буржуазном мире, где «сотни миллионов людей» живут в исключительно еще трудных условиях. Вот почему, замечает Фулькиньони, «рост расходов на кино, телевидение, проигрыватели, пластинки и т. д. в значительной степени превышает реальный рост расходов и жизненного уровня в целом».

Стандартизация жизни большинства приводит к стандартизации развлечений, к стандартизации иллюзорных поисков выхода из удручающей монотонности бытия. Людям, живущим одинаковой жизнью, сняты одинаковые сны — потому и возможны всякого рода «сонники».

Тут, замечает Грамши, надо непременно принимать во внимание тот факт, «что деятельность большей части человечества постоянно тейлоризировалась и вводилась в рамки железной дисциплины и что она пыталась выйти за пределы тесных и давящих рамок существующей организации при помощи фантазии и мечты... Но, — подчеркивает далее Грамши, — наиболее знаменательным является то, что рядом с Дон-Кихотом существ-

вует Санчо Панса, который не хочет «авантюра», а хочет быть уверенным в жизни, а также то обстоятельство, что большинство людей страдает именно от того, что человечество одержимо идеей о «неизвестности завтрашнего дня», страдает от ненадежности своей обыденной жизни, то есть от чрезмерно больших возможностей для «авантюра».

Масса в условиях буржуазного общества находит в «романах-приложениях» некое успокоение души именно потому, что отчетливо чувствует: ее серые будни еще не предел, они чреватые чем-то таким, что по неподконтрольным ей причинам (в силу «авантюристичности» бытия) может оборваться в нечто совершенно кошмарное. Авантюристичность бытия сулит массе лишь катастрофу. Авантюристичность жизни, с точки зрения Грамши, — симптом и проявление полного отчуждения закономерностей общественного бытия от человека и превращения этих закономерностей в нечто чуждое, непонятное и по преимуществу враждебное человеку. Это уже не его — человека, а «чуждая» авантюра, в которой он — пешка<sup>1</sup>.

В нашей печати уже высказывалась та мысль, что Грамши в своем истолковании литературного детектива, детективности «романов-приложений», «искусства для широкого потребления» полемизировал с традиционным для буржуазного литературоведения пониманием природы этого своеобразного жанра<sup>2</sup>. Это, конечно, так. Но не только и, может быть, даже не столько в этом суть дела.

Несомненно, что актуальность проблемы литературного детектива, проблемы авантюристичности жизни вообще определялась для Грамши прежде всего тем, что само понятие «авантюристичности» обрело в условиях тогдашней — фашистской и предфашистской Италии — достаточно определенный общественно-политический смысл. Фашизм делает авантюру основой всей своей политической практики, пре-

вращает ее в своего рода «программу» деятельности. Фашизм фетишизирует авантюристичность общественного бытия.

«Речь идет не об «упадке» авантюристического духа, — писал Грамши в «Тюремных тетрадах», — а о слишком большой авантюристичности обыденной жизни, то есть о чрезмерной ненадежности существования в сочетании с убеждением, что бороться с этой ненадежностью один человек не в состоянии; поэтому мечтают о «красивой» и интересной авантюре, к которой должна привести своя собственная свободная инициатива, в противовес авантюре «гадкой» и отвратительной, поскольку эта последняя вызвана условиями, навязанными другими, а не предложенными на основе добровольности».

Так общественная несамостоятельность жизни большинства в современном буржуазном обществе примиряет томительное однообразие существования с его гревожащей авантюристичностью, ненадежностью, зыбкостью. И искусство романов-приложений, «искусство для широкого потребления», по мысли Грамши, как раз и должно расцветить эту жизнь и успокоить существующих. Это «искусство» создает как бы «вторую реальность», во многом построенную по закону полной противоположности тому, что есть на самом деле. А такое искусство, в котором «все, как в жизни», почитается теперь уже скучным и неинтересным.

Будни буржуазного бытия тяжки, однотонны, серы для «маленьких людей» мира сего — романы-приложения увлекательны, детективны. Жизнь в условиях современной капиталистической действительности опасна, завтрашний день пугает, обещает несчастье — романы-приложения гарантируют оптимизм счастливой концовки. Жизнь в современном буржуазном мире мелочна, безгеройна, она изматывает простого человека в бессмысленной возне с бесконечными дрязгами бытия — «искусство для широкого потребления», романы-приложения уведут читателя от «мелких тем»; в этих романах бушуют титанические страсти и титанические злодеи. Человек из народа задавлен буржуазией, жалок и бесправен; главный герой «искусства для широкого потребления» — сильная личность, почти сверхчеловек, «супермен».

<sup>1</sup> С этой точки зрения, думается, достаточно характерна попытка современных американских «романов-приложений» и соответствующей эстетики навязать читателю в качестве главного положительного героя образ некоего «святого плута» — типического порождения «парадоксального века». (См. Л. Землянова, Современная эстетика в США. Госполитиздат М. 1962, стр. 76.)

<sup>2</sup> См., например, М. Кораллов, Грамши об искусстве, «Театр», № 12, 1961.



\* \* \*

Этому сверхчеловеку — «незапятнанному герою», идеальному персонажу столь неидеального искусства Грамши посвящает целый ряд страниц своих «Тюремных тетрадей».

Он очень подробно говорит о таком сверхчеловеке в подобного рода «народном искусстве» и о его влиянии на реальную жизнь и быт. «Особенное влияние, — замечает Грамши, — эти романтические образы оказывают на мелкую буржуазию и мелкобуржуазную интеллигенцию; это их «опиум», их «искусственный рай» по контрасту с убожеством и узостью их личной жизни. Отсюда успех некоторых поговорок, как, например, поговорка «лучше быть один день львом, чем сто лет овцой», которая имеет, — по словам Грамши, — особенно большой успех именно у тех, кто является самой настоящей, безнадежной овцой. Сколько таких «овец» говорит: «О, если бы мне иметь власть хотя бы на один только день» и т. д.; быть «неумолимым судьей» — мечта тех, кто испытывает на себе влияние Монте-Кристо».

Через все творчество Грамши проходит идея антириторизма, идея резкого неприятия всякого рода напыщенности, декламационности, «стилистического ханжества», ходульности, «создания праздничной атмосферы», торжественного мелодраматизма и демонстративной страстности.

Грамши связывает традицию надрывно-романтического возвеличивания «идеальной», «титанической», «сверхчелювной», «сверхмужественной» личности с некоторыми ницшеанскими идеями. Вместе с тем, по мнению Грамши, «в характере сверхчеловека много элементов театральных, показных, свойственных скорее «примадонне», чем сверхчеловеку; много формализма «субъективного» и «объективного», ребяческой амбиции и стремления быть «первым в классе», но прежде всего быть признанным и провозглашенным в качестве такового».

Не случайно, конечно, искусство романов-приложений, «искусство для широкого потребления» так любит образ героя-сверхчеловека. И не случайно, конечно, сам Грамши непосредственно связывает идеологию культа «героической» личности в буржуазном обществе

(в том числе и в ее ницшеанском аспекте) с цезаризмом в политике.

В «Тюремных тетрадях» Грамши неоднократно и очень энергично выступает против «манерной игры в титанов», говорит «о необходимости быть «скупыми» на слова и на позы», весьма неприязненно отзываясь о разного рода «незапятнанных легендарных героях».

Конечно, во всем этом проявилась вполне определенная эстетическая традиция, связывающая Грамши с Марксом, Энгельсом, Лениным. Известно, что Маркс, не бывший сторонником показа великих людей в «неглиже», говорил вместе с тем о том, что было бы весьма желательно, чтобы вожди революционных партий изображались в литературе «суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде», а не «с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы»<sup>1</sup>. В искусстве вообще Марксу претили «фальшивая глубина, византийские преувеличения, кокетничание чувства, пестрое хамелеонство, word painting (словесная живопись. — А. Л.), театральность, sublime» (напыщенность. — А. Л.)<sup>2</sup>. «Мы, — говорил Энгельс, — хотим устранить все, что объявляет себя сверхъестественным и сверхчеловеческим, и тем самым устранить лживость, ибо претензия человеческого и естественного быть сверхчеловеческим, сверхъестественным есть корень всей неправды и лжи... Чем «божественнее», т. е. нечеловечнее, является что-либо, тем меньше мы в состоянии им восхищаться... Человек должен лишь познать себя самого, сделать себя самого мерилем всех жизненных отношений, дать им оценку сообразно своей сущности, устроить мир истинно по-человечески, согласно требованиям своей природы... Человечество проходит через демократию, конечно, не затем, чтобы в конце концов снова вернуться к своему исходному пункту... Демократия является, конечно, лишь переходной ступенью, но не к новой, улучшенной аристократии, а к истинной, человеческой свободе»<sup>3</sup>.

Совершенно очевидно, что непосред-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 280.

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV, стр. 425.

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 592, 593, 595.

ственной почвой для невероятной гипертрофии «словесно-риторической», как говорит Грамши, традиции, которой уже давно были заражены «верхи» итальянского общества и итальянская культура в целом — полного разрыва слова и дела, лозунга и действительности, демагогической формы и истинного содержания политики, непосредственной почвой для триумфа тотального общественного лицемерия явилась в жизни тогдашнего итальянского общества вся ситуация фашистской «революции на словах». И контрреволюции — на деле.

Не случайно фашизм — кровавая диктатура монополистического капитала ищет и находит обычно поддержку у носителей мелкобуржуазной идеологии. В известном смысле можно сказать, что самая сущность мировоззрения мелкой буржуазии с ее претензией на «героизм», на «титаническую» позу, с ее обывательским высокомерным отношением к простоте, скромности жизненного стиля, с ее традиционным подходом к людям и режимам, которых она всегда встречает «по одежке», — это мировоззрение органически связано с тем именно, что исчерпывается одним-единственным словом — риторика<sup>1</sup>.

«Диктатура без гегемонии» реакционных групп современной буржуазии необходимо предполагает принудительный риторизм официальных норм и стиля жизни данного буржуазного общества. Подобный риторизм в этом случае свидетельствует о том, что, как говорит Грамши, «в этом обществе противоречие между государственным правом и «естественным» правом (если, — замечает Грамши, — употреблять это двусмысленное выражение) является крайне глубоким». «Диктатура без гегемонии» реакционных буржуазных режимов ведет к глубочайшей травме всего общества. «...Насильственное воздействие государства на отдельного индивида, — говорит Грамши о такого рода ситуациях, — возрастает, возрастает нажим и контроль одной части над целым и целого — над каждой составной частью». «Масса» в этом случае «служит... попросту «маневренной силой», и ее «занимают» мо-

ральными наставлениями, sentimentalными внушениями, мессианскими мифами о наступлении легендарной эпохи, во время которой сами собой будут разрешены все бедствия, устранены все противоречия современности». И вот тут-то, говорит Грамши, именно «литературно-риторическая традиция становится политическим ферментом и побудительной причиной возникновения той идеологической базы, на основе которой действующим политическим силам удается повести за собой, хотя бы и в беспорядочном строю, широкие народные массы, поддержка которых была необходима им для достижения определенных целей».

Довольно много времени прошло с тех пор, когда были написаны эти строки. Но они могли бы послужить отличным эпиграфом и к новейшим исследованиям, посвященным некоторым процессам, происходящим в современном зарубежном искусстве.

В недавно опубликованной статье Леопольда Грюнвальда «Второе вторжение» есть главка, называемая так: «От дешевой халтуры до коричневых боевиков». «Сначала, — пишет в этой главке автор, — появление западногерманских фильмов на австрийском экране не казалось более или менее безобидным. Это были так называемые «хайматшнульцен», душещипательная провинциальная халтура, убогий ширпотреб. Но очень скоро в Австрию стали проникать подстрекательские политические фильмы: экскурсы в историю под углом зрения реваншистов, антисоветская стряпня, западноберлинские боевики, содержащие пропаганду «холодной войны»... В дни, когда страна выражала свое возмущение убийством испанского борца за свободу Гримау, в самом большом кинозале Вены «Урания» начали демонстрировать западногерманский фильм, прославляющий «Голубую дивизию» Франко и ее разбойничье нападение на Советский Союз. Конечно, фильм пришлось снять. Но самый факт ввоза подобных картин красноречивее всяких слов»<sup>1</sup>.

Несомненно, западногерманская идеологическая и культурная экспансия в

<sup>1</sup> Паоло Алатри. Происхождение фашизма. Издательство иностранной литературы. М. 1961, стр. 27.

<sup>1</sup> «Иностранная литература», № 7, 1964, стр. 236.

современной Австрии — всего лишь частный случай, частное проявление более общей идеологической закономерности, присущей современному буржуазному миру. Именно ее механизм более четверти века тому назад и был описан Грамши, увидевшим в столь, казалось бы, безобидных стилистических особенностях романов-приложений проявление общих тенденций буржуазной культуры.

\* \* \*

«Существует, — писал Грамши, — стилистическое различие между сочинениями, предназначенными для публики, и другими, например, между литературными произведениями и письмами. Часто кажется, что имеешь дело с двумя различными писателями — столь велика эта разница. В письмах (за некоторым исключением, как, например, Д'Аннунцио, который разыгрывает комедию, даже стоя перед зеркалом, только для самого себя), в мемуарах и вообще во всех сочинениях, предназначенных для узкого круга и для самого себя, преобладает умеренность, простота, непосредственность, тогда как в других сочинениях часто преобладает напыщенность, риторика, декламационный стиль, стилистическое ханжество.

Эта «болезнь», — продолжает Грамши, — настолько распространена, что передается народу, из-за нее «писать» означает теперь взбираться на ходули, создавать праздничную атмосферу и «предпочитать» излишне болтливый стиль, во всяком случае выражаться не так, как обычно принято; и поскольку народ не является литератором и, что касается литературы, он знает одни лишь оперные либретто XIX века, то и получается, что люди из народа «мелодраматируются».

Риторика, таким образом, выступает как отчужденное сознание, как некое внеличное сознание, которое лишь «разделяют», но не «имеют». Стилистическое же ханжество связывается Грамши с атмосферой «всеобщего социального лицемерия», причем лицемерия, к которому привыкают до такой степени, что оно становится «второй натурой» и когда, таким образом, естественная натура человека перерождается, начинает воспри-

ниматься им как нечто «низкое» или «низменное», как нечто недостойное общества.

Встречающееся в «Тюремных тетрадах» выражение «диктатура без гегемонии» — это, по словам Грамши, как раз тот исторический случай, когда правящая социальная группа лишь господствует над всем обществом, но не руководит им, когда в насилии, чинимом этой группой над всем обществом, нет и не может быть уже никакого исторического оправдания и смысла.

Вот в этом-то случае «революционная», «прогрессивная» фраза и призывается современной реакционной буржуазией для восполнения «естественной» убедительности данного буржуазного режима. Идеологический риторизм и риторический трафарет становятся незыблемыми нормами буржуазного общества, охраняемыми всей мощью государственной машины. Огромный пропагандистский аппарат капиталистического государства неустанно следит за исправностью этикетки и фасада режима, подновляет их, подмазывает выцветшие призывы, вдалбливает в головы людей пустые слова, примелькавшиеся фразы, утратившие всякое реальное содержание обещания и клятвы. Риторический трафарет всего стиля жизни буржуазного общества свидетельствует о том, что этот стиль является уже чем-то внешним для людей и неестественным, является не их собственным жизненным стилем, а навязанной им чуждой формой жизни. Торжественно канцелярский жаргон официальных документов, газет и докладов становится особым ритуальным языком, на котором дико было бы говорить о личном — внутреннем, человеческом, потому что на человеческом — обычном языке нельзя больше говорить о «высоких» предметах государственной политики. Риторика, таким образом, лишь фиксирует расхождение «официального» и «неофициального» в жизни буржуазного строя как расхождение между тем, что «положено», «предписано», «должно», и тем, что есть на самом деле. При подобном строе, как говорит Грамши, не может не сложиться «ситуация «с двойным дном», «конфликт между «устной» идеологией... и реальной «животной» практикой... Ситуа-

цию, — заключает Грамши, — которая создается в этом случае, можно назвать ситуацией всеобщего социального лицемерия».

В связи с этим и раскрывается Грамши социальная сущность риторического «стиля» в искусстве и культуре современного буржуазного общества вообще.

«Можно было бы сказать, — замечает в этой связи Грамши, — что речь идет здесь о различных вкусах». Действительно, одним, мол, нравится «приподнято-геронческое» искусство, может быть, даже искусство преувеличенно страстное, демонстративно пышное и г. д.; другим — искусство, рисующее людей обычных, а не одних лишь героев. Обе, мол, тенденции и оба эти вкусовые требования равно закономерны и эстетическая правомерность их одинакова.

Однако, — продолжает Грамши, — «вкус является «индивидуальным» или свойственным небольшим группам, здесь же речь идет о больших массах, и поэтому нельзя не говорить о культуре как историческом явлении, о существовании двух культур: «выдержанный» вкус носит индивидуальный характер, не более, мелодрама же отвечает национальному вкусу, то есть национальной культуре».

Последнее замечание может быть верно понято и не вызовет недоумения, если вспомнить о том, что говорил Грамши о «народно-национальном» искусстве романов-приложений, субискусстве «для широкого потребления», о «той дешевой романтической литературе, которая так по вкусу народу (вроде оперных либретто, написанных в лучшем случае в нелепо вычурном стиле и приправленных безвкусно-слащавой патетикой, что, однако, неизменно нравится)».

Нет, вопрос о риторическом ханжестве и риторической напыщенности в современном буржуазном искусстве — отнюдь не «дело вкуса». И «нельзя, — говорит Грамши, — считать, что таким вопросом нет необходимости заниматься — напротив, формирование живой и выразительной и в то же время сдержанной и умеренной прозы должно быть одной из культурных целей, которые нужно сознательно ставить перед собой. Таким образом... настаивать на «форме» есть не что иное, как практическое средство для работы над содержанием с

целью подорвать традиционную риторику, которая портит всякую форму культуры, даже — увы! — и «антириторическую!» И с этой точки зрения «борьба против риторической «формы» есть борьба за реалистическое содержание искусства, есть борьба за ликвидацию разрыва искусства и жизни — жизни масс.

Риторизация искусства в современном буржуазном обществе в этом смысле есть не что иное, как отчуждение искусства от человека, а «искусство для широкого потребления» есть лишь продукт такого отчуждения и его результат. Вот почему и все дальнейшее развитие реалистического искусства может быть мыслимо лишь в постоянной и все углубляющейся борьбе с разного рода риторическими традициями — традициями преднамеренной «стилизации» действительности, когда, как говорит Грамши, «стиль превращается в «стилистику», в своего рода механизм, шифр, жаргон».

Для Грамши риторическое — это нечто внешнее, аффектированное, «навязанное со стороны», нечто связанное с ораторством и декламационностью, с «разглагольствованием» и «многословием». Грамши сопоставляет риторику в искусстве с некоей несерьезностью в подходе к жизни вообще.

Надо сказать, что все указанные Грамши черты «народного» искусства романов-приложений весьма стойки. Они тем более стойки, что дурной эстетический вкус определяется в данном случае не только (пожалуй, и не столько) приличностью и отсталостью самих масс в современном буржуазном обществе, но и той официальной версией уровня моральной и материальной жизни народа при данном капиталистическом режиме, которая вполне согласуется со всем враньем в романах-приложениях — «искусстве для широкого потребления» и даже находит в такого рода «искусстве» иллюстрацию себе и свое «подтверждение в картинах жизни».

Стало быть, согласно точке зрения Грамши, и искусство романов-приложений по-своему отражает некоторые вполне реальные закономерности, вполне достоверные черты общественного бытия, хотя отражает оно их не эстетически, и потому собственно эстетический

анализ подобного «искусства» принципиально невозможен.

Некоторая сложность здесь, правда, заключается в том, что романы-приложения внешне обладают всеми отличительными признаками настоящего искусства. Причем мимикрия может достигать степени почти полной иллюзии. И все-таки перед нами не пчела, дающая мед, а муха, принявшая форму, рисунок и даже характерную повадку пчелы. У этой мухи «все, как у настоящей пчелы», только вот меда она не дает. Она жрет всякую дрянь и переносит заразу — в этом ее природная функция. И с точки зрения формального эстетического анализа такое «искусство» неуязвимо. Оно обладает «формой» и обладает «содержанием»; оно может быть технически высоко совершенным, может быть безукоризненно выполнено, оно может быть сюжетным (или бессюжетным) и т. д. и т. п.; оно, наконец, может иметь приметы времени и национальную «окраску», может продолжать известную традицию и проч. и проч. Оно может захватывать читателя, может быть открыто тенденциозным (или внешне бесстрастным и подчеркнута объективным по своей манере), и многое другое «может» подобного рода буржуазное искусство в современном капиталистическом мире. Только уж «меда» от него не жди. Что же касается вкуса, то оно прививает людям своего мира то самое почтение к этикетке, вывеске, форме, мундиру, которое находит себе прекрасное соответствие с казенной риторикой официальной идеологии буржуазного миропорядка.

\* \* \*

Понятно, что «искусству для широкого потребления» очень нравится, так сказать, чисто профессиональный разговор, не выходящий (и, главное, не выводящий читателя!) за сферу эстетической мимикрии этого «искусства», принимающий иллюзию всерьез, и очень не нравится социологический анализ, отбрасывающий эту мимикрию и эту иллюзию как нечто к делу совершенно не относящееся и несущественное.

В отличие от традиционного буржуазного литературоведения Грамши ровным

счетом никакого внимания не уделяет «особенностям жанра» и всяким там «композиционным приемам» искусства романов-приложений. Его интересует собственная природа и действительное общественное назначение, а не эстетический декорум «искусства для широкого потребления».

Романы-приложения, согласно Грамши, это не «просто вранье»; надо только к этому несерьезному «не совсем искусству» отнестись с достаточной серьезностью, и оно сможет кое-что рассказать. Только, обращаясь к подобному «искусству», надо помнить, что оно, согласно Грамши, выполняет в буржуазном обществе задачу, прямо противоположную задаче подлинного искусства, но выполняет ее в формах подлинного искусства. Сохраняя «наружность» подлинного искусства, «искусство для широкого потребления» обладает способностью и в своем содержании удерживать внешнюю форму действительности — именно ее «видимость», ее «идеологию», так сказать, риторизм жизни буржуазного общества. Но оно придает этой «видимости» и этому риторизму буржуазной культуры черты истинности, приметы конкретного быта масс.

Но это «искусство» в лучшем случае искусство, а не художественно. И, стало быть, своей собственной природы оно не имеет. Если форму свою оно берет «напрокат» у большого искусства, то содержание его является в прямом смысле слова казенным. Но казенная риторика — риторика формул; святость этих формул — основа незыблемости всей современной буржуазной идеологии. Искусство же буржуазии болтливо, оно все время норовит хватить «через край». И потому оно может кое-что рассказать о том обществе, в котором «благодействуют массы» и правители так истово пекутся о «своем» народе.

«Искусство для широкого потребления» цветасто. У него нет голоса, но оно крикливо. И чем оно цветастее, чем крикливее, тем, стало быть, бесцветнее и приглушеннее жизнь тех людей, для которых оно готовится. Так, с точки зрения Грамши, это «искусство» отражает действительную жизнь буржуазного мира. Его предмет — не жизнь,

не реальное бытие людей, его предмет — официальная версия жизни и бытия. Это «искусство» не интересуется человеком, оно лишь стремится заинтересовать его собой, чтобы обмануть его.

Но искусство романов-приложений в условиях современного буржуазного мира не просто обманывает. Оно еще, согласно Грамши, прививает простым людям мысль о том, что их идеал — это «сладкая жизнь» их господ. «Возвышаясь над унылыми мелочами сереньких будней большинства, это искусство эстетизирует «красивую жизнь» сильных мира сего; оно приписывает «красоту» и х жизни тяжкому быту черно-рабочих современного буржуазного общества. Оно «возвышает» простого человека до мечты о миллионе.

«Бедная девушка» из народа выходит замуж за миллионера, жалкий воришка становится всемогущим графом или князем, а «совсем простой человек» возносится в члены правительства — все это излюбленные темы романов-приложений. «Сноб,— замечает Грамши,— встречается и в романе-приложении, где описывается жизнь знати или вообще высших классов, но это нравится женщинам и в особенности молодым девушкам, каждая из которых, впрочем, думает, что красота поможет ей проникнуть в высшие классы».

«Подражайте своим господам!» — как бы говорит своим читателям «искусство для масс», — стремитесь быть такими, как они — и вы достигнете, может быть, успеха... Только не думайте ни о чем другом — ни о каком своем пути, который бы вывел вас из вашей страшной и скучной жизни!

«Искусство для широкого потребления» в современном буржуазном обществе — приложение к идеологии и политике господствующего класса, специально рассчитанное на массовое «потребление».

Незабвенный гоголевский Акакий Акакиевич, с которого при его жизни сняли последнюю его шинельку, после смерти своей решил сосрать роскошную шубу с какого-то генерала. «Искусство — приложение», «искусство для широкого потребления», согласно мысли Грамши, на свой манер тоже «все вышло» из гоголевской «Шинели». Но оно

на глазах у всех рядит своих башмачкиных в мундиры официозного героизма и показного благополучия, щедро подкладывая на плечи и грудь этим чахлым беднякам бумажную вату, в то время как «кто-то» сдирает с них без лишнего в таких случаях шума старую-престарую одежку. Потому-то продранные рукава в современном буржуазном обществе (тем более фашистского типа) — запретная тема для этого «искусства».

Вызывающе яркие румяна «искусства для широкого потребления» наложены на серое лицо простого человека — у этого человека сгорбленная спина, горько сжатые губы, потухшие глаза. И вокруг этого человека — такие же люди. С утра и до вечера — работа. Вечером и ночью — вонь и шум перенаселенных квартир, склоки и ссоры, вой почти уже ненавистных ребятишек, жалкая и грубая жена, скандалы пьяных соседей. Но ночью, во сне, к этому человеку приходят три мушкетера, и он уходит с ними из этого мелочного ада, и на ногах у него ботфорты со шпорами, плащ через плечо, а в руках — шпага...

С тех времен, когда Грамши, «амнистированный» Муссолини за несколько дней до неминуемой смерти, умирал в римской больнице «Квисисана» («Здесь выздоравливают»), очень многое изменилось, конечно, на его родине. Нация преодолела катастрофические последствия фашистского «руководства» экономикой и культурой. Ныне Италия — одна из самых развитых буржуазных демократий современности. Промышленный Север страны — область относительного экономического процветания. Вслед за западногерманским «экономическим чудом» — итальянское одно из самых внешне эффективных. Но, как известно, «чудес не бывает». И во Флоренции, где собрался в 1962 году Конгресс Европейского сообщества писателей, — одним из самых богатых итальянских городов, сейчас, по словам итальянцев, «на улицах встретишь столько нищих, что кажется, будто Флоренция хочет побить в этом отношении первенство Неаполя». А на юге Италии по-прежнему бедствуют батраки.

Странные мечты пробуждают у людей противоречия «процветающего» буржуазного мира. «Придет время,— писала в 1962 году итальянская газета «Паэзе се-

ра», — когда старушки и матери с младенцами на руках будут просить у прохожих милостыню, чтобы внести очередной взнос за купленный в рассрочку телевизор, не испытает ли тогда эта «идеальная» нищенка капиталистического «рая» в общем-то те же самые чувства, которые уже испытывали ее предшественницы над страницами романов-приложений?

«Идеология мушкетера, взятая из романа Дюма, — замечает Грамши, — имела широкий отклик в народе... Монте-Кристо, перенесенный на политическую арену, конечно, фигура чрезвычайно живописная (борьба Монте-Кристо против «личных врагов» и т. д.). Можно заметить, — добавляет тут Грамши, — что и в этой области некоторые страны остались как бы провинциальными, отсталыми по сравнению с другими; в то время как для большинства стран Европы даже Шерлок Холмс стал уже анахронизмом, некоторые страны все еще живут графом Монте-Кристо и Фенимором Купером («краснокожие», «железное кружево» и т. д.)».

Более того, и подлинное искусство может быть, как замечает Грамши, истолковано с позиций любителей «романов-приложений» как своего рода «роман-приложение». Зачастую именно этим объясняется широкое распространение в массах — в том числе и в массах мелкобуржуазной интеллигенции — некоторых произведений Бальзака и особенно Гюго. Тут, очевидно, может быть проведена аналогия с детским восприятием «взрослого» искусства, в котором ребенок находит занимательный сюжет, но проходит мимо психологической мотивировки поступков, мимо «скучных» описаний переживаний героев и лишь смутно угадывает кое-где непонятную и не осознанную еще им истинную поэзию произведения.

Засилье «искусства для широкого потребления», своеобразных «комиксов» (на каком бы уровне профессионального мастерства эти «комиксы» ни выполнялись) свидетельствует о наличии двух критериев эстетической оценки в современном буржуазном обществе — официального и неофициального, двойственной меры всех ценностей: для избранных и для всех прочих. Романы-приложения, «искусство для широкого потребления»

выполняют в этом случае роль стандартного товара, тогда как подлинное искусство отрицает всякое сравнение с товаром и со стандартом. И потому оно не имеет цены. «Например, Мильтон, написавший «Потерянный рай» и получивший за него 5 ф. ст., был не производителем работником. Напротив, писатель, работающий для своего книготорговца на фабричный манер, является производителем работником... так как его производство с самого начала подчинено капиталу и совершается только для увеличения стоимости этого капитала»<sup>1</sup>.

Многое изменилось в капиталистическом мире с тех пор, как были написаны эти слова Маркса. Многие, но не главное. И что касается искусства, то, по авторитетному свидетельству Альберто Моравиа, тут «все более резким становится разграничение между художественной и коммерческой продукцией».

Но расцвет романов-приложений, «искусства для широкого потребления» происходит не параллельно с развитием истинного искусства. Распространение искусства романов-приложений, как правило, замечает Грамши, сопровождается в условиях капиталистической действительности культивированием рафинированной эстетской культуры и утонченного искусства на другом полюсе жизни буржуазного общества. «Герметическое», изолированное от общественных интересов искусство в Италии фашистского периода явилось наиболее ярким выражением «дурной антитезы» серому «искусству для масс» — коммерческому и наемному «художеству».

Таким образом, расцвет «искусства для широкого потребления» приводит в условиях буржуазного миропорядка не только к двойственности эстетических критериев, но и к абсолютному снижению критериев, поскольку рафинированное искусство «герметического» типа находит свое оправдание только в противопоставлении «искусству для широкого потребления». Поэтому, как это на первый взгляд ни парадоксально, утонченное буржуазное искусство неотделимо от «ху-

<sup>1</sup> К. Маркс. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»), ч. I, Госполитиздат. М. 1954, стр. 386.

дожественного» ширпотреба ни исторически, ни морально.

Правда, вследствие того, что искусство романов-приложений часто выдается идеологами буржуазии за «истинно народное» искусство, рафинированное творчество эстетической элиты начинает восприниматься как некое «чисто интеллигентское искусство», будто бы противостоящее первому. Весьма показательно, что наиболее активными ревнителями «демократической сущности» и «демократических функций» буржуазного кино, телевидения и радио в дискуссии, развернувшейся вокруг того же Флорентийского конгресса, оказались именно владельцы радиоконпаний и дешевых изданий «для народа». На самом деле оба эти «искусства», как то следует из мысли Грамши, конечно же, ни в какой мере не являются действительно народными. А если уже говорить о различиях, то они лишь в том, что романы-приложения «производятся» как бы «на вывоз» — для продажи по ценам «ширпотреба», а «герметическое» искусство идет почти исключительно для собственного потребления производящих его и для услаждения «верхов» данного общества.

Таким образом, если согласиться с точкой зрения Грамши, в сфере противоречий между «искусством для широкого потребления», «массового искусства», и искусством «герметического» типа проблема истинной народности искусства не только не может быть решена, но даже не может быть поставлена. Постановка этой проблемы требует обращения к принципиально иной сфере — сфере практического решения исторической задачи создания культурного единства общества как главной и необходимой предпосылки расцвета истинно народного искусства.

В условиях же современного буржуазного общества сами понятия «массового искусства», «массовой культуры», «искусства для широкого потребления», «искусства для народа» содержат в принципе тот же смысл, что и слова о «народном капитализме», «демократическом капитализме» и т. п. Это — вывеска, этикетка, мундир, поза. Хотя, как замечал еще К. Маркс, «Этикетка системы отличается от этикетки других товаров, между прочим, тем, что она обманывает

не только покупателя, но часто и продавца»<sup>1</sup>. Но все-таки не этикетка главное в товаре.

\* \* \*

Реакция под маской прогресса — этот прием традиционен для старого мира и сильных его.

Известны целые «эпохи предательства народа, скрытого под поэтическими цветами и риторической мишурой»<sup>2</sup>.

В условиях, когда неукротимое стремление к социальной справедливости овладевает огромными массами людей, составляющих большинство населения земного шара, реакция, рассчитывающая на сколько-нибудь прочный успех, не может выступать ни под какими иными лозунгами, кроме лозунгов социального прогресса. Теперь уже по необходимости (а не просто по одному лишь «злому умыслу») реакция натягивает на себя тогу народности, даже социализма (вспомним в этой связи хотя бы пышные наименования бесчисленных буржуазных партий). Даже буржуазные режимы фашистского типа не являются тут исключением. «Разумеется, в зависимости от различной исторической обстановки фашизм в различных странах носит в частности различные черты. Но всюду основная сущность его сводится к сочетанию грубого террористического насилия с мнимо-революционной фразеологией, демагогически спекулирующей на запросах и настроениях широких трудящихся масс»<sup>3</sup>.

Следует сказать, что в известном смысле именно буржуазные режимы фашистского типа с наибольшей ясностью и определенностью выражают в своей политической практике противоречия, порой не самоочевидно проявляющиеся в условиях обычного, «нормального» либерально-буржуазного правопорядка.

Волею судеб Грамши очень близко «познакомился» с фашистской «диктатурой без гегемонии». Но заключенный

<sup>1</sup> К. Маркс. Капитал. т. II, Госполитиздат. М. 1955. стр. 358—359.

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VII, стр. 203.

<sup>3</sup> «Коммунистический Интернационал в документах Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919—1932». под ред. Бела Куна, Партиздат. М. 1933. стр. 381.



№ 7047 до конца остался свободным человеком. Бесценный опыт анализа фашизма «изнутри» стоил Грамши жизни. Однако этой ценой Грамши дал человечеству нечто такое, за что люди всегда будут благодарны ему — осознание этой опасности: дал блестящее, с точки зрения марксизма, обобщение характерных черт фашистской диктатуры, «диктатуры без гегемонии» современной реакционной буржуазии, — и, в частности, в области культуры и искусства.

Но и наблюдения, сделанные относительно определенных закономерностей буржуазной культуры и буржуазного искусства Грамши в условиях разгула

итальянского фашизма, имеют отнюдь не частный характер: в известном смысле они представляют принципиальный интерес для верного понимания процессов, происходящих в современной буржуазной культуре и буржуазном искусстве вообще.

Перед тем, как начать массовое уничтожение людей, фашисты уничтожают их книги. Искусство — душа человека. Вот и в сером искусстве ширпотреб отчуждаются души людей. Засилье такого «искусства» в современном буржуазном мире с этой точки зрения опасный симптом: короток бывает путь «от дешевой халтуры до коричневых боевиков».



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Владимир Огнев.** Право выбора.— **И. Кудрова.** Рассказы Владимира Солоухина.— **К. Рудницкий.** Комиссаржевская в юбилейных изданиях.— **И. Левинова.** Молодой Хемингуэй.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Б. Рудяк, З. Саралиева.** Летопись Первого Интернационала.— **А. Степанов.** Генеральный ленинский курс.— **Г. Лекомцев.** Правду не скрывать.— **С. Эпштейн.** Против догматизма.— **В. Дюшен.** О большой жизни.

## Литература и искусство

### ПРАВО ВЫБОРА

**Юстинас Марцинкявичюс.** Кровь и пепел. Героическая поэма. С литовского. Авторизованный перевод **А. Межирова.** «Дружба народов», № 5, 1964.

**Юстинас Марцинкявичюс.** Кровь и пепел. Героическая поэма. Перевод с литовского **А. Межирова.** Вильнюс. 1964. 161 стр.

Поэма Юстинаса Марцинкявичюса «Кровь и пепел» имеет авторское определение жанра — героическая. А рассказано здесь о том, как немецко-фашистские каратели сожгли литовскую деревню Памеркис вместе с жителями. Сгоняли людей в амбары и поджигали солому вокруг, а когда кто-нибудь пытался спастись от огня, расстреливали его в упор из автоматов, добивали гранатами. Что могли сделать крестьяне? Некоторые из жертв сжимали кулаки. Они молчали. Они были обречены. Их давила слепая сила. Массовое, машинное истребление...

Что было личным героизмом в этой ситуации? Напалис, партизан, из-за выстрела которого была уничтожена деревня, пытается взять на одного себя «вину деревни», но его расстрел задержал массовую казнь на какие-то полминуты. Отец Напалиса, старик резчик по дереву, бросается в огонь вместе с крестом, на котором вырезана богоматерь с мертвым ребенком. Может быть, это было актом героизма? Нет. Это был жест отчаяния, как и попытка бежать, которую пред-

принял какой-то парень под дулами автоматов. Дети умирали серьезно, как взрослые. Взрослые умирали беззащитно, как дети.

Страшная, очень сильно воссозданная история гибели деревни Памеркис — это и вполне реальное описание разгула фашистского деспотизма в годы второй мировой войны, и в то же время многозначная картина негеронческой смерти, массового истребления людей, которые уже просто не имеют возможности быть героями.

Но, может быть, они имели такую возможность до этой трагической ситуации и не воспользовались ею вовремя? Да, поэма написана в первую очередь об этом. Но случай в Памеркисе — не только еще один пример широко известной альтернативы: когда идет борьба, надо встать на одну из сторон, иначе тебя раздавят борющиеся.

...Было у старого резчика Давниса три сына. Напалис ушел в партизаны, младший Пиус от рождения глухонемой, а третий, Мартинас, добрый работник... Вот о нем-то и пойдет речь в поэме. Снарядил как-то Мартинас коня с телегой и подался в город

за доктором: жена рожала. По пути, в лесу, стал свидетелем того, как партизаны убили немцев. В городе, напуганный «полицаем» Пирагасом, Мартинас рассказал, что видел в лесу трупы фашистов. И совесть была спокойна (никого не выдал: лес-то ничейный!), и страх прошел (за укрытие сведенный такого рода полагался расстрел). К тому же и прибыль неожиданная: за то, что рассказал об убитых немцах, получил от коменданта акт на владение землей. На душе, правда, скребло. Но почему ему, Мартинасу, надо выбирать между властью и партизанами? Он сам по себе, зла никому не хочет. Но вышло все не так гладко. Вернулся Мартинас, а деревни нет... Лишь кровь и пепел.

Поэма Марцинкявичюса потому и художественное произведение, что автора интересует не иллюстрация тезиса, но картинные злодеи и герои. Здесь — люди, поставленные в условия, при которых они, как им кажется, вынуждены делать те или иные поступки, сообразуясь с велением традиционно выработанных представлений о добре и зле. Но вынуждены ли? И каковы эти представления?

Главная фигура поэмы — Мартинас. Исследование предательства, его страшного механизма — одна из важных тем поэмы — «проводится» Марцинкявичюсом на характере человека, в котором было заложено не одно лишь дурное. Внимательный читатель поэмы «Кровь и пепел» не может не заметить, что хотя всей логикой поведения Мартинас и заслужил имя предателя, именно в его уста поначалу вложены глубокие и верные мысли о человеческом братстве, о красоте мира. Он мечтает о времени, когда зло

...исчезнет разом,  
когда на праведном пути  
сумеет мглу осилить разум  
и станет светом во плоти...

А в спорах с ксендзом Мартинас даже заслужил прозвище «фармазона» — он в известной мере свободно и независимо мыслит.

Что это? Просчет? Несовместимость моральных характеристик? Или средство выявления лицемерия персонажа, его двойного дна? Ни то и ни другое.

В художественном произведении далеко не безразлично, где, когда, кому говорятся слова, в каком лирическом контексте начата

тема. Раздумьям Мартинаса Давниса предшествует картина вечернего покоя природы, тихой, но властной сосредоточенности души. Сначала — авторская речь, окрашенная теплом и доверием:

О, запах варева и дыма,  
деревня на пороге сна,  
В ней тишина невыразима  
и звуками населена.

О, эти звуки, о которых  
я знаю все. Во мне ответ  
находит каждый слабый шорох,  
чуть слышный всплеск, мгновенный  
свет.

Вот тогда-то и всгупает голос героя:

Смешался с дымом и повис  
туман вечернего покоя,  
— Как тихо, — вымолвил Давнис.—  
Когда я слушаю такое,  
приходит мысль: чего хочу?  
Совсем немногого как будто...  
Чтоб ветер не задул свечу,  
а эту тихую минуту  
чтоб замутить никто не смог;  
чтоб слышалось, когда я внемлю,  
как самый маленький росток  
проклевывается сквозь землю.

Мартинас вводится в действие как персонаж, небезынтересный нам, заслуживающий доверия и — поначалу — даже симпатии. Нам нечего возразить ему, когда он грустно констатирует, что на земле «кровавая вражда тысячелетиями ведется меж тем, что живо и мертво, враждебный звук со звуком бьется», мы готовы поверить и в то, что «задумчив, угловат, сутул» этот крестьянин, который работает от зари до зари, который лишь год назад женился и ждет сейчас ребенка, — что он никакой не злодей.

Ночью, думая о ребенке, Мартинас тревожно прислушивается к отдаленным взрывам. В его доме спит бродяга старик Дзидорюс. Это с ним вел долгий спор Мартинас с вечера. Дзидорюс — связной партизан, несмотря на свой более чем преклонный возраст. Он зовет к мести. У старика свои счеты: кулак, часть земли которого советская власть отдала Дзидорюсу, убил семью старика, сжег подворье. Дзидорюс в ответ сжег дом кулака, убил его самого. Мартинас отвергает путь насилия. Но старика привлекает. Более того, зная, что Дзидорюс разносит листовки против немцев, он делает вид, что не знает этого. И что важнее: Дзидорюс ночует у Мартинаса — значит, доверяет ему.

Это важная деталь для характеристики Мартинаса. Он кажется таким же, как все. «Совсем не вредный парень вроде...» — говорит о нем старик.

«Но вот война волилась в дом... и позаботилась о том, чтоб зверь проснулся в человеке».

Но ведь «зверь проснулся» не во всяком человеке. И здесь с огромной силой начинается звучать у Марцинкявичюса тема трагической вины Мартинаса. Эта вина зародилась в темных глубинах его сознания, в неразвитой душе, подготовленной к этому звериными законами волчьего мира...

Да, Мартинас любит землю, работу. Да, ему нужен мир. Да, он заботится о жене, будущем ребенке. Но его логика жизни, его кажущаяся «верность» «делу» хлебороба, мирного человека, сеющего жизнь, приводит к смерти близких.

Мартинас — жертва того уклада жизни, при котором господствует однобокое, узкое представление о мире, как своем наделе.

Но, может быть, жертву не судят? Нет, можно, нужно, необходимо судить личность. Сила Марцинкявичюса как поэта, значение поэмы «Кровь и пепел» в том и состоит, что, хотя идея человеческой вины глубоко обусловлена и мотивирована исторически, автор не останавливается на этом и требует от самого человека активного выбора, активной роли в истории. Все лучшие произведения последних лет роднит эта самая что ни на есть реальнейшая нравственность.

Есть воля, есть долг человека оставаться человеком в любых обстоятельствах. Есть право личности любую догму, любое «дело» проверять беспощадными критериями жизни, критериями реальной, а не догматической морали и нравственности. И дело не в том, что, когда идет бой, нужно в нем участвовать. В споре двух неправд можно и нужно занимать позицию третьей стороны. Но если спорят правда с неправдой — тут уж третьей стороны нет. Мартинас не знает, где свет и где тьма. Вот в чем его беда. Ему кажется, что он уже выбрал мир, отверг войну, смерть, насилие. А на самом деле, идя темной, запутанной дорогой, он выбрал рабство, отверг свободу.

Ю. Марцинкявичюс судит не одного Мартинаса. Он судит строгим судом совести каждого, кто не умеет рассмотреть фашизм в его обыденном обличье, пока тот еще не начал вешать и убивать. Его пособники не сразу становятся в ряды убийц, преда-

телей, осведомителей. Сначала они «такие, как все», иной раз даже нетерпимее к людям и миру в своем прямолинейном требовании «чистоты», полного и немедленного исчезновения зла. Но они не верят «просто» в человека, «просто» в его волю, разум, возможности быть лучше и чище. Они угрюмо подозрительны насчет «каиновой печати», лежащей на человечестве.

Мартинас — жертва темноты, векового ограничения души узким кругом привычных представлений о неподвижном мире. А мир изменяется... Мартинас думает, что жизнь идет от бога, а смерть, насилие — от человека. Как всякая упрощенная, а потому успокоительная догма, она позволяет Мартинасу жить в ладу со своей совестью.

Но душно и тошно жить в таком мире! Дзидорюс прав: «Я все же склонен полагать, что в человека верить надо». И пусть Дзидорюс ошибся в Мартинасе, «невредном парне». Правда Дзидорюса побеждает. Нужен разум, нужны глаза разума, чтоб распознать начало падения человека, а оно — в неверии в человечество, в тот же разум... Нет, Мартинас не такой уж добрый малый, каким он показался нам вначале! Где-то еще осталась жалость к нему, но уже вперемежку с презрением... А скоро не останется и жалости — все зальет кровь, все засыплет пепел!

Где же начало предательства? Где та грань, что отделяет «невредного» парня от убийцы?

Предательство Мартинаса началось не сейчас, не с рассказа его в немецкой коммандатуре. И не тогда, когда он почувствовал страх за свою жизнь. И даже не тогда, когда зашевелилась в нем проклятая жадность, вековая тяга крестьянина к собственности, обещанной как бы ни за что — за, казалось, никому не грозящие сведения: ну, видел он, Мартинас, убитых солдат...

Нет, предательство Мартинаса началось раньше — он не встал за правду, за спинами других решил переждать схватку между свободой и рабством, схватку с фашизмом. А не сделал он выбора потому, что никогда и не знал вкуса свободы. Он всю жизнь продавал себя — клочку земли, не видя над ним неба в звездах, своему подворью, не чуя, что за ним есть еще горизонт, над которым встает большое солнце, тупой догме веры в неподвижность мира и человека.

Тема свободы и красоты — не случайно одна из наиболее сильных в поэме.

У старика Давниса, как уже было сказано, три сына. Младший Пиус — глухонемой. Мать любит младшего больно и сильно. Но не только потому, что жалость берет душу:

...года два тому назад  
застала Пиюса случайно  
в саду  
и уловила взгляд,  
светящийся необычайно.  
По саду Пиус тихо шел  
и, опустившись на колени,  
вдруг обнял яблоневый ствол,  
как будто испытал стремленье  
услышать что-то и в ответ  
произнести слова печали,  
которые так много лет  
в его душе всегда звучали.  
Все яблони ему милы,  
в нем доброта живет большая —  
без слов  
деревья утешая,  
он вслушивается в стволы.

И громадной трагической силы достигает сцена сожжения деревни, когда Пиус внезапно обретает дар речи — дар проклятья убийцам!

Доброе сердце, чувство прекрасного — это сила, способная родить самые высокие порывы души, созвучная мужеству, гордости и достоинству. Любовь и природа не случайно идут в поэме рука об руку. Вот лунная ночь... Юрга и жених ее Напалис, брат Мартинаса, чувствуют себя частью природы, ее продолжением, ее духовным смыслом. Напалис — партизан. Он должен убить немца. Но...

Он и не чувствовал сначала,  
что с выстрелом в ночной тиши  
из тела навсегда пропала  
часть собственной его души.

Нет, смерть — не его профессия. Но любовь и ненависть — одного корня. И право на ненависть дает лишь любовь.

Она одна лишь, может быть,  
по праву высшему прикажет  
возненавидеть и убить —  
и для чего все это скажет.

Мотив жизни и любви тесно сплетен у Марцинкявичюса с образами природы. В поэме — и это традиция народного литовского искусства — живет душа природы, душа леса прежде всего. Одно из наиболее поэтичных мест поэмы — взволнованное об-

ращение к лесу, уподобление его человеческой мысли:

Известно ли, что мыслит лес?  
Точнее — он не что иное,  
как мысль земли,  
и все земное  
страдало б, если б он исчез.

...Быть может, человек забыл,  
что от деревьев он зависим,  
что взгляд поднять к небесным высям  
лес человека научил.

Эта симфония природных сил контрастирует в образной ткани поэмы с силами разрушения, смерти. Художественная цельность и органичность произведения Марцинкявичюса в том и состоит, что идея жизни выступает в ней во всех ее бесконечных обликах. От тихого вечера, когда звуки трудового дня гаснут и умиротворенная природа естественно подводит нас и героев поэмы к раздумьям о смысле жизни (первая глава), и до заключительной ночи, которую прорежет крик новорожденного. Это жена Мартинаса, пощаженная немецким солдатом, родит где-то под высоким звездным небом нового человека... Он будет жить в другое время, среди лучших людей. За него стоит побороться. Нет «каиновой печати»!

В талантливом переводе Александра Межирова поэма «Кровь и пепел» обрела вторую жизнь на русском языке. Я думаю, что в такой же степени, как в оригинале (насколько мне известно из бесед с автором и сопоставления вариантов рукописи), Межирову более удалась кульминационные лирико-патетические главы и несколько менее — повествовательно-бытовые. В последних стих местами звучит тяжеловато. Особенно это заметно в диалогах, перегруженных переносами из строки в строку, чего абсолютно избегает Марцинкявичюс.

Литовцы давно полюбили поэму «Кровь и пепел». К сожалению, она поздно, почти через пять лет после ее создания, переведена на русский. Сейчас у деревни Пирчюпис — этого прообраза деревни Памеркис, в поэме стоит знаменитая скульптура Иокубониса. Мать скорбно смотрит на распутье дорог. А я вспоминаю рассказ Юстинаса Марцинкявичюса:

...Это было двадцать лет назад. Он вернулся на пепелище в родную деревню с бабкой. У порога на том же месте, что и до войны, лежал жернов. Как приятно было в былые дни чувствовать босой пяткой его

шероховатую прохладу. Но сейчас, ступив на жернов, мальчик закричал и покатился в траву... Жернов был раскален. И только прикрыт пеплом. Деревня еще дымилась, не остыла... А бабка упала на колени, вытянув черные, как ветки сада, руки в небо...

«Кровь и пепел», — писал позднее Юстинас Марцинявичюс, — это основная проблема нашего века. Нет и не должно быть на этой планете человека, который мог бы заткнуть уши и не слышать Бухенвальдского набата».

В поэме «Кровь и пепел» мы видим не

только вчерашний день, не только кровь, не только пепел. Мы думаем о судьбе человека нашего времени. Мы учимся понимать себя, своих ближних, уловки своих врагов. Мы знаем, что человек должен быть героем задолго до того, как загремят выстрелы, задолго до того, как жестокая правда откроет людям глаза на чье-то предательство. Героизм — это мысль, это гуманность, это душевная стойкость.

И потому «Кровь и пепел» — поэма героическая.

Владимир ОГНЕВ.



## РАССКАЗЫ ВЛАДИМИРА СОЛОУХИНА

Владимир Солоухин. Свидание в Вязниках. «Молодая гвардия». М. 1964. 256 стр.

Литературная судьба Владимира Солоухина складывается пока на редкость благополучно. За одиннадцать лет, прошедших со времени выхода в свет первой его книги, мы успели познакомиться и с Солоухиным-поэтом, и с Солоухиным-очеркистом, и с Солоухиным — автором двух повестей «Владимирские проселки» и «Капля росы». Написано уже много рецензий и статей о писателе, и интересно при этом, что критики самых разных литературных пристрастий сходятся не только в общей доброжелательной оценке его творчества, но и в определении основного пафоса его книг. За Солоухиным теперь уже прочно закрепилась репутация человека, влюбленного в мир среднерусских городков и деревень, писателя, одаренного острой восприимчивостью к поэзии «обыкновенной жизни» и в особенности к поэзии русской природы. Сложилось уже и определенное мнение о некоторых особенностях Солоухина-прозаика: так, отмечена его приверженность к «достоверным», «невыведанным» сюжетам, к лирической манере повествования и свободному построению произведений, когда автор непринужденно ведет своих читателей то на широкий тракт, откуда так хорошо видны далекие горизонты, то на милые его сердцу проселки и лесные тропинки, знакомя по пути со своими земляками, друзьями, их судьбами и заботами или просто доверительно делясь размышлениями и воспоминаниями, так естественно возникающими в издавна любимых и родных местах...

Новая книга Солоухина «Свидание в Вязниках» снова возвращает нас в знакомый

мир. Она демонстрирует нам устойчивое пристрастие писателя все к тем же любимым темам и образам и к той же лирической манере повествования. Многие из рассказов сборника кажутся просто этюдами к давним лирическим повестям — таковы рассказы «Мститель», «Подворотня», «Бишка», «Трудная наука», в которых автор воскрешает перед нами страницы своего деревенского детства (тема, знакомая читателю по «Капле росы»); или зарисовки «Белая трава» и «Летний паводок», живо напоминающие нам страницы другой повести, где так много места уделено картинам поэтической природы Владимирского края.

В новом сборнике Солоухин верен и своей любви к «невыведанному», он пишет только о том, что сам пережил или увидел. Коротенькие эпизоды из раннего детства, воспоминания о первых радостях, привязанностях, обидах, о школьном приятеле Кольке Ланцеве, о товарищах юности, о первой любви — и встречи, впечатления уже совсем недавнего времени... Перед нами то неприятная зарисовка, то небольшая новелла с сюжетом и характерами, то нечто вроде своеобразного «трактата» — о садах и яблонях или «зимнем ужине рыбы». Изобразительный талант Солоухина обнаруживает себя тут не только в описаниях природы, но и в ярко воссоздаваемых им бытовых сценах, в умении немногими конкретными штрихами передать атмосферу времени. Так, в рассказах «Каравай заварного хлеба», «Мошенники», «Серафима» писатель колоритно рисует полуголдный студенческий быт первых лет войны и шестнадцати-

летних мальчишек, для которых буханка заварного хлеба представляется завидным лакомством; очень зримо и выразительно описывает эпизоды занятий в городской школе танцев, куда те же подростки приходят, наскоро подрезав бахрому на своих поизносившихся уже костюмах и старательно завязав друг другу галстуки толстым узлом, по моде военных лет...

Неизменная автобиографичность сюжетов, сочетающаяся с открыто лирическими интонациями повествования, делает многие рассказы сборника похожими на странички дневника писателя, где размышления по поводу происходящего становятся столь же важными, как и воспроизведение самих по себе фактов, событий. «Впечатления должны иметь не меньше прав быть записанными на бумагу, чем приключения самые невероятные», — считает Солоухин, и по существу это одно из ключевых положений его художественного стиля. Впечатления, воспоминания, живые наблюдения, пропущенные сквозь призму размышлений — нередко эггических, — вот стихия Солоухина-прозаика, чужающегося чего бы то ни было «невероятного» и часто строящего свои произведения на абсолютно бесфабульной основе.

И надо отдать ему должное — как правило, писателю удается безо всякого внешнего «сквозного действия» держать наше внимание неослабевающим от первой строки до последней даже в таком, например, очерке, как «Григоровы острова (Записки о зимнем ужении рыбы)», где сама тема, кажется, уж слишком специфична для того, чтобы захватить любого читателя, даже такого, например, которому и летом-то не приходилось сидеть с удочкой! А захватывает. Непонятно почему, но интересны даже рассуждения о разных типах мормышек, на которую ловят рыбу, хоть ты никогда прежде и не слышал, что это такое — мормышка... Впрочем, дело, по-видимому, просто в том, что рассказывает обо всех этих тонкостях и секретах подледного лова с таким искренним увлечением, с такой неподдельной страстью, что невозможно не заразиться сочувственным волнением. И читатель по существу следит уже не за развитием собственно «рыболовной» гелмы, а за самим героем (автором), за его волнением, ожиданием, поисками и за столь же «одержимыми» его друзьями, среди которых немало мастеров этого спорта. Попутно же незаметно нас приобщают и к миру русской деревенской жи-

мы, знакомят с интересными людьми, интересными судьбами...

В «Григоровых островах» и втором очерке такого же типа — «Дом и сад» — открыто главенствует (и внутренне организует повествование) любимая тема Солоухина — человек и природа. Видное место занимает она и в рассказах писателя. Тут особенно любопытно, что отношение к природе, способность радостного общения с ней оказывается для автора одним из важных и даже как бы автоматических критериев в его оценке человека.

Вот, например, рассказ «И звезда с звездой говорит...» — о юной библиотекарше Маше с далекого озера Иссык-Куль. Ни сам рассказчик, ни читатель ничего, собственно, не успевают узнать об этой девушке с толстой косой до колен, кроме того, что почти каждый вечер она любит в маленькой лодочке плавать по озеру. Здесь она поет свои песни, вспоминает стихи, вглядывается в далекие звезды, мечтает... По мысли автора, такая девушка не может не вызвать доверия и расположения, она просто должна оказаться настоящим, интересным человеком!

Так же точно поэтизирует Солоухин и героиню рассказа «Наша дама». Мы встречаемся с ней на пустынном черноморском побережье в дождливый день, когда все дышащие прячутся по домам и, проклиная погоду, пытаются развлечься анекдотами и преферансом. Укрывшись под большим зонтом, женщина невозмутимо читает книгу, вид у нее сосредоточенный и умиротворенный, и рассказчик, предубежденный было против чудачеств «нашей дамы», как зовут ее за глаза скучающие москвичи, вдруг понимает, что это действительно хорошо — под шум дождя и моря думать, читать, дышать...

Солоухин очень ценит это качество в человеке — способность вот так органически войти в мир природы, отключиться (пусть только на время) от ежедневных забот, ощутить медлительное движение «мгновенной бытия». Общение с природой, считает писатель, дает человеку редкое ощущение внутренней сосредоточенности, очищения от «шелухи» лишних, несостоящих мыслей и чувств. Об этом Солоухин много раз писал в стихах, к этому настойчиво возвращается в прозе. Наиболее открыто, пожалуй, эта мысль выражена им в «Капле росы», на самых первых страницах повести. Помните:

путник едет в розвальнях по зимней дороге; его почти убаюкивает ощущение плавно текущего времени, вдруг сменившее городскую суматоху; спокойные картины зимнего пейзажа располагают к неторопливым раздумьям. И вот «подобно тому, как на успокаивающейся водной глади... все четче и яснее проступают черты смогрящего в воду лица», — так и путнику обычно проясняется «самое главное, самое нужное» в жизни — чаще всего это совсем «не то, что казалось главным и нужным в житейской суете».

«Вспоминая свое настоящее, — читаем мы здесь, — думая о нем, вы заметите, что все события, факты, фактики, радости, огорчения, заботы, встречи, споры, размолвки, удачи, хорошие и дурные поступки, — что все это, мельтешившее обычно в сознании человека, тотчас просеется через волшебное сито, и многое, что казалось в вашей личной жизни большим, важным и значительным, вдруг провалится в темноту, а то, что казалось мелочью или даже совсем не вспоминалось, останется на ситах, обретет размеры и явственность, заполнит все ваши мысли, движения души».

Конечно, сама по себе мысль о благотворности общения с природой уже много раз и в самых разных вариантах звучала в художественной литературе — тут вряд ли нужны примеры. Кстати сказать, Солоухин сам хорошо чувствует свою литературную генеалогию — об этом нам говорят хотя бы его предисловия к произведениям С. Аксакова и К. Паустовского. Но в лучших произведениях автора «Владимирских проселков» писателю удалось найти свои собственные интонации, он идет почти всегда от очень конкретных и глубоко личных наблюдений, так что тема эта — еще одна из «вечных» тем искусства — звучит у него очень искренне и современно.

Другое дело, что, сталкиваясь с этой темой снова и снова, испытываешь определенную настороженность, читаешь и внимательнее и придиричвее. И постепенно начинаешь замечать, что в целом автор «буксует» в уже знакомом тебе по его прежним книгам материале, что новых, свежих наблюдений и мыслей здесь немного. А главное даже и не в этом. Читая рассказ за рассказом и сопоставляя затем их сюжеты и героев, вдруг замечаешь, что общение этих героев с природой почти всегда носят несколько особый характер.

В самом деле, в каких обстоятельствах мы обычно видим солоухинского героя «на лоне природы»? Что он там делает, чем занят? И многим и ничем. Рыбачит. Собирает грибы в лесу, жжет «теплинку». Гуляет пешком в родных с детства местах. Купается и загорает в южной деревушке на берегу моря. Ходит на лыжах. Иными словами — это человек на досуге, человек, у которого тут нет обязательных, жизненно-необходимых дел. Если он даже и заводит сад и начинает хлопотать о саженцах, об удобрениях, мы знаем: это он для своего удовольствия, это его «хобби», если угодно, — необязательное занятие, прихоть, отдых от основного труда. Отдых... Именно так — природа как отдых человека, уставшего от вечной спешки, запутанности и обилия городских дел и впечатлений. Этим и определяется особенный, созерцательный характер общения солоухинского героя с природой: он по существу тут гость, хоть бы и усиливали радость его пребывания здесь сладостные воспоминания о далеких годах деревенского детства, хоть бы и осталось у него с тех пор умение сноровисто держать косу в руках и зажигать костер в лесу с одной спички.

Мироощущение именно городского человека сказывается у Солоухина, пожалуй, даже и в эстетическом восприятии сельской природы — всегда у него спокойной, просторной, величественной. Не потому ли его восхищение красками вечернего неба или душистым запахом «белой травы» подчас и звучит несколько преувеличенно и сладковато, что в нем слышна тоска человека, которому в обычном его быту «горячую землю заменяют асфальт и полы»? Не оттого ли и этот романтический пафос «опускания на колени» перед цветком или травинкой, что писатель уже чувствует себя внутренне навсегда от них ушедшим?

В маленьком очерке «Белая трава» Солоухин рассказывает нам о своих попытках узнать название любимшейся ему травы с белыми пышными цветами. Вспомним недоумение и чуть насмешливые ответы деревенских жителей: «Да тебе на что? Цветы и цветы, их ведь не жать, не молотить, не на господавки сдавать. Нюхать и без названия можно».

Солоухин напрасно слышит в этих словах равнодушие к окружающему миру природы. Просто для человека деревни это привычный мир его будней, его ежедневного труда — «не храм, а мастерская», по выраже-



нию тургеневского Базарова. Это вовсе не исключает любви и привязанности, но их внешне выражение будет совсем не похоже на восторги городского человека, ибо в основе будут лежать совсем другие чувства. Жителю деревни не приходится, конечно, с такой болью вспоминать «белую траву» «в гостях, во время ужина, а то и вовсе в ресторане, когда... находили особенно лирические мгновения», как пишет в очерке Солоухин, потому что так вспоминают именно о далеком или утраченном.

И если сравнивать эти два отношения к миру живой природы (не упрощая ни одно из них), то придется еще поспорить и поразмыслить, какое же из них более богато и просторно для мыслей и чувств человеческих — «деловитое», активное, хозяйское или только любующееся, созерцательное? Вспомним, что писатель говорил о спокойной природе, дающей горожанину яснее ощутить «радости, свершения, огорчения, мысли проясняющийся ход» — и как результат этого — внутреннее обновление и очищение. В «Капле росы», надо сказать, это прозвучало скорее декларативно. Мы узнали о характере размышлений путника, но не о самих размышлениях; впрочем, это, наверное, там было бы и неуместно. Но вот беда: в рассказах и очерках нового сборника Солоухина чаще всего происходит то же самое. Мы можем только догадываться, что происходит в душе и уме юной мечтательницы Маши, в одиночестве катающейся по ночному Иссук-Кулу; мы знаем о том, что во время лыжной прогулки композитору приходит в голову красивая мелодия («На лыжне»), что чудаковатая пожилая дама под шум дождя вспоминает пушкинские стихи и т. д. Но ни разу нам не пришлось проследить за конкретно «проясняющимся ходом мыслей» героя, за тем, как он переосмысляет «большое, важное, значительное» в своей жизни и что же он вообще думает «о времени и о себе». Изображения самого этого момента внутренней сосредоточенности человека, оставшегося наедине с природой, этого просенания сквозь «волшебные сита» отыскать никак не удастся.

Впрочем, что-то похожее все же есть в рассказе «На лыжне». Герой рассказа — композитор, отдыхающий зимой в санатории, — соглашается было участвовать в лыжном кроссе, организованном местным «культурником». Но потом он сворачивает с общей лыжни и, перестав гнаться из всех

сил, решает неторопливо насладиться чудесным днем: разглядывает след лося, пересякший лыжню, красногрудых снегирей, прыгающих по веткам орешника... И вот тут-то нам передано нечто вроде «потока сознания» героя, размышляющего подряд и о том, какое красивое и редкое животное лось, и о том, чем он полезен и чем вреден, и даже — мельком — о «цепочке целесообразности» в природе. Затем к композитору приходит «свежая и сильная» музыкальная тема, а там и встреча с незнакомой женщиной — откуда уже начинается такая странная для Солоухина безвкусица и придуманность, что ее и пересказывать обидно. Даже язык героев вдруг деревенеет и становится то ненатурально игривым («С вами интересно ехать по лесу». — «Со мной интересно не только в лесу» и т. п.), то напыщенным. Вообще рассказ этот, пожалуй, самый слабый в сборнике, и между тем именно здесь единственный раз писатель делает попытку показать наконец «волшебные сита» в действительности.

И так как других примеров мы не найдем, то естественным кажется предположение, что герой Солоухина, чаще всего именно как сугубо городской усталый человек, оказавшись за городом, вполне бездумно воспринимает окружающее, с искренним любопытством и удовольствием оглядываясь вокруг, с особенной охотой впитывая именно радостные, красивые впечатления...

Любопытное место есть в том же рассказе «Белая трава». «Вообще-то говоря, — пишет Солоухин, — сидя с дочкой, ни о чем больше не думаешь, как только о клеве, о поплавке, если можно назвать думаньем сосредоточенное, напряженное ожидание хотя бы легкого его шевеления. Страстный рыболов Антон Павлович Чехов не так уж прав, говоря, что во время уженья приходят в голову светлые, хорошие мысли. Ничуть не бывало! Последние жалкие обрывки деваются неизвестно куда...» Поверим Солоухину... но, наверное, и Чехова при этом опровергать не обязательно. Может быть, ему в самом деле приходил в голову хорошие, светлые мысли...

В сборнике есть несколько очень неплохих рассказов. И среди них, например, «Серафима» и «Моченые яблоки», где мы встречаемся с интересными и живыми характерами. Они, несомненно, заставят читателя поразмыслить и над торопливостью иных наших житейских суждений, и над

сложностью душевного мира так называемого «обыкновенного» человека. В «Серафиме» и небольшом рассказе «Подворотня» (его хочется скорее назвать психологическим этюдом) Солоухин демонстрирует нам и умение тонко передать душевное, психическое состояние своих героев. Смена настроений маленького мальчика, просыпающегося летним утром в крестьянской избе («Подворотня»), и чистое, робкое чувство подростка, впервые в жизни вступающего в какие-то ему самому еще неясные отношения с девушкой много старше его («Серафима»), воссозданы с достоверностью. Интересно, что Солоухину удаются обычно психологические характеристики его лирических героев (они почти всегда, по-видимому, автобиографичны); характеры же других персонажей нередко обрисованы у писателя слишком уж неконкретно и приблизительно (как характер той же Маши из рассказа «И звезда с звездой говорит...»).

Исключение и в этом, и в ряде других отношений представляет рассказ «Варвара Ивановна». Он занимает особое место в сборнике прежде всего потому, что именно здесь в книгу Солоухина врывается наконец дыхание живой повседневной жизни — не досуга, а буден — напряженных и нередко трагических. Рассказ совсем коротенький, и то, что читателя в нем особенно потрясает — история несостоявшейся смерти восьмидесятишестилетней крестьянки Варвары Ивановны, уже отсоборованной и вновь вернувшейся к жизни, и неожиданной смерти ее дочери, колхозного бригадира, — всего-то и занимает три странички. Но из всей галереи героев, с которыми мы познакомились в сборнике «Свидание в Вязниках», эти два женских образа, наверное, будут помниться дольше и ярче других. Они очер-

чены резко, сильно, энергично, безо всяких умильных интонаций, в них мы безошибочно узнаем своих современниц. Остро врежется в память облик уже мертвой бригадириши — недавно такой энергичной, оживленной сорокалетней женщины, сильной и выносливой, «словно лошадь». Ее убило случайно — железным осколком, отлетевшим от силосорезки, — и вот: «Лежит поверх изрубленной на силос кукурузы наша Татьяна Сергеевна. В стеганке, в мужских кожаных сапогах. Лежит ничком, лицо повернуто на сторону... Руки в земле, как полагается бригадиру...» Как-то особенно запоминаются эти «руки в земле» — вся нелегкая и самоотверженная судьба этой женщины сразу встает перед глазами, хоть сказано о ней совсем немного... Как меркнут перед этим впечатлением условные и расплывающиеся портреты Маши или прогуливающегося композитора, какими «ненастоящими», незначительными они теперь кажутся!

Возможно, будь в сборнике Солоухина не один такой рассказ, а хотя бы несколько, и остальные не вызвали бы у читателя неудовольственного чувства. Собранные вместе, его рассказы выигрывают, писал когда-то М. Горький о молодом Алексее Толстом. Рассказы Солоухина явно проигрывают, когда мы читаем их подряд собранными в книге «Свидание в Вязниках». Заметнее становится и отрывочный, зарисовочный характер одних, и однотипность, незначительность сюжетов других. А главное — трудно не пожалеть о том, что галант Солоухина сосредоточился здесь на темах очень уж узкого круга и только краешком прикоснулся к живой современности.

И. КУДРОВА.

Ленинград.

★

## КОМИССАРЖЕВСКАЯ В ЮБИЛЕЙНЫХ ИЗДАНИЯХ

**Вера Федоровна Комиссаржевская. Письма актрисы, воспоминания о ней, материалы. «Искусство». Л.—М. 1964. 424 стр.**

**В. Носова. Комиссаржевская. «Молодая гвардия». М. 1964. 336 стр.**

К столетию со дня рождения Веры Федоровны Комиссаржевской вышли две книги. Одна, выпущенная в Ленинграде, дает читателям очень большой свод писем актрисы, богатый подбор воспоминаний о ней, интереснейшие, впервые публикуемые материалы о ее творчестве, в частности —

любопытнейшие дневники С. И. Смирновой-Сазоновой. Книге предпослана краткая и серьезная вступительная статья Ю. Рыбаковой. И хотя нельзя не пожалеть о том, что из семисот хранящихся в архивах и музеях писем Комиссаржевской опубликованы только двести семьдесят пять (в том числе впер-

вые—двести семнадцать), хотя досадно, что не вошли в книгу, например, забытые очень выразительные воспоминания О. Мандельштама, в то время как мемуары Евт. Карпова и Н. Ходотова печатаются уже в третий раз, тем не менее в целом книга эта, прекрасно оформленная, богато иллюстрированная, оснащенная вполне современным научным аппаратом, сделана редактором-составителем А. Я. Альтшуллером тщательно и любовно.

А. Я. Альтшуллер замечает в своем предисловии, что Комиссаржевская была «человеком крайних суждений, не признавала спасительной «золотой середины», расчетливого благоразумия, не знала житейского покоя и творческого равнодушия». Характеристика эта подтверждается каждым письмом Комиссаржевской. В одном из самых ранних писем, едва поступив в театр, она уже решительно говорит: «Я нашла цель, нашла возможность служить делу, которое всю меня забрало, всю поглотило, не оставляя места ничему». В ее мыслях призвание артиста всегда сопряжено с необходимостью как-то изменить жизнь. Она видит вокруг себя «нужду вопиющую, тихую, потому что кричать сид у нее нет», и напряженно стремится найти способ помочь людям. Декадентская расслабленность ее отвращает. «...Декадентство, то, о котором я знаю, то есть заявляющее себя в таких уродливых формах, стремящееся уйти от идеала чистой красоты, не может ничего говорить моей душе».

Слова о «чистой» красоте не должны быть поняты превратно, ибо в том же письме режиссеру Евтихию Карпову, отказываясь играть «Бедную невесту» Островского, Комиссаржевская приводит такие резоны: «Жизнь идет своим чередом, и душа русской женщины нашего времени сложнее и интереснее по той работе, которая в ней идет»; пишет, что ждет талантливого драматурга, который «расскажет о борьбе такой души» — «это будет близко, понятно, нужно для души современного зрителя». В сущности, именно об этом и рассказывала сама Комиссаржевская со сцены в пьесах самых разных драматургов — русских и западных, великих и заурядных, но почти всегда — современных. Она часто и во многом — колебалась, ошибалась, но острейшую связь с современностью ощущала как главное условие существования и развития собственного таланта. Когда эта связь

разлаживалась, она действовала решительно, бесповоротно, словно повинувшись некоей высшей силе. Уходя из Александринского театра, она писала Суворину: «Вы пишете, думали, что императорский театр меня не отпустит. Меня нельзя не отпустить. Нельзя ничем удержать, раз я перестану верить, а я не верю больше в «дело» Александринского театра. Вы просите ответить откровенно, пошла ли бы я к Вам (у Суворина был свой театр в Петербурге.— К. Р.). Нет, Алексей Сергеевич, к Вам я не пойду потому, что у Вас слишком много хозяев, благодаря чему дело не может стать таким, чтобы удовлетворять с эстетической стороны, а я хочу поискать этого удовлетворения, хотя бы пришлось погибнуть в бесплодных поисках».

В этих словах — вся артистическая натура Комиссаржевской, вся ее безоглядная храбрость, вся ее бескомпромиссность. Впервые обнародованные письма, а также специально для этого издания написанные воспоминания З. Прибытковой, А. Кругловой, В. Хвостова, В. Веригиной, А. Желябужского освещают новым светом образ актрисы, чье имя значилось в утвержденном В. И. Лениным списке деятелей культуры, которым только что победившая революция намеревалась воздвигнуть памятники.

Другая книга о Комиссаржевской вышла в серии «Жизнь замечательных людей» и представляет собой уже гораздо более ответственную попытку осмысления и анализа всей жизни Комиссаржевской в искусстве. Популярной биографии Комиссаржевской доньше у нас не было, потребность же в книге, которая рассказала бы о Комиссаржевской и правдиво, и увлекательно, и умно, — давно уже назрела. В серии биографий, еще Горьким задуманной и начатой, в последнее время вышло несколько весьма интересных работ. А поэтому вроде бы все предвещало удачу и книге о Комиссаржевской.

Этого не случилось. Автора — В. В. Носову — не следует судить слишком строго. Книга о Комиссаржевской — ее первая книга. А время, когда жила и творила Комиссаржевская, было переходным, бурным и смутным. Ее судьба вовлекает биографа в самый сложный переплет разнообразных проблем: исторических, философских, эстетических. Короткий срок (всего восемнадцать лет) театральной жизни Комиссаржевской пришелся на период, когда богатства отече-

ственной культуры пополнялись с невиданной прежде интенсивностью. В эти годы вышли в свет последний роман Льва Толстого «Воскресение» и первые романы Максима Горького. Были написаны и сыграны все главные пьесы Чехова и пьесы Горького: «Мещане», «На дне», «Дети солнца». Началась литературная слава Александра Блока, Ивана Бунина, Леонида Андреева, Александра Куприна. Впервые прозвучали произведения С. Рахманинова, А. Глазунова, А. Скрябина. На оперной сцене дебютировал Шаляпин, в балете впервые выступила Анна Павлова. Одновременно с Комиссаржевской начал свой мучительный путь и в один год с ней умер М. Врубель. Пока Вера Комиссаржевская играла на драматической сцене, в Москве открылась Третьяковская галерея, в Петербурге — Русский музей, возникло объединение художников «Мир искусства», был основан Московский Художественный театр. Непосредственно с Комиссаржевской связаны начало театральной деятельности Блока и первые шумные успехи режиссера В. Э. Мейерхольда... При ней распустились на полях российской словесности и разнообразные «цветы зла», при ней прославились В. Розанов, Ф. Сологуб, Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Арцыбашев. Такова — в самых общих и главных очертаниях — жизнь искусства в те годы, связанные с судьбой актрисы. Тут и весьма искушенному литератору запутаться не мудрено. Так что главные претензии предъявлять надо, видимо, к редакции «Жизнь замечательных людей». К тем, кто не заметил, как неуверенно продирается автор сквозь сложности и противоречия избранной темы, как боится их.

После смерти Комиссаржевской Блок сказал, что с ней «умерла лирическая нота на сцене». Поэт в Комиссаржевской услышал поэта. Внимание В. Носовой занято совсем иными материями: бенефисами, букетами, «триумфами», подарками, приветственными адресами — всем тем, что позволяет ей ласково именовать Комиссаржевскую «золотой красавицей». Пусть так, хотя «красавицей» Комиссаржевская никогда не была. Разговор о красоте временно отложим. Важно другое: можно ли все содержание искусства Комиссаржевской сводить к «личной драме, пережитой Верой Федоровной»? Можно ли утверждать, что «только помня об этой драме (так выразилась В. Носова. — К. Р.), становилось понятным своеобразие трактов-

ки почти всех ролей», сыгранных Комиссаржевской? Или вернее будет думать, что личная драма была только сильным и резким ударом, пробудившим в Комиссаржевской поэта, широко отворившим ее талант?

Лучшие роли Комиссаржевской (когда она играла в Вильно) — Розы в «Бое бабочек» Зудермана и Лариса в «Бесприданнице» — не откроются перед нами, если мы подступимся к ним с ключом «личной драмы» актрисы. Их роднит нечто более существенное: общая встревоженная интонация. В этой-то тревоге и была Комиссаржевская: ее лирика, ее личность.

Чувствуя, что «личная драма» ничего не объясняет, В. Носова вскоре бросается в другую крайность и начинает настойчиво говорить о «всеобщем женском страдании», которое якобы несла с собой Комиссаржевская, о трагедиях «общеженских, общечеловеческих», выраженных в ее искусстве. Такое восприятие искусства актрисы вырывает ее из живого контекста времени, отделяет ее от общего процесса развития русского театра, в котором она активно участвовала.

Актерское искусство Комиссаржевской обладало небывалой до нее мерой публичной откровенности. Богатства ее поэтической природы были таковы, что они неизменно «перекрывали» всякую роль. Она сделала достоянием сцены и публики то, что прежде, до нее, на сцену не выносилось: нервность, а не только страстность, полутона, а не только тона. Комиссаржевская углубилась в сферы, где только зреет, только начинаются чувства, где в нерешительности подготавливаются решения, где дисгармония предвещает драму.

Такое устремление таланта Комиссаржевской соответствовало духу переходного времени тревог и ожиданий и совпадало с главным руслом художественного развития эпохи. Комиссаржевская, писал впоследствии работавший с ней режиссер Н. А. Попов, «определенно старается избегать всех ролей, психологически мало связанных с современностью, не находя в себе сил для создания женских образов отдаленного прошлого. Когда же в ее руки попадала роль современной женщины, она вскрывала под текстом роли такие неожиданные психологические глубины и тонкости, что невольно опрокидывала намечавшийся план постановки... Сущность ее гения выявлялась в своеобразном истолковании текста и истол-

ковании его такими выразительными средствами, какие до нее были неведомы другим».

В этом смысле особенно интересна история взаимоотношений Савиной и Комиссаржевской. В. Носова сгараеется как можно меньше касаться всей этой «деликатной» темы. Только в акгерской ревности к чужому успеху видит она причину досадных недоразумений между двумя великими актрисами. Но, хотя Савина с трудом переносила успехи Комиссаржевской, все же не зависть и ревность решили судьбу Комиссаржевской в Александринском театре.

Актрисы противостояли друг другу не только в борьбе за славу и успех, за роли, бенефисы и аплодисменты. Их конфликт был куда более серьезен, это было противостояние двух принципов, двух театральных систем. Критик А. Р. Кугель, отдавая предпочтение Савиной, писал о ней: «Савина была здоровым смыслом русского театра... Она была земная, но истинная, искренняя и правдивая. Она внесла в духовный облик русской женщины на сцене порядок и дисциплину». И еще: «Всякое действие Савиной было причиннообразно. Сила ее вспышек всегда зависела от силы обстоятельств — никогда больше, никогда меньше». О «состоянии» и противоборстве Савиной и Комиссаржевской Кугель (как и многие другие современные критики) писал прямо, без обиняков, без недомолвок и туманностей, к которым зачем-то прибегает В. Носова.

Вовсе не сочувствуя Комиссаржевской, Кугель старался, однако, разгадать причину ее успехов и чуточку брезгливо, но весьма пронизательно сразу же указал «крайнюю доступность ее игры для масс». Он писал:

«В г-же Комиссаржевской есть что-то, я сказал бы, демократическое, полуплебейское, какое-то далекое, но тем не менее совершенно очевидное родство с фельдшерницей, гимназисткой, курсисткой, со всеми бытовыми разновидностями учащейся молодежи. В ней больше «добра», нежели «искусства», больше «жесткости», нежели «красоты». Это — артистка утилитарного искусства, которую очень любил бы Писарев...»

Савина, которая среди других своих талантов обладала и даром меткого слова, окрестила Комиссаржевскую «вдохновенной модисткой». Тем самым она упрекала Комиссаржевскую в снижении «высокого искус-

ства» до уровня понимания и вкуса простонародья. Савина ставила Комиссаржевской в вину тот факт, что актриса вывела зауряднейшую «модистку» (или фельдшерницу, или курсистку — они ведь все одним миром мазаны) на сцену, да еще и вдохновением наделила.

«Здоровому смыслу» упорядоченного искусства Савиной Комиссаржевская противопоставила искусство неуравновешенное и встревоженное. Ее «дисциплине» — свой протест против дисциплины; ее ощущению прочности и незыблемости устоев общественного бытия — свое ощущение неустойчивости. Ее гармонии — свою кризисность. Если у Савиной даже «сила вспышек» всегда зависела от обстоятельств («никогда больше, никогда меньше»), то у Комиссаржевской был иной закон, всегда — либо больше, либо меньше, только не «соразмерно обстоятельствам», только не «причинно-сообразно». Савину называли кружевницей, она изящно и грациозно сплетала сценические кружева. Она была великой мастерицей. Гений Комиссаржевской выходил из берегов мастерства. Ее сценические творения стихийно вбирали в себя острый драматизм современной русской жизни.

Дистанцию, отделявшую Комиссаржевскую от всего сценического искусства конца прошлого века, В. Носова не видит. Потому-то знаменитая и знаменательная катастрофа чеховской «Чайки» в Александринском театре преподносится ею как «обидно глупая история», как еще одно случайное недоразумение. На репетиции в присутствии Чехова, пишет Носова, Комиссаржевская в роли Нины Заречной «поднялась до жизненного совершенства». И не она одна. «Партнеры поддерживали ее настроение, и простая репетиция превратилась в праздничное, торжественное чудо». «Торжественные чудеса» не повторились, однако, ни на генеральной, ни на премьере.

Критик А. Роскин в свое время писал: «Чайка» не могла не провалиться, ибо она была первой пьесой новой русской драматургии. Если на мгновение отвлечься от дат, можно сказать, что Художественный театр родился в тот день, когда публика... осмивала пьесу Чехова. Ибо в этот день был необыкновенно убедительно продемонстрирован крах всей старой театральной системы».

Комиссаржевская одна, без партнеров (которые никак не могли «поддержать ее настроение!»), доказала в этот день свое родство с Чеховым и с начинавшимся процессом обновления русского сценического искусства. Через два года в «Чайке» Художественного театра были блистательно сыграны все роли, кроме только одной — главной. Роль Нины Зарочной достойно сыграна не была, место Комиссаржевской осталось незанятым.

Драма Чехова, режиссура МХТ, актерское искусство Комиссаржевской так никогда и не объединились в одном спектакле, хотя в принципе этого следовало бы, кажется, ожидать. Хотя Чехов говорил о Комиссаржевской: «В настоящее время в России это лучшая актриса», хотя и Станиславский и Немирович-Данченко звали ее в Художественный театр. Отчего же она так и не стала в полном смысле слова актрисой Чехова и не пришла в стены Художественного театра?

В. Носова проходит по самому краю этих проблем, иногда роняя верные замечания и прикасаясь к самой сути дела. Но слишком часто ее отвлекают мелкие случайности. («Три сестры», мол, не достались Комиссаржевской из-за того, что «пьеса не попевала к бенефису», «послать телеграмму забыли...» и т. п.), слишком многое она объясняет недоразумениями, несовпадениями. Носова верно говорит, что Комиссаржевскую смущала «необходимость подчинить свое свободное актерское творчество воле режиссера» и что «именно «режиссерским» по своей внутренней организации был театр Станиславского». Противоречие робко обозначено, причем — с оттенком некоего упрека Станиславскому.

Однако режиссерский театр был потребностью времени, а не прихотью Станиславского. Необходимость режиссерского театра была, в частности, подсказана и продиктована чеховской драмой. Возникновение театра, стремившегося к художественной целостности спектакля, утверждающего спектакль (а не игру одного или нескольких артистов) как творение искусства, — знаменовало собой исторически новый этап развития русского, а затем и мирового театра. Станиславский первым перешагнул великий рубеж, отделявший старую театральность от новой. При всей родственности искусства Комиссаржевской драматургии Чехова и психологизму Художественного

театра, перейти эту грань ей не было суждено.

Комиссаржевская в ансамблях «не помещалась», в любом окружении — солировала. Для нее ансамбль возможен был голько как фон. Лучшие спектакли, в которых она играла, были спектаклями Комиссаржевской.

Для полифонического театра Комиссаржевская не подходила, гребованиям полифонической драмы, строго говоря, не соответствовала. И напрасно ждала чеховских пьес. Ибо Чехов знал, что Комиссаржевская может гениально сыграть роль, но пьесы его не «складывались» из отдельных ролей, они предполагали общий тон, ансамбль, принципиально новый театр и — породили его. В этот театр — Московский Художественный — Комиссаржевская войти не могла. А когда позже все же решилась вверить свой гений режиссеру — В. Э. Мейерхольду, — последовал неизбежный взрыв.

Лучше других удалась В. Носовой страничка о Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже, об установившихся в эту именно пору непосредственных связях актрисы с революционным движением, о публицистической горячности и социальной остроте игры Комиссаржевской в пьесах Горького «Дачники» и «Дети солнца». Это был идейный зенит Комиссаржевской, высший взлет ее «протестантства».

Напрасно только В. Носова думает, что Комиссаржевская всегда была такой. Что «сама судьба подготовила ее к роли бойца в освободительном движении», что она «всегда воевала за правду, за человека». Превращение Комиссаржевской в актрису-«трибуна», насильственное сближение ее искусства с искусством М. Н. Ермоловой, навязывание ей последовательности и целеустремленности в развитии революционных идей нехорошо лишь тем, что не сходится с фактами. Сама Комиссаржевская всю жизнь твердила, что ей «не дано сознанием находить новую правду», что она ищет ее «инстинктом»: «Прислушиваюсь, ошибаюсь, потом сама вижу, что это «не то».

У Комиссаржевской не было осознанной и постоянной идейной и эстетической программы, она интуитивно шла вслед за самыми яркими движениями времени, за глашатаями наиболее заманчивых для интеллигенции идей. Такой путь не мог свершаться

ся вполне последовательно, но на всех его поворотах Комиссаржевская оставалась верна себе, своей артистической индивидуальности и своей уникальной отзывчивости — и тогда, когда оказывалась на гребне революционных настроений, и тогда, когда в искусстве ее звучали ноты горечи, смуты.

В. Носова хотела бы все это сложное и подвижное, изменчивое и все же цельное искусство определить возможно более мажорно. Комиссаржевской «ж и з н е у т в е р ж д а ю щ е й», «борцу по натуре» чужды были, думает она, символистские пьесы. Но Комиссаржевская не была «жизнеутверждающей», во всяком случае не оптимизм доминировал в ее искусстве. Стоило бы повнимательнее прислушаться к Александру Блоку, который говорил, что Комиссаржевская «не жаловалась и не умоляла, но плакала и требовала, потому что она жила в то время, когда нельзя не плакать и не требовать». Блок видел в ней «вдохновение тревожное», «мрачное пламя».

Если бы В. Носова вслушалась в эти слова, она, вероятно, подвергла бы гораздо более серьезному анализу взаимоотношения Комиссаржевской с символизмом и символистами, в частности — с режиссурой Мейерхольда и драматургией того же Блока. Ведь нельзя же в самом деле всерьез думать, что Комиссаржевская ставила и играла символистские пьесы «словно слепая» (а именно так сказано у Носовой), «не видя, что эти пьесы говорят только о крушении надежд и жизни». И невозможно всерьез принять версию Носовой о «Балаганчике» Блока, в котором она усмотрела «весьма реакционную идею «непротивления». У Носовой возникает странное и мгновенное превращение актрисы революционного театра в Пассаже (1904—1906) в актрису насквозь реакционного театра на Офицерской (1906—1908). Попытка В. Носовой внушить читателям убеждение, будто это Мейерхольд сохранил великую реалистическую актрису в символистскую «веру» и тотчас превратил ее «жизнеутверждающее» искусство в искусство реакционное и мрачное, оказывается несостоятельной. В «Гедде Габлер» Ибсена Мейерхольд, пишет Носова, заставил Комиссаржевскую воспевать «только красоту, бесплотную, бесцельную, бесполезную». Так ли? Поэт Осип Мандельштам, видевший Комиссаржевскую в роли Гедды, воспринял ее иначе. В этой именно роли он почувствовал

«протестантский дух русской интеллигенции».

В поставленной Мейерхольдом «Сестре Беатрисе» Метерлинка Комиссаржевская, по общему признанию, была гениальна. Тут Мейерхольд угадал и реализовал, превратил в закон спектакля требование Комиссаржевской, чтобы ансамбль был фоном для ее игры. Скульптурный, пластический прием построения мизансцен открыл простор звучанию тревожной, характернейшей для Комиссаржевской темы ожидания перемены, ожидания какого-то чуда, которое должно свершиться вопреки всему. Она оставалась собой, она продолжала «плакать и требовать».

Конечно, разрыв Комиссаржевской с Мейерхольдом был закономерен и неизбежен. Ей вообще трудно было подчиниться власти режиссера, и она вовсе уж не могла понять «условные методы» Мейерхольда той поры, когда он увлекся «принципами театра марионеток». Но если В. Носова цитирует и даже выносит в название главы известные слова актрисы: «Весь пройденный путь — ошибка», то она должна была бы в интересах истины привести и продумать и другие ее слова:

«Я пошла на разрыв, на разрыв с Мейерхольдом, но не с условным театром, с новыми сценическими методами. Да и самого Мейерхольда я по сию пору ценю, как большого, талантливого новатора, ищущего с подлинною искренностью. А такие его работы, как «Балаганчик», «Жизнь человека» и «Сестра Беатриса», я считаю режиссерскими шедеврами».

Когда В. Носова хочет похвалить Комиссаржевскую за «умение подчинить свои поступки сценической задаче», она с умилением рассказывает о том, как актриса умышленно затягивала сцену, дожидаясь партнера, который опаздывал на выход. Или — о том, как Комиссаржевская во время спектакля ушла со сцены и искала за кулисами заблудившегося суфлера. К «сценическим задачам» все эти печальные происшествия никакого отношения не имеют. В них видна только характерная небрежность, с которой проводились гастрольные спектакли Комиссаржевской. Видно, в каком беспорядке она играла.

Но конкретность времени и театра Носову не занимает. Ей важно вписать Комиссаржевскую в некий условный «мир прекрасно-

го», и на страницах ее книги возникают такие картины:

«Склонясь над цветами, Вера Федоровна думала свою думу».

«...гостиная замерла, и началось покоряющее действие совершенной красоты слова и музыки».

«Красно-золотистые лучи заката гасли в сразу опустевшей гостиной».

Все это «красиво». Столь же «красивы» у Носовой глаза Комиссаржевской. «Лукавые искорки» в этих глазах были, «как рассыпавшиеся алмазы». Или: «Огромные лучистые глаза молодой женщины сияли такой радостью от неожиданной встречи, что старый актер смутился и не мог, как на солнце, глядеть в них». На сцене глаза эти «излучали всю глубину таившихся переживаний». Когда Комиссаржевская играла Соню в «Дяде Ване», «это лицо, эти глаза, эту скорбь нельзя было не любить. На них можно было молиться!»

Состояние «молитвенного» восторга, в котором пребывает В. Носова, говорит о ее искренней и восторженной любви к Комиссаржевской. Но в таком состоянии влюбленности трудно заметить «маленькую голову» Комиссаржевской (о чем писал Мандельштам), ее «угловатость», «надломленность» (о чем писал Кугель), ее «беспокойные плечи» (о чем писал Блок), услышать ее голос, «требовательный, капризный и повелительный» (тоже Блок). Кстати, и о глазах у Блока сказано просто: глаза «бессонные», глаза «печальные», «смеющиеся, обведенные синим». Всеми этими точ-

ными свидетельствами современников Носова не пользуется, ибо пишет не портрет, а — лик, ибо не этим дорожит, а — всевозможными «красивыми» банальностями, «рассыпавшимися алмазами», сияниями, излучениями...

И никто не сказал молодому автору, что все эти «красивости» не нужны. Никто не предупредил В. Носову, что, выписывая добрых три страницы из воспоминаний А. Я. Бруштейн (описание роли Розы), не красиво снимать кавычки, изменив отдельные фразы и выражения. Никто не заметил, сколь необычно трактована В. Носовой ибсеновская «Нора»: сплошной «поединок между Норой и Кrogстадом», даже «бой с Кrogстадом», а мужа, Хельмера, и не видно. А почему? Просто потому, что Носова излагает роль Комиссаржевской по воспоминаниям В. Гардина. А Гардин играл Кrogстада... Никто наконец не спросил у автора, что означают такие, например, фразы: «Мейерхольд олицетворял ее с золотой осенью»; Рошин-Инсаров, «заглушая вопли художника, предавался богеме»; «художественный реализм артистки и в туалетах, как в ее игре, был предельно приближен к жизни».

Книга о Комиссаржевской в серии «Жизнь замечательных людей» значит под номером 382-м. Ее изданию предшествовал огромный опыт, на этот раз почему-то оказавшийся совершенно забытым. В результате биографию В. Ф. Комиссаржевской надо писать заново, не дожидаясь следующего ее юбилея.

К. РУДНИЦКИЙ.



## МОЛОДОЙ ХЕМИНГУЭЙ

Э. Хемингуэй. Праздник, который всегда с тобой. Перевод с английского М. Брука, Л. Петрова, Ф. Розенталя. «Иностранная литература», № 7, 1964.

Осенью 1956 года Хемингуэй возвращался на Кубу после поездки в Испанию. По дороге он остановился в Париже в отеле, где его знали уже много лет. И в который раз (это неизменно повторялось, когда он появлялся в Париже) писатель выслушал настоятельную просьбу администрации: забрать наконец два полуразвалившихся чемодана, которые вот уж сорок лет без малого хранятся в подвальном помещении отеля. Уезжая в Штаты в 1927 году после нескольких лет, проведенных в Париже,

Хемингуэй оставил их на хранение и с той поры не интересовался своим имуществом. Справедливо полагая, что добросовестность и долготерпение администрации не нуждаются в дальнейших доказательствах, служащие отеля пригрозили хозяину чемоданов, что вещи его будут сданы в утиль. Угроза возымела свое действие. Когда Хемингуэй и его жена раскрыли расплывающиеся по швам чемоданы, среди старых вещей обнаружилась груда исписанных блокнотов...

«С некоторой опаской, как человек, загля-



дывающий в аквариум с осьминогом,— вспоминает Мэри Хемингуэй,— смотрел он на эти следы своей юности, вынул одну записную книжку, потом другую и начал внимательно их перелистывать. «Поразительно,— произнес он, отрываясь от чтения,— оказывается, тогда мне было так же трудно работать, как и теперь. Это утешает».

Старые блокноты, в которых, сидя в дешевой кафе или в нетопленной комнате гостиницы, Хемингуэй писал когда-то свои первые рассказы, отправились с ним на Кубу. Через некоторое время он начал работать над «Очерками о Париже» — под этим условным названием книга фигурировала в разговорах с друзьями и издателями до конца жизни Хемингуэя. Заглавие, под которым она вышла, было выбрано потом из списка, приложенного им к рукописи. Очевидно, Хемингуэй считал свою работу почти завершенной — поиски заглавия он всегда откладывал на самый конец. Мы знаем, что можно ожидать опубликования еще нескольких посмертных книг Хемингуэя, но над этой книгой он работал в самые последние годы и месяцы жизни. Последнее произведение писателя рассказывает о его молодости — это закономерно, даже привычно, когда думаешь о любом писателе, кроме Хемингуэя,— почему-то очень трудно вообразить его в роли человека, пишущего мемуары, ушедшим на покой, неторопливо припоминающим людей и события,— хотя после войны мы снова узнали его уже стариком и писать он стал о стариках. Эти старики (рыбак и полковник) много вспоминают, но их тоже не видишь в качестве мемуаристов: они подводят итоги по-иному, до последнего мига продолжая свою схватку с жизнью и смертью. Но ведь Хемингуэй и не оставил мемуаров. Книга «Праздник, который всегда с тобой» — повесть, полная удивительного лиризма, чуть печальная и звонкая, как ясная поздняя осень. Это повесть о далеких днях, «когда мы были очень бедны и очень счастливы», о том, как молодой американец, живущий в Париже репортер канадской газеты, формировался в писателя, без которого немислимо представить себе мировую литературу нашего столетия. Прежде всего это книга о Хемингуэе, который учится писать. Кто только не учит его: русский мастера и Гертруда Стайн, Шервуд Андерсон и картины Сезанна,— но в общем-то он учится сам. В нем бурлит человеческая и творческая

энергия — он учится сжимать ее до предела. Он успел набрать больше необычных жизненных впечатлений, чем иные люди, дожившие до глубокой старости,— он учится, стесывая все лишнее, облачая сердцевиной вещей, ищет не аморфное — «как в жизни» и не украшенное — «как в литературе», единственно верное (и всегда единственное) художественное видение мира. Это тяжелый и радостный труд, будничным и праздничным одновременно. Париж никогда бы не стал для Хемингуэя пожизненным праздником, если бы там не прошли годы его ученичества. Работа, требующая ясной головы и полной честности с самим собой, не давала Хемингуэю соскользнуть в зыбкий мир героев его первого романа «И восходит солнце». Биографы писателя и летописцы Парижа двадцатых годов находят реальных людей чуть ли не за каждым образом романа — среди молодежи «потерянного поколения» проходила и жизнь Хемингуэя. И все же он был прав, когда, услышав от Гертруды Стайн эти знаменитые впоследствии слова («Все вы — потерянное поколение»), внутренне послал к черту «все эти грязные, дешевые ярлыки». К нему-то ярлык не подходил. Он знал, чего хочет, у него были крепкие якоря: работа, семья, Париж и после ухода из газеты — жизнь впроголодь, которая воспитывала гордость и самодисциплину.

Книгу «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэй разрешил считать, при желании, в какой-то мере вымыслом. Но книга очень точна (перед публикацией ее Мэри Хемингуэй специально побывала в Париже, чтобы еще раз проверить всю «топографию», и не нашла ошибок, хотя Хемингуэй писал о парижских улицах только по памяти). Люди, изображенные в книге,— реальные люди, фигурирующие под своими собственными именами. Но это и литературные герои Хемингуэя. Одни из них сразу располагают к себе: жена Хемингуэя Хэдли, Сильвия Бич — владелица книжной лавки и деятельный друг писателей маститых и еще безвестных; иные вызывают сложное отношение: Гертруда Стайн, Скотт Фицджеральд; третьи — смешны или неприятны, либо и то и другое вместе: Форд Мэддокс Форд. Эрнест Уолш, не названный «приятель», который мешает работающему в кафе Хемингуэю своими пошлыми и самодовольными откровениями... В основе этих портретов лежат реальные воспоминания, в чем-то, безусловно, пристрастные и неспра-

ведливые, как всякие воспоминания о людях. Хемингуэй был резок и горяч в своих антипатиях как политических, так и личных. Человек щедрый, великодушный и верный в дружбе, он бывал в то же время (по собственным признаниям и чужим свидетельствам) вспыльчив, груб, оскорбительно насмешлив — и не всегда по должному адресу. В его характеристиках есть много субъективного, а в рассказах о своих современниках — немало лишних деталей<sup>1</sup>. Но в главном — в определении основ человека — он, вероятно, не ошибается; мы знаем, что оппортунизм Фицджеральда как художника, самоуверенное менторство Стайн, содержащее большую дозу суетности и тщеславия, ее неприятие естественности в искусстве и жизни — признанные факты литературной истории. Но как блестящие эти литературные образы! Чего стоит, например, описание злосчастного путешествия Хемингуэя с Фицджеральдом из Парижа в Лион и обратно, или беседа с Фордом на тему о том, что такое джентльмен, или веселая миниатюра «Носитель порока» с ее экстравагантными персонажами и загадочной банкой... К тем, кто играл эпизодическую роль в его парижской жизни двадцатых годов, Хемингуэю, естественно, легче было отнестись в своей книге как к литературным персонажам. Не то с людьми более или менее близкими, связанными с его творческой судьбой. Читая главы, посвященные Гертруде Стайн и Скотту Фицджеральду, все время ощущаешь, что Хемингуэй стремится органически соединить разнородные и иногда противоречивые желания: он хочет быть максимально объективным, предельно честным в раскрытии своих внутренних побуждений и донести до читателя художественный облик человека, о котором вспоминает. Труднее всего говорить о самых близких, таких, как Хэдли. Диалоги Хемингуэя и Хэдли, откровенно «стилизованые» на манер типичных хемингуэевских диалогов, заставляют вспомнить, на мой взгляд, натянутую и сентиментальную, лирическую линию романа «Через реку и под сень деревьев» — сходна, разумеется, не ситуация, а тон, предчувствие неизбежности утрат, которым пронизан «Праздник». В то же время все, что связано с Хэдли, изображается

таким безоблачно лазурным, что крах семейной жизни Хемингуэев, которым закончился парижский период, кажется совершенно непонятым, а зловещая роль богачей, на которых рассказчик склонен переложить часть вины, — в данном случае несколько преувеличенной. Не нам входить в разные обстоятельства личной жизни Хемингуэя, важно лишь то, что как художник он оказался здесь в чем-то побежденным, хотя многие страницы книги, рисующие несытое, но богатое радостями существование Хемингуэя, Хэдли, маленького Джона и кота-телохранителя Ф. Киса полны истинной прелести.

Самым трудным испытанием портретного мастерства Хемингуэя в этой книге был, конечно, образ самого молодого Хемингуэя. Главная удача заключается в том, что автор легко преодолевает дистанцию времени: лейтмотива «я был такой» в книге нет, герой существует для нас в настоящем времени, но вместе с тем мы отлично сознаем, что Хемингуэй был тогда во многом совсем иным. Гертруда Стайн, которая в своей «Автобиографии Алисы Токлас» (написанной от лица ее компаньонки, той самой, что изображена в книге) говорит о Хемингуэе с продуманным добродушным умом и не забывающей обид женщины (а обиды были), оставила такую зарисовку: «Это был молодой человек двадцати трех лет, необычайно приятной наружности, несколько иностранного вида; у него были скорее страстно заинтересованные, чем интересные глаза». Сам Хемингуэй ничего не говорит о своей внешности, однако мы видим его так отчетливо и живо, что фотографии тех лет сразу кажутся знакомыми. Хемингуэй считал «Праздник, который всегда с тобой» попыткой «отраженной автобиографии», — характер и мысли героя становятся очевидными главным образом через его восприятие других людей.

Возникает образ молодого человека, далекого от хрестоматийного совершенства и на редкость привлекательного своей талантливостью, жизненным азартом, влюбленностью; иногда излишне резкого, иногда малость простодушного, всегда бескорыстного и мужественного в своих поисках настоящего в искусстве. Когда был написан первый роман Хемингуэя, и «рыба-лоцман» привела к нему первых, почуявших запах успеха богачей, и рухнул первый брак, и завершилось первое — самое долгое — свидание

<sup>1</sup> Кстати, редакция сочла нужным сделать в одной из бесед Хемингуэя с Г. Стайн купюру, нарушающую логическую связь разговора.

ние Хемингуэя с Парижем,— началась для него новая, гораздо более сложная жизнь, слишком сложная, чтобы ее можно было запечатлеть в книге одного настроения, одного музыкального ключа.

Книгу эту переводили три человека, что вообще не рекомендуется делать и было очевидно, вызвано желанием журнала поскорее познакомить с ней читателей. «Швы» разных переводов в тексте не проступают —

это заслуга редактора. Но, если будет готовиться отдельное издание (надо полагать, что будет), над очень многими местами следует подумать. Интонация Хемингуэя передана верно, однако язык его часто бывает сглажен и отусклен. обаятельная прозрачность, знаменитый лаконизм переданы вялой, плоской «объясняющей» прозой.

И. ЛЕВИДОВА.

★

### Политика и наука

## ЛЕТОПИСЬ ПЕРВОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Генеральный Совет Первого Интернационала. 1864—1866. Лондонская конференция 1865 года. Протоколы. Госполитиздат. М. 1961. 364 стр.

Генеральный Совет Первого Интернационала. 1866—1868. Протоколы. Госполитиздат. М. 1963. 344 стр.

Генеральный Совет Первого Интернационала. 1868—1870. Протоколы. Политиздат. М. 1964. 416 стр.

Коммунизм уверенно шагает по планете, овладевая миллионами умов и сердец. И может показаться непонятым и удивительным, что только сейчас, через сто лет после основания Первого Интернационала, впервые увидят свет многие документы Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих — этого боевого штаба рабочего движения тех лет. Каждая страница протокольных книг Генсовета — живое свидетельство повседневной, упорной, порою очень ожесточенной борьбы Маркса и его соратников за сплочение грудящихся всех стран, за объединение рабочих для революционного натиска на капитал.

Десятки лет часть протоколов, так же как и многие рукописи К. Маркса и Ф. Энгельса, пролежали под спудом в архивах социал-демократической партии Германии и в некоторых библиотеках.

В. И. Ленин, придававший огромное значение публикации литературного наследия основоположников научного коммунизма, писал в 1921 году директору Института К. Маркса и Ф. Энгельса Д. Б. Рязанову:

«...Нельзя ли нам купить у Шейдеманов и К<sup>о</sup> (ведь это продажная сволочь) письма Маркса и Энгельса? или купить снимки?»

...Есть ли надежда собрать нам в Москве все опубликованное Марксом и Энгельсом?

...Есть ли каталог уже собранного здесь?»

Началась огромная работа по собиранию бесценного наследия. И это в то время, когда молодая Советская республика переживала огромные трудности.

В двадцатые — тридцатые годы в Советском Союзе была собрана богатейшая коллекция рукописей, книг К. Маркса и Ф. Энгельса, документов по истории рабочего движения.

Удалось собрать и ценнейшие документы, относящиеся к истории Первого Интернационала. Среди них — протоколы Генерального Совета. Однако в протокольных книгах имелся существенный пробел: отсутствовали протоколы за период с 18 сентября 1866 года по 31 августа 1869 года. По воле случая они оказались в библиотеке Бишопгетского института в Лондоне. Библиотекарь мистер Госс смотрел на эти документы как на очень опасные горючие материалы, «которые, если попадут в руки большевиков или вообще русских, которые все большевики, могут принести большой вред английской империи и человечеству вообще».

Только в 1942 году протоколы удалось получить с помощью лондонского корреспондента Института Маркса — Энгельса — Ленина А. А. Майской.

Из пяти намеченных к опубликованию Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС протокольных книг Генерального Со-

вета с октября 1864 года по сентябрь 1872 года три книги уже вышли в свет.

Генеральный Совет был руководящим органом Интернационала. Он пользовался огромным авторитетом.

Не было в те годы ни одного более или менее важного вопроса политики и действий рабочего класса в борьбе против капитала, который бы не обсуждался Генеральным Советом. Фактическим руководителем и душой Генсовета был Карл Маркс, хотя официально он никогда не возглавлял его.

Вскоре после основания Первого Интернационала Маркс переработал коренным образом все предложенные ранее проекты его программных документов, представил на рассмотрение Генерального Совета Учредительный Манифест и Устав Международного Товарищества Рабочих. Вот что мы читаем в протоколе заседания Центрального Совета (так на первых порах назывался Генеральный Совет Первого Интернационала) от 1 ноября 1864 года:

«...Доктор Маркс оглашает Манифест, вводную часть Устава и Устав, окончательно согласованные в Подкомитете и предлагаемые на утверждение Центральному Совету.

...Гг. Картер, Гроссмит и другие высказываются за принятие Манифеста...

Манифест принимается единогласно.

Затем доктор Маркс оглашает вводную часть Устава.

По предложению г-на Уилера, поддержанному Блэкмором, вводная часть Устава утверждается единогласно.

После этого обсуждается Устав.

По предложению г-на Делла, поддержанному Утлоком, Манифест, вводная часть Устава и Устав утверждаются единогласно».

Так были приняты важнейшие программные документы Интернационала. Была одержана победа в борьбе против попыток навязать Интернационалу документы, составленные в буржуазно-демократическом духе. Теоретический уровень различных отрядов европейского рабочего движения был неодинаков, и Маркс составил такую программу, которая не закрывала бы дверей перед английскими тред-юнионистами, французскими, бельгийскими, швейцарскими прудонистами, немецкими лассальянцами.

В Учредительном Манифесте говорилось: «Опыт прошлого показал, что пренебрежительное отношение к братскому союзу, ко-

торый должен существовать между рабочими разных стран и побуждать их в своей борьбе за освобождение крепко стоять друг за друга, карается общим поражением их разрозненных усилий».

Протоколы Генерального Совета пронизаны идеей борьбы за единство рабочих всех стран. По ним можно проследить, как решительно Маркс отстаивал классовый характер Интернационала, стремясь усилить пролетарское ядро Генерального Совета. Это по его настоянию в Генсовет был введен ряд немецких и французских рабочих. По его предложению было запрещено почетное членство Генерального Совета, установлено обязательное посещение его заседаний и предварительное обсуждение кандидатур новых членов.

Читая страницу за страницей хронику деятельности Генерального Совета, мы видим, что основной смысл и содержание этой деятельности — борьба. Борьба против объединенной мощи капитала, против реакционных правительств, против агрессивных войн и колонизаторской внешней политики буржуазии. Борьба против мелкобуржуазных, анархистских и сектантских течений в рабочем движении, против сил, подрывающих его единство.

Борьба за торжество социалистических принципов в Интернационале, за создание самостоятельных пролетарских партий. Борьба за Интернационал — первую массовую международную организацию революционного пролетариата.

Протоколы Генерального Совета — это не стенографические отчеты о его работе. Они писались членами Генерального Совета — простыми рабочими, нередко приходившими на заседания после напряженного рабочего дня. Не все из них умели четко и полно выразить мысли выступающих. Различна и форма протокольных записей. Некоторые протоколы имеют характер черновых набросков. Встречаются записи, сделанные К. Марксом.

Протоколы дают возможность разглядеть лица сподвижников Маркса в Генеральном Совете, образовавших его боевое ядро. Вот двое из них.

Английский рабочий, маляр Роберт Шо. Один из основателей Интернационала. Именно благодаря его постоянным усилиям английские рабочие объединились вокруг Генерального Совета. Он стремился превратить тред-юнионы в центр подготовки пролетарской революции. Своей деятельностью

он нажил много врагов среди лидеров тред-юнионов. Ожесточенная борьба с ними подорвала здоровье Шо. 7 декабря 1869 года членам Генерального Совета было сообщено о серьезной болезни Роберта Шо, а 4 января 1870 года — о его смерти. Генеральный Совет поручил К. Марксу написать некролог.

Обращаясь к рабочим всех стран, Маркс писал о Роберте Шо: «Человек с чистым сердцем, мужественным характером, пылким темпераментом и поистине революционным духом, которому чужды были мелочность, тщеславие и стремление к личной выгоде. Рабочий, живший в нужде, он всегда находил возможность помочь рабочему... В личном общении он был кроток, как дитя, но в своей общественной жизни отвергал с негодованием какие-либо компромиссы».

Другим соратником К. Маркса в Генеральном Совете был немецкий рабочий, портной Фридрих Лесснер. Многие в истории немецкого рабочего движения и Первого Интернационала связано с его именем. Он был членом «Союза коммунистов», участником революции 1848—1849 годов. На кельнском процессе 1852 года был приговорен к каторжной тюрьме. Приехав в Лондон в 1856 году, он тесно сближается с Марксом и Энгельсом, становится одним из наиболее горячих и последовательных их сторонников.

Выступления Ф. Лесснера на заседаниях Генерального Совета немногословны, но они ярки, содержательны и показывают, что он всегда решительно поддерживал линию Маркса: линию борьбы за пролетарское единство.

Страницы протоколов рассказывают о десятках писем, которые приходили в адрес

Генерального Совета с сообщениями об успехах Интернационала в разных странах, об образовании новых и новых секций, о том, что рабочие «жаждут услышать голос Генерального Совета».

Особый интерес вызывает протокол заседания Генерального Совета от 22 марта 1870 года, на котором было оглашено письмо из Женевы с сообщением о создании Русской секции и с просьбой принять ее в Международное Товарищество Рабочих. «Секция выражает предложение, — указывалось в письме, — чтобы представителем ее в Совете стал гражданин Маркс». Русская секция была единогласно принята в Интернационал.

В томах протоколов Генерального Совета имеются разделы: «Из рукописного наследства К. Маркса» и «Документы Генерального Совета», которые существенно дополняют сборник.

Издание протоколов — это не простая расшифровка, перевод и публикация записей хода заседаний Совета. Сотрудники Института марксизма-ленинизма проделали огромную исследовательскую и текстологическую работу. Они проверили и уточнили сотни фактов, дат, имен. Большую ценность представляют примечания к текстам протоколов, которые значительно обогащают документальный материал, делая его доступным для самых широких читательских кругов. Свыше тысячи примечаний сделано голько к трем вышедшим томам.

Издание протоколов Генерального Совета, впервые осуществляемое в Советском Союзе, поможет еще глубже изучить историю рабочего движения, титаническую деятельность Маркса и Энгельса.

**Б. РУДЯК,  
З. САРАЛИЕВА.**



## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КУРС

**Документы внешней политики СССР. Тома I—IX. Политиздат. М. 1957—1964.**

...17 июня 1920 года. В Москве идет заседание ВЦИК РСФСР. На трибуне — один из ближайших соратников В. И. Ленина, нарком по иностранным делам Г. В. Чичерин. «Наш лозунг, — говорит он, — был и остается один и тот же: мирное сосуществование с другими правительствами, каковы бы они ни были».

Это выступление, как и многие исключи-

тельно важные и интересные материалы, читатель найдет в многотомном издании «Документы внешней политики СССР». Они выпускаются с 1957 года комиссией по изданию дипломатических документов при МИД СССР. Уже вышли девять томов, которые охватывают 1917—1926 годы и содержат свыше трех тысяч документов. Это заявления, ноты, инструкции и отчеты

НКИД, донесения и записи бесед советских послов... Значительное количество советских дипломатических документов читатель увидит впервые.

По сравнению с предшествующими аналогичными изданиями настоящее издание является наиболее полным и систематизированным. Оно позволяет составить ясное представление о внешней политике и дипломатии первого в мире социалистического государства, разоблачить буржуазные фальсификации и подделки, восстановить историческую правду.

Языком фактов документы убедительно рассказывают, как Советская Россия боролась за развитие дружественных отношений со всеми народами и государствами, за торжество благородных принципов мира и мирного сосуществования.

Уже первый декрет советской власти — **ленинский Декрет о мире** — заклеил продолжение империалистической войны как «**величайшее преступление против человечества**». А в самом первом заявлении Народного комиссара иностранных дел провозглашалось: «Мы хотим скорейшего мира на основе честного сожительства и сотрудничества народов».

Внешнеполитические документы и практические мероприятия Советского правительства пронизывает стремление находить мирное решение спорных и неурегулированных международных проблем. Советское правительство подчеркивало, что вопрос о преимуществах той или иной социальной системы — социализма или капитализма — должен быть решен не войной, а в «мирном поединке». Поэтому оно высказывалось за создание атмосферы доверия во взаимоотношениях между СССР и другими странами.

Борясь за осуществление принципа мирного сосуществования, Советское государство придавало исключительно важное значение развитию мировой торговли. В. И. Ленин рассматривал экономическое сотрудничество в качестве первого шага на пути развития нормальных отношений между государствами с различным социальным строем.

«Мирное сотрудничество между народами,— говорилось в инструкции НКИД РСФСР от 3 июня 1921 года,— конкретно представляется нам прежде всего в форме товарообмена...»

С первых же месяцев после победы Октябрьской революции Советское правительство предпринимает усилия для налажива-

ния экономических связей с капиталистическими государствами. Известно, что эти усилия наталкивались на бешеное сопротивление империалистической реакции, но жизнь брала свое.

Как показывают документы, важное место во внешнеполитической деятельности Советского государства занимало урегулирование отношений с ведущими капиталистическими странами.

Правительству США был направлен ряд официальных предложений о переговорах и установлении экономических отношений. В телеграмме Г. В. Чичерина советским полномочным представителям за границей от 10 сентября 1920 года говорилось. «Мы считаем... необходимым в интересах как России, так и Северной Америки установление между ними уже теперь, несмотря на противоположность их социального и политического строя, вполне корректных и лояльных мирных дружественных отношений, необходимых для развития между ними товарообмена и для удовлетворения экономических потребностей той и другой стороны».

В беседе с поверенным в делах Великобритании в СССР 12 февраля 1925 года Г. В. Чичерин подчеркнул: «...Ничего лучшего мы не желаем, как хороших отношений с Англией, и не за нами станет дело...» Полпред СССР во Франции Л. Б. Красин, информируя НКИД о беседе с Брианом 28 апреля 1925 года, сообщал: «Я заявил Бриану, что директива Советского правительства, данная мне при отъезде во Францию, состояла не только в том, чтобы добиться восстановления нормальных дипломатических отношений, но и возможно более тесного сближения обоих народов, имеющих общие задачи в деле укрепления всеобщего мира...»

Аналогичные шаги предпринимались и в отношении других государств. В частности, многочисленные документы касаются советско-германского сотрудничества двадцатых годов.

Советский Союз выступал за всестороннее развитие отношений с другими государствами. В советской ноте от 5 мая 1925 года отмечалось, например: «Во Франции, как и в СССР, мы наблюдаем движение в пользу интеллектуального сближения между обеими странами, и желательно, чтобы существовала возможность для взаимных поездок». Представители СССР принимали участие в международных конгрессах и конференциях во Франции. Неуклонно расши-

рялись связи между учеными, специалистами, деятелями культуры.

Оживленные культурные связи существовали между СССР и Германией. Именно в Германии возникло первое общество друзей Новой России.

О том, насколько широкое развитие получили наши культурные связи с заграницей, свидетельствует празднование в сентябре 1925 года двухсотлетия Российской Академии наук. В нем приняли участие сто двадцать четыре иностранных ученых от двадцати четырех стран Европы, Азии и Америки.

Особое место во внешнеполитической деятельности Советского государства занимал Восток. «Быть естественными и бескорыстными друзьями и союзниками народов, борющихся за свою полную самостоятельную экономическую и политическую свободу» — в этом усматривало оно свое призвание и роль на Востоке. Установления добрых отношений с народами этого района мы добились «мерами действительного бескорыстия и доброжелательства к ним». Именно такие отношения развивались у нас с Турцией, Ираном, Афганистаном, Монголией и другими странами.

Развитие дружественных советско-турецких отношений — один из ярких примеров, иллюстрирующих политику нашей страны на Востоке. В годы тяжелой борьбы Турции за свою национальную независимость Советское государство оказало ей всестороннюю помощь, которая сыграла решающую роль в борьбе турецкого народа с иностранными интервентами.

Как видим, в трудные для Советской страны годы наш народ оказывал посильную помощь угнетенным народам Востока. В советской ноте Турции от 10 октября 1921 года пророчески указывалось: «Как только Советская Россия выйдет из бесконечных затруднений, с которыми она еще борется, помощь, которую она оказывает братским народам, которые стремятся иметь независимое существование, станет все более и более значительной и обширной».

Первый советский посол в Турции С. И. Аралов, вспоминая свою беседу с В. И. Лениным в конце 1921 года перед отъездом в Турцию, рассказывает: «Главное, — говорил Владимир Ильич, — уважение к народу. Разъясняйте нашу позицию бескорыстной дружбы, невмешательства во внутреннюю жизнь страны в противовес захват-

нической, грабительской политике империалистов. Вот ваша задача...»

В письме Г. В. Чичерина посланнику Геджаса в СССР от 21 мая 1925 года говорилось о «чувствах искренней дружбы, которые народы Советского Союза питают к своим арабским братьям, которые, к сожалению, еще не достигли осуществления своих национальных чаяний».

Документы свидетельствуют о большом внимании В. И. Ленина и Советского правительства к упрочению дружбы с китайским народом. Вскоре после победы Октября от имени Советского правительства Сун Ят-Сену было направлено письмо с призывом к советско-китайскому единству. «Сомкнем теснее наши ряды в великой борьбе за общие интересы пролетариата всего мира...» — говорилось в этом письме.

Коммунистическая партия и Советское правительство решительно отвергли вмешательство во внутренние дела других народов, осудили ложный лозунг «экспорта революции». Так, в инструкции наркома иностранных дел советскому послу в Афганистане (июнь 1921 года) указывалось: «Вы должны всячески избегать роковой ошибки искусственных попыток насаждения коммунизма в стране. Мы говорим афганскому правительству: у нас один строй, у вас другой; у нас одни идеалы, у вас другие; нас, однако, связывает общность стремлений к полной самостоятельности, независимости и самодеятельности наших народов».

Документы красноречиво говорят о том, что все внешнеполитические акции Советского государства были проникнуты глубокой верой в силу народных масс, которые могут и должны внести свой решительный вклад в борьбу за мир и мирное сосуществование. «Пусть все народы, — гласило обращение X Всероссийского съезда Советов ко всем народам мира от 27 декабря 1922 года, — требуют от своих правительств мира. Дело мира в руках самих народов. Чтобы отвратить опасность грядущих войн, должны объединиться усилия всех трудящихся всего мира».

Советский Союз, проводя политику мира и мирного сосуществования, последовательно боролся против империалистической реакции, разоблачал политику сколачивания агрессивных блоков, решительно отвергал попытки разговаривать с ним «с позиции силы».

Оказание морально-политической и другой поддержки национально-освободительно-

му движению, братская солидарность с борьбой трудящихся в странах капитала — все это было проявлением пролетарского интернационализма, которого неизменно придерживается Советский Союз. Он решительно осудил грабительский, разбойничий Версальский договор, а в 1923 году выступил против оккупации французскими империалистами Рура. В 1925 году были пригвождены к позорному столбу кровавые злодеяния цанковского режима в Болгарии. III съезд Советов СССР выразил «твердую уверенность, что спянные кровью ряды болгарского народа рано или поздно добьются своего освобождения».

Рождение социалистического государства означало и рождение совершенно новой дипломатии. Документы раскрывают перед читателем всю ее многостороннюю деятельность, благородные приемы и методы. Созданная и закаленная В. И. Лениным, советская дипломатия проявляла большое искусство, гибкость и маневренность, готовность к разумным взаимовыгодным компромиссам. Она всегда исходила из конкретно складывавшейся ситуации, строго соблюдала высокую коммунистическую принципиальность.

Внешнеполитические документы Советского государства позволяют проследить, как благодаря правильности генерального внешнеполитического курса из года в год росли международный авторитет и влияние Советского Союза. К началу 1925 года мы имели дипломатические отношения уже с двадцатью одной страной мира, в том числе с Англией, Францией, Италией, Германией, Японией, а также почти со всеми своими соседями. С рядом стран были заключены торговые соглашения. Молодая Советская рес-

публика приняла в 1922—1923 годах активное участие в международных конференциях в Генуе, Гааге и Лозанне, выдвинула программы всеобщего сокращения вооружений, широкого экономического сотрудничества на началах равноправия и взаимной выгоды. Это и было практическим претворением в жизнь ленинского принципа мирного сосуществования государств с различными социальными системами. По словам В. И. Ленина, Советское государство добилось мирной передышки, переросшей в «новую полосу», когда было отвоевано «наше основное международное существование в сети капиталистических государств».

Международное коммунистическое и рабочее движение, все прогрессивное человечество горячо одобряло и одобряет внешнеполитический курс Советского государства. Так, пятый конгресс Коммунистического Интернационала (июнь—июль 1924 года), указывая в своей резолюции на укрепление международного положения СССР, отметил: «Первая страна победоносной пролетарской революции, окруженная буржуазными врагами со всех сторон, стойко и героически ведет политику подлинного мира».

В наши дни Коммунистическая партия и Советское правительство, вооруженные ленинскими принципами внешней политики, получившими дальнейшее творческое развитие в решениях Двадцатого и Двадцать второго съездов, в Программе партии, уверенно ведут советский народ к коммунизму, к утверждению на земле прочного мира. Эта политика, проверенная жизнью, отвечает коренным интересам всего человечества.

А. СТЕПАНОВ.



## ПРАВДУ НЕ СКРЫТЬ

Против фальсификации истории второй мировой войны. Сборник статей. «Наука». М. 1964. 399 стр.

Четверть века отделяют нас от начала второй мировой войны. А политические страсти вокруг ее истории продолжают бушевать. И это закономерно: велики были жертвы, принесенные человечеством на алтарь победы над фашизмом, огромно воздействие итогов войны на дальнейший ход всемирной истории, поучительны ее уроки. Поэтому книги о второй мировой войне читаются не как исторические трактаты о

давно минувших днях, а как злободневные политические произведения, имеющие непосредственное отношение к той великой борьбе, которая идет в наши дни на международной арене между силами войны и мира, демократии и реакции.

Именно таким и является рецензируемый сборник. Он посвящен коренным вопросам истории второй мировой войны, и авторы не просто излагают те или иные события, а



дают бой многочисленным фальсификаторам истории из буржуазного лагеря.

В статьях Д. Г. Наджафова, В. П. Попова и Н. Н. Яковлева рассматривается предыстория войны. Военным и политическим событиям в годы самой войны посвящены работы В. Л. Израэляна, М. И. Семиряги, А. А. Курносова и Е. С. Лагутина и Б. И. Марушкина. В обстоятельной статье Маршала Советского Союза А. И. Еременко подвергнуты критике концепции современной западногерманской историографии.

Общая черта всех статей состоит в том, что ухищрения буржуазных фальсификаторов истории показаны в них в связи с политической борьбой наших дней.

Не имея возможности дать подробный анализ всех статей сборника, остановлюсь на двух, которые, на мой взгляд, наиболее тесно связаны с самыми животрепещущими проблемами современности. Я имею в виду работы В. И. Попова и В. Л. Израэляна.

«Задача историка любой страны,— пишет В. И. Попов,— в высшей степени гуманна: она заключается в том, чтобы изучить опыт прошлого, каким бы печальным и горьким он ни был, и извлечь из прошлого уроки, которые должны предохранить человечество от повторения ошибок, обобщенных ему в миллионы жизней».

Однако бесстрашно заглянуть в прошлое и извлечь из него уроки дано далеко не всем. Не помню, кто это сказал, что если бы математические аксиомы затрагивали чьи-либо классовые интересы, то их наверняка постарались бы поставить под сомнение. Добавлю от себя — и фальсифицировать. Именно таким неблагодарным делом — фальсификацией абсолютно ясных и, казалось бы, неопровержимых «политических аксиом» и заняты многие буржуазные историки.

Хорошо известно, что правящие круги западных держав в своем безрассудном стремлении уничтожить Советский Союз руками гитлеровской Германии делали все от них зависящее, чтобы вооружить фашизм и «канализировать» его агрессию на Восток. «Это был один из самых авантюристических маневров, к которым когда-либо прибегали правящие классы отживающих социально-экономических формаций с целью продлить свое существование», — говорится в «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза».

Но маневр оказался бумерангом: покровители фашистов стали жертвами агрессии.

Какой урок должен был бы извлечь честный историк из этого более чем печального прошлого? Только один: не повторять ошибок и делать все для того, чтобы силы агрессии не смогли вновь поднять голову в центре Европы. Но это значило бы не только осудить прошлую политику правящих кругов западных держав, но и выступить против их нынешней политики возрождения западногерманского империализма и поощрения его реваншистских требований.

И вот классовое чутье американских, английских, французских буржуазных историков толкает их на сомнительный путь фальсификации истории с ясной целью: не только снять ответственность с господствующих классов своих стран за возникновение прошлой войны, но и найти хотя бы слабое оправдание осуществлению подобной же самоубийственной политики в наши дни.

Буржуазная историография пытается взвалить на СССР ответственность за провал англо-франко-советских переговоров 1939 года. При этом они пытаются сохранить по мере возможности хоть видимость объективности. Иначе нельзя: уже опубликованы десятки томов документов, исследований советских и прогрессивных историков Запада, из которых любой непредубежденный читатель может сделать только один вывод: Англия и Франция не хотели союза с СССР.

Фальсификаторы истории, зная, что лучшие сорта лжи готовятся из полуправды, прибегают к приему, широко известному криминалистам: сознаться в малом преступлении, чтобы скрыть большее. Они признают некоторые, не имевшие существенного значения ошибки и промахи западной дипломатии, чтобы скрыть главное — преступное нежелание предотвратить войну и еще более преступное стремление развязать войну, вызвав столкновение СССР и Германии.

Прекрасно понимая невозможность обелить в глазах общественного мнения политику Великобритании в период Мюнхена, английские историки изобрели версию о якобы происшедшей весной 1939 года «величайшей в истории Англии революции» в области внешней политики. Разговоры о «революции» должны были создать впечатление, что Англия покончила с мюнхенской политикой, прочно встала на путь коллек-

тивной безопасности и отставала ее в период тройственных переговоров.

Однако эта концепция «революции» во внешней политике Великобритании лопается как мыльный пузырь при соприкосновении с фактами. В. И. Попов аргументированно доказывает, что никакой революции в английской внешней политике не происходило. Изменилась лишь тактика осуществления старой мюнхенской политики. Нужны были новые, более эффективные средства давления на Германию. И английские правящие круги полагали, что угроза заключения союза между Англией, Францией и СССР сможет заставить Германию пойти на соглашение с западными странами.

Начиная с 1948 года, когда в США был опубликован сборник специально подобранных и фальсифицированных документов из архива германского МИДа под претенциозным заголовком «Советско-нацистские отношения», по страницам западных книг и журналов разгуливает версия о том, что Советский Союз использовал тройственные переговоры в целях маскировки параллельных переговоров с гитлеровской Германией.

Исследования советских историков и особенно документы, помещенные в первом томе «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза», не оставляют камня на камне от этой злопахательской клеветы. Даже некоторые буржуазные историки подтверждают это. Так, английский профессор Коул признает, что у Советского правительства «были серьезные оправдания» для заключения договора о ненападении с Германией. Другой видный английский ученый Э. Тейлор отмечает, что советско-германский договор был «логическим результатом новой английской политики», то есть политики Великобритании с весны 1939 года.

Раздувая версию о «параллельных» советско-германских переговорах, буржуазные историки старательно замалчивают факт действительных параллельных переговоров, происходивших в Лондоне между видными английскими политическими деятелями и гитлеровскими эмиссарами с целью заключения антисоветской сделки.

Западные историки утверждают, что тройственные переговоры потерпели неудачу вследствие взаимного недоверия, которое стороны так и не сумели преодолеть. Проницательный читатель заметит, что цель подобных утверждений — не только в том, чтобы снять с западных держав ответствен-

ность за провал переговоров и переложить ее на Советский Союз. Подтекстом подобных теорий, справедливо замечает В. И. Попов, «является утверждение о невозможности сосуществования и сотрудничества государств с различными социальными системами...».

Так в фальсификации истории буржуазные идеологи ищут обоснование для отказа от политики мирного сосуществования и сотрудничества в наши дни.

Однако авторам теории взаимного недоверия не мешало бы вспомнить небезызвестный факт, что «взаимное недоверие» не помешало правящим кругам США и Англии, когда гитлеровская Германия начала угрожать их странам, объединить свои усилия с Советским Союзом. Антигитлеровская коалиция стала объективной необходимостью, и, как показывает опыт истории, эта объективная необходимость оказалась силой большей, чем желания, воля и решения правительства и классов западных стран.

В связи с этим стоит подробнее остановиться на помещенной в сборнике работе профессора В. Л. Исраэляна «О происхождении, характере и исторической роли антигитлеровской коалиции». «Изучение положительного опыта советско-англо-американского сотрудничества в годы войны,— пишет автор,— имеет особое значение в настоящее время, когда идеи мирного сосуществования, твердо и последовательно отстаиваемые КПСС и Советским правительством, пользуются столь горячим одобрением народов всего мира».

Буржуазная фальсификация истории антигитлеровской коалиции, получившая особенно широкое распространение в разгар «холодной войны», направлена на то, чтобы вытравить из сознания народов память о тех днях, когда СССР, США и Великобритания плечом к плечу боролись против общего врага, и опорочить этим самую идею сотрудничества с социалистическими странами. С этой целью преуменьшается роль коалиции в разгроме гитлеровской Германии; выпячиваются разногласия и трудности в отношениях между США и Англией, с одной стороны, и Советским Союзом — с другой (причем вина за эти разногласия и ответственность за распад коалиции после войны возлагается на Советский Союз); замалчиваются факты нарушения союзнического долга западными державами; приня-

тые во время войны согласованные решения рассматриваются как «провалы» и «ошибки» западной дипломатии. Некоторые фальсификаторы договариваются до того, что сравнивают Крымскую конференцию, которую В. Л. Израэлян совершенно справедливо называет зенитом союзнических отношений трех держав во время войны, с мюнхенским сговором.

Когда читаешь подобные измышления, на ум приходят меткие слова американского историка Вильямса: «Историю, которая должна служить нам, как левая рука скрипачу, мы окутываем предрассудками, приспособляя ее к своим страхам и калеча так, как китайские женщины имели обыкновение калечить свои ноги».

Рассеивая туман предрассудков, фальсификаций и перекрестков, В. Л. Израэлян восстанавливает историю образования коалиции и анализирует те факторы, которые обусловили ее создание и прочность. Важнейшим из них был справедливый антифашистский характер войны со стороны народов и государств антигитлеровской коалиции. Автор подчеркивает, что фундаментом советско-англо-американского военно-политического сотрудничества являлась защита народам своей национальной независимости и суверенитета, элементарных прав и свобод от угрозы фашистской тирании.

Исследуя политическую, экономическую и военную области союзнических отношений, автор приходит к выводу, что военно-политический союз СССР, Англии и США выполнил задачу, ради которой был создан: фашистский блок был разгромлен, враг безоговорочно капитулировал. Союзные державы в годы войны сумели принять согласованные решения и осуществить ряд совместных политических мероприятий.

Конечно, в отношениях между главными государствами антигитлеровской коалиции существовали трудности, определявшиеся различием в целях войны социалистического и капиталистических государств. Из империалистической политики США и Англии вытекали многочисленные случаи нарушения ими союзнических обязательств и союзнического долга (прежде всего по вопросу о втором фронте), попытки затягивания войны, саботажа поставок Советскому Союзу и т. д. По мере приближения конца войны западные державы все более откровенно

брали курс на разрыв союзнических отношений с СССР. После войны они начали осуществлять пресловутую политику «с позиции силы», которая привела к гонке вооружений, «холодной войне», обострению международной напряженности. Однако опыт почти двух десятилетий со дня окончания войны показал полную безрезультатность такой политики в отношении социалистических стран. А исторический опыт кануна и периода второй мировой войны доказывает, что только на путях международного сотрудничества возможно решение кардинальных международных вопросов. В самом деле, отказ западных держав от сотрудничества с Советским Союзом бросил мир в пучину войны, а их сотрудничество в годы войны позволило разгромить злейшего врага человечества.

Исторический опыт опровергает также и различного рода измышления о том, что политика мирного сосуществования, проводимая социалистическими странами, распространяется якобы и на область идеологии. Широкое советско-англо-американское сотрудничество в годы войны совершенно не означало отказа Советского Союза (как и США и Англии) от своих идеологических позиций. Идеологическая борьба шла и в годы войны, но это не мешало сотрудничеству наших стран в борьбе против общего врага.

В ядерный век необходимость сотрудничества становится еще более настоятельной. Сам объективный ход истории подвел человечество к той грани, за которой война становится бессмысленной, и поставил перед ним в качестве основного условия его существования и прогресса задачу уничтожения войн. Но в истории ничего не происходит автоматически. Каждая историческая необходимость реализуется в борьбе. Ленин учил, что капитализм, разлагаясь, умирая, еще в состоянии принести человечеству большие беды.

В эпоху, когда война исторически изживает себя, но в то же время продолжает оставаться главной опасностью, нависшей над человечеством, политика мирного сосуществования и сотрудничества становится в полном смысле слова исторической необходимостью.

**Г. ЛЕКОМЦЕВ,**

*кандидат исторических наук.*

## ПРОТИВ ДОГМАТИЗМА

**Е. Варга. Очерки по проблемам политэкономии капитализма. Политиздат. М. 1964. 383 стр.**

Это последняя книга скончавшегося в прошлом месяце академика Евгения Самуиловича Варги, выдающегося представителя марксистско-ленинской экономической мысли, лауреата Ленинской премии, ветерана международного революционного рабочего движения. Е. С. Варга внес большой вклад в изучение проблем общего кризиса капитализма. Двадцать лет он возглавлял Институт мирового хозяйства и мировой политики.

Новая книга академика Е. Варги не залежалась на прилавках книжных магазинов, ее сразу расхватили. Такой повышенный интерес к этому труду объясняется не только именем автора и не только тем, что книга трактует самые актуальные вопросы мирового развития, которые буквально касаются всех. Книга полемическая и в этом отношении представляет необычное явление в сфере общественных наук.

Над «Очерками», которые посвящены спорным проблемам марксизма, академик Е. Варга работал несколько лет. Хотя большинство положений книги (на ней стоит гриф Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР) опирается на громадный фактический материал, автор не претендует на обладание «истиной в последней инстанции». В некоторых случаях он только ставит вопросы и приглашает спорить, порой даже признает свою некомпетентность. Очерки дают пищу для размышлений и дискуссий.

Политическая экономия имеет дело с постоянно меняющимися явлениями и процессами. Новая обстановка ставит перед марксистской наукой все новые вопросы, требующие изучения. «Самая суть... живая душа марксизма: конкретный анализ конкретной ситуации», — писал Ленин.

Книга Е. Варги затрагивает большой круг проблем: о сущности экономических законов, о роли буржуазного государства, о государственно-монополистическом капитализме, о межимпериалистических противоречиях и войне, о роли буржуазии в национально-освободительном движении, об относительном и абсолютном обнищании пролетариата, изменениях в характере экономического цикла, об аграрном кризисе... Неко-

торые из этих проблем — новые или ставятся по-новому. Ряд вопросов был до сих пор мало разработан нашей экономической наукой, которая лишь в последние годы проявляет заметное оживление.

Экономическое соревнование двух систем обязывает внимательно следить не только за статистическими показателями, но и за всем ходом развития капиталистической экономики, его тенденциями, противоречиями, действующими силами, направлениями. Империализм, сохраняя свои характерные черты, не остается неизменным. Меняется соотношение сил между капитализмом и социализмом. Происходят социальные сдвиги в отдельных странах, изменяются взаимоотношения капиталистических стран. Сила марксистско-ленинской теории, многократно проверенной на практике, состоит в том, что она дает основу для объяснения новых явлений, для научного предвидения. При этом сама она в ходе исторического процесса развивается и обогащается. Новые, вытекающие из конкретных ситуаций, важнейшие выводы и положения дают ответ на важнейшие вопросы современности. Они сформулированы в документах совещаний коммунистических и рабочих партий, в решениях XX и XXII съездов КПСС, в новой Программе партии.

Как подчеркивается в авторском предисловии, книга Е. Варги направлена «против бездумного догматизма, который еще до недавнего времени был широко распространен в работах по экономике и политике капитализма». Многие замечания о порочной методологии догматиков (в основном о пренебрежении диалектикой) относятся не только к политэкономии. Автор, впрочем, не разграничивает резко экономику и политику. Ведь политика — концентрированное выражение экономики. Появление не только публицистических, но и научных работ, дающих глубокую критику догматизма, исследующих его корни, проявления и последствия, крайне необходимо.

Е. Варга рассматривает некоторые догмы Сталина, имевшие длительное хождение. Следы этих догм до самого последнего времени еще обнаруживаются то здесь, то там — в отдельных учебниках и других изданиях.

Догматизм ведет к застою в науке, он представляет собой, в сущности, антинауку. Он субъективен и пренебрегает реальностью. Из одних формул догматик выводит другие формулы, а факты жизни находятся вне поля его зрения. Догматизм, как правило, дополняется администрированием в науке. Он живуч не только из-за инерции, но и потому, что поощряет умственную лень. Легче запомнить несколько формул и подгонять факты под готовую схему, чем искать и находить решения. Е. Варга показывает, как теоретические формулы Сталина, введенные в непреложную истину, тормозили развитие экономической науки.

В «Экономических проблемах социализма» Сталин заявил, что потеряло силу положение Ленина о том, что, несмотря на загнивание капитализма при империализме, «в целом капитализм растет неизмеримо быстрее, чем прежде». Ссылаясь на то, что капиталистический рынок географически сузился (вследствие создания и укрепления мирового социалистического рынка) и уменьшился доступ главных капиталистических стран — США, Англии и Франции — к мировым ресурсам, Сталин делал вывод, что «рост производства в этих странах будет происходить на суженной базе, ибо объем производства в этих странах будет сокращаться». Но факты развития капитализма после войны показывают ошибочность такого утверждения. Еще раз подтвердилось ленинское положение. Во всех трех названных странах объем производства значительно возрос. Несмотря на это, произошло дальнейшее углубление общего кризиса капитализма. Оно выражается в недогрузке производственных мощностей, в хронической массовой безработице, в отсутствии стабилизации, в общей неустойчивости капитализма, особенно в главной цитадели империализма — США. «Сталин смешал два различных понятия — абсолютный объем капиталистического рынка и относительную узость его», — замечает Е. Варга.

До 1953 года официальная точка зрения Института экономики Академии наук СССР (после его слияния с Институтом мирового хозяйства, который по указанию Сталина был ликвидирован) состояла в том, что происходит неуклонное абсолютное обнищание рабочего класса при капитализме. Е. Варга показывает, что этот взгляд противоречит и высказываниям классиков марксизма, и фактам. Он противоречит установкам как

прежней Программы партии, написанной Лениным, так и новой Программы, которая в этом вопросе повторяет старую. Догматики не учитывают контртенденций, мешающих абсолютному обнищанию, прежде всего силы сопротивления рабочих, борьбы между трудом и капиталом, протекающей в условиях борьбы двух систем. «Утверждение о непрерывном, фатально-неизбежном абсолютном обнищании рабочего класса мы считаем не только неверным, — пишет Е. Варга, — но и политически вредным. Как могут коммунисты мобилизовать рабочий класс на защиту его интересов, на стачечную борьбу, утверждая неизбежность постоянного абсолютного обнищания рабочих?»

Е. Варга показывает бессодержательность провозглашенного Сталиным «основного экономического закона» современного капитализма, состоящего якобы в стремлении к максимальной прибыли. Такое стремление было у каждого отдельного капиталиста всегда. «Основной экономический закон» Сталина — это в действительности эффективное политическое обвинение монополистического капитализма, но не результат марксистского анализа». Другой «закон» Сталина, также вошедший во все учебники, был «закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил». В этом случае Сталин просто по-другому (и хуже) сформулировал старую истину марксизма. Лыстцы, замечает Е. Варга, назвали это теоретическим открытием... Ведь именно несоответствие производительных сил производственным отношениям характеризует современный капитализм.

Автор подробно останавливается на факторах, расшатывающих капиталистическую систему. Он приходит к выводу, что циклический ход воспроизводства в перспективе не может остаться различным в двух решающих частях капиталистического мира, то есть в США и в странах Европы. Е. Варга считает, что экономический цикл во всем капиталистическом мире должен быть похож на послевоенное развитие США. Иначе говоря, предстоят более короткие промежутки между неглубокими кризисами, в которых настоящие фазы подъема будут все меньше. Автор предвидит сильный рост безработицы (хроническая массовая безработица, которая временно уменьшилась после войны, усиливается рационализацией, механизацией

и автоматизацией производства), обострение классовой борьбы. Такого длительного и сильного роста производства, какое наблюдалось до сих пор в побежденных странах, в будущем ожидать не приходится. «Золотые денечки» послевоенного периода для капитализма миновали!»

Как бы ни убедительны были доводы автора, как бы ни был велик его признанный во всем мире научный авторитет, книга оставляет простор для критики. Автор, разумеется, не мог охватить или в равной мере коснуться многих вопросов, которые революционная практика ставит перед исследователями-марксистами. Книга развивает

вкус к анализу, которого так не хватало многим работам, где, в сущности, только «обыгрывались» цитаты.

Хотя это научный труд, а не учебное пособие, «Очерки» легко прочтет каждый, кто прошел элементарный курс политэкономии.

Как и прежние работы Е. Варги, эта последняя его книга — сильное оружие в нашей идеологической борьбе против догматизма, представляющего сегодня главную опасность для мирового рабочего движения. Она весьма пригодится преподавателю вуза, журналисту-международнику, пропагандисту...

С. ЭПШТЕЙН.



## О БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ

**А. М. И т к и н а.** Революционер, трибун, дипломат. Очерк жизни Александры Михайловны Коллонтай. Политиздат. М. 1964. 128 стр.

Я с увлечением читала эту книгу. Александра Михайловна была моим близким другом. Через всю свою жизнь я пронесла глубокое уважение и любовь к ней.

А. М. Коллонтай — незаурядная личность, человек самобытной судьбы, талантливая писательница, замечательный трибун революции, крупный партийный деятель, умный и тонкий дипломат, первая женщина в мире, ставшая послом.

Она прожила большую и интересную жизнь, насыщенную великими событиями эпохи, встречами и дружбой со многими выдающимися деятелями мирового рабочего движения.

В книге А. Иткиной рассказывается о самом важном и главном в жизни Александры Михайловны, рассказывается тепло и просто, без ложного пафоса.

Впервые использованы материалы личного архива А. М. Коллонтай, приводятся отрывки из ее дневников, писем; это делает книгу особенно интересной и ценной. Когда я читала ее, в моей памяти снова ожили картины прошлого.

Познакомилась я с Александрой Михайловной в самом начале 1905 года. Тогда в Петербурге часто проводились митинги, на которых выступали представители различных партий. Студенческая и рабочая молодежь, жаждущая разобраться во всем многообразии политических течений, массами посещала эти митинги. Бывала на них и я.

К тому времени я уже решила для себя, что мне ближе всего программа и тактика РСДРП, знала даже некоторых студентов, которые говорили, что они принадлежат к этой партии, но не решалась принять их предложения о вступлении в партию, так как недостаточно им доверяла.

Однажды я попала на митинг в университет. Митинг проходил в физической аудитории, расположенной амфитеатром. Я забралась в самый верхний ряд и сидела как раз против трибуны. Выступало много ораторов... До меня доносилось: «Мы, партия эсеров, считаем...», «Мы, партия анархистов...», «Мы, партия кадетов...» Но вот на трибуне появилась изящная женщина, раздавался ее удивительно красивый голос, и я услышала: «Мы, партия социал-демократов — большевиков, призываем бороться за самую справедливую власть, за власть рабочих и крестьян». Она разъясняла программу социал-демократов и призывала активно участвовать в ее осуществлении. Говорила она так убедительно, с такой уверенностью в своей правоте, так искренне призывала примкнуть к партии большевиков, что у меня возникло непреодолимое желание познакомиться с ней, вступить в партию и работать под ее руководством.

Стали выступать следующие ораторы, но я уже ничего не слышала, я не сводила глаз с Коллонтай и внутренне твердила: «Только не уходи до конца митинга!»

Как только митинг закончился, я стремглав слетела со своего места, подбежала к трибуне и обратилась к Александре Михайловне со словами:

— Скажите, как вступить в вашу партию?

— Приходите ко мне завтра в час. Виленский, семь. Коллонтай.

На следующий день ровно в час дня я была у Александры Михайловны, которую застала за письменным столом в большой комнате, служившей одновременно и кабинетом и гостиной. Позднее я узнала, что она работала в тот момент над книгой «Социальные основы женского вопроса», вышедшей в 1909 году (до того уже была напечатана ее книга «Финляндия и социализм» и некоторые другие).

Хочу попутно отметить, что и позднее, в эмиграции, Александра Михайловна всегда зарабатывала на жизнь литературным трудом. Правда, заработок не всегда был одинаков: случалось, что она сильно нуждалась в деньгах.

Как-то она рассказывала мне, что ехала по Германии в поезде и почти падала в обморок от голода. Кругом сидели люди, разговаривали, закусывали. Они обратили внимание на ее грустный вид, даже спрашивали, не больна ли она, но никому не могло прийти в голову, что у этой интеллигентной, хорошо одетой дамы от голода кружится голова, и никто ее не угостил.

После моего первого посещения Александры Михайловны я бывала у нее чуть ли не ежедневно и старалась помогать ей, чем могла. Часто по ее просьбе ходила в публичную библиотеку и часами разыскивала там необходимые для нее сведения.

Александра Михайловна серьезно отнеслась к тому, чтобы познакомить меня с основами марксизма. Она указывала мне, что надо прочитать, а затем разъясняла то, что я не совсем усвоила. Помню, как она беседовала со мною об «Анти-Дюринге» Энгельса, затем о книге Бебеля «Женщина и социализм». Немало часов затратила она, чтобы познакомить меня с работами Ленина, с его взглядами на организацию борьбы рабочих за власть.

Узнав, что моя мать содержит детский сад и небольшую пригостительную школу и что поэтому нашу квартиру посещает много людей (значит, дворникам и шпикам трудно установить, кто именно у нас быва-

ет), она предложила организовать в нашей квартире кружок «молодых агитаторов». Александра Михайловна направила в этот кружок несколько молодых рабочих, работниц, студентов. В это время она была членом Петербургского комитета РСДРП, и один из ее товарищей, по кличке «Петр Порфирьевич», вел с нами беседы по вопросам тактики партии. Сама она читала лекции по теоретическим вопросам, в частности — по женскому. А политэкономией с нами занимался ее племянник — Миша Домонтович, студент сельскохозяйственной академии.

В то время сбор средств на революционную работу проводился нередко среди интеллигенции, посещавшей доклады и лекции деятелей демократических партий в Тенишевском училище, в Народном доме и других местах. Туда и направлялась для сбора денег студенческая молодежь. С этой целью мы по заданию Александры Михайловны продавали там цветы, обходили слушателей с кружками.

Используя свое знакомство с артистками В. Ф. Комиссаржевской и Л. Б. Яворской, сочувствовавшими социал-демократической партии, Александра Михайловна обращалась к ним за материальной помощью, и бывало, что они отдавали партии сбор от какого-нибудь своего спектакля. Иногда она через нас, молодежь, рассылала самые дорогие билеты демократическим настроенным деятелям: видным юристам, врачам, профессорам. Они брали эти билеты, даже если и не рассчитывали быть на спектакле, причем сплошь и рядом уплачивали больше, чем стоил билет.

Хорошо помню работу Коллонтай среди женщин-работниц и, в частности, в первом женском клубе. Об этой работе достаточно рассказано в книге Иткиной. Добавлю только, что из работниц, которых просвещала Александра Михайловна в нашем женском клубе, вышли стойкие борцы за коммунизм. Например: Клавдия Николаева, которая после Октябрьской революции была крупным партработником в Иваново-Вознесенске, Маруся Бурко (позднее Ушацкая) — работница-текстильщица, а затем тоже партработник, и многие другие.

В книге Иткиной довольно обстоятельно рассказывается о кипучей деятельности Александры Михайловны в годы эмиграции. Мне хочется особенно подчеркнуть, что в

эти годы Александра Михайловна близко познакомилась с Лениным, Плехановым, Крупской, Жоресом, Либкнехтом, Розой Люксембург, Кларой Цеткин, Инессой Арманд, и это общение помогло ей еще отчетливей выковать свои политические убеждения.

С Владимиром Ильичем у Александры Михайловны были особенно дружеские отношения, что подтверждается их обширной перепиской. Близкая дружба связывала ее и с Надеждой Константиновной.

Весной 1917 года Коллонтай вернулась в Россию, и я снова часто виделась с нею. В 1917—1918 годах Александра Михайловна была одним из любимейших ораторов. По несколько раз в день выступала она на митингах солдат, моряков, рабочих и рабочих. Ленинские идеи были ей так близки и понятны, что они становились как бы ее собственными, и поэтому, выступая, она излагала их с такой горячей верой в их бесспорность, что увлекала всех слушателей. Помещения, где выступала Александра Михайловна, были забиты народом, и случилось, что, окончив выступление, она не могла пробиться к выходу. Тогда двое рабочих или солдат сплетали руки, кто-нибудь поднимал Александру Михайловну, сажал на это «кресло» и так, под гром аплодисментов, ее проносили через весь зал.

Александра Михайловна хорошо понимала, что для успеха революции необходимо привлечь к активной деятельности женщин — рабочих и крестьянок, и этой работе отдавала много времени и сил. В те годы она выступала не только среди рабочих фабрик и заводов, но и среди прачек и домработниц.

С момента провозглашения советской власти Коллонтай была назначена наркомом государственного призрения. Она испытывала такие же лишения, как и все мы, а работала сверх своих сил. Летом 1918 года она хотела хоть немного передохнуть, и мы решили, что она проведет свой двухнедельный отпуск в Детском Селе (бывшее Царское Село), где я заведовала одной из детских колоний, созданных Анной Александровной Луначарской по инициативе А. В. Луначарского.

Я наняла для Александры Михайловны и Павла Дыбенко комнату у фотографа, который жил по соседству, и мы все мое свободное время проводили вместе.

Все мы питались по карточкам. Это был очень скудный паек. Работники детколони имели некоторое подспорье. Дело в том, что дети получали очищенный картофель, а очистки затем оттирались щетками, тщательно промывались и распределялись между всеми работниками детколоний. Мы пропускали их через мясорубку, делали оладьи и жарили их на рыбьем жире (это был единственный жир, который можно было тогда достать). Я стала делиться с Александрой Михайловной своей порцией очисток, и они с Дыбенко ели их с удовольствием.

В марте 1919 года я снова была рядом с Александрой Михайловной: нас обеих партия направила на Украину. А. М. Коллонтай была назначена наркомом агитации и пропаганды, а меня направили в Наркомпрос для организации на Украине детских домов. Хорошо помню организованный Александрой Михайловной агитпоезд с киноустановкой. Она разъезжала в нем по всей Украине, по Крымскому фронту, агитируя за советскую власть. А когда под натиском врага пришлось отступать, она в числе последних уезжала на агитпоезде и по пути на многочисленных митингах разъясняла населению, что советская власть только временно покидает Украину, убеждала рабочих и крестьян в необходимости продолжать борьбу за свободу. Две недели длилась эта поездка от Гомеля до Москвы.

В Москве Александра Михайловна снова отдалась своей любимой работе: была заведующей женотделом ЦК партии, заместителем Клары Цеткин в Международном женском секретариате Коминтерна. И я всегда считала для себя большой честью помогать ей, чем могла.

Не буду касаться дипломатической работы А. М. Коллонтай: в книге подробно говорится о ней. Остановлюсь лишь на последних годах ее жизни. Несмотря на тяжелую болезнь, она не вышла на пенсию и до самой смерти оставалась советником Министерства иностранных дел.

В эти годы я часто бывала у нее и только удивлялась, что она, будучи тяжелобольной и в преклонном возрасте, продолжала интересоваться самыми разносторонними вопросами: не только политической жизнью в нашей стране, но и за рубежом. Интересовалась литературой, искусством, различными научными проблемами.

Министерство иностранных дел обраща-



лось к Александре Михайловне со многими вопросами; у нее бывали представители различных стран.

Александр Михайловну нередко посещали видные политические деятели, ученые, писатели, артисты: М. М. Литвинов, И. М. Майский, А. А. Игнатьев, Е. В. Тарле, П. П. Кончаловский, И. Г. Эренбург, Т. Л. Шепкина-Куперник, В. Л. Юренева и многие другие.

В годы культа личности общение с близкими людьми было особенно дорого Александре Михайловне. Она мужественно от-

стаивала интересы друзей, ставших жертвами репрессий. Двери ее дома были всегда открыты для тех, кто нуждался в ее помощи. Александра Михайловна сохраняла всегда глубокую принципиальность в своем отношении к людям, умела поддержать и ободрить человека в трудное время.

Большая жизнь Александры Михайловны Коллонтай, несомненно, еще не раз привлечет внимание публицистов, исследователей, писателей, и о ней напишут не одну книгу.

**В. ДЮШЕН.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ.** Говорит Ленинград... Главы из книги. «Советская Россия». М. 1964. 150 стр. Цена 16 к.

Ольга Берггольц собрала восдино свои выступления по радио времен блокады — и получилась книга вдохновенная и прекрасная.

Со страниц этой маленькой летописи встает и образ художника, разделяющего со своим народом жизнь и смерть.

Ольга Берггольц рассказывает о выступлении Шостаковича в тот день, когда «Ленинградская правда» вышла с передовой «Враг у ворот». Композитор ехал в радиокомитет, и его сопровождали разрывы бомб. «Час тому назад я закончил вторую часть своего нового симфонического произведения», — так начал он выступление, текст которого сохранился у Ольги Федоровны. А на его обороте набросан план другой передачи-инструкции: «1. Организация отрядов. 2. Связь на улице. 3. Строительство баррикад. 4. Бои с зажигательными бутылками...»

В таком же выступлении Анны Ахматовой есть слова: «Вера крепнет во мне, когда я вижу ленинградских женщин, которые просто и мужественно защищают Ленинград и поддерживают его обычную человеческую жизнь...»

Такие художники, как Дмитрий Шостакович, Анна Ахматова, Ольга Берггольц, потому и смогли поведать миру о битве за Ленинград, что сами на границе смерти «поддерживали его обычную человеческую жизнь».

По-видимому, для писательницы эта тема — тема повседневной жизни, за которую повседневно бьются насмерть, — важнее всего. Это главная тема книги. Голод, от которого каждый день умирают, бомбежки, холод, тьма, разрушение прекраснейшего из городов — все это бессильно, когда народ защищает свою родину, свою жизнь. Но сказать только это — значит не все сказать. Было смертельно странно, слабости человеческие не миновали героев. И все-таки они побеждали! В этом была тогда «обычная человеческая жизнь».

И враг испугался этого не меньше, чем огня. «Почти каждый из них, захваченный в плен, прежде всего кричал:

— Я не стрелял по Ленинграду!

В Дудергофе, при захвате одного орудийного расчета, командир расчета, немецкий

капитан, плененный нашими бойцами, неистово вопил:

— Нет, нет! Прежде чем вы меня куда-нибудь повезете, я требую акта!

— Какого акта?

— Я требую заактировать, что орудия, при которых я нахожусь, не могли бить по Ленинграду!»

Какое поразительное свидетельство!

...Не буду пересказывать и не хочу больше цитировать. Писать об этой книге трудно: о чем говорить, если книга говорит сама за себя, если она бесспорна? Но, прочитав ее, и критик и читатель имеют право на то, чтобы высказать слова признательности.

**В. Портнов.**

Баку.

★

**ВСЕВОЛОД БАГРИЦКИЙ.** Дневники, письма, стихи. «Советский писатель». М. 1964. 124 стр. Цена 14 к.

Печаль с давних пор — склонность лирических поэтов. Но мало было на свете молодых людей, у которых было бы столько оснований печалиться, сколько их было у Всеволода Багрицкого.

Он родился в 1922 году. Когда ему исполнилось двенадцать лет, умер его отец, Эдуард Багрицкий, а тремя годами позднее была арестована мать. И мальчик пятнадцати лет остался один, на попечении старой, неграмотной няньки, о которой правильнее всего было бы сказать, что она не имела решительно никакого представления решительно ни о чем. Кажется, даже о том, как варить суп.

И мальчик, обыкновенный школьник, застенчивый, угловатый и сумрачный, сам сделал себя человеком, сам научился отличать добро от зла, сам выбрал себе профессию, а главное — немалому в этой области научился. О последнем неопровержимо свидетельствуют не только его стихи, но в такой же степени страницы из дневника и письма к матери, собранные в этой маленькой книжке.

А мала эта книжка потому, что автор ее, как это сказано в извещении, напечатанном на бланке редакции красноармейской газеты «Отвага» (оно воспроизведено на одной из фотографий, иллюстрирующих книжку), погиб «при выполнении боевого задания... на передовых позициях» 26 февраля 1942 года.

В сороковом году Всеволод Багрицкий записывает в своем дневнике: «Мне по-настоящему сейчас тяжело. Тяжело от одиночества, хотя я уже постепенно привыкаю к нему». И сейчас же, вслед за этим, добавляет: «Боже, какую ерунду написал. Взгляните, какая поза! Разочарованный юноша!»

Вот это-то умение взглянуть на себя со стороны и увидеть смешную сторону даже в печали, вызванной одиночеством, свидетельствовало о том, что восемнадцатилетний мальчик становится настоящим мужчиной.

И гораздо раньше, чем многие его сверстники, уже на фронте, он понял, что испытания, которые расслабляют слабых, делают сильных еще сильнее. В стихотворении, написанном за десять дней перед смертью, он пишет:

Мы двое суток лежали в снегу,  
Никто не сказал: «Замерз, не могу».  
Видели мы — и вскипала кровь —  
Немцы сидели у жарких костров.  
Но, побеждая, надо уметь  
Ждать непогудя, ждать и терпеть.

Каждый раз, когда из жизни уходит сильный, многое умеющий человек, жалеешь не только о нем самом — о свете его глаз, о тепле его руки, — жалеешь и об опыте, который он унес с собой, не успев подарить его людям.

Вспоминая о Всеволоде Багрицком, о его короткой и такой горестной жизни, думаешь именно об этом — о светлом даре, силе и опыте этого двадцатилетнего юноши, который так много понял, испытал и умел.

Г. Мунблит.

★

**А. П. КОНСТАНТИНОВ. Ф. Ф. Ильин-Раскольников. Лениздат. Л. 1964. 156 стр. Цена 18 к.**

«За преданность народу и революции», как «истинного борца и защитника прав угнетенного класса», Ф. Ф. Ильина-Раскольникова единогласным решением I Всероссийского съезда военных моряков произвели в ноябре 1917 года из мичманов в лейтенанты Балтийского флота.

Революция назначает двадцатипятилетнего морского офицера заместителем народного комиссара по морским делам, командующим Волжско-Камской и Волжско-Каспийской военными флотилиями, а летом 1920 года — командующим Балтийским флотом.

Завершается гражданская война, и моряк становится дипломатом — первым советским послом в Афганистане, а затем в Эстонии, Дании, Болгарии.

Еще в 1910 году Раскольников вступил в большевистскую партию. И ничто — ни аресты, ни ссылки, ни вражеская травля, ни петербургские «Кресты» после июльских событий 1917 года, ни камера-одиночка лондонской Брикстон-призи, куда он попал плененный в неравном бою с флотом интервентов, не могли сломить в нем бодрости духа и воли.

Федор Федорович Ильин-Раскольников прожил короткую, но зато поразительно

цельную жизнь. Okлеветанный в годы культа личности Сталина, этот «красный адмирал» на долгие годы был предан забвению. Лишь в наши дни его имя возвращено истории.

Книга А. П. Константинова — скромная попытка не столько образно воссоздать жизненный путь воина и дипломата, трибуна и публициста, сколько свести воедино и пересказать его собственные воспоминания, очерки, многочисленные зарисовки с натуры. Автор далеко не исчерпал избранную им увлекательную тему. Она еще ждет своих исследователей и художников. Но ленинградский историк первым сумел рассказать сегодняшнему читателю, как из питерского паренька с Большой Охты — воспитанника приюта принца Ольденбургского и Петроградских отдельных гардемаринских классов — вырастает пролетарский революционер.

Последние дни его жизни и деятельности, при всем их трагизме, столь же героичны, как и все предшествующие годы революционной борьбы. «До конца своей жизни, — отмечает автор, — до последнего удара сердца Ф. Ф. Раскольников оставался большевиком-ленинцем... В изгнании, в очень сложных и трудных условиях, он ничем не запятнал своего славного имени. Он был глубоко убежден в своей правоте и надеялся, что справедливость восторжествует»...

Б. Яковлев.

★

**Ф. Г. КОНДРАТЬЕВ. Константин Еремеев. Карельское книжное издательство. Петрозаводск. 1964. 80 стр. Цена 17 к.**

Соратник Владимира Ильича Ленина, один из организаторов большевистской печати Константин Сергеевич Еремеев (1874—1931) вступил в революционное движение в 1896 году. В одной из анкет он записал: «В тюрьмах 5 лет, в административной ссылке 4 года, в эмиграции 2 года». Это — университета большевика.

Трудное детство его прошло в Петрозаводске. И здесь же позднее Еремеев отбыл ссылку за участие в революционном движении в Литве. В Петрозаводске он начал литературную деятельность, выступая на страницах «Олонецких губернских ведомостей». Когда окончился срок ссылки, Еремеев в декабре 1901 года пешком отправился в Питер. Но ему не разрешили жить в столице и выслали под надзор полиции в Саратов. Затем годы эмиграции. В 1903 году Еремеев впервые встретился с Лениным. Прошло еще несколько лет бурной революционной жизни, и имя Еремеева появляется на страницах «Звезды» и «Правды».

После октябрьского переворота, в руководстве которым он принимал активное участие, Еремеев назначается командующим войсками Петроградского округа. Затем фронты гражданской войны... И вновь любимое литературное дело. Он организатор и редактор «Рабочей газеты», журналов «Крокодил», «Красная нива», Обо всем этом чи-

татель узнает из небольшой, но содержательной книжки Ф. Г. Кондратёва.

Она написана на основе документов центральных и местных архивов, воспоминаний, исторической литературы. Многие факты о жизни Еремеева приведены впервые. Автор знакомит читателя с рядом неизвестных еще массовому читателю произведений Еремеева. А сколько набросков, нераскрытых сюжетов, неопубликованных рукописей, исторических исследований Еремеева еще хранятся в архивах. Пора собрать воедино все литературное наследство правдиста-ленинца. Должны увидеть свет также изъятые в годы культа личности из библиотек репортаж Еремеева «Пламя» («Эпизоды Октябрьских дней»), ряд статей о Ленине («Встречи с Ильичем», «Ленин и рабочий класс», «Ленин на броневике», «Рождение Красной Армии» и другие).

Если говорить о карельской литературе социалистического реализма, то историю ее, как правильно замечает автор, надо начинать с повестей и рассказов Еремеева. С какой любовью писал он о карельском крае!

Земляки Еремеева хорошо помнят славного правдиста-ленинца. Да разве только одна Карелия может гордиться им? Константин Сергеевич по праву считают родным и в Минске, где он родился, и в Литве, где проходил военную службу и начинал революционную работу, и в Саратове, в Воронеже, на Украине, и в городе великого Октября Ленинграде, где он неистово боролся пером и с оружием в руках за высокие идеалы революции и где закончил свою не долгую по годам, но славную жизнь.

**Ю. Курсков,**

*кандидат исторических наук.*

Петрозаводск.

★

**Р. КОВНАТОР.** Первые годы. Политиздат. М. 1964. 159 стр. Цена 14 к.

Книга воспоминаний Р. А. Ковнатор, участницы Октябрьской революции, большевички с июля 1917 года, посвящена первым шагам советской власти. Об этой героической поре уже написано много, но поистине драгоценны те жизненные подробности, которые автор привносит в летопись революционной борьбы.

Р. Ковнатор была секретарем райкома партии Петроградской стороны, и питерским рабочим-большевиком отведено в ее воспоминаниях главное место. Р. Ковнатор много раз слышала Ленина. Работая в секретариате VII съезда партии, она сделала протокольную запись ленинского доклада «О пересмотре программы и изменении названия партии». Работала с Луначарским, Володарским, Гусевым, Марией Ильиничной Ульяновой... Сражалась с меньшевиками на рабочих собраниях Петроградской стороны. Боролась с холерной эпидемией. Участвовала в подготовке Первого Всероссийского съезда работниц и крестьянок...

Хорошим другом автора воспоминаний был Григорий Чудновский, член Петроград-

ского военно-революционного комитета, комendant Зимнего дворца, один из героев Октября. Чудновского помянул в своей книге Джон Рид, его имя вошло в историю революции. Но знали ли мы, что этот солдат-большевик, погибший на фронте в 1918 году, был образованнейшим человеком, знатоком политэкономии и европейских языков, переводчиком Сен-Симона? Страницы книги, посвященные Чудновскому, читаются с большим интересом.

Много интересных подробностей сообщает автор, рассказывая о похоронах Г. В. Плеханова. Его кончину — умер Плеханов в 1918 году — контрреволюционеры всех мастей и оттенков постарались использовать для антисоветской агитации. Колоритная деталь: среди венков, возложенных на гроб Георгия Валентиновича, красовался венок с ярко-лиловой лентой от... махрового черно-сотенца Пуришкевича. Большевики, рассказывает автор, отдельно почтили память Плеханова. Вдохновенную речь произнес Луначарский.

...Зима 1919/20 года. Р. Ковнатор — секретарь уездного комитета партии в Ельне, Смоленской губернии. Заснеженный, голодный, притихший городок; трудно живется уездному активу. Зато как весело работается. И среди тех, с кем Р. Ковнатор работала бок о бок, был юный редактор «Известий Ельнинского Совета», начинающий поэт Михаил Исаковский...

Воспоминания написаны просто. Р. А. Ковнатор не выпячивает себя, а стремится побольше рассказать о людях, с которыми ей посчастливилось встретиться на богатом событиями жизненном пути.

**П. Подляшук.**

★

**С. ГИАЦИНТОВА.** Жизнь театра. Детгиз. М. 1963. 208 стр. Цена 63 к.

Народная артистка Советского Союза Софья Владимировна Гиацинтова написала книгу «Жизнь театра», в которой, как мне кажется, удивительно тепло раскрывает сложный процесс работы артиста в театре.

«Театр — место вечного труда, труда-праздника». Вот о чем увлеченно рассказывает С. В. Гиацинтова в своей книге. Перед нами страница за страницей возникает образ художника, с детства полюбившего театр и отдающего все свои творческие силы, свой талант служению любимому делу. Ценно в книге отношение автора к своим учителям К. С. Станиславскому и Вл. И. Немировичу-Данченко. Мы многое знаем о жизни и творчестве этих великих художников, но С. В. Гиацинтова нашла новые краски для творческого портрета К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко — создателей Художественного театра.

Автор скупой и выразительно рассказывает о системе Станиславского. С большим удовольствием читатель прочтет страницы о повседневной работе в театре и вместе с автором скажет, что это «тяжелый, очень тяжелый труд», но наряду с этим он почувствует, что только беззаветная любовь

к этому труду дает право человеку посвятив свою жизнь искусству.

Когда закрываешь книгу, в памяти остается образ автора, цельного художника, который сохранил яркость таланта, потому что всегда шел сложным путем к достижению цели. Человека, не просто влюбленного в свое призвание, а гражданина, любящего искусство своей родины и желающего молодому поколению найти путь, которому со всем горением отдать свое сердце.

Софья Владимировна Гиацинтова знает секрет простого, выразительного языка. Она как бы ведет беседу с читателем, рассказывает о своих учителях, о своих друзьях, которых, на счастье, она много встречала в жизни.

**И. Раевский,**  
народный артист РСФСР.

★

**ВЕЛИКОРУССКИЕ СКАЗКИ В ЗАПИСЯХ И. А. ХУДЯКОВА.** «Наука». М.—Л. 1964. 304 стр. Цена 1 р. 24 к.

Ивану Александровичу Худякову принадлежит почетное место не только в русском литературоведении, но и в истории русского революционного движения. Вдохновенный собиратель фольклора — сказок, загадок, отчасти пословиц, — составитель и автор многих отличных «книг для народа», Худяков был активнейшим участником революционного движения шестидесятых годов — членом кружка Ишутина. А ведь Худякову было всего двадцать четыре года, когда после выстрела Каракозова он был послан и его многогранная работа была оборвана.

Вся деятельность Худякова, взлет которой падает на 1860—1866 годы, — одно из священных звеньев между Чернышевским и пропагандистской деятельностью народников начала семидесятых годов. Недаром эти революционеры так бережно относились к творческому наследию замечательного просветителя, внимательно читали его «книжки для народа», пользовались ими в своей работе. Характерная деталь: именно из «Русской книжки» Худякова Кравчинский брал эпиграфы к своим пропагандистским сказкам.

Данное академическое издание посвящено, в основном, Худякову-фольклористу, сумевшему собрать более ста сказок в Москве, Казани и Тобольске, в Рязанской, Нижегородской, Тульской, Тамбовской губерниях. В приложении помещены сказки, собранные в трагические годы якутской ссылки, из которой Худякову не суждено было уже вернуться.

Эти сказки — впервые после столетнего перерыва изданные отдельной книгой (в 1860—1862 годах вышло три небольших выпуска, ставших ныне библиографической редкостью) — станут одним из интереснейших документов для всех, кто интересуется фольклором, познакомят с интересными особенностями Худякова-собираателя.

Но значение книги намного шире. В ней,

пожалуй, впервые в хронологическом порядке подобрана вся литература о Худякове — ученом и революционере. До сих пор большинство исследователей разбирало деятельность Худякова с одной какой-либо стороны: или фольклорист, или просветитель, или революционер-ишутинец. Во вступительной статье «Накануне «хождения в народ» профессор В. Базанов останавливается не только на особенностях Худякова — «собираателя и исследователя», который сделал решительный поворот «в сторону социально-исторического изучения фольклора», собирал и читал сказки «по-своему, как политический деятель», но на основании широкого использования научной литературы и архивных материалов воссоздает картину революционной России середины шестидесятых годов. Именно на этом фоне и выявляется в полной мере все значение литературной и революционно-просветительной деятельности Худякова. Не всегда и не во всем можно согласиться с оценками В. Базанова, но это не умаляет принципиальной ценности статьи.

Изданная в серии «Памятники русского фольклора», книга эта обращена, казалось бы, лишь к исследователям народного творчества. Но настоящий адрес ее шире — ее с пользой прочтут не только фольклористы, но и все те, кто интересуется забытыми и малоисследованными страницами истории русского освободительного движения.

**Б. Яранцев.**

★

**ТЕТРАДИ ПЕРЕВОДЧИКА.** Ученые записки. «Международные отношения». М. № 1, 1963. 110 стр. Цена 22 к.; № 2, 1964. 124 стр. Цена 24 к.

Появилось новое, своеобразное издание. Еще недавно оно печаталось крохотным тиражом на стеклографе, теперь обрело иную, более широкую аудиторию.

Материалы «Тетрадей переводчика» разнообразны и интересны. Здесь и статьи, поднимающие проблемы теории перевода, и заметки по сугубо частным вопросам. Есть даже отчет о судебном процессе. При этом в статьях налицо единство по принципиальным, основополагающим моментам, нигде нет и следа вульгарно-буквалистских взглядов, всюду широкий, творческий подход к общим проблемам перевода и его конкретным частностям. Этот подход характерен и для статьи Е. Эткинда «Из какого материала делаются книги?», в которой приведены любопытные сличения разных переводов Рабле и де Костера, и для судебного отчета, о котором упомянуто выше. Я. Рещер в статье «Плагиат или самостоятельный перевод?» рассказывает об экспертизе, которая доказала отсутствие плагиата в работе, ставшей предметом судебного разбирательства. Существенна здесь сама методика экспертизы, система анализа материала и доказательств.

Составителям не чужд интерес и к истории перевода. Заметка В. Рогова о неиздан-

ных переводах В. Брюсова с армянского сопровождается публикацией текстов; статья Л. Бархударова о бунинском переводе «Гайаваты» убедительно показывает, что работа И. Бунина, художественные достоинства которой общеизвестны, отличается «исключительной точностью, поразительной близостью с подлинником».

В нашем кратком отклике упомянуто лишь несколько статей, из этого, однако, не следует, что другие материалы не заслуживают доброго слова.

В заключение хотелось бы выразить желание, — хотя оно, может быть, и носит несколько субъективный характер, — чтобы проблематика художественного перевода заняла несколько большее место в «Тетрадах». Конечно, статьи филологические, посвященные вопросам лексикографии, необходимы, но в какой пропорции? Не слишком ли связаны составители обозначением «Ученые записки», значащимся на обороте титульного листа? И разве не интереснее было бы, если бы на страницах «Тетрадей» появились статьи самих переводчиков, в которых они рассказали бы о своем опыте (например, разве не любопытно было бы прочесть статью Р. Райт-Ковалевой о том, как она переводила Сэлинджера)?

В целом «Тетради переводчика» начаты удачно. Хочется пожелать им дальнейших успехов.

Ю. Бор.

★

**Ф. НАРКИРЬЕР. Роже Мартен дю Гар.** Критико-биографический очерк. Гослитиздат. М. 1963. 230 стр. Цена 52 к.

Начало очерка Ф. Наркирьера о Роже Мартен дю Гар позволяет сразу нащупать главный «нерв» работы. Автор рассказывает об усадьбе в Нормандии, где писатель провел зрелые и преклонные годы жизни — всего около тридцати лет: «Ему был по душе просторный старинный дом с бесконечными рядами книжных полок, тенистый парк с мочучими деревьями, выростающими медленно и терпеливо на неблагоприятной каменистой почве, — ведь он сам создавал свои произведения не спеша, крепко, навечно». Дело тут не просто в удачном зачатке: в немногих словах схвачено нечто основное в творческой индивидуальности писателя — привязанность к «земной» стихии мира, постоянство, негибкость. Эти качества определили его значение во французской литературе тревожной эпохи «между войнами»: он противостоит смятению, пессимизму, овладевшим в эти годы значительной частью западного искусства.

Шаг за шагом прослеживает критик этапы творческого становления писателя, которому нелегко было определить свое истинное призвание среди путаницы художественных течений на рубеже веков. Пожалуй критик напрасно не рассказал об очень важном признании Мартен дю Гар, сделанном в одном из писем 1918 года: «Я из кожи вон лезу, извиваюсь, как грешник в аду, чтобы

создать нечто, быть может, противоположное моей природе, некий искусственный цветок, старательно сделанный цветок из крашеной бумаги, лишенный жизни и запаха. Мне кажется, я обнаруживаю, что моя стихия — воссоздавать не идеи, а ощущения, характеры, лица, человеческие существа». Это не означало у писателя отказа от идеиности — идея лишь не должна лежать на поверхности; образец для Мартен дю Гар — «Война и мир», книга, которая «до краев полна мыслью»...

Наконец исследователь подходит к возвращенному анализу «Семьи Тибо» — итогового произведения писателя, которое появилось в результате десятилетий кропотливого, напряженного труда.

О «Семье Тибо» у нас писали много, поэтому естественно, что Ф. Наркирьер отводит значительное место менее изученным моментам эпопеи, приобретающим сегодня особую злободневность. Отсюда — интересный раздел «Война и революция», где по-новому трактуется позиция Мартен дю Гар в обстановке военной угрозы, выраженная в книге «Лето 1914 года». Изображение бесконечных словопреений «социалистов», бесплодно протестующих против назревающей войны, не свидетельствует, как полагает исследователь, о признании Мартен дю Гаром фатальной неизбежности войн — наоборот, эти сцены проникнуты подспудным протестом, призывом к гораздо большей решимости в защите мира.

Очень хорошо, что первая в Советском Союзе книга о Роже Мартен дю Гар написана доступным, свободным от лженаучной затрудненности языком. Такая беллетристичность помогает восприятию поставленных в работе серьезных и актуальных проблем.

И. Никифорова.

★

**МЕНАНДР. Комедии. ГЕРОД. Мимиабы.** Перевод с древнегреческого. «Художественная литература». М. 1964. 315 стр. Цена 54 к.

Эта книга могла появиться только в результате серии счастливых находок. В начале нашего столетия при раскопках в Египте обнаружили значительные части комедий драматурга IV века до н. э. Менандра «Третьей суд», «Отрезанная коса», «Самиянка» и другие. И уже совсем недавно — восемь лет назад — на александрийском базаре была куплена (одна из самых сенсационных находок века!) рукопись с почти полным текстом комедии Менандра «Брюзга». В 1936 году все известные к тому времени тексты древнего драматурга были опубликованы в русских переводах Г. Церетелл. В настоящем издании к ним прибавлен «Брюзга», впервые переведенный С. Аптом. Помню произведений Менандра, в книгу вошли бытовые сцены — мимиабы писателя середины III века до н. э. Герода и в

приложении — трактат философа Теофраста «Характеры». Таким образом, в книге собрано все, что в более или менее цельном виде дошло до нас от драматургии эллинизма.

Понятие «эллинизм» давно стало синонимом цивилизации заката. Творчество Менандра — только сумерки, мягкая осень после летнего буйства природы классического периода. Драматический герой предшествовавшего V века воплощал в себе большие нравственные и политические принципы, он был, как правило, бескомпромиссен и ответствен лишь перед высшими силами. Иное дело у Менандра. У богов, говорит один из персонажей «Третьего суда», нет времени заботиться о всех людях, поэтому они вложили в каждого человека нрав, «его и ублажай, отнюдь не делая, чтобы счастливым быть, ни зла, ни глупостей». У менадровских типов нет величия героев Эсхила и Софокла, нет остроумия и блеска персонажей Аристофана, но есть то, чего почти не было у их предшественников — человечность. Недаром так называемые «Изречения Менандра» (кстати, впервые переведенные в этой книге) начинаются словами: «Прелестен тот, кто вправду человек во всем».

«В комедиях Менандра, — справедливо пишет автор предисловия К. Полонская, — нашла отражение лучшая сторона мировоззрения эллинистической эпохи — любовь к человеку... Этот гуманизм Менандр, сочетавший с новым мировоззрением живые еще традиции классических Афин, передал новому времени».

Мимиабмы Герода тоже были опубликованы совсем недавно (конечно, с точки зрения исследователя древности) — в 1891 году. Изданная в предвоенные годы книжка переводов стала редкостью. Бытовые зарисовки Герода — своеобразные моментальные снимки с натуры — впечатляющи и сочны. Одно время их даже считали истинными образцами античного реализма.

Еще менее доступны читателю были печатавшиеся только в специальном издании переводы «Характеров» Теофраста — произведения, представляющего собой своего рода каталог человеческих типов, созданный не без влияния комедии того времени.

Литературный материал, вошедший в издание, удачно подобран, иллюстрирован и хорошо переведен. Может быть, только следовало тщательней отредактировать некоторые из старых переводов Г. Церетели, освободив их от излишних вульгаризмов и модернизации.

**Л. Любарский,**  
кандидат исторических наук.

г. Великие Луки.

**ЭЖЕНИ КОТТОН.** Семья Кюри и радиоактивность. Перевод с французского. Атомиздат. М. 1964. Стр. 174. Цена 51 к.

Радиоактивность. Это слово вошло в лексикон современного человечества, как в свое время слова «электричество», «телефон», «телеграф». Впервые его произнесла шесть с половиной десятилетий назад великая полька Мария Кюри-Склодовская. Вслед за Анри Беккерелем, открывшим излучение урана, она вместе с Пьером Кюри, своим мужем, открыла два новых радиоактивных элемента — полоний и радий, в миллионы раз более активные, чем уран. Открытие этого явления сыграло огромную роль в развитии наших знаний о строении материи и непосредственно подвело к использованию атомной энергии.

Дело супругов Кюри продолжали — их дочь Ирен и ее муж Фредерик Жолио, любимый, талантливейший ученик Мари Кюри. Они совершили новый научный подвиг, открыв явление искусственной радиоактивности, продолжая до последнего дыхания работы над мирным использованием атомной энергии...

Жизни двух поколений этой замечательной семьи, так самоотверженно служивших науке и человечеству, посвятила свою книгу Эжени Коттон...

Эжени Коттон известна всему миру прежде всего как выдающаяся деятельница международного женского демократического движения и борец за мир. Но она еще и ученый-физик, друг семьи Кюри. Может, поэтому со страниц ее сравнительно небольшой книжки встают такие цельные и так рельефно очерченные образы Пьера и Мари, Ирен и Фредерика Жолио-Кюри. Это отнюдь не вознесенные на пьедесталы, отрешенные от мира сего жрецы науки, а земные, очень чистые, целеустремленные, волевые люди. Они отличные собеседники и завязанные спорщики в делах науки, любители шуток, поэзии, музыки, цветов, спортивного отдыха — в общем, всех человеческих удовольствий и радостей. И при всем этом величайшие труженики и энтузиасты любимой науки, предельно скромные и бескорыстные. Известен факт, когда, получив в результате неимоверного труда грам радия в чистом виде, стоимость которого исчислялась миллионами франков, Мари Кюри, с трудом сводившая в то время концы с концами, безвозмездно отдала эту колоссальную ценность в распоряжение правительства.

Мало кто у нас знает, что Ирен Жолио-Кюри издала свои переводы стихов Киплинга — своего любимого поэта, снабдив их предисловием. Это предисловие, а также некоторые избранные статьи и письма составили вторую часть хорошей, умной книги.

**Л. Лерер.**

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

**История Коммунистической партии Советского Союза.** В шести томах. Том 1. Создание большевистской партии. 1883—1903 гг. 633 стр. Цена 1 р. 30 к.

**В. Беленький.** Формирование коммунистических общественных отношений. 87 стр. Цена 10 к.

**Беседы о религии и знании.** Популярный учебник. 368 стр. Цена 59 к.

**Е. Бугаев, Б. Лейбзон.** Беседы об Уставе КПСС. 240 стр. Цена 48 к.

**Л. Васильев.** Таинственные явления человеческой психики. 184 стр. Цена 20 к.

**Генеральный Совет Первого Интернационала.** 1868—1870. Протоколы. 415 стр. Цена 83 к.

**Б. Громов.** 104 — на дрейфующей... 72 стр. Цена 8 к.

**Им рукоплещет мир.** 88 стр. Цена 10 к.

**Комиссары.** 424 стр. Цена 73 к.

**С. Красников.** Сергей Миронович Киров Жизнь и деятельность. 208 стр. Цена 31 к.

**А. Крушинский.** Взрывы над Днепром (Рассказ о выдающемся руководителе партизанской борьбы в Белоруссии К. С. Заслонове). 136 стр. Цена 17 к.

**Ф. Кузнецов.** Обдумывающему житье. Письма критика. 128 стр. Цена 13 к.

**В. Любощев.** Сердце у меня одно... О бесмертном подвиге пограничников заставы Алексея Лопатина. 128 стр. Цена 14 к.

**И. Очак.** Данило Сердич — красный командир. 80 стр. Цена 10 к.

**Столетие Первого Интернационала.** 1864—1964 (Тезисы). 48 стр. Цена 4 к.

### «МЫСЛЬ»

**И. Айзенберг.** Основы устойчивости денег при социализме. 126 стр. Цена 39 к.

**М. Айрапетян, В. Суходеев.** Новый тип международных отношений. 280 стр. Цена 85 к.

**Земля во вселенной.** 490 стр. Цена 1 р. 79 к.

**Э. Локшин.** Промышленность СССР. Очерк истории. 1940—1963. 383 стр. Цена 1 р. 33 к.

**П. Никитин.** Основы политической экономики. 406 стр. Цена 56 к.

**А. Покрытан и др.** Социалистическая собственность при переходе к коммунизму. 151 стр. Цена 52 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Б. Бурсов.** Национальное своеобразие русской литературы. 396 стр. Цена 93 к.

**С. Георгиевская.** Светлые города. Лирическая повесть. 268 стр. Цена 39 к.

**В. Гришаев.** Тополиная ночь Стихи. 72 стр. Цена 11 к.

**И. Добрушин.** Литературно-критические статьи. Перевод с еврейского. 268 стр. Цена 62 к.

**А. Иванов.** Тени исчезают в полдень. Роман. 704 стр. Цена 1 р. 43 к.

**А. Кешоков.** Согретые камни. Стихи. Перевод с кабардинского. 176 стр. Цена 20 к.

**М. Костоглодова.** Есть романтика! Повесть. 380 стр. Цена 64 к.

**И. Котляревский.** Энеида. Поэма. Перевод с украинского. 348 стр. Цена 52 к.

**М. Крома.** Глаза в полнеба. Стихи и поэма. Перевод с латышского. 80 стр. Цена 11 к.

**К. Кулиев.** Раненый камень. Стихи и поэмы. Перевод с балкарского. 312 стр. Цена 37 к.

**Э. Лотяну.** Белая радуга. Стихи. Перевод с молдавского. 96 стр. Цена 14 к.

**Б. Окуджава.** Веселый барабанщик. Стихи. 108 стр. Цена 12 к.

**Б. Рюриков.** Коммунизм, культура, искусство. Статьи. 360 стр. Цена 85 к.

**Б. Слуцкий.** Работа. 4-я книга стихов. 152 стр. Цена 15 к.

**А. Соловьев.** Записки современника. В ногу с поколением. 356 стр. Цена 61 к.

**Е. Стулпан.** Сестра янтарного моря. Стихи. Перевод с латышского. 108 стр. Цена 15 к.

**И. Фаликман.** Горькое семя. Рассказы. Перевод с еврейского. 344 стр. Цена 64 к.

**Назым Хикмет.** Романтика. Роман. Перевод с турецкого. 220 стр. Цена 34 к.

**Л. Цилевич.** На главном направлении. Вопросы развития современного советского романа о рабочем классе. 336 стр. Цена 57 к.

**И. Шамякин.** Листопад. Повесть и рассказы. Перевод с белорусского. 224 стр. Цена 31 к.

**И. Шнапа.** Семь лет с Горьким. Воспоминания. 384 стр. Цена 71 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**М. де Алмейда.** Жизнь Леонардо, сержанта полиции. Роман. Перевод с португальского. 256 стр. Цена 48 к.

**О. Вишня.** Юмористические рассказы. Перевод с украинского. 312 стр. Цена 58 к.

**Л. Вышеславский.** Разнолетье. Стихи. 240 стр. Цена 46 к.

**С. Гиждеу.** Генрих Гейне. 239 стр. Цена 46 к.

**В. Карпова.** Чувство времени. Очерк творчества Б. Горбатова. 344 стр. Цена 64 к.

**М. Лалич.** Свадьба. Роман. Перевод с сербохорватского. 320 стр. Цена 79 к.

**М. Лермонтов.** Собрание сочинений в четырех томах. Том I. 696 стр. Цена 1 р.

**М. Лермонтов.** Демон. Восточная повесть. Иллюстрации М. Врубеля. 79 стр. Цена 85 к.

**С. Наровчатов.** Лирика Лермонтова. Заметки поэта. 130 стр. Цена 17 к.

**Мигель Отеро Сильва.** Лихорадка. Роман. Перевод с испанского. 184 стр. Цена 45 к.

**В. Савицкий.** Петер Илемницкий. Очерк жизни и творчества. 135 стр. Цена 23 к.

**И. Сельвинский.** Лирика. 488 стр. Цена 83 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**М. Джалиль.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 4 к.

**П. Загребельный.** Зной. Роман. Перевод с украинского. 384 стр. Цена 71 к.

**В. Келер.** Homo sapiens. Человек разумный. 224 стр. Цена 47 к.

**Д. Краминов.** Амур и черепаха. Роман. 367 стр. Цена 76 к.

**Н. Краснов.** Огонь-цвет. Стихи и поэмы. 64 стр. Цена 10 к.



**А. Кулешов.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 4 к.  
**К. Лагунов.** Зажги свою звезду. Роман. 360 стр. Цена 79 к.  
**А. Левандовский.** Дантон. 384 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 73 к.  
**Б. Никольский.** Триста дней ожидания. Повести. 160 стр. Цена 17 к.  
**М. Пархомов.** Нелетная погода. Повести. 208 стр. Цена 46 к.  
**В. Привальный.** Дорогой Владимир Ильич... Рассказы и повесть. 168 стр. Цена 27 к.  
**В. Сафонов.** Укрощение Великого Хапи. Повести и рассказы. 400 стр. Цена 72 к.  
**С. Смирнов.** Рассказы о неизвестных героях. 272 стр. Цена 66 к.  
**Ч. Чимид.** Весна—осень. Роман. Перевод с монгольского. 208 стр. Цена 30 к.  
**А. Якубов.** Тревога. Повесть. Перевод с узбекского. 208 стр. Цена 39 к.

## «ИСКУССТВО»

**Н. Гершензон-Чегодаева.** Д. Г. Левицкий. 458 стр. Цена 6 р.  
**А. Зархи.** О самом главном. Заметки кинорежиссера. 96 стр. Цена 32 к.  
**К. Зданевич.** Нико Пиросманшвили. 128 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**Д. Коган.** Константин Коровин. 360 стр. Цена 4 р. 25 к.  
**Н. Лапунова.** И. Н. Крамской. 111 стр. Цена 39 к.  
**И. Смирнова.** Тициан и венецианский портрет XVI века. 326 стр. Цена 3 р. 45 к.

## «НАУКА»

**А. Анкин.** Кредитная система современного капитализма. Исследование на материалах США. 434 стр. Цена 1 р. 52 к.  
**Астрономический календарь.** Ежегодник. 1965. 291 стр. Цена 60 к.  
**В. Бузуев, В. Павличенко.** Ученые предупреждают. 181 стр. Цена 29 к.  
**Вычислительная техника в управлении.** 222 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**Г. Галилей.** Избранные труды. В 2-х томах. Том I. Звездный вестник. Послание к Инголи. Диалог о двух системах мира. 640 стр. Цена 3 р.  
**К. Гильзин.** Электрические межпланетные корабли. 319 стр. Цена 58 к.  
**История Тувы.** Том I. 410 стр. Цена 1 р. 67 к.  
**И. Линдер.** Шахматы на Руси. 163 стр. Цена 46 к.  
**Медноволосая девушка.** Калмыцкие народные сказки. 272 стр. Цена 68 к.  
**Проблемы истории литературы США.** 483 стр. Цена 1 р. 53 к.  
**Снег идет.** Новеллы афганских писателей. Перевод с пушту и фарси-кабули. 88 стр. Цена 20 к.

**Современная Иордания.** Справочник. 192 стр. Цена 88 к.  
**Д. Строин.** Краткий очерк истории математики. Перевод с немецкого. 234 стр. Цена 86 к.  
**К. Суворова.** Два года в Имене. Записки советского врача. 316 стр. Цена 1 р.  
**Тадж-Махал.** Новеллы современных писателей Индии. Перевод с маратхи, гуджарати и панджаби. 111 стр. Цена 25 к.  
**Творчество М. Ю. Лермонтова.** 150 лет со дня рождения. 1814—1964. 512 стр. Цена 1 р. 21 к.  
**Формирование и развитие советского рабочего класса.** Сборник статей. 402 стр. Цена 1 р. 67 к.  
**Ф. Хейфец.** Первый Интернационал. 1864—1964. 176 стр. Цена 50 к.  
**Химизация сельского хозяйства.** Научно-технический словарь-справочник. 399 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**В. Шулейкин.** Дни прожитые. 548 стр. Цена 1 р. 90 к.  
**К. Элиан.** Пестрые рассказы. Перевод с древнегреческого. 186 стр. Цена 76 к.  
**Р. Юренев.** Советская кинокомедия. 538 стр. Цена 3 р. 40 к.  
**Ясно-Кишиневские Канны.** 280 стр. Цена 1 р. 25 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Ю. Антомонов, В. Казаковцев.** Кибернетика — антирелигия. 208 стр. Цена 26 к.  
**В. Быковский, В. Николаева-Терешкова.** Здравствуй! Вселенная! 216 стр. Цена 30 к.  
**Дозорные партии.** 112 стр. Цена 10 к.  
**В. Кетлинская.** Иначе жить не стоит. Роман. 752 стр. Цена 1 р. 32 к.  
**М. Крошкин.** Земля начинается в космосе. 216 стр. Цена 42 к.  
**С. Крутилин.** Липяги. Из записок сельского учителя. 432 стр. Цена 86 к.  
**И. Лушкин.** Ждите, Сибирь идет... Роман. 216 стр. Цена 50 к.  
**Ю. Нагибин.** Далеко от войны. Повесть. 120 стр. Цена 15 к.  
**С. Никитин.** Осенние листья. Рассказы. 128 стр. Цена 24 к.  
**К. Паустовский.** Книга скитаний. Повесть. 256 стр. Цена 42 к.  
**Переключки друзей.** Сборник стихов. 168 стр. Цена 37 к.  
**Ю. Трифонов.** Костры и дождь. Рассказы. 232 стр. Цена 38 к.  
**П. Хузангай.** Великое сердце. Поэмы. 80 стр. Цена 10 к.

## КАЛМГОСИЗДАТ (ЭЛИСТА)

**А. Балакаев.** Три рисунка. Маленькая повесть. Перевод с калмыцкого. 55 стр. Цена 7 к.  
**М. Нармаев.** Счастье само не дается. Повесть. Перевод с калмыцкого. 149 стр. Цена 23 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 12/X 1964 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 10/XI 1964 г.  
 Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)  
 А 08449. Зак. 2240. Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

## ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Продолжается подписка на литературно-художественный и общественно-политический журнал

### «Новый мир»

В начале 1965 года в журнале начнет печататься вторая книга романа К. ФЕДИНА «Костер». Далее будут опубликованы: продолжение «Дневных звезд» О. БЕРГГОЛЬЦ, роман А. БЕКА «Мои знакомые», роман В. ДУДИНЦЕВА «Неизвестный солдат», документальная повесть Е. ДРАБКИНОЙ о Ленине, вторая книга воспоминаний генерала армии А. ГОРБАТОВА, новый роман А. СОЛЖЕНИЦЫНА, новые романы, повести, рассказы Ч. АЙТМАТОВА, Ю. БОНДАРЕВА, Г. БАКЛАНОВА, В. ВОЙНОВИЧА, Л. ВОЛЫНСКОГО, И. ГРЕКОВОЙ, Ю. ДОМБРОВСКОГО, Н. ДУБОВА, В. КАВЕРИНА, В. ЛИПАТОВА, В. НЕКРАСОВА, В. ПАНОВОЙ, К. ПАУСТОВСКОГО, И. СОКОЛОВА-МИКИТОВА, В. ТЕНДРЯКОВА и других.

#### ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ЖУРНАЛ

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

Подписка принимается всеми отделениями «Союзпечати» без ограничений.